



Александр Киклевич

Ветка вишни

Статьи по лингвистике

Ветка вишни...
Статьи по лингвистике

Publikacje
Centrum Badań Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie



Александр Киклевич

Ветка вишни...
Статьи по лингвистике

Olsztyn 2013

Recenzent: MICHAŁ KOTIN (Uniwersytet Zielonogórski)

ISBN 978-83-61605-97-3

© Copyright by ALEKSANDER KIKLEWICZ

Projekt i opracowanie graficzne okładki:
ALEKSANDER KIKLEWICZ

Skład i łamanie:
HELENA POCIECHINA

Wydawca:
CENTRUM BADAŃ EUROPY WSCHODNIEJ
UNIwersYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
10-725 Olsztyn, ul. K. Obitza 1

Druk i oprawa:
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY
UNIwersYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
10-724 Olsztyn, ul. Jana Heweliusza 3

Dystrybucja:
CENTRUM BADAŃ EUROPY WSCHODNIEJ
INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
tel. +48 89 524 63 47
Internet: <http://uwm.edu.pl/cbew>
e-mail: komunikacjam@uwm.edu.pl

Я, как древний Коперник, разрушил
Пифагорово пенье светил
И в основе его обнаружил
Только лепет и музыку крыл.

Николай ЗАБОЛОЦКИЙ

Содержание

Предисловие	8
Парадигмы языкознания и современная лингвистика	13
Парадигмы языкознания в культурно-динамическом аспекте (на примере структурализма в славянском языкознании XX века)	34
Мысль и образ. О визуализации в лингвистике	51
Двенадцать функций языка	61
Фреквенция как фактор изменения языковых единиц в теории В. Маньчака	78
Анализ стихотворения Иннокентия Анненского «Среди миров»	100
Спорное в лингвокультурологии (теория концепта)	121
Концептуальные метафоры и прототипические эффекты	154
Полисемия vs. синтаксическая компрессия	184
Номинация и социальный контекст речи	201
Правда и значение слова	225
Язык новых русских: прагматика имен собственных	251
Социальные ценности в системе современной культуры	260
Стереотипы в структуре межкультурной коммуникации	283
Черты «новояза» в современных СМИ	302
Сложное предложение в свете динамического синтаксиса	315
Связочные предложения и дубликация подлежащего	351
Узуальная субстантивация прилагательного <i>круглый</i>	370
Список источников	386
Библиография	388
Предметный указатель	409



Предисловие

У меня всегда получается так, что предисловие к книге терпеливо ждет, пока не будет дописана последняя страница, и пишется *post factum*. Как если бы кто-то забыл сказать «Здравствуй!» и вспомнил о нем в конце разговора. Помнится, одна из пьес Ж.-П. Сартра заканчивается знакомством героев. У Андрея Битова есть и более радикальная версия этой ситуации: «Если уж очень много ждать от встречи, то можно забыть сказать *Здравствуйте*».

Сравнение с разговором и встречей, впрочем, довольно условно, потому что книга — особый дискурс: автор ведет диалог с миром, собственно — с одним из возможных миров, а читатель — он стоит в сторонке, он — не собеседник, а скорее — свидетель.

Можно определить и иначе: читатель — это всегда читатель второго порядка: он имеет дело с впечатлениями автора, который (как смог, по-своему) прочитал действительность.

Новелла Матвеева написала: «Но есть и у действительности видимость, // А я ищу под видимостью душу». Мы говорим: действительность, но на самом деле имеем дело с образами действительности, например, перцептивными или эпистемическими, коллективными. Язык представляет собой часть действительности, но созданные учеными (не только лингвистами, но и философами, логиками, психологами, социологами) модели языка так же действительны, а может — еще больше, чем сам язык. Поэтому так важно понять, какой должна быть модель языка (с учетом наших возможностей и наших задач) или каким образом разные модели должны взаимодействовать друг с другом.

Почему у книги такое название — «Ветка вишни»?

Метафора эта, по-моему, как нельзя лучше подходит для объяснения современного состояния в науках о языке. Прежде чем я объясню это, обратимся к источнику.

Китайская сказка «Конкурс живописи» повествует о царе Юнг Ли — ценителе и знатоке искусства. Царь объявил о ежегодном конкурсе живописи, в котором мог участвовать любой желающий, используя любую технику и отражая любую тему. Картины на конкурс присылали и известные, и только начинающие художники — все в надежде получить внушительный гонорар и увенчать себя славой. Хотя темы картин были разными, чаще всего встречались изображения летающих драконов, духов (добрых и злых), а также богов. Назначенная царем комиссия так привыкла к этому репертуару, что каждая картина автоматически относилась к одной из трех категорий.

Однажды на конкурс поступила картина известного художника, который никогда раньше не принимал в нем участия. Члены комиссии были, однако, весьма озадачены, когда, раскрыв холст, увидели нарисованную на нем... собаку. Картина была отвергнута.

В следующие годы мастер неизменно участвовал в конкурсе, но всегда на его холстах была нарисована собака, или кошка, или лошадь. В конце концов царь разгневался и потребовал к себе художника.

— Все знают о твоём мастерстве. Почему ты предлагаешь на конкурс такие убогие образы? Может быть, ты сомневаешься в компетентности членов комиссии, смеешься над нами?

— Нисколько! — ответил художник. — Напротив, я считаю, что конкурс очень трудный, ведь в нем участвуют знаменитые мастера. Именно поэтому я стараюсь выбрать наиболее трудные образы.

— Разве ты считаешь, что нарисовать собаку или лошадь труднее, чем нарисовать дракона? — удивился царь.

— Да. Потому что собак, кошек и лошадей знает каждый — мы все ежедневно видим их. Каждый может сравнить рисунок с действительностью и оценить его сходство с оригиналом.

— Что же нарисовать легче всего?

— Богов, духов и драконов. О них мы ничего не знаем, никто их не видел.

С этого дня царь изменил условия конкурса. Отныне для всех обязательной стала одна тема: каждый художник должен был нарисовать ветку цветущей вишни...

Аналогия с лингвистикой здесь такая: долгое время (целые столетия) лингвисты («жрецы грамматической науки», по определению

А. М. Пешковского) занимались языковой системой, стараясь понять, представляет ли она собой приложение к логике, или род эволюционного процесса, или психологический феномен — модуль системы репрезентации действительности («духа народа»), или особого рода систему знаков (а также — по Л. Ельмслеву — фигур) со специфическими номотетическими (по А. Богуславскому) свойствами, или особого рода психофизиологическую компетенцию — «в высшей степени специализированный и гибкий биологический комплекс» (по Л. Блумфилду). Так в разные исторические периоды возникали научные модели языка, основанные на принципе гипостазирования, т.е. абсолютизации какого-то одного, избранного аспекта языковой системы. Ельмслев, как известно, считал, что, построенная дедуктивно, общая теория языка не зависит от языковых фактов — важно, чтобы она соответствовала принципам формальной логики. В течение столетий научные фантомы представляли канон лингвистического знания — вот прямая аналогия с драконами (фантомами иного рода) из китайской сказки.

В первой половине XX века в европейском языкознании распространился новый стиль мышления — динамический, релятивистский. Он учитывал поведение объекта в среде, а применительно к языку — социальную и коммуникативную реализацию языковой системы. В работах таких лингвистических направлений, как немецкий неогумбольдтизм, лондонская функциональная школа, русская школа социологии языка, американская антропологическая лингвистика, объектом исследования стало речевое поведение — собственно, то, что реально наблюдается и что может быть исследовано методами эмпирического анализа. В связи с этим позволю себе привести замечательное по своей точности и глубине высказывание М. Л. Котина: «То, что лингвисты называют экстралингвистическими факторами, при ближайшем рассмотрении нередко оборачивается феноменами, имеющими сугубо языковую природу, которые кажутся внеязыковыми исключительно в силу своей принадлежности к иному, менее эмпирически несомненному или менее „систематизированному“ уровню языка. При сравнении морфемного состава слова или синтаксической структуры фразы с текстом даже небольшого объема последний будет неизменно казаться чем-то „внешним“ по отношению к первым. Именно по этой причине, например, такая область науки, как лингвистика текста и дискурса, воспринималась первоначально, а некоторыми учеными воспринимается до сих пор с известным скептицизмом. Дискурс, по их мнению, — область, скорее до-

стойная изучения литературоведа, социолога, историка или философа, чем лингвиста. В действительности, однако, текст, при определенном к нему подходе, никак не менее „лингвистичен“, чем слово или предложение» (2009, 54).

Предлагаемая читателем книга составлена из ранее опубликованных и в той или иной степени переработанных и дополненных статей. Хотя на первый взгляд тематически они разрозненны — касаются философии языка, семантики, поэтики, синтаксиса, лингвистики дискурса, прагмалингвистики и медиалингвистики, однако все работы так или иначе связаны с общей концепцией динамического взаимодействия четырех факторов: 1) разных аспектов языкового кода; 2) когнитивной компетенции языковых субъектов; 3) культурно релевантной системы социальных отношений и 4) материальной действительности.

Может быть, не стоит усложнять? (Так сказал мне когда-то выдающийся языковед В. В. Мартынов...) Проще нарисовать дракона. Но вот заваyka: как оценить его сходство с оригиналом?

Поскольку структура нашего сознания в значительной степени является отражением структуры окружающего нас мира (А. Моль), вполне естественно, что научной модели мира свойственна определенная степень сложности. Выдающийся русский биолог Л. С. Берг писал: «Простыми оказываются явления и законы лишь в том случае, если их искусственно упростить» (1977, 108). Подобную же мысль позднее высказывал историк и антрополог Б. Ф. Поршнев: «Меньше всего я приму упрек, что излагаемая теория сложна. Все то, что в книгах было написано о происхождении человека, особенно, когда дело доходит до психики, уже тем одним плохо, что недостаточно сложно. Привлекаемый обычно понятийный аппарат до крайности прост. И я приму только обратную критику: если мне покажут, что и моя попытка еще не намечает достаточно сложной исследовательской программы. О сложности я говорю тут в нескольких смыслах. Сложность изложения самое меньшее из затруднений. Сложно объективное строение предмета и сложно взаимоотношение совокупности используемых в исследовании нужных наук. У каждой из них свой гигантский аппарат, свой „язык“ в узком и широком смысле. Я не выступаю здесь против специализации. Напротив, полнота знаний достигается бесконечным сокращением поля. Можно всю жизнь плодотворно трудиться над деталью. Но действует и обратный закон: необходим общий проект, общий чертеж, пусть затем в детальной разработке все в той или иной мере изменится» (1974).

Подобная исследовательская стратегия была принята и в этой книге: по моему убеждению, принципы взаимодействия разных факторов речевого поведения как фактическая реальность существования языка не в меньшей степени важны для языкознания, чем содержание и устройство отдельных языковых подсистем.

Пользуясь случаем, я выражаю благодарность проф. Михаилу Львовичу Котину – внимательному, требовательному и одновременно доброжелательному рецензенту книги.

Александр Киклевич
Ольштын, осень 2013



Парадигмы языкознания и современная лингвистика

У одной маленькой девочки на носу выросли две голубые ленты. Случай особенно редкий, ибо на одной ленте была написано «Марс», а на другой – «Юпитер».

Даниил Хармс

Введение

В 1962 году в повести «Иду на грозу» русский прозаик Даниил Гранин предложил шутивное определение философа и специалиста: «Специалист старается знать все больше о все меньшем, пока не будет знать все ни о чем. А философ узнает все меньше о все большем, пока не будет знать ничего обо всем». Это, казалось бы, парадоксальное сопоставление двух типов мышления и научной деятельности хорошо отражает положение в науке о языке: ни одна научная теория, будучи основополагающей для определенного научного сообщества (в определенную историческую эпоху), не рассматривает язык в единстве всех его аспектов — напротив, в качестве объекта исследования принимается один аспект: внутренний или внешний, материальный или функциональный, структурный или атомистический, синхронический или диахронический (исторический), идиосинкретический (этнокультурный) или универсальный, энкратический или акратический. Этот выбранный аспект абсолютизируется, т.е. наблюдается, как пишет Ю. Н. Караулов, гипостазирование — приписывание ему особого, главенствующего статуса (1987). Караулов,

как известно, выделил в истории языкознания четыре парадигмы: историческую, психологическую, системно-структурную и социальную (там же, 18 ссл.), каждая из которых по-своему моделирует язык: по образу биологии — как эволюционирующий объект, по образу химии — как сложноорганизованный объект и т.д. (подробнее о моделировании языка посредством применения концептуальных метафор см.: Pielenz 1995, 78).

Сегодня ситуацию в языкознании усложняет характерный для постмодернизма культурный релятивизм и, в частности, отсутствие научных авторитетов и «больших» научных теорий, интегрирующих научное сообщество (см. подробнее далее). О таком разнообразии лингвистического знания — со ссылкой на швейцарского философа языка П. Серио — пишут А. Л. Факторович и Д. И. Руденко: с их точки зрения «в лингвистике играет роль то, где развивается та или иная концепция» (1993, 7; разрядка моя — А. К.). Упомянутые авторы пишут также о существовании разных национальных и геокультурных традиций философии языка: славянской, англосаксонской и романской.

Совершенно очевидно, что в такой ситуации все актуальнее становится требование синергического подхода к языку, который призван в рамках единой системы категоризации рассматривать или хотя бы учитывать разные его аспекты. Собственно, это задание призвана выполнять философия языка или — в другой терминологии — семиотическая лингвистика, основы которой в России были заложены Ю. С. Степановым (1985; см. подробнее об этом: Руденко 1993, 103).

1. Парадигмы языкознания

Современная философия языка занимается довольно широким кругом проблем, связанных, главным образом, с функционированием языка в окружающей среде (см.: Carr 2006, 331 ссл.): проблемами языковой семантики, психологии, социологии, онтологии и антропологии языка, а также отношениями между языком и культурой. Нетрудно заметить, что сама лингвистика как система научных знаний о языке при этом оказывается как бы на периферии: метаметодология языкознания, о которой пишет Э. Касперский (Kasperski 2004, 21), или «семиотическая лингвистика», о которой писал Д. И. Руденко (1993, 103), остаются уделом небольшого числа теоретиков-лингвистов и философов языка. Впрочем, интерес к этой проблематике в по-

следние десятилетия — особенно в России — возрос, и это, вне сомнения, связано с тем огромным резонансом, который в научной среде был вызван публикацией книги Степанова «В трехмерном пространстве языка» (1985). Упорядочение лингвистического знания необходимо не только как конструктивное требование каждой научной дисциплины, особенно претендующей на статус «нормальной» (в соответствии с терминологией Т. Куна), но и имеет огромный гносеологический, объяснительный потенциал: факты языковой практики в свете теории парадигм обнаруживают общие свойства с формами человеческой активности в других сферах, в результате чего становится возможным расширение области их концептуализации, выбор наиболее адекватных описательных моделей. В связи с этим Руденко писал о возможности «нетривиальных наблюдений», которые открывает обращение к парадигмам философии языка (Руденко 1993, 101). Кстати, только при широком взгляде на предмет языкознания возможна такая научная дисциплина, как лингвистическая прогностика (см.: Кретов 2007, 20).

Существуют разные подходы к категоризации лингвистического знания. Уже в античности и позднее, в философии XVII-XVIII веков, обозначилась оппозиция двух направлений: рационализма и эмпиризма. Так, в области онтогенезиса языка противопоставляются два теоретических направления: с одной стороны — нати́визм, который в XX веке получил сильный импульс благодаря работам Н. Хомского и его последователей (ср. высказывание Г. Штейнера: «Для Хомского критика бихевиоризма была исходным пунктом» — Steiner 2000, 151), с другой стороны — коннексионизм, уходящий своими корнями в философию эмпиризма. Рационализм и эмпиризм — это две фундаментальные теоретические системы, с помощью которых можно объяснить поляризацию разных направлений языкознания: компаративизма и психологизма, бихевиоризма и генеративизма, структурализма и постструктурализма (антропологической лингвистики). Так, известная польская исследовательница К. Писаркова утверждала:

Структурализм стремился исследовать «язык как таковой», как «систему», «сам в себе и для себя», тогда как релятивизм реконструирует на базе конкретного национального языка картину мира, которая частично детерминирована данным языком (Pisarkowa 2000, 175).

Й. Майбауэр различает в современном языкознании два основных направления: формальное и функциональное, при этом первое вос-

ходит к традиции рационализма, а второе — к традиции эмпиризма (Meibauer 2001, 3). Важнейшие свойства этих направлений немецкий ученый представляет следующим образом:

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФОРМАЛИСТОВ:	С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛИСТОВ:
1. Язык имеет психическую, логическую, ментальную природу.	1. Язык имеет социальную природу.
2. Языковые универсалии имеют общую генетическую основу, т.е. обусловлены свойствами человеческого рода.	2. Языковые универсалии возникают благодаря существованию общих правил функционирования языка в обществе.
3. Языковая деятельность (активность) человека является его врожденной способностью.	3. Языковая деятельность (активность) приобретается и развивается в процессе практической и интеллектуальной деятельности человека.
4. Язык (как объект лингвистического исследования) имеет автономный, самодостаточный характер.	4. Объектом языкознания является функционирование языка в человеческом обществе.

Пожалуй, большинство современных лингвистов соглашается, что наиболее точное, репрезентативное представление о системе лингвистического знания, особенно с учетом его динамики, дает (введенное Т. Куном) понятие научной парадигмы. Обзор точек зрения и существующих в этой области теорий был предложен в моей монографии (Kiklewicz 2007г, 14 ссл.), где отмечается, что наряду с понятием парадигмы языкознания употребляется понятие «парадигма философии языка» (см.: Степанов 1985, 4; Руденко 1993, 101 ссл.). В данной статье мое внимание будет сосредоточено прежде всего на классификации этих парадигм.

Польская лингвистическая литература не изобилует исследованиями философского характера, поэтому исследователи, обсуждая типологию лингвистического знания в эволюционной перспективе, обычно ссылаются на один источник — книгу краковского лингвиста И. Бобровского (1998, 34 ссл.). В данной работе парадигмы науки (именно так — Бобровский не упоминает о парадигмах языкознания) вводятся как гносеологические и даже логические категории, которые сводятся к (частично известным в формальной логике) типам познава-

тельной деятельности, в частности — к типам умозаключений. Таким образом Бобровский различает четыре научные парадигмы:

1. индукционистскую;
2. верификационистскую;
3. фальсификационистскую;
4. постмодернистскую.

Такой подход, с моей точки зрения, является неприемлемым, поскольку принципы логического вывода: индукция, дедукция, верификация, фальсификация и др., — универсальны, они входят в канон научного исследования независимо от принадлежности исследователя к тому или иному сообществу ученых. Это утверждение не исключает, разумеется, того, что в рамках отдельных научных направлений могут по-разному ставиться акценты, связанные с исследовательскими процедурами, что обуславливает существование так называемых «когнитивных стилей» (подробнее об этом понятии см.: Холодная 2002).

Более обоснованной представляется позиция исследователей, которые при описании лингвистических парадигм используют (в более или менее явном виде) понятие категоризации: парадигмы рассматриваются как альтернативные, конкурирующие друг с другом типы профилирования языка, а особенно — языкового знака. Каждая новая парадигма по-своему определяет сущность языка, его основные свойства и подлежащие описанию аспекты. Эти аспекты могут быть формальными или функциональными, идиографическими (т.е. связанными с культурной мотивировкой языковой деятельности) или номотетическими (т.е. вытекающими из специфической природы языка) и т.д.

Именно руководствуясь этими соображениями, упомянутый в начале статьи Караулов выделил четыре парадигмы языкознания. Другой русский исследователь, И. П. Сусов, пишет о трех парадигмах:

Язык, как и всякий объект, может изучаться с точки зрения его возникновения и развития (историко-генетический аспект), строения (организационный, или системно-структурный, аспект) и функционирования в некоей среде как более сложной системе (коммуникативно-прагматический аспект). Тот или иной аспект, оказываясь ведущим, задает структуру исследовательского подхода и определяет выбор основного объяснительного принципа, что открывает пути для формирования в рамках лингвистики трех ее научных парадигм (Сусов 2011; см. также: Сусов 1987).

При этом Сусов подчеркивает, что в современной науке о языке «основное противостояние имеет место между системно-структурной и коммуникативно-прагматической лингвистиками».

В русском языкознании наиболее известной является теория семиотической лингвистики Степанова (1985), который, опираясь на семиотический треугольник Ч. Морриса, т.е. на определенные Моррисом три аспекта знаков, разграничил три философско-лингвистические парадигмы:

1. семантическую («философию имени»), которая занимается отношениями между знаками и называемыми объектами;
2. синтаксическую (т.е. структурную, или «философию предиката»), которая сосредоточивает внимание на отношениях между знаками;
3. прагматическую («философию эгоцентрических слов»), которая исследует отношения между знаками и условиями их употребления, прежде всего — установками речевых субъектов.

Теоретическая модель Степанова, однако, имеет существенный недостаток: ее автор учитывает выделенные Моррисом функциональные аспекты знаков, но игнорирует аспект, который для целых столетий лингвистической практики (начиная с грамматики Панини) имел основополагающий статус. Речь идет о языковой форме — фонетической, лексической, грамматической. До сегодняшнего дня предмет компетенции лингвистов в первую очередь ассоциируется с описанием языковых форм, в частности, с проблемами культуры речи.

2. Проблема делимитации парадигм

Степанов, ссылаясь на работы Куна, а также на работы в области философии физики (в частности, М. Борна), определил парадигму как «господствующий в какую-либо данную эпоху взгляд на язык, связанный с определенным философским течением и определенным направлением в искусстве» (Степанов 1985, 4). С одной стороны, казалось бы, содержание, а прежде всего научная репрезентативность этого определения очевидна: никто не станет спорить, что в языкознании, особенно в истории лингвистических учений, выделяются разные направления, которые относятся к разным историческим эпохам и укладываются в определенную последовательность. Так в европейском языкознании на смену эволюционизму первой половины XIX века пришел психологизм, а позднее — структурализм, ко-

торый в конце XX века сменился «открытой» лингвистикой (см. Heinz 1978, 122 ссл.). С другой стороны, проблема делимитации парадигм языкознания представляет немалую трудность. Предложенный Степановым критерий, а именно — «господствующий взгляд на язык», в действительности оказывается достаточно размытым, во всяком случае открытым для разных интерпретаций. Например, возникает вопрос о том, насколько широкий «взгляд на язык» имеется в виду, а в связи с ним — (фундаментальный) вопрос о количестве парадигм. Действительно, формат и содержание парадигм, выделяемых в работах разных авторов, является, скорее всего, следствием субъективного выбора, вытекает из априорно принятых теоретических установок. Тогда напрашивается мысль: а может быть, в качестве парадигм следует считать более общие направления лингвистической мысли, которые поочередно сменяют друг друга в истории языкознания? Майбауэр, напомним, определяет их как формализм и функционализм (Meibauer 2001, 3), П. Кэпп — как позитивизм и научный реализм (Carr 2006, 332), К. Коржик — как сегрегационизм и интеграционизм (Korzyk 1999, 10 ссл.), А. А. Камалова — как системоцентризм и антропоцентризм (Камалова 1998, 33).

Делимитация парадигм языкознания кажется очевидной по отношению к истории науки о языке: прошлое в научной картине мира представлено в виде четко упорядоченных, разделенных временными границами эпох со своими системами ценностей, моделями поведения, прецедентными феноменами, в частности, авторитетами — ср. шутовское наблюдение поэта: «Быть классиком — в классе со шкафа смотреть // На школьников...» (Александр Кушнер). Другое дело — настоящее. Культура в синхронии, если воспользоваться термином А. Моля, мозаична. В 60-е годы XX века французский ученый писал о мозаичности культуры Запада, т.е. о разнообразии культурных (иногда взаимно противоречивых и взаимно не корреспондирующих) кодов, формирующихся в процессе жизнедеятельности разнообразных социальных групп, о нагромождении случайных событий, о резких скачках в развитии идей (Моль 2007, 350 ссл.). Современную ситуацию усложняет провозглашаемый сторонниками постмодернизма принцип культурного релятивизма, который, в частности, находит отражение в отсутствии научных авторитетов и «больших», программных текстов, интегрирующих научное сообщество, например, такого уровня, как «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра или «Структура художественного текста» Ю. М. Лотмана. В качестве примера может послужить современная

когнитивная лингвистика, которую некоторые исследователи объявляют новой парадигмой. В статье А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского читаем:

Основные принципы описания явлений языка в когнитивной парадигме остаются неясными для большинства лингвистов. [...] Никто, кроме, пожалуй А. Е. Кибрика, не сформулировал в явном виде требования к когнитивному подходу в языкознании. [...] Это касается не только российского языкознания: и в зарубежной лингвистике мы не знаем работ, которые содержали бы в эксплицированном виде комплекс методологических оснований когнитивного подхода к языку (Баранов/Добровольский 1997, 11; разрядка моя. — А. К.).

В сложившихся условиях конструирование и реконструирование парадигм в гуманитарных науках, как утверждает Касперский, становится практически невозможным. Польский автор отказывается дать определенный ответ на вопрос, какого рода научная парадигма господствует в современном литературоведении. Романтизм рассматривал литературу как «источник идей», реализм — как «отражение действительности», модернизм — как «принцип конструктивности», но как — спрашивает Касперский — определить современную литературу? (2004, 21). Другой польский исследователь, М. Кузяк, на этот вопрос дает ответ: постструктурализм в современном литературоведении опирается на окказиональную интерпретацию текста и субъективное конструирование смыслов независимо от знаковых конвенций (Kuziak 2004, 387), хотя нет доказательств, что этот стиль мышления, действительно, является господствующим.

В определении Степанова говорится о «господствующих» взглядах на язык — сама эта идея иерархии, порядка «взглядов» восходит к «Структуре научных революций» Т. Куна, который писал: «Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений» (Кун 1977, 11; разрядка моя. — А. К.). Перефразируя высказывание Р. Барта «Письмо — это акт исторической солидарности» (Барт 1983, 312), можно утверждать, что парадигма — это тоже форма исторической солидарности, неслучайно ведь Степанов писал о парадигмах как «явлении историческом» (1985, 4). Вопрос, однако, в том, насколько научное сообщество солидарно.

Польский исследователь А. Павловский обращает внимание на фрагмент книги Куна, в которой американский философ упоминает гуманитарные науки:

[...] Остается полностью открытым вопрос, имеются ли такие (т.е. основанные на единой методологии, единых эвристиках и моделях. — А. К.) парадигмы в каких-либо разделах социологии. История наводит на мысль, что путь к прочному согласию в исследовательской работе необычайно труден (Кун 1977, 33).

Павловский (любезно предоставивший мне фрагмент своей новой, готовящейся к изданию монографии) принципиально подчеркивает слабость требования «общепризнанности» парадигмы, во всяком случае по отношению к гуманитарным наукам, в которых, скорее, господствует многообразие точек зрения.

Действительно, в современном польском языкознании наравне представлены все известные направления лингвистических исследований: компаративизм, генеративизм, структурализм (например, в виде компонентного анализа, культивируемого в Польше группой М. Гроховского), когнитивизм, прагмалингвистика, лингвокультурология и др. Разумеется, среди них выделяются авангардные, «модные» направления, распространившиеся в 80-е и 90-е годы прошлого столетия, в первую очередь — когнитивное и коммуникативное (дискурсивное), о чем свидетельствуют хотя бы декларации их сторонников: «Коммуникативизм как парадигма языкознания XXI века» (Awdiejew/Habrajska 2004, 105); «Когнитивизм как новая научная парадигма» (Tabakowska 2000, 57). При этом, однако, нет достаточных оснований для утверждения о том, что на базе когнитивных или лингво-прагматических исследований сформировалась научная традиция, которая объединяет большинство современных языковедов. Собственно, вопрос о «большинстве» обычно и не ставится, а ведь без него рассуждения о парадигмах теряют смысл.

Если сравнить разные польские университетские центры, то оказывается, что многие из них вообще не имеют никакого методологического профиля, т.е. апелляции к определенной научной традиции. Встречаются и ситуации другого типа — сосредоточения научного сообщества на определенной «модели постановки проблем», но в каждом случае эта модель — иная. Например, Торунь ассоциируется в первую очередь с исследованиями в области структурной семантики, Вроцлав — с лингвокультурологией и прагмалингвистикой, Познань — с генеративной лингвистикой, лингвистической типоло-

гией, эколлингвистикой, Ольштын — с ономаσιологией (топонимикой), коммуникативной лингвистикой и философией языка. Показательным представляется и факт, что руководители большинства кафедр общего языкознания не имеют ничего общего ни с когнитивизмом, ни с лингвистической прагматикой: проф. Иренеуш Бобровский, руководитель кафедры общего языкознания Ягеллонского университета (Краков) специализируется в области формальной и генеративной лингвистики; проф. Аксель Хольвет, руководитель кафедры общего языкознания Варшавского университета занимается структурной лингвистикой, формальной грамматикой; проф. Ежи Банчеровский, руководитель кафедры общего языкознания Университета Адама Мицкевича (Познань) является специалистом в области лингвистической типологии.

Такое положение в польском (да, наверное, и в русском) языкознании в свете теории Куна должно бы означать отсутствие зрелости, хотя лингвисты, например, упомянутый Павловский, не соглашались с такой трактовкой. Касперский объясняет специфику гуманитарных наук (и гуманитарных «парадигм смысла») тем, что они основаны на интерпретирующем подходе, при котором познаваемое в какой-то степени сливается с познающим: реконструирующий парадигму субъект науки в силу необходимости относится к какой-то парадигме, а значит, его реконструкция не свободна и не объективна (Kasperski 2004, 12 ссл.).

С моей точки зрения, выход из этого порочного круга возможен только при условии, что «семиотическая лингвистика» от присущего ей пока что спекулятивного конструктивизма перейдет к дескриптивным методам, которые позволят достоверно определить степень господства разных «взглядов на язык». Делимитация парадигмы не должна осуществляться «на глазок», как это делалось во всех известных нам работах — должны существовать объективные критерии выделения доминирующих стилей мышления. В определенном смысле образцом или примером такого исследования может послужить монография А. И. Рейтבלата (2009), в которой скрупулезно проанализировано функциональное состояние читательской среды в России второй половины XIX века, с учетом тиражей издаваемой литературы, книжной торговли, библиотек, читательской аудитории, писательских гонораров и др. Для Рейтבלата литература — это социальный институт. Такой подход должен применяться и к языкознанию.

В социологии, как известно, действуют статистические законы, поэтому проблема парадигмы языкознания должна в первую очередь

решаться с опорой на фреквентивный критерий: я имею в виду частоту появления признаков того или иного научного направления в конкретных научных практиках, а также в процессе организации научной деятельности. Проблема эта требует отдельного рассмотрения и здесь не входит в мою задачу, поэтому я только перечислю некоторые возможные аспекты такого исследования:

1. количество публикаций в научных журналах, количество монографий;
2. количество научных конференций;
3. количество научных грантов (за которым стоит «грантовая политика»);
4. научные авторитеты;
5. профили наиболее престижных научных журналов;
6. лингвистические специальности в университетских программах и др.

Не исключено, что в результате реализации такого проекта не удалось бы получить информацию об одной, доминирующей парадигме. Для языкознания это означало бы, что оно находится в межпарадигмальной стадии, когда одна парадигма (структурная) себя исчерпала, а другая (постструктурная) еще окончательно не сформировалась.

3. Классификация парадигм

Проблема лингвистических парадигм непосредственно связана с представлением структуры знака. Традиционно в ней выделяются два основных аспекта: форма и содержание. Эту оппозицию в лингвистический обиход ввел Ф. де Соссюр, который писал: «Оба эти элемента теснейшим образом связаны между собой и предполагают друг друга» (Соссюр 1977, 99).

В первой половине XX века билатеральная модель знака получила дальнейшую разработку. Языковеды — под влиянием математической логики, а особенно — теории дескрипций Б. Рассела, возможно, также теории функционального прагматизма В. Джемса — обратили внимание на существование разных аспектов значения (хотя Э. Косериу констатировал наличие этой оппозиции в философии Аристотеля, см.: Coseriu 2004, 103 ссл.): с одной стороны, было выделено предметное (референтное) значение знака, т.е. обозначение предметов, действий, состояний и процессов; с другой стороны, рассматривалось понятийное (сигнификативное) значение знака, т.е.

отражение в знаке способа категоризации обозначаемых референтов в сознании носителей языка. Первый аспект стал предметом ономазиологии, т.е. теории номинации, а второй — предметом семасиологии, функциональной семантики. Новое представление о знаке было отражено в семантическом треугольнике (Ogden/Richards 1969, 11 ссл.).



Семантический треугольник, а именно — лежащий в его основе теоретический подход, давал больше возможностей представления функциональных аспектов языка, однако имел и важное ограничение: в расчет не принимался социальный контекст употребления знаков и его важнейший элемент — человек, т.е. носитель и в какой-то степени творец языка. На это обратили внимание представители социологического направления в языкознании, в России — М. М. Бахтин, также исследователи его круга, особенно В. Н. Волошинов, в Англии — представители лондонской школы (Дж. Фёрст и его последователи). Их критика традиционной лингвистики была направлена на то, что, как писал Б. Малиновский, раньше не учитывались коммуникативные ситуации, в которых значение языковых единиц актуализируется с учетом условий и процессов человеческой деятельности (см.: Pisarkowa 2000, 153). Благодаря усилиям этих ученых (а к ним следует добавить также представителей немецкой школы неогумбольтианства и более поздней французской и голландской школы анализа дискурса) в орбиту лингвистических исследований был вовлечен контекст как фундаментальная категория языковой деятельности и даже языковой компетенции.

Лежащая в основе данной статьи научная концепция опирается на понятие синергизма — взаимодействия разных аспектов функциональной системы. Предлагаемая синергическая модель знака и базирующаяся на ней синергическая модель лингвистических парадигм учитывает все выделенные ранее аспекты знака, рас-

сма­три­ва­ет их в кон­цеп­ту­аль­ном еди­нстве: во-пер­вых, учи­ты­ва­ется ис­ход­ная оп­по­зи­ция со­дер­жа­ния и фор­мы; во-вто­рых, при­ни­ма­ется во вни­ма­ние се­ман­ти­че­ская мо­дель Ог­де­на и Ри­чард­са; в-тре­тьих, в сфе­ру зна­ка вклю­че­на так­же ка­те­го­рия кон­тек­ста. Та­ким об­ра­зом, зна­к вклю­ча­ет пять ас­пек­тов:

1. фор­му;
2. сиг­ни­фи­ка­тив­ное зна­че­ние;
3. ре­фе­рен­тное зна­че­ние;
4. струк­ту­ру;
5. кон­текст (ок­ру­же­ние).

Э­то, од­на­ко, е­ще не все. Ва­ж­ное ме­сто в си­нер­ги­че­ской мо­де­ли зна­ка за­ни­ма­ет ше­стой эле­мент, о ко­то­ром я уже пи­сал в пре­ды­ду­щих пу­бли­ка­ци­ях (Ки­кле­вич 1999, 127; Kiklewicz 2004в, 47), а имен­но — прин­цип оп­ти­маль­но­сти. Он за­к­лю­ча­ет­ся в том, что в за­ви­си­мо­сти от ти­па ре­че­во­го дей­ствия, ок­ру­же­ния, со­сто­я­ний ре­че­вых субъ­ек­тов и др. от­но­ше­ния ме­жду ас­пек­та­ми зна­ка кон­фи­гу­ри­ру­ют­ся та­ким об­ра­зом, что­бы вза­им­о­дей­ствие язы­ка и внеш­ней сре­ды бы­ло оп­ти­маль­ным.

Де­й­ствие прин­ци­па оп­ти­маль­но­сти я пока­жу на сле­ду­ю­щем при­ме­ре. При­ня­то счи­тать, что с уве­ли­че­нием фор­ма­та зна­ка (т.е. пе­ре­хо­да от зву­ка к мор­фе­ме, от мор­фе­мы — к лек­се­ме, от лек­се­мы — к сло­во­со­че­та­нию, от сло­во­со­че­та­ния — к пред­ло­же­нию) сте­пень его ико­ни­че­ско­сти, ко­мп­о­зи­ци­он­но­сти, а зна­чит, и роль струк­тур­но­го фак­то­ра воз­ра­ста­ет. Но ока­зы­ва­ет­ся, что при э­том воз­ра­ста­ет и роль сре­ды как фак­то­ра со­дер­жа­тель­ной на­пол­нен­но­сти язы­ко­вых зна­ков: сло­ва как но­ми­на­тив­ные, за­ко­ди­ро­ван­ные в па­мя­ти но­си­те­лей язы­ка еди­ни­цы се­ман­ти­че­ски бо­лее ус­той­чи­вы, кон­вен­ци­о­наль­ны по срав­не­нию, на­при­мер, с пред­ло­же­ни­я­ми, зна­че­ние ко­то­рых, в прин­ци­пе, иди­о­син­кра­ти­чно, т.е. за­ви­сит от ус­ло­вий упо­треб­ле­ния. Учи­ты­вая (со­г­лас­но по­сту­ла­там об­щей те­о­рии си­стем), что струк­ту­ра и сре­да пред­став­ля­ют со­бой два про­ти­во­дей­ст­вую­щих фак­то­ра — ведь струк­ту­ра объ­ек­та уве­ли­чи­ва­ет его со­про­тив­ля­е­мость по от­но­ше­нию к воз­дей­ст­ви­ям сре­ды, рас­с­ма­три­ва­е­мая вы­ше си­ту­а­ция пред­став­ля­ет­ся как чрез­вы­чай­ная, па­ра­док­саль­ная. Про­б­ле­ма до­воль­но про­сто ре­ша­ет­ся с по­мо­щью прин­ци­па оп­ти­маль­но­сти: с воз­ра­ста­е­нием мас­шта­ба зна­ка уве­ли­чи­ва­ет­ся роль че­ло­ве­че­ско­го фак­то­ра, ко­то­рый, в част­но­сти, про­яв­ля­ет­ся в сво­бо­де вы­бо­ра та­кой кон­фи­гу­ра­ции струк­тур­ных эле­мен­тов зна­ка, ко­то­рая наи­бо­лее со­от­вет­ст­ву­ет внеш­ним (пси­хи­че­ским, со­ци­аль­ным, фи­зи­че­ским, фи­зи­о­ло­гиче­ским и т.д.) ус­ло­ви­ям ре­че­вой де­я­тель­но­сти.

Часто принцип оптимальности реализуется в форме принципа минимального действия: речь идет о компрессии формальных и структурных параметров речевых сообщений в условиях, когда значительная часть информации вытекает из контекста. М. А. Шелякин пишет в связи с этим о «принципе минимальной самодостаточности признаков языковых единиц». Этот принцип

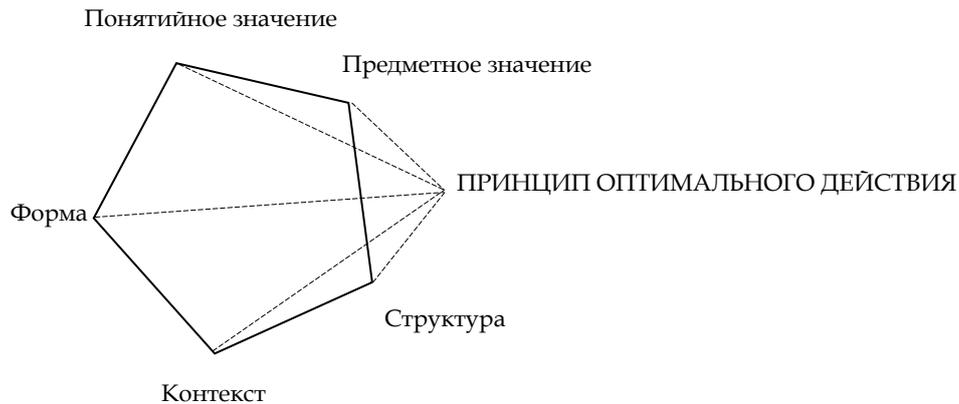
заключается в оптимальной редукции информации, содержащейся в знаке [...] что обеспечивает оперативность и автоматизм передачи и понимания языковых единиц. [...] Наличие у человека минимума дифференциальных признаков объекта подтверждается психологическими наблюдениями: при первом восприятии объекта происходит его восприятие полностью, но при втором и т.д. восприятию человек руководствуется лишь «критическими точками», а остальные признаки редуцируются (Шелякин 2002, 111 ссл.).

Было бы ошибочным, однако, отождествлять эти два понятия: принцип оптимальности и принцип минимального действия, так как нередки ситуации языковой деятельности, в которых речевой субъект стремится к языковой избыточности — это свойство речевых сообщений называется также редунданцией. А. А. Реформатский (1987, 148 сл.) предложил в связи с этим понятие «добавочной защиты», которое понимал как употребление в тексте дополнительных, необязательных с точки зрения отправителя сообщения знаков, которые используются с целью обеспечения понимания сообщения в неидеальных условиях, когда его элементы подвергаются более или менее сильной деформации. Так Реформатский интерпретировал знаки препинания.

Американский философ Дж. Миллер (2004, 395 ссл.) пошел дальше — выдвинул концепцию, согласно которой имеющая место в разных культурных ситуациях и граничащая с маньеризмом чрезвычайная регламентация и языковая организация текстов (например, ораторского стиля) обусловлена стремлением речевого субъекта (мужчины) к особому типу персуазивного воздействия, целью которого является сексуальное возбуждение коммуникативного партнера, а в конечном итоге — успех в половых отношениях.

Гиперконструкция текста встречается также в условиях суггестивного речевого воздействия, например, в религиозных проповедях, когда формальная избыточность и структурная повторяемость элементов текста служат для передачи особого «духовного» смысла (Kiklewicz 2005б, 142).

С учетом введенных выше параметров языкового знака можно графически представить его синергическую модель.



Обратим внимание, что предложенная модель учитывает все важнейшие семиотические категории: во-первых, оппозицию значения и формы; во-вторых, оппозицию понятийного и предметного значения; в-третьих, оппозицию семантики, синтактики («структура») и прагматики («контекст»). Все эти категории — своего рода марионетки, которые управляются принципом оптимальности.

В зависимости от содержания культуры тот или иной аспект знаков выдвигается на первый план — здесь, видимо, действует известный в психологии механизм «фигура — фон» (см. Прокопчук 2009, 103). Так, в традиционной лингвистике на первый план выдвигается языковая (прежде всего грамматическая) форма, в структурной лингвистике — структура, в постструктурной лингвистике — социальный и, шире, антропологический контекст. Аксиоматически, опираясь на предложенную параметризацию знака, можно получить шесть парадигм, которые подтверждаются историей лингвистических учений:

1. традиционная формальная парадигма — профилирование формы языковых единиц (с древности до второй половины XIX века);
2. семасиологическая (психологическая) парадигма — профилирование закодированной в системе языка (а также в языковой памяти его носителей) понятийной системы, отчасти связанной с системой культуры (вторая половина XIX века);
3. ономазиологическая (реистическая, экстенциональная) парадигма — профилирование номинативного аспекта содержания

языковых знаков, т.е. их отношения к предметам действительности, положениям дел и т.п. (первая половина XX века, возрождение этой парадигмы – в 70-80-е годы XX века);

4. структурная парадигма – профилирование структуры языка, т.е. парадигматических и синтагматических отношений между его единицами разного формата (фонемами, лексемами, граммемами, предложениями), в том числе и межуровневых отношений, т.е. функционирования единиц меньшего формата в составе единиц большего формата (начиная с первой половины до 70-х годов XX века);
5. постструктурная (антропологическая) парадигма – профилирование (коммуникативного когнитивного, культурного и др.) контекста (т.е. среды, окружения) языковой системы (начиная с 70-х годов XX века до наших дней);
6. парадигма универсализма (холистическая парадигма) – профилирование принципа оптимальности.

4. Содержание парадигм

Кратко охарактеризую каждую парадигму. Формальная парадигма сформировалась еще в древнем мире. Основным типом лингвистического знания в этой парадигме считались грамматики. В средние века господствовало представление об универсальной грамматике, которая была построена по модели латинского языка. К этой идее, в сущности, сводится и сравнительно-историческое языкознание, которое ставит своей задачей описание общих правил языкового развития, при этом исследователей интересуют формальные единицы – фонетические и грамматические.

Семасиологическая парадигма представлена психологическим направлением второй половины XIX века. С этого времени в систему наук о языке постепенно вводятся элементы функционализма: был отброшен примат языковой формы в пользу представления о языке как о функциональной системе. Психологи предложили идиографическую трактовку языка, согласно которой его семантика целиком погружена в духовную культуру его носителей – и на уровне социальной группы, и на уровне индивидов. Л. В. Сахарный приводит в связи с этим утверждение немецких языковедов Г. Остгофа и К. Бругмана, авторитетов лингвистики того времени: «Язык не есть вещь вне людей и над ними и существующая для себя; он по-настоящему существует только в индивидуумах» (1983, 7 сл.).

Представители немецкой психологической школы В. Вундта понимали свою задачу как описание менталитета народа через описание языка, фольклора и ритуалов.

Следующая, ономасиологическая парадигма наименее заметна в истории языкознания, она как бы самая «тихая» (например, по сравнению с «громким» структурализмом). Эта парадигма возникла в первой половине XX века — возможно, под влиянием книги Л. Витгенштейна „Tractatus logico-philosophicus“ (1921/1969), в которой была представлена репрезентативная, иконическая модель знака (а именно — предложения), структура которого повторяет структуру референта (т.е. отображаемого положения дел). Сущность этой парадигмы состоит в профилировании референтного отношения знаков, т.е. их способности выступать в качестве имен предметов, действий, процессов, состояний и т.д. Поэтому данную парадигму можно также квалифицировать как номинативную. Видимо, на развитие данного направления лингвистики повлияла философия феноменологии — это влияние наиболее чувствовалось в случае австрийской школы «Слова и вещи» («Wörter und Sachen»), к которой принадлежали такие известные ученые, как Р. Мерингер, Г. Шухард и др.

Номинативная парадигма включала три значительные направления лингвистических исследований:

1. исследования в области семантических полей, которые трактовались (например, Ф. Дорнзайфом) как предметные группы (ср. нем. *Sachgruppen*);
2. семантический синтаксис, который отчасти опирается на грамматику зависимостей Л. Теньера, отчасти же — на математическую логику, в частности, логическую семантику А. Тарского; эта лингвистическая модель наиболее последовательно (если рассматривать славянские страны) была разработана польскими лингвистами, впервые — в «Грамматике современного польского языка» под редакцией З. Тополинской (Topolińska 1984), а также в работах С. Кароляка (Karolak 2002), М. Корытковской и А. Киклевича (Kiklewicz/Korytkowska 2010) и др.;
3. исследования в области теории референции, которая восходит к теории дескрипций Б. Рассела и которая была особенно популярна в 80-е годы прошлого столетия, когда можно было говорить о возрождении ономасиологической парадигмы.

На появление структурной парадигмы значительное влияние оказала литература модернизма начала XX века, особенно поэзия (в таких странах, как Чехия или Россия). В эту эпоху наступила смена

стилей письма: языковая форма и структура текста выдвинулась на первый план и интерпретировалась (сознательно или подсознательно) как важнейший элемент содержания. Семантизация формы и структуры текста была основным конструктивным принципом литературы модернизма. Позднее, в 70-е XX века Ю. М. Лотман писал, что такой тип поэтики (когда художественный текст становится ценностью самой в себе) сформировался под влиянием живописи, где отдельные элементы картины приобретают смысл только в единстве взаимных связей, как система (1973, 386).

Структурализм в Европе и в США был представлен несколькими направлениями, наиболее важными из которых являлись: женевская школа, датская (копенгагенская) школа, пражская школа (функциональный структурализм), французская школа (структурный анализ текста), тартуско-московская (семиотическая) школа, американская генеративная лингвистика. Б. М. Гаспаров пишет о важной роли семиотики для развития структурализма, особенно в 60-е XX века (1998; 2002). Ученый отмечает, что, начиная с 70-х годов прошлого столетия, в языкознании намечается крен в сторону феноменологии, антропологии, эмпирического мышления о языке. Лингвистическая семиотика постепенно уходит в историю, о чем пишет, например, польский исследователь тартуско-московской школы Б. Жилко (Żyłko 2009, 81). По мнению Гаспарова (1996, 34), прежде всего благодаря работам французских философов языка, таких, как М. Фуко, Ж. Лакан, Ж. Делез и др., в науках о языке набирает силу индетерминизм и иррационализм, что создает предпосылки для научной революции и появления новой парадигмы.

В конце прошлого столетия в языкознании (и вообще — в гуманитарных науках) распространяется постструктуралистская парадигма — иначе ее именуют постмодернистской, антропологической и даже экологической (см.: Генис 2002, 306). В основе этого направления лингвистических исследований лежит профилирование контекста, т.е. описание языка с точки зрения его регулярного взаимодействия с элементами среды. Иногда утверждается, что постмодернизм в языкознании, главным образом, заключается в исследовании языка в аспекте его употребления (см. Fairclough/Duszak 2008, 11), однако это не совсем верно, потому что современная «открытая» лингвистика одинаково много внимания уделяет как социальным, коммуникативным, так и когнитивным проблемам его функционирования. Когнитивисты трактуют язык как модель репрезентации мира.

Среда функционирования языка стала интересовать лингвистов довольно поздно — во второй половине XIX века, когда распространилась (восходящая к философии романтизма) концепция «*milieu*», т.е. всеобъемлющего окружения языка и человека (Rewers 1996, 20 ссл.). На развитие постмодернизма в языкознании конца XX века оказала влияние психология языка второй половины XIX века (см. выше), а также научные направления, в основе которых лежал эмпиризм: русская социологическая школа, немецкое неогумбольдтианство, лондонская функциональная школа, американская антропология культуры. Именно благодаря развитию этих направлений в первой половине прошлого столетия в теоретическом языкознании появилась оппозиция внутренней и внешней лингвистики.

Антропологическая лингвистика выдвигает тезис, в соответствии с которым языковая форма в коммуникации вторична, а важнейшую роль играет информация, которую участники коммуникации черпают из окружения. Таким образом, языковеды постепенно отказываются от традиционной, линейной интерпретации текста, в основе которой лежит последовательная обработка номинативных знаков и их синтагматических конструкций. Напротив, доминирующей становится деконструкция текста, означающая его синергическую интерпретацию — на основе регулярных или случайных факторов его окружения, например, психических установок речевых субъектов (Spivey-Knowlton/Trueswell/Tanenhaus 1993, 301).

Можно встретить суждение, что «в лингвистике открытия играют несравненно меньшую роль, чем способы ставить научные проблемы — стили мышления» (Серио 1993, 37). Это не совсем верно, потому что и открытия в языкознании важны. Например, открытие европейцами санскрита в XVIII веке во многом способствовало появлению сравнительно-исторического метода в языкознании. Так и с антропологической лингвистикой: на ее распространение, несомненно, оказал влияние тот факт, что лингвисты в XX веке обратились к единице наивысшего формата — тексту, а также к речевой, в том числе и устной, коммуникации. Интересно, что в России эта традиция в какой-то степени была заложена марксистским языкознанием, один из апологетов которого, А. С. Мельничук, писал:

Абстрактная система языка как результат научной обработки реального языка не может рассматриваться на одном уровне с конкретным языком как речевой деятельностью и не может считаться непосредственным объектом лингвистического исследования наряду с речью (1992, 5-6).

Как известно, основное свойство разговорной речи – субстанциональность, т.е. взаимодействие речевых сообщений с конситуацией (Warchala 2003, 40). Этим свойством обусловлена частичная или полная некомпозиционность речевых сообщений, т.е. незаполненность некоторых синтаксических позиций, деформация синтаксических связей, контаминации и др. (подробнее см.: Звегинцев 1976, 178). Эта особенность разговорной речи и обусловила интерес исследователей к «субстанциальной» стороне речевой коммуникации.

В связи с этим Ю. Шатов пишет о невозможности устной формы критической философии. Интересными представляются следующие рассуждения русского исследователя:

Всякий раз, обращаясь к формам устной речи, мы [...] не можем освободиться от собственного габитуса независимо от содержания речи. Тембр, ритм, паузы, телодвижения – все это суггестивные формы коммуникации, направленные на околдование нашего разума, а не на битву с колдовством (апелляция к тексту Л. Витгенштейна. – А. К.) (Шатов 2008, 79).

В эпоху постмодернизма стал отчетливо заметен методологический плюрализм, являющийся отражением характерного для современности культурного релятивизма. Д. Шумская (Szumska 2007, 8) объясняет это влиянием философии Х. Г. Гадамера, противопоставившего истину и метод, а также теорией научных революций Куна, который считал невозможным диалог между конкурирующими парадигмами. Шумская пишет, что такая методологическая установка требует от исследователя смирения, а именно – усвоения принципа, согласно которому всякое знание относительно, а значит, «мое» и альтернативное знание равноправны.

Может даже возникнуть впечатление, что мы живем в постпарадигматическую эпоху, когда перестали существовать научные авторитеты и большие научные теории (об этом уже была речь в первой части статьи). Именно поэтому ценность интегративного подхода в языкознании как никогда возросла.

Наука, сохраняя специализацию отдельных дисциплин, стремится к интеграции, к взаимодействию разных форм знания. Последняя из выделенных парадигм, универсалистская, другими словами – интегрирующая, как можно надеяться, будет доминирующим направлением в науках о языке в будущем. Все предшествующие парадигмы состояли в том, что отдельному аспекту языка приписывался доминирующий статус. Отличность новой парадигмы заключалась бы в том, что она объединит все аспекты в рамках общей кон-

цепции. Такая установка максимально корреспондирует со здравым смыслом, ведь жизненность языка, его способность эффективно функционировать в разнообразных условиях человеческой деятельности обусловлена единством всех его элементов и всех категорий. Поэтому новая парадигма будет иметь междисциплинарный характер, объединяя в рамках научных проектов специалистов из разных областей: лингвистов, психологов, социологов, философов, специалистов по искусственному интеллекту, культурологов, математиков и др. — ср. введенное Ч. П. Сноу понятие «третьей культуры» (Snow 1992; см. также: Vobryk 2009). Это, разумеется, не исключает развития специальных областей знания.

Гипостазирование, гиперболизация в науке может свидетельствовать об интеллектуальной силе исследователя и даже о его научной отваге (хотя у меня отвага вызывает в первую очередь ассоциацию с русским выражением «Назло мамке отморожу палец»). Надо все же признать, что с точки зрения постижения истины, особенно — с точки зрения познания закономерностей функционирования изучаемых объектов, такая исследовательская установка является нецелесообразной, мало пригодной (хотя часто она становится импульсом для возникновения научных сообществ, школ, направлений — разного рода социальных «игр», как определил бы это Л. Витгенштейн или Э. Берн). Идея универсализма или родственная ей идея интеграции в науке в этом контексте кажутся привлекательными, но следует помнить, что научно обоснованный универсализм требует совершенных инструментов исследования, а кроме того — зрелого научного сообщества, способного ставить и решать междисциплинарные задачи.



Парадигмы языкознания в культурно-динамическом аспекте (на примере структурализма в славянском языкознании XX века)

Естественным образом в построении теории языка самое активное участие должны принять лингвисты.

В. А. Звегинцев

Введение

Лингвистическое знание изменчиво. Его изменчивость во времени отражает понятие парадигмы, которое Ю. С. Степанов определял как «господствующий в какую-либо [...] эпоху взгляд на язык, связанный с определенным философским течением и определенным направлением в искусстве» (1985, 4). Но лингвистическое знание изменяется также в пространстве — в зависимости от культурной среды, в которой действуют научные сообщества. Белорусская исследовательница Е. С. Суркова пишет:

Любое историческое (а надо добавить: и всякое другое. — А. К.) знание существует в эпистемическом пространстве культуры, которое задается познавательно-коммуникативной деятельностью и реализуется в тезаурусе языка, а также в совокупности текстов, сохраненных коллективным механизмом «памяти» [...] (2008, 18).

Поэтому на изменчивость содержания лингвистических теорий, методов лингвистических исследований, на роль, которую играет лингвистика в системе научных знаний, влияют не только доминирующие в определенную эпоху философские стили мышления, но и культурные факторы, к которым можно отнести:

1. художественный стиль эпохи («стиль письма» по Р. Барту) — классицизм, романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм;
2. господствующую в данной социальной среде культурную традицию, в частности, представленную в фольклоре;
3. господствующую общественно-политическую идеологию, государственные институты, содержание и цели языковой политики и др.

Первый фактор проявляется в том, что каждая научная парадигма отражает доминирующий в определенной культурной среде стиль письма. В принципе, стили письма (другими словами — типы поэтики) универсальны, по крайней мере в масштабе Европы, однако в разных регионах они выступают с разной интенсивностью, по-разному локализованы во времени, содержат разные системы подстилей, жанров, прецедентных текстов. Можно, например, считать, что структурализм и формализм в языкознании начала прошлого столетия сформировались на базе художественного модернизма, особенно интенсивного во Франции и России. Степанов в связи с этим писал:

Открытие художников-импрессионистов, новый предмет живописи — не объективная вещь, не игра воздуха и света на ее поверхности, не субъективное впечатление от нее, а единство одного, другого и третьего, «вещь — световоздух — впечатление», оказалось художественным аналогом понятия предиката (1985, 125).

Степанов также утверждал, что поэтика модернизма была по своему существу формальной, и это касается не только наиболее типичного с этой точки зрения футуризма, содержанием которого была «чистая взаимосвязанность и взаимосоотнесенность смыслов» (1985, 197), но и других литературных направлений: имажинизма или символизма. Именно на этой базе в филологической науке сформировалась русская формальная школа. Хорватская исследовательница Д. Ораич-Толич пишет, что предложенная Р. Jakobsonом трактовка поэтической функции как «проецирования принципа эквивалентности с оси селекции на ось комбинации» (Jakobson 1975, 204) является эффектом влияния именно культуры русского литературного модернизма (Oraić-Tolić 1995, 63).

О влиянии культурной традиции, а также господствующей в стране идеологии на характер лингвистических исследований указывает Н. Б. Мечковская. Она, например, отмечает разную степень разработанности лингвистических проблем в белорусском и украинском языкознании, значительно большую заинтересованность украинцев языком и языковой политикой, а в качестве причин такого положения рассматривает политическую историю двух народов (Мячкоўская 2012). Белорусы, по мнению Мечковской, были подчинены и наказаны Российской империей за сочувствие Польше, тогда как Украина, напротив, была союзником России в ее войнах против Польши. На Украине царское правительство содействовало функционированию университетов и лицеев (перед первой мировой войной там было более десяти высших учебных заведений, в том числе и консерватория). В Белоруссии ситуация выглядела иначе: в результате раздела Речи Посполитой здесь закрывались учебные заведения, библиотеки, архивы, в результате чего белорусские культурные институты перестали существовать. Это привело к тому, что в Российской империи высшее образование для белорусов стало возможным только на чужбине, что — свою очередь — нашло отражение в денационализации культурного сознания интеллигенции и чиновников, а также в снижении общего уровня образования населения: до первой мировой войны он в Белоруссии был самым низким в сравнении с другими регионами европейской части России. Эти исторические обстоятельства проявились в том, что — в отличие от русской и украинской культуры — белорусам свойственна инфантильность по отношению к языку и в целом — по отношению к образованию, к книжности, к городской культуре, к разного рода «идеологиям». В белорусской лингвистике, по мнению Мечковской, такая культурная установка находит отражение в узкой постановке лингвистических задач, в своеобразной местечковости лингвистического мышления. Следует указать, что и уровень лингвистических исследований (особенно диалектологических, лексикографических) на Украине несравнимо выше, чем в соседней Белоруссии; достаточно сослаться на научное наследие таких выдающихся украинских языковедов, как Л. А. Булаховский, Ю. В. Шевелев или И. И. Огиенко — сопоставимых по величине ученых нет в истории белорусской лингвистики. Что касается ведущих белорусских языковедов, например, П. А. Бузука, В. В. Мартынова, А. Е. Супруна или Б. Ю. Нормана, то они приезжие, воспитаны в русской или украинской культурной среде и являются носителями иной, небелорусской ментальности.

Е. А. Потехина отмечает различие украинского и белорусского подходов к реформированию правописания (2006, 91 сл.): на Украине реформа правописания трактуется как одна из важных государственных задач, поэтому состав правописной комиссии (в которую входят 44 человека) утверждается Кабинетом министров; в Белоруссии же только в 2010 г. появилась новая редакция старых правил орфографии, при этом один из ее авторов, А. А. Лукашанец (в течение многих лет — директор Института языкознания) считает, что внесенные изменения незначительны, так как серьезное реформирование орфографической системы нецелесообразно (<http://www.svaboda.org/content/article/773186.html>).

Тезис о том, что лингвистические парадигмы непосредственно ангажированы в культурный контекст функционирования научных сообществ, я докажу на примере того, как структурализм — доминирующая парадигма в языкознании XX в. — был представлен в трех славянских лингвистических традициях: чешской, русской и польской.

1. Структурализм в чешском языкознании

В 20-е годы XX в. в Чехии была основана одна из наиболее известных школ структурализма — Пражский лингвистический кружок, который существовал с 1926 г. по 1948 г. К этой школе принадлежали выдающиеся языковеды: В. Матезиус, В. Скаличка, Б. Гавранек, Я. Мукаржовский, Ф. Водичка, С. О. Карцевский, Р. О. Якобсон, Н. С. Трубецкой и др. Пражская школа внесла значительный вклад в развитие целого ряда лингвистических направлений, особенно таких, как фонология, коммуникативная структура (актуальное членение) предложения, теория функциональных стилей и, в частности, теория поэтического языка, структурная типология языков (особенно славянских), теория языковых контактов и языковых ареалов.

Исследователи отмечают, что, с одной стороны, пражские лингвисты находились под сильным влиянием «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, но, с другой стороны, творчески переработали его основные постулаты — отчасти с учетом достижений русской лингвистической традиции: работ И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова и др. (Мауенова 1966, 11; Кондрашов 1967, 6). Таким образом возник оригинальный симбиоз философского неопозитивизма и синергизма, т.е. учета взаимодействия элементов и среды. Это, по мнению Н. Кондрашова, обусловило амбивалентность содержания

лингвистических исследований пражской школы: их структурный и одновременно функциональный характер (Кондрашов 1967, 7).

Интенсивное развитие структурализма в чешском языкознании было обусловлено несколькими факторами. Одним из них был научный фактор, а именно — философия неопозитивизма как методологическая основа исследований в разных гуманитарных науках. Важно то, что пражская лингвистическая школа в значительной степени сформировалась благодаря существованию собственных философских ресурсов. Речь идет о логической концепции языка Т. Масарика, о философии языка А. Марти, о семиотике и формальной поэтике И. Хануша. С другой стороны, важное значение имело также влияние Женевской школы структурализма, особенно после лингвистического конгресса в Гааге в 1928 году, когда наметился союз Женевы и Праги. Свой вклад в развитие чешского структурализма внесли и русские ученые — представители русской формальной школы, прежде всего находящиеся в эмиграции Р. О. Якобсон, Н. С. Трубецкой, П. Г. Богатырев и др. На семинарах Пражского кружка выступали приглашенные из России Ю. Н. Тынянов, Г. О. Винокур, Б. В. Томашевский. Не случайно Я. Магнушевский пишет о «традиционном чешском русофильстве» (Magnuszewski 1995, 239).

Другой, культурно-исторический фактор развития чешского структурализма заключался в необходимости кодификации чешского литературного языка, который в результате потери независимости страны после битвы под Белой Горой в 1620 г. перестал выполнять свои функции в публичной коммуникации: чешский язык почти на два столетия был изгнан из школ, из государственных и культурных заведений. Только на переломе XVIII и XIX веков чехи стали возрождать свой язык. Чешское возрождение — в отличие от польского (см. далее) — в значительной степени проходило именно под знаком возрождения языка — об этом пишут, например, Н. В. Ивашина и Б. А. Плотников (1985, 6). Формирование новой литературной нормы в Чехии также протекало иначе, чем в других славянских странах (например, в Белоруссии, Сербии, Украине): поскольку чешский язык был в значительной степени вытеснен из речевого обихода, литературная норма была сформирована с опорой на норму литературы XVI в. Все эти обстоятельства способствовали концентрации внимания на проблемах языка, тем самым выдвигая на первый план «внутреннюю» лингвистику и семиотику языка, что в конечном итоге нашло отражение в формировании самостоятельной школы функционального структурализма.

Значительное влияние на развитие структурализма в Чехии имел также культурный, а именно — художественный фактор. Речь идет о развитии модернизма в чешской литературе конца XIX века. В 1895 г. появился «Манифест чешского модернизма», который содержал радикальную критику реалистического направления в искусстве. В «Манифесте» выражалось стремление отделить литературу от идеологии, от сферы политики и социальной философии (Magnuszewski 1995, 216). Важно отметить, что такая, неопозитивистская модель культуры, восходящая к западноевропейской традиции, была чужда соседней Польше (см. далее). В чешской литературе конца XIX века и начала XX века во всем объеме нашла отражение тогдашняя философия культуры (например, философия А. Бергсона), а также художественный авангард — кубизм, футуризм, экспрессионизм и др. Подтверждение этому мы находим, в частности, в «Альманахе 1914 года». Для чешских литераторов этого периода характерно прежде всего формальное мастерство, вершиной которого стало творчество Яна Врхлицкого. Магнушевский пишет, что эта традиция в чешской литературе возникла под влиянием французского парнасизма (в частности, таких авторов, как С. Прюдом, Т. де-Банвиль, Л. де-Лилль, Ш. Бодлер, П. Верлен и др.) (Magnuszewski 1995, 159).

Важно отметить, что если в польской литературе XIX века и начале XX века доминировала проза (Г. Сенкевича, Б. Пруса, С. Реймонта, Э. Ожешко и др.), то в чешской литературе, напротив, главную роль играла поэзия. Как известно, поэтический язык обладает значительно более высокой степенью организации, поэтому своего рода «культ поэзии» также способствовал тому, что внимание исследователей было направлено в сторону формы, а не содержания художественных текстов.

2. Структурализм в русском языкознании

В России основы структурализма были заложены формальной школой Ф. Ф. Фортунатова. Методологически женеvский структурализм и русский формализм имеют много общего, на что указывал В. Я. Пропп (1983, 566). Не случайно представители русской формальной школы оказали сильное влияние на пражскую структурную лингвистику (см. выше). В 1915 г. возник Московский лингвистический кружок, в котором, в частности, формировались лингвистические взгляды Р. О. Якобсона. В 1916 г. в Петербурге возник ОПОЯЗ («Общество по изучению поэтического языка»), который также опирался на про-

грамму формального исследования художественного текста. Русские формалисты, которые значительно больше внимания уделяли поэзии, чем прозе, утверждали, что теория литературы должна исключать социальную, психологическую и идеологическую проблематику, а художественный текст должен пониматься как своеобразная система знаков. Писатель имеет в своем распоряжении реестр знаковых средств, особенность же каждого текста состоит в том, что эти средства упорядочены в соответствии с избранным конструктивным принципом. Ю. Н. Тынянов, автор этого понятия, писал о слабой миметической, репрезентативной функции литературы, в которой важнее деформация смыслового «материала» (т.е. так называемая литературная фикция) и деформация способов его выражения (Тынянов 2004, 6). В поэзии «одна группа факторов (интерпретации смысла текста. — А. К.) выдвигается за счет другой» (там же, 9).

Исследования поэтического языка являются главным вкладом русских ученых в развитие структурализма в первой половине XX в. Кроме этого внимания заслуживает также русская фонологическая школа, представленная двумя центрами: в Ленинграде и Москве (Матусевич 1976, 72). Первое направление ставило акцент на формальный аспект фонемы, который реализуется в понятии дифференциальных признаков, тогда как второе направление обращало внимание на функциональный аспект фонемы, а именно — на ее функционирование в составе морфемы, на сильные и слабые позиции фонем. Независимо от этих различий и Ленинградская, и Московская фонологическая школа принадлежали к общей научной парадигме — структурализму, который единственным предметом лингвистики считал отношения единиц (одного и того же или разного формата) в системе языка.

Во второй половине XX в., особенно начиная с 60-х годов, эпохи «оттепели», структурные исследования охватывают сферу семантики, морфологии и синтаксиса. В связи с этим следует упомянуть московскую семантическую школу (в частности, теорию «смысл — текст»), теорию формального синтаксиса (Шведова 1970), а также широко известную во всем мире, основанную Ю. М. Лотманом и В. Н. Топоровым тартуско-московскую семиотическую школу.

Развитие структурализма в русском языкознании можно объяснить несколькими факторами: научным, художественным и культурно-историческим. Хотя, как пишет О. Лещак, свойственный русским иррационализм привел к тому, что в России никогда не возник философский позитивизм (Leszczak 2009, 201), тем не менее на уч-

ного фактора развития русского структурализма (в особенности формализма) нельзя отрицать: он состоял в том, что в русском языкознании XIX в., прежде всего благодаря усилиям Фортунатова, было развито формальное направление, в частности, учение о грамматической форме. Распространению структурного стиля мышления способствовал интерес к языку со стороны русских математиков. Так, почетный академик Н. А. Морозов, известный деятель «Народной воли», издал в 1915 г. статью «Лингвистические спектры: средство для отличения плагиатов от истинных произведений того или иного известного автора», в которой реализовал попытку «вывести общие стилеметрические законы» художественных текстов (Морозов 2013). Позднее методика статистического исследования художественного идиостиля была усовершенствована, чему способствовали, в частности, работы другого математика — А. А. Маркова (см. Кондратов 1978, 29).

Можно считать, что развитию структурализма/формализма в России первой половины XX в. способствовала набирающая силу философия релятивизма, которая нашла свое отражение в работах по семиотике искусства (С. М. Эйзенштейна, Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума и др.), а также в биологической (антидарвинистской) теории номогенеза Л. С. Берга (Берг 1977; подробнее см.: Кіклевіч 1996, 50 ссл.). Вряд ли можно говорить о прямом влиянии теории Берга на структурное языкознание, но к созданию общей научной атмосферы, в которой структурная типология постепенно вытесняла историческую, диахроническую, эта теория имела непосредственное отношение.

Художественный фактор развития русского структурализма состоял в том, что в начале XX в. в России доминировали разные школы литературного модернизма: символизм, акмеизм, имажинизм, футуризм. По определению А. М. Зверева, их объединяет целый ряд черт: социальная индифферентность, антиисторизм, формализм, герметичность (Зверев 1987, 226). Это подчеркивал и Степанов:

Вообще все поэтики модернизма — формалистов, футуристов, имажинистов, позднее структуралистов и даже, хотя в меньшей степени, символистов — некоторыми чертами, в особенности «операциями над словом», близки друг к другу (1985, 261).

Именно эти, выдвинутые на первый план «операции над словом» и стали главным объектом в исследованиях русской формальной школы.

Развитие структурализма в Советском Союзе зависело также от культурно-исторического, другими словами — идеологи-

ческого фактора. Дело в том, что в первой половине XX в. в советском языкознании доминировал марризм — классовая теория языка, в основе которой лежала упрощенная версия философии К. Маркса. Советская школа социологии языка (например, круг М. М. Бахтина) сформировалась в особых социально-политических условиях, когда молодое советское и, что особенно важно, многонациональное государство нуждалось в солидной научной базе для проведения языковой политики. С одной стороны, это отчасти способствовало развитию «внутренней» лингвистики, методы которой были необходимы (и — что существенно — пригодны) при кодификации национальных языков, при создании алфавитов и систематизации принципов орфографии. С другой стороны, идеологическая (марксистско-ленинская) установка ограничивала применение в лингвистических исследованиях структурного метода, который признавался как элемент буржуазной, чуждой советской науке идеологии. Идеологическая борьба со структурализмом заострилась во второй половине XX в., когда в статье 1965 г. известный языковед В. И. Абаев определил структурализм («лингвистический модернизм») как «дегуманизацию науки о языке» (1965, 24). Гонения на структуралистов привели к тому, что часть ученых была вынуждена эмигрировать из страны.

В 90-е годы, когда наступил крах коммунистической системы, возврата к структурализму в России, однако, уже не было. Хотя в русском языкознании по-прежнему проводятся исследования в русле структурализма — в первую очередь, в среде московской семантической школы (ср. работы В. Г. Гака, Ю. Д. Апресяна, Е. В. Падучевой, И. М. Богуславского, Л. Л. Йомдина, В. З. Санникова, А. А. Зализняка и др.), многие русские ученые — под влиянием американской когнитологии и европейской (французской, голландской, английской) теории дискурса — обратились к новым методам изучения языка. Например, М. А. Кормилицина и О. Б. Сиротина (2007, 57 ссл.) пишут о «саратовской лингвистической школе», предметом которой является коммуникативное функционирование языка.

3. Структурализм в польском языкознании

В отличие от других славянских стран (особенно Чехии и России) интерес к структурализму в Польше длительное время был слабым. Об этом прямо писал один из ведущих польских языковедов С. Урбаньчик (Urbańczyk 1993, 236). По мнению другого авторитетного исследователя, К. Нича, работы основателей структурного направления

в славянском языкознании — М. Крушевского и И. А. Бодуэна де Куртенэ, «в польской лингвистике стоят особняком» (Nitsch 1960, 62). В первой и второй половине XX в. структурализм встретил в Польше острую критику Я. Розвадовского, В. Дорошевского, А. Гавроньского и др. Структурная теория языка критиковалась за игнорирование человеческого фактора, за преуменьшение субъективного, творческого начала в речевой деятельности, за необоснованное разграничение языка (*langue*) и речи (*parole*), за искусственное абсолютизирование системы языка, препарирование языковой формы и др. По словам Урбаньчика, «ни Розвадовский, ни Гавроньский не понимали де Соссюра» (Urbańczyk 1993, 236). Первое практическое и осознанное применение принципов структурной фонологии находим в докладе З. Штибера на съезде Польского лингвистического общества в 1938 г. В то же время появились две монографии, которые развивали традиции русской формальной школы: «Ритм в цифрах» („Rytm w liczbach”) Л. Вуйцицкого и «Очерки польской метрики» („Studia z metryki polskiej”) Ф. Седлецкого, но они, как пишет Урбаньчик, не сыграли в польском языкознании первой половины XX века значительной роли.

Во второй половине XX в. (особенно в 70-е и 80-е годы) структурализм распространился в польском языкознании под влиянием лингвистической теории Е. Куриловича, теории грамматических оппозиций Р. Якобсона, американского генеративизма и, отчасти, русской семантической школы (особенно теории «смысл — текст»). В это время появились широко известные не только в Польше, но и за границей работы К. Писарковой, К. Полянского, А. Богуславского, Ц. Перникарского, С. Кароляка, А. Вежбицкой, Р. Лясковского, З. Тополинской, З. Салёни, Я. Сятковского, Х. Поповской-Таборской, К. Фелешко, М. Гроховского и др. При этом в исследованиях по структурной семантике особенно ценным оказался опыт львовско-варшавской школы аналитической философии: работы выдающихся польских неопозитивистов К. Айдукевича, А. Тарского, С. Лесневского и др. нашли отражение в разработке теории компонентного анализа, теории семантических категорий, теории семантического синтаксиса. Это, в частности, было реализовано в многотомном «Генеративно-трансформационном словаре польских глаголов» под редакцией К. Полянского (Polański 1980-1993), а также в фундаментальной «Грамматике современного польского языка», изданной в Варшаве в 1984 г. (Topolińska 1984).

Структурализм в польском языкознании, однако, никогда не стал настолько влиятельным и распространенным научным направлением, каким он был в 70-е годы Советском Союзе. Несмотря на факт, что во второй половине XX века в Польше работали выдающиеся представители структурного языкознания (упомянутые, в частности, выше), однако — кроме польской семантической школы (Богуславского, Вежбицкой и их учеников), а также более ранней торуньской школы (Х. Миша и его учеников) — в истории польского языкознания не было научных школ, сопоставимых и по содержанию исследований, и по результатам со школами русского языкознания — такими, как московская формальная школа (Московский лингвистический кружок), ОПОЯЗ, русская фонологическая школа (в двух версиях: московской и ленинградской), теория «смысл — текст», тартуско-московская семиотическая школа, психолингвистика, математическая лингвистика и др. В 70-е и 80-е годы, несмотря на усилия таких ученых, как А. Вайнсберг, значительно большее влияние имела школа В. Дорошевского, которая в значительной степени ориентировалась на методологию антропологического (отчасти также марксистского) языкознания. В свете методологии марксизма, как известно, структурализм представлял собой разновидность идеалистического, а значит, идеологически неприемлемого подхода к описанию языка.

В 90-е годы структурализм в польском языкознании постепенно «сдает свои позиции» под напором нового лингвистического направления — когнитивной лингвистики, которая начинает доминировать в университетах Кракова, Вроцлава, Люблина и других научных центрах. Пожалуй, единственным «островком» систематических структурных исследований семантики польского языка сегодня является варшавско-торуньская школа, представляемая такими исследователями, как А. Богуславский, М. Гроховский, А. Добачевский, М. Данелевич и др.

Как видим, одной из черт польской лингвистической традиции XX века является относительная слабость структурного направления исследований и наоборот — большая заинтересованность антропологическим, социальным, культурным аспектом языка и языковой деятельности. Это можно объяснить несколькими факторами. Прежде всего надо указать на культурный фактор — исключительную роль, которую в польской культуре, начиная с XIX века, играл романтизм. Известная исследовательница М. Янион считает, что только к концу XX века в польской культуре стали заметны симптомы «угасания» романтической парадигмы, которая в течение 200 лет бы-

ла главной движущей силой польской культуры (Janion 1996, 102). В начале XX в. романтическая традиция не позволила «появиться на сцене» модернизму — для него в тогдашней Польше не было исторических предпосылок. Разделы Польши, а также пресловутое польское «геройство» обусловили специфическую зависимость философии и литературы от сферы политической идеологии, придали философским и литературным дискурсам особое — социальное, патриотическое содержание. Сформировалось особое «романтическое поведение», без которого, по мнению Янион, нельзя понять сущности польской культуры. Исследовательница, в частности, пишет:

Romantyzm w najbardziej szerokim sensie — nigdy nie osiągnął stanu „poezji czystej”, ani też nigdy nie zamknął się w gronie „poetów wybranych”; zawsze był rozumiany nie tylko jako poezja, lecz również jako praktyka społeczna i polityczna [...] Poezja romantyczna została tutaj [...] utożsamiona z religią uczuć patriotycznych (Janion 1975, 12).

Несмотря на то, что в 70-е годы XIX в. в польской литературе наметился отход от романтизма, что нашло отражение в доминировании прозы над поэзией (это была общеевропейская тенденция), уже в 90-е годы, как пишет Я. Магнушевский, становится заметным возрождение наследия романтизма (Magnuszewski 1993, 162).

Установка на освободительное, наполненное патриотическим смыслом действие в общественном сознании поляков, по-видимому, отразилась в разговорном дискурсе, которому свойственна доминирующая ориентация на содержание при значительно более слабом интересе к форме. Разумеется, в польской коммуникативной среде важное место занимает также языковой юмор, о чем свидетельствует литературная практика — произведения таких писателей, как С. Пшибышевский, Б. Лесьмян, Я. Бжехва, И. К. Галчинский, Ю. Тувим и др., а также замечательная монография Д. Буттлер (Buttler 1968) или работы по теории комизма Б. Дземидока (Dziemidok 2011). Однако необходимо заметить, что в Польше не было таких влиятельных литературных направлений (в русле модернизма), которые были бы сопоставимы с русским символизмом, футуризмом, акмеизмом, имажинизмом или ОБЕРИУ. В истории польской литературы нет писателя того же уровня, что Велимир Хлебников — автор пятитомного издания заумной поэзии (1928-1933).

Кроме того О. Лещак заметил, что — по сравнению с русскими и украинцами — поляки менее восприимчивы к языковому юмору в повседневной речи, а языковая игра скромнее представлена, напри-

мер, в городском фольклоре. Лещак утверждает: «Отсутствие заинтересованности словесной формой является характерной чертой польской культуры» (Leszczak 2009, 169)¹.

Подтверждением этого может служить тенденциозность², которая в польской культуре считается основным критерием оценки литературного процесса — формальная, художественная сторона произведений при этом остается на втором плане. Так, известный польский литературовед, исследователь романтизма, К. Цисевский писал о «загадке» баллад и романсов Адама Мицкевича: несмотря на их всеобщее признание у читателей и художественное новаторство автора, произведения Мицкевича не отличались особой художественной утонченностью. Цисевский указывал, что более совершенные с художественной точки зрения произведения не сыграли в польском литературном процессе XIX в. такой роли, как баллады и романсы Мицкевича. Почему? Отвечая на этот вопрос, Цисевский писал о первенстве внешних (исторических, аксиологических, коммуникативных) факторов оценки литературных произведений. Среди этих факторов особое место занимала сама личность поэта, наполненная сильным идеологическим содержанием (Cysewski 1994, 273), которое и определяло интерпретацию художественных текстов, их позиционирование в системе культуры.

Лещак считает, что формальный инфантилизм польской семиотической культуры объясняется традицией западноевропейского реализма, корни которого — в философии Аристотеля, в частности, в принципе симметрии содержания и формы знаков, а также в принципе первенства норм. Поэтому в латинской культуре нормативные предпосылки действий доминируют над узуальными, рациональные — над эмоциональными, явные — над скрытыми (Leszczak 2009, 169).

Думается, однако, что ориентация на смысл в коммуникации как характерное свойство польской семиотической культуры, другими слова-

¹ Это мнение подтверждается результатами исследования немецкой славистики Т. Анштат. В ее докладе «Polnisch als Herkunftssprache: sprachspezifische grammatische Kategorien bei bilingualen Jugendlichen», а именно — в дискуссии после доклада, на XV Международном конгрессе славистов в Минске (в 2013 году) отмечалось, что молодое поколение русских эмигрантов, по сравнению с того же возраста эмигрантами из Польши, лучше владеет родным (т.е. славянским) языком, а отношение между L1 и L2 у русских эмигрантов является более сбалансированным.

² Вслед за «Литературным энциклопедическим словарем» тенденциозность понимается как «социальное, политическое, нравственно-идеологическое пристрастие, преднамеренность художника, вольно или невольно, но открыто выразившиеся в произведении искусства» (см.: Калашников/Смирнов 1987, 437).

ми — семиотический эссенциализм, вытекает не из рационализма западноевропейской культуры (в принципе, чуждого полякам), а из серьезности как особого, романтического типа поведения, который был известен и в России XIX в. В связи с этим Ю. М. Лотман писал о культивировании декабристами традиции серьезного отношения к жизни: «Декабристы культивировали серьезность как норму поведения» (Лотман 2012). Серьезность «не только на уровне высоких идеологических построений, но и в быту [...] подразумевает для каждой значимой ситуации некоторую единственную норму правильных действий» (там же). И наоборот: «[...] Отрицательным было отношение декабристов к культуре словесной игры как форме речевого поведения» (там же). На семиотический эссенциализм романтиков указывает и то, что

для романтизма поэтическим было единство поведения, независимость поступков от обстоятельств. «Один — он был везде, холодный, неизменный...» — писал Лермонтов о Наполеоне. «Будь самим собою», писал А. Бестужев Пушкину. Священник Мысловский, характеризуя поведение Пестеля на следствии, отмечал: «Везде и всегда был равен себе самому; ничто не колебало твердости его». «Единство стиля» в поведении декабриста имело своеобразную особенность — общую «литературность» поведения романтиков, стремление все поступки рассматривать как знаковые (там же).

Научный фактор слабого развития польского структурализма состоит в том, что — несмотря на деятельность львовско-варшавской школы — в польской философии XIX и XX вв. доминировало социологическое направление. Философская мысль преимущественно развивалась под знаком национального освобождения и национального возрождения — семиотика языка и текста не представляла с этой точки зрения особого интереса. Мессианство польской философской традиции заключалось в пропаганде апофеоза «действия». Неслучайно Адам Мицкевич критически относился к немецкой метафизической философии, отдавая предпочтение полякам и французам — «людям воображения и действия», «политическим народам», которые «веками реализуют то, что немецкая философия только рассматривает как теоретическую проблему» (Walicki 1970, 37; см. также: Tatarkiewicz 1958, 229).

В польском литературном позитивизме второй половины XIX в. и начала XX в. имеются элементы философского позитивизма Западной Европы, прежде всего концепция эмпиризма. Но если философский позитивизм, заложенный такими исследователями, как

Д. Юм, Ф. Бэкон и О. Конт, характеризовался основополагающей рационалистической, феноменологической установкой, выдвигал условие репрезентативности каждого знания (Б. Скарга пишет, что в его основе лежит номинализм и редукционизм, см.: Skarga 1975, 13), то позитивизм польской литературной традиции имеет другое – общественно-политическое содержание. Как указывает В. Татаркевич, это было скорее общественное движение, чем направление философской мысли, главная его цель состояла в дискредитации романтической идеи мессианства (Tatarkiewicz 1958, 237). Ср. подобное мнение:

Pozytywizm polski czerpał wprawdzie z dorobku pozytywistycznej myśli europejskiej [...] silniejszy jednak nacisk kładł na problemy społeczne [...] rozwój ekonomiki, antyromantyczny legalizm i lojalność wobec zaborców [...] Realizacji tego programu służyć miała literatura „tendycyjna”, tj. propagująca idee pozytywistyczne nawet kosztem walorów estetycznych i prawdy (Bednarek/Jastrzębski 1996, 206).

Философский позитивизм нашел отражение в исследованиях выдающейся львовско-варшавской школы, но она, как было указано выше, не имела серьезного влияния ни на общественное мнение, ни на деятельность научных сообществ – достижения польских логиков первой половины XX века стали по-настоящему востребованными только в 70-е и 80-е годы прошлого столетия в связи с развитием семантического синтаксиса, модальной и интенциональной семантики.

Заключение

Подводя итоги, можно обобщить информацию о тех факторах формирования лингвистической парадигмы (а именно – структурализма), которые нашли отражения в трех славянских лингвистических традициях: чешской, русской и польской. Речь идет о культурно-историческом (идеологическом), научном и художественном факторах.

Фактор	Лингвистическая традиция		
	Чешская	Русская	Польская
Идеологический	+	±	-
Научный	+	±	-
Художественный	+	+	-

Культурно-исторический (другими словами, идеологический, социально-политический) фактор имел позитивное значе-

ние в ситуации Чехии, поскольку он состоял в национальном возрождении под знаком возрождения чешского языка. В ситуации многонационального советского государства актуальность «внутренней» (формальной, структурной по своей сущности) лингвистики вытекала из потребности кодификации многих национальных языков, создания алфавита и правил орфографии, хотя, с другой стороны, лежащий в основе структурной лингвистики философский неопозитивизм противоречил коммунистической идеологии, которая базировалась на политической философии марксизма. В польской ситуации культурно-исторический фактор не способствовал развитию структурализма, так как имеющая свои корни в романтизме ориентация на политическую философию действия отодвигала на второй план семиотическую проблематику.

Научный фактор имел позитивное значение для развития чешского структурализма: в чешской философии были распространены идеи неопозитивизма, феноменологии, семиотики и математической логики, которые способствовали применению к языку точных методов исследования. Кроме того пражская школа находилась в постоянном контакте с представителями женеvской школы, а также с представителями русской формальной школы.

В случае русского структурализма научный фактор имел более слабое значение, хотя его присутствия нельзя полностью отрицать. Здесь внимания заслуживает заложенная Фортунатовым традиция русской формальной лингвистики, исследования в области семиотики искусства (живописи, кино), предложенные русскими математиками стилеметрические модели, а также теория номогенеза в биологии.

Напротив, в польском языкознании для структурализма не было соответствующей философской базы. Философия романтизма и позднейшего позитивизма (в его польской, идеологизированной версии) ставила акцент на проблемах национального возрождения, имела доминирующее политическое содержание. Хотя в первой половине XX в. в Польше действовала знаменитая львовско-варшавская школа аналитической философии, в первой половине прошлого столетия она не оказала серьезного влияния на развитие языкознания, а в 70- и 80-е годы была востребована, главным образом, в исследованиях в области теории референции и семантического синтаксиса.

Художественный фактор, а именно — модернистская художественная практика (в частности, нашедшая свое отражение в первенстве поэзии над прозой) имел позитивное значение для раз-

вития структурализма в Чехии и формального направления в России. В то же время в польской художественной литературе доминировала поэтика романтизма и позитивизма (реализма), литературный авангард в целом не соответствовал идеологическому содержанию культуры и поэтому представлял более или менее маргинальное явление.

Как видим, несмотря на родство славянских народов, славянских языков и культур, каждая научная (и в целом – культурная) традиция неповторима. Она складывается из множества ценностных категорий и форм их манифестации (так называемых прецедентных текстов, ритуалов, персоналий и т.д.), которые формируются в сложных и исторически изменчивых обстоятельствах. Их изучение представляет важную задачу социологии языкознания и сопоставительной металингвистики.



Мысль и образ. О визуализации в лингвистике

Ах ты, фокусник, фокусник-чудак!
Поджигатель бенгальского огня!
Сделай чудное чудо, сделай так,
Сделай так, чтобы поняли меня!

Новелла Матвеева

В когнитивной психологии различается несколько видов кодирования информации. В обобщенном виде они представлены Дж. Брунером, который различал: 1) предметные действия; 2) наглядные образы и 3) языковые знаки (1977). Для описания познавательной деятельности человека в психологии применяются разнообразные критерии, благодаря комплексному учету которых выделяются когнитивные стили (Холодная 2002, 37). Так, например, для генеративно-трансформационной грамматики Н. Хомского характерна своего рода «полнезависимость», т.е. — с психологической точки зрения — преодоление воздействия сопутствующих параметров и дополнительных факторов воспринимаемого объекта (таких, как социальная среда языковой компетенции, коммуникативные установки и действия языковых субъектов и др.). Хомский, как известно, считал, что научное исследование языка должно опираться на регулярные, отмеченные лингвистические факты и, наоборот, должно исключать из рассмотрения всякого рода аномалии. Диаметральным способом концептуализации языка принят в современных функционально-стилистических исследованиях: в качестве объекта исследования рассматриваются, скорее, исключения из правил — разного рода ин-

сайты. С психологической точки зрения здесь мы имеем дело с таким явлением, как диссоциация, в крайних случаях — со своего рода параней.

Генеративизм Хомского во многом ассоциируется для большинства исследователей (помимо неопозитивистской методологии) с использованием определенного метаязыка, а именно — графов как визуальных моделей синтаксических структур. В этом нет ничего удивительного: графические модели в целом — выражаясь терминами когнитивной психологии — более полнезависимы; это объясняется тем, что в двухмерном или трехмерном пространстве невозможно представить моделируемый объект во всей полноте, значит, возникает необходимость игнорирования некоторых его свойств. Избирательность, «профильность» — общее свойство моделей, о чем, в частности, писал Н. Д. Андреев (1967, 20). В особенности это касается визуализации ментальных репрезентаций.

Визуальные модели в науке свойственны определенным когнитивным стилям. В первую очередь, как уже отмечено выше, они обладают свойством низкой полнезависимости. Во-вторых, визуальные модели в большей степени опираются на фокусирующий контроль внимания и фактически сводятся к гипостазированию — приписыванию отвлеченным понятиям (отдельным аспектам целого) статуса самостоятельно существующих объектов. Напротив, вербальные (пропозициональные) модели, скорее, соответствуют сканирующему контролю: при этом исследователи склонны распределять внимание на более широкий спектр аспектов ситуации. Можно сравнить примеры узкого, «сглаженного» (в психологической терминологии) профилирования объекта, а именно — синтаксической структуры предложения *Jan opuścił pokój* 'Ян вышел из комнаты', с помощью разных визуальных моделей: в грамматике зависимостей, в генеративной и когнитивной грамматике (см. рис. 1–4).

Рис. 1

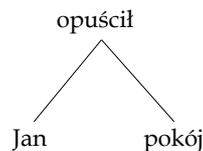


Рис. 2



Рис. 3

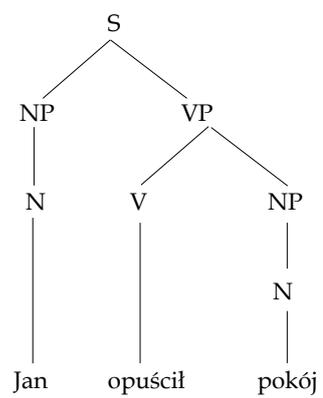
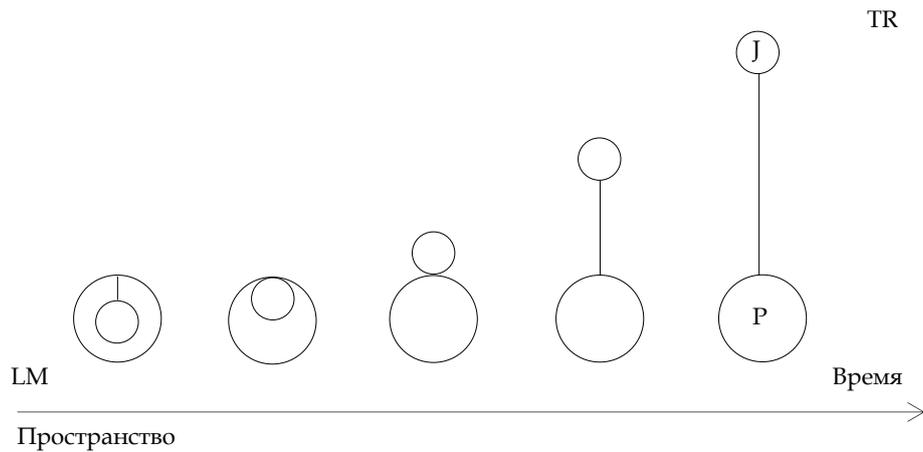


Рис 4 (источник: Taylor 2007, 253)



Образные модели в языкознании (и вообще — в точных и гуманитарных науках) зависят от целого комплекса факторов: исторических, этнокультурных, дисциплинарных, онтологических и т.д.

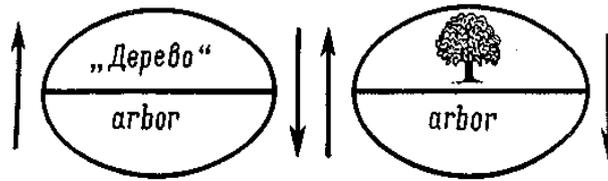
Исторический фактор. Парадигма, как известно, — это не только характерный для определенной эпохи стиль мышления, но и используемые в научных исследованиях эвристические методы анализа материала, а также способы представления результатов его анализа и концептуализации. Когнитивные стили в науке исторически изменчивы. В квантовой физике в начале XX в. отказались от визуальных образов (таких, как модель атома в виде слоеного пирога) — в пользу математического моделирования микромира. Как писал М. Борн (1963, 57), в науке «вначале формируются образы, на которых сильно сказывается требование наглядности; постепенно представления становятся все более абстрактными». Отказ квантовой физики от наглядных моделей объясняется тем, что, по мнению Борна, она «отвечает лишь на правильно поставленные статистические вопросы и в общем ничего не говорит о ходе отдельных процессов» (там же, 21).

В языкознании произошел, по-видимому, обратный процесс. В лингвистических работах XIX в. доминирует традиционный, т.е. линейный, повествовательный стиль, тогда как в следующем столетии — под влиянием электронных средств массовой информации, рекламы и поп-арта — происходит знаковая революция: эпоху звучащего, а потом печатного слова сменяет эпоха визуального образа

(см.: Skalski 2002, 162). Наиболее характерная черта новой парадигмы — нелинейный, симультанный способ восприятия и переработки информации, который в наиболее радикальных формах реализуется в так называемых интер- или гипертекстах.

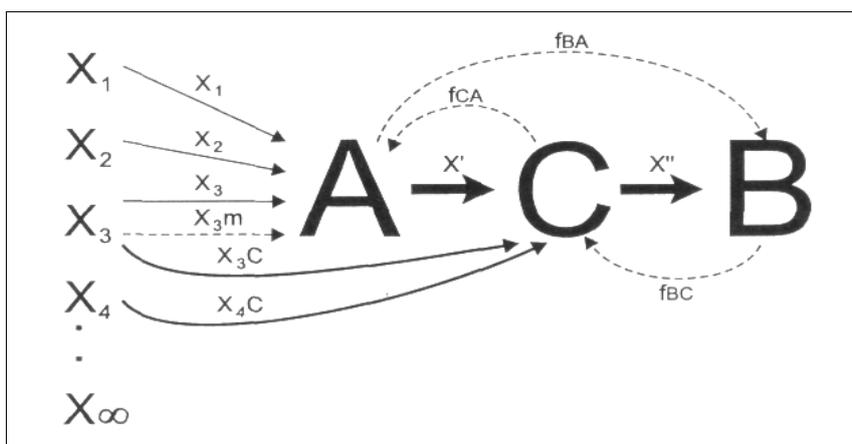
Одним из первых визуализацию теоретических категорий в языкознании ввел Ф. де Соссюр. Сегодня трудно представить себе теорию швейцарского лингвиста без характерных для его стиля образных моделей (1977).

Рис 5



Отраслевой фактор. Существенно различаются когнитивные стили разных областей знания — точных и гуманитарных наук, а в рамках гуманитарных наук — например, языкознания и социологии. Социологическое знание часто представлено в виде таблиц, диаграмм, графов, при этом нередко степень условности и степень когнитивной сложности последних настолько высоки, что визуальная модель, которая содержит интерпретацию социальной действительности, сама требует интерпретации. Это означает, что визуальные модели в научной коммуникации обычно имеют дополнительный характер, т.е. предполагают взаимодействие с моделями иного типа, прежде всего — вербальными. Можно привести пример такой модели — схему опосредованного воздействия средств массовой информации американских исследователей Д. Вестлей и М. МакЛина (1957).

Рис. 6

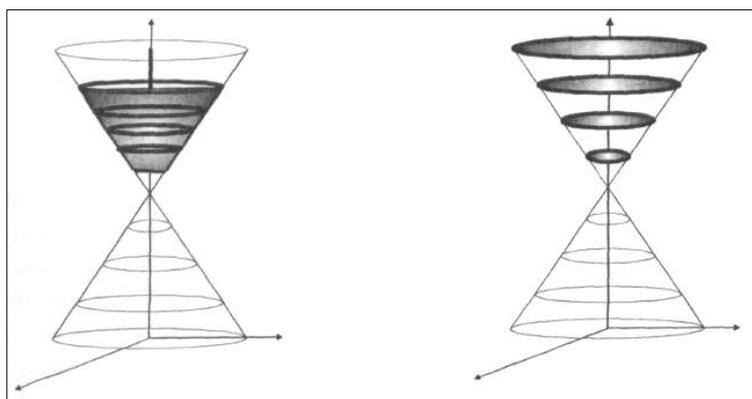


Дисциплинарный фактор. Роль визуализации данных варьируется также в зависимости от дисциплины той или иной области знания. В лингвистике наиболее формализован, скорее всего, синтаксис: графическое представление синтаксических структур стало традицией как в русском, так — особенно — в западном языкознании. Значительно реже концептуальные модели этого типа можно встретить в сравнительно-исторических, этимологических, стилистических исследованиях.

В современном европейском языкознании доминируют два направления: коммуникативное и когнитивное. При этом в коммуникативных исследованиях визуализация используется достаточно редко, тогда как когнитивные модели языка, в основном, опираются на наглядные образы. В связи с этим заслуживает критики точка зрения А. Е. Кибрика, который пишет, что в последние десятилетия языковеды отказались от метода моделирования, а лингвистическая задача состоит в том, чтобы объяснить, как язык устроен «на самом деле» (1987, 34). Лингвистическая практика не подтверждает этого тезиса.

Радикальным примером «визуального» научного мышления является когнитивная грамматика Р. Лангакера, а также исследования, выполненные в ее русле. Рис. 7, отображающий семантику предлогов *in* и *with* в английском языке, представляет пример такого рода модели.

Рис. 7 (источник: Bączkowska 2007)



Совершенно очевидно, что познавательная ценность таких моделей состоит не столько в их коэффициенте подобия с оригиналом — ясно, что мы имеем дело с моделями, которые обладают высокой степенью условности, сколько в возможности сопоставления моделей и выделении различительных признаков, которые с трудом поддаются экспликации при непосредственном наблюдении.

Концептуальный фактор. На примере теории Ф. де Соссюра или Н. Хомского мы уже убедились, что некоторые научные теории устойчиво ассоциируются с наглядными образами, которые символизируют ключевые понятия и программные идеи — в этом случае можно говорить о символизме в науке. Благодаря характерным визуальным моделям восприятие некоторых теорий основывается на когнитивном принципе фокусирующего контроля, т.е. концентрируется на символическом значении графов. В качестве примера можно привести широко известную схему трех языковых функций К. Бюллера, а также семантический треугольник С. К. Огдена/А. И. Ричардса.

Рис. 8

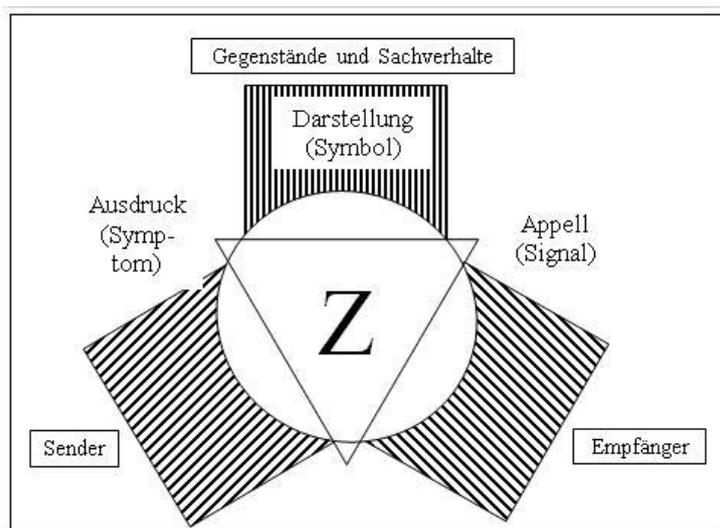
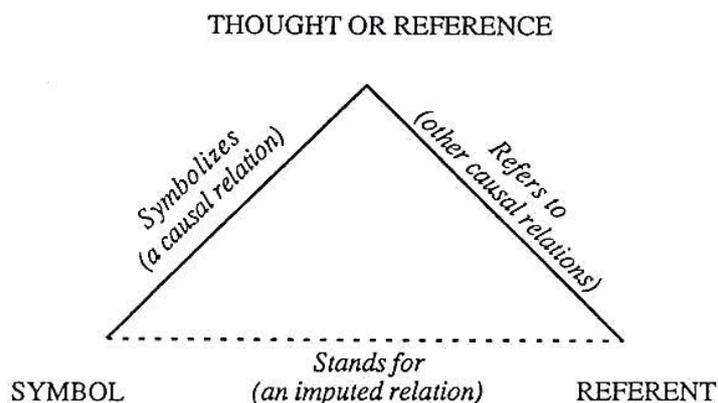


Рис. 9



Как видим, графические модели обычно ассоциируются не только с определенными теориями, но и с конкретными исследователями, а значит — имеют черты идиостиля. Так, для научного стиля белорусского лингвиста В. А. Карпова было характерно использование математических матриц, а также разных версий кода Грея (1992). Другой, графический тип визуальной категоризации использует И. Ф. Ухванова-Шмыгова — ср. ее «каузально-генетическую модель

плана содержания знака» (1998, 41). При этом большинство лингвистов все-таки скорее воздерживается от такого способа передачи научной информации, пользуясь языковыми (а точнее, метаязыковыми) средствами.³

Прагматический фактор. Использование графов регулируется также факторами коммуникативного характера, а именно — сферой научной коммуникации. Наглядные образы прежде всего распространены в дидактическом (или педагогическом) стиле, тогда как академическому стилю больше свойственно языковое или символическое представление информации. В качестве примера может послужить уже упомянутый «Курс общей лингвистики» де Соссюра, в котором довольно заметную роль играет визуальная информация, хотя Р. Хэррис, комментируя английский перевод «Курса», высказывает предположение, что некоторые рисунки были добавлены или отредактированы издателями, см. Harris 1987, 59. Напротив, в написанных «для себя» заметках де Соссюра (Соссюр 1990; Saussure 2004) мы почти не находим схем или графических комментариев.

В некоторой степени противоположный пример представляет собой модель плана содержания А. Е. Супруна. В научной монографии (1975, 14) эта модель подается в схематическом виде.

Рис. 10

Отношения знаков	Отношение знаков	
	внутренние	внешние
парадигматические	СЕМАНТИКА	СИГМАТИКА
синтагматические	СИНТАКТИКА	ПРАГМАТИКА

Позднее в учебном пособии «Общее языкознание» (1983), а также в его переиздании (1995) Супрун повторил четыре аспекта плана содержания знака, но при этом отказался от их табличного представления.

³ Один известный профессор признался мне, что, когда он видит в научном (лингвистическом) тексте какую-нибудь формулу или схему, он сразу же, почти автоматически пропускает эту статью.

* * *

В языковой коммуникации, по утверждению Р. Арнхейма, «форма всегда указывает на нечто большее, чем на самое себя» (1974, 70). Форма не только в искусстве, о котором писал Арнхейм, но и во всех видах коммуникации имеет дополнительные функции независимо от системы кодирования информации. С одной стороны, визуальная информация содержит мысль, часто — в конденсированной, условной форме. С другой стороны, этот способ передачи знаков позволяет обрабатывать информацию без посредничества теоретической категоризации, с опорой на воображение, представление и даже чувство — ср. кантовское «внутреннее чувство целесообразного состояния души», которое проявляется в искусстве (см.: Басин 2012, 23), но не только. Хотя Андрей Битов пишет: «Некоторая косность [языка] должна входить как бы в этику подлинного ученого», однако совершенно очевидно, что у научной коммуникации, особенно в сфере гуманитарных наук, есть не только гносеологический, но и феноменологический аспект, т.е. отношение передаваемой информации к ситуативным параметрам дискурса, прежде всего — к ее участникам.

У визуального способа передачи информации есть своя этология, своя эргономия и даже своя эстетика. Это и объясняет все большую популярность данной формы коммуникации в науке.



Двенадцать функций языка

Но в жизни все не так просто... как в нашем бедном, идиотском языке.

Герман Гессе

1. Экспликативно-процедурная модель функций языка

Функция, в том числе и функция языка, является реляционной категорией: определить функции языка значит установить множество его регулярных отношений к среде. Для решения этой задачи необходим учет разных элементов понятия «среда». С моей точки зрения внимания заслуживают следующие:

1. мир, т.е. материальная (физическая), социальная, психическая и т.д. действительность (реальность);
2. человек, т.е. языковой субъект, носитель языка — индивидуальный или групповой;
3. интеракция, т.е. взаимодействие субъектов с помощью речевых сообщений;
4. дискурс, т.е. коммуникативная ситуация и ее параметры: сцена и обстановка речевой интеракции, время и продолжительность взаимодействия, атрибуты, вспомогательные коды и др.;
5. конвенция, т.е. общая для речевых партнеров апперцептивная (другими словами — когнитивная) база;
6. языковая ситуация, т.е. группа языков и социальных вариантов языка, культивируемых в границах определенного административно-территориального сообщества.

Функциональная релевантность языка (чего обычно не замечают другие исследователи) реализуется в двух аспектах: экспликативном и процедурном. Экспликация состоит в том, что в языковых знаках и в формах речевой деятельности отражаются, моделируются элементы внешнего мира, психической и социальной жизни людей. Процедурный, другими словами – инструментальный, аспект функционирования языка касается его употребления как средства реализации действий, организации человеческой деятельности.

Общую систему функций – с учетом изложенных выше предпосылок – можно представить схематически.

ФУНКЦИИ ЯЗЫКА В ЭКСПЛИКАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОЙ МОДЕЛИ

Факторы языковой деятельности	Аспекты языковой деятельности	Функции языка
Мир	экспликативный	1. номинативная
	процедурный	2. магическая
Человек	экспликативный	3. индексальная
	процедурный	4. экспрессивная
Интеракция	экспликативный	5. социативная
	процедурный	6. прагматическая
Дискурс	экспликативный	7. стилистическая
	процедурный	8. этологическая
Конвенция	экспликативный	9. когнитивная
	процедурный	10. креативная
Языковая ситуация	экспликативный	11. конститутивная
	процедурный	12. интерлингвистическая

2. Номинативная функция

Номинативная функция заключается в передаче языковыми знаками информации о мире. Данная функция является специфической для вида *homo sapiens* – в коммуникации животных используются так называемые перформативы: предупреждение, угроза, просьба и др. Насколько важны в процессах номинации языковые знаки, показывает следующий, описанный Георгием Данелия эпизод: грузин и русский, находясь в заграничной командировке в Риме (в 60-е годы прошлого столетия), делают покупки в магазине:

Баскаков хорошо знал немецкий (во время войны он был военкором) и стал по-немецки объяснять, что ему надо. Продавцу что немецкий, что грузинский — одно и то же. Не понимает...

— Пошли Нею приведем, — сказал Баскаков. — Она по-французски объяснит.

— Не надо, сами управимся. Какой размер?

— Сорок шесть.

Я показал продавцу пальцем на кофточку на витрине, достал ручку и написал на бумажке: 46. Продавец написал цену, и кофточку мы приобрели.

— Мне еще колготки нужны, — сказал Баскаков.

— А что это такое? (у нас тогда колготки были большой редкостью, и я впервые услышал это слово от Баскакова).

— Это такие чулки, переходящие в трусы.

Я показал продавцу на ноги и сделал вид, будто что-то на них натягиваю, до пояса.

Тот положил передо мной брюки.

— Нет, — я показал ему свои носки и изобразил, что натягиваю их до пупка.

Продавец положил на прилавок кальсоны.

— Но! Для синьоры, — и я показал руками груди.

Продавец достал лифчик. [...]

Номинативная функция охватывает разные аспекты действительности:

1. физические состояния: *На улице метель;*
2. физиологические состояния: *Маше холодно;*
3. ментальные состояния: *Иван о чем-то задумался;*
4. эмоциональные состояния: *Маша радуется;*
5. языковые состояния: *Гласные звуки бывают долгие и краткие* и др.

Важно подчеркнуть, что номинация охватывает не только сферу физических объектов и положений дел, но также сферу психических состояний. Так, в предложении из стихотворения Иннокентия Анненского:

И дум ей жаль разоблаченных

реализуется номинативная функция — представление эмоционального состояния описываемого третьего лица, тогда как в высказывании из другого стихотворения поэта:

Мне жаль последнего вечернего мгновенья

реализуется экспрессивная функция — выражение эмоционального отношения героя (*жаль*) к описываемому событию (*последнее вечернее мгновенье*) (см. далее).

3. Магическая функция

Магическая функция основывается на вере человека в то, что слово (устное или письменное) представляет собой обязательную часть обозначаемого предмета, а значит, воздействуя на слово, человек воздействует и на предмет (Фрэзер 1986; Кристи 1985, 23 сл.). А. А. Потебня писал, что в наивном, мифологическом («простонародном») сознании «между родным словом и мыслью о предмете [...] такая тесная связь, что [...] изменение слова казалась непременно изменением предмета» (1976, 173). Ср. характерную с этой точки зрения русскую поговорку *легок на помине*:

Зачем ты только про него сказал — вот он и легок на помине (А. Битов).

В связи с этим В. фон Гумбольдт приводил анекдот о простолюдине, который, слушая разговор астрономов, спросил: «Я понимаю, что с помощью приборов людям удалось измерить расстояние звезд от Земли, узнать их расположение и движение. Но как вам удалось узнать названия звезд?» (см.: Выготский 1982, 311).

Магическая функция особенно характерна для детской речи, в которой, по наблюдениям С. Н. Карповой и И. Н. Колобовой, «складываются смутные [...] представления о действительности речи, отличной от действительности предметов и явлений, ею обозначаемых» (1978, 156). Другой сферой широкого распространения магической функции являются поэтические тексты, о чем писал А. А. Потебня (1976, 173). Кроме того магическая функция характерна также для пропагандистских текстов, особенно относящихся к так называемому «новоязу» (Bralczyk 1986; Głowiński 1991). Так, С. С. Ермоленко (1995, 11) приводит в качестве примера отклоненный коммунистической цензурой очередной том «Большой советской энциклопедии» (второе издание), который начинался статьей «ВКП (б)», а заканчивался статьей «Водевиль». С точки зрения цензора, как пишет Ермоленко, «соседство этих двух слов на корешке тома было сочтено недопустимым».

4. Индексальная функция

Индексальная функция (в терминологии английской социолингвистики: Laver/Hutchsen 1972, 11; Abercrombie 1967, 6; Agryle 1969, 140) состоит в идентификации личности отправителя сообщения или же, чаще,

его принадлежности к определенной социальной группе. Р. Т. Белл пишет, что индексальная информация «сообщает о [...] социальном статусе говорящего [...] и помогает обрисовать его отношение к себе и к другим и определить роль, которую он сам отводит себе как участник интеракции» (1980, 102). Ср. характерный пример из кинофильма «Свадьба» (по чеховским сюжетам):

Они свою образованность показать хотят, оттого и говорят о непонятном.

Поскольку в зависимости от пользователей каждый живой этнический язык делится на социальные варианты — социолекты, то эту функцию языка можно также назвать социолектной: выбирая ту или иную социально и культурно маркированную подсистему языка, говорящий — намеренно или ненамеренно — манифестирует свою принадлежность к определенному сообществу, определенной культурной парадигме. В этом отношении характерен приводимый в дневниковых записях Георгия Данелия эпизод:

Как-то в Ташкенте я смотрел по телевизору фильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», дублированный на узбекский язык. Там Борман, когда вошел в кабинет к фюреру, выкинул руку вперед и воскликнул: «Салам алейкум, Гитлер-ага!»

Комизм здесь возникает из-за несовместимости ситуации (с участием Гитлера и Бормана) с культурным (азиатским) фоном, определяемым характером коммуникативных реплик на узбекском языке.

Индексальная функция связана с социативной, так как манифестация социо-культурных параметров речевого субъекта обычно влияет на распределение ролей в коммуникативной ситуации.

5. Экспрессивная функция

Экспрессивная функция позволяет говорящему «выразить себя», т.е. свои эмоции, суждения, мысли. Ср. расхожее определение такой функции языка как *выпустить пар*:

Должна быть возможность пары выпустить. Хочет человек высказаться — пусть, очень даже хорошо. Знаете, есть выражение: сказал — и облегчил душу (В. Розов).

Обычно экспрессивная функция реализуется посредством категории модальности. Ср. фрагмент из стихотворения Евгения Баратынского «Мне с упоением заметным...», в котором доминируют формы экс-

прессивной функции, например, выражение *предавшись нежному томленью*. Все они указывают на эмоциональные состояния лирического героя:

Когда я в очи вам гляжу,
Предавшись нежному томленью,
Слегка о прошлом я тужу,
Но рад, что сердце нахожу
Еще способным к упоенью.

К сфере экспрессивной функции относят (вслед за К. Бюлером) также неинтенциональные языковые симптомы — касающиеся как формы, так и содержания речи, по которым можно установить физические, физиологические или психические состояния говорящего, например:

Ешли... (зевота раздирала мне рот и от этого слова я произносил неряшливо), — кого-нибудь привезут... вы дайте мне знать шюда... (М. Булгаков).

— Надоево, — сказала она, судорожно зевая, низко и сипло выговаривая «надоево» вместо «надоело» (Ю. Казаков).

Стал рассказывать с середины какую-то историю — быстро, язык не успевает: — Бр-ыл, лыр... (Вал. Попов).

Следует различать номинацию интенциональных состояний от интерпретации передаваемой в предложении семантической информации. Считается, что экспрессивная функция реализуется знаками-симптомами, указывающими на внутреннее состояние человека, но этого определения недостаточно, чтобы однозначно интерпретировать высказывания о «внутренних состояниях», например:

Я знаю, что правительство уходит в отставку.
Я рад, что правительство уходит в отставку.
Мне жаль, что правительство уходит в отставку.
Я не верю, что правительство уходит в отставку.

В теории функционального синтаксиса (см.: Kiklewicz 2004в, 168 ссл.) подобные выражения рассматриваются в области деонтической (интенциональной) модальности, в отличие от номинации интенциональных состояний в высказываниях типа:

Маша была не в духе.

6. Социативная функция

Данная функция заключается в языковом выражении социальных отношений между участниками интеракции. Известно, что в обыденной коммуникации «отношения лишь иногда определяются полностью осознанно» (Вацлавик/Бивин/Джексон 2001, 15). Для выражения социальных взаимоотношений чаще используются невербальные знаки, такие, как интонация, темп речи, атрибуты, жестикация и др. Насколько трудным бывает порой намеренное выражение отношений с помощью речевых высказываний, хорошо показывает следующий фрагмент из романа Владимира Набокова «Машенька»:

Людмила вдруг перевернулась на спину и, смеясь, распахнула голые худенькие руки. Утро к ней не шло: лицо было бледное, опухшее и желтые волосы стояли дыбом.

— Ну же, — протянула она и зажмурилась.

Ганин перестал брнчать.

— Вот что, Людмила, — сказал он тихо.

Она привстала, широко открыв глаза.

— Что-нибудь случилось?

Ганин пристально посмотрел на нее и ответил:

— Да. Я, оказывается, люблю другую женщину. Я пришел с тобой проститься.

Она заморгала спутанными своими ресницами, прикусила губу.

— Это, собственно, все, — сказал Ганин. — Мне очень жаль, но ничего не поделаешь. Мы сейчас простимся. Я полагаю, что так будет лучше.

Людмила, закрыв лицо, опять пала ничком в подушку. Лазурное стеганое одеяло стало косо сползать с ее ног на белый мохнатый коврик. Ганин поднялся, поправил его. Потом прошел два раза по комнате.

— Горничная не хотела меня впускать, — сказал он.

Людмила, уткнувшись в подушку, лежала как мертвая.

— Вообще говоря, — сказал Ганин, — она какая-то неприветливая.

— ...Пора перестать топить. Весна, — сказал немного погодя. Пошел от двери к белому трюмо, потом надел шляпу.

Людмила все не шевелилась. Он еще постоял, поглядел на нее молча и, издав горлом легкий звук, как будто хотел откашляться, вышел из комнаты.

Во всем диалоге только одна реплика — *Я люблю другую женщину*, непосредственно касается области межличностных отношений, а все остальное — это косвенные речевые акты, своего рода фатическая оболочка, которая в большей степени обусловлена культурной конвенцией, чем информативной или социативной функцией языка.

Что касается языковой манифестации социальной структуры дискурса, то с этой целью — в зависимости от типа дискурса, в особенности степени его официальности или фамильности — употребляются

различные средства — прямые (например: *Как человек более опытный, советую...*) или косвенные. Последние обстоятельно описаны, например, в монографии польского исследователя Я. Василевского (Wasilewski 2006, 125 ссл.). К примеру, отмечается, что высокая степень вежливости считается признаком низшего статуса, а разговор «на повышенных тонах» — признаком конфликта.

7. Прагматическая функция

Прагматическая (коммуникативная, импрессивная, аппелятивная, перформативная, иллокутивная и т.д.) функция проявляется в стремлении речевого субъекта влиять на социальные отношения, в частности, на поведение коммуникативных партнеров с помощью речевых сообщений. Это воздействие касается как физических, так и психических, а также речевых действий и состояний адресатов, ср.:

Подойди поближе!
Успокойся!
Замолчи!

Во многих философских и лингвистических концепциях коммуникативная функция языка считается главной. Ср. афористическое утверждение Х. Ортеги-и-Гассета: «Когда мы говорим, мы находимся в обществе, а когда мы думаем, мы одиноки».

В теории польского философа Т. Скальского (Skalski 2002) прагматическая функция (которую Скальский квалифицирует как медальную) противопоставлена семантической (номинативной): в средствах массовой коммуникации в последние десятилетия в центре внимания все чаще находится не передача информации, а конечный эффект воздействия на массового потребителя. Именно с этой целью, как считает Скальский, современная культура, главным образом, сосредоточилась на выработке специализированного риторического языка, подчиненного исключительно задачам коммуникативного воздействия, в котором семантические и логические критерии отводятся на второй план.

Кроме целенаправленных, интенциональных речевых действий в коммуникативной практике широко распространены также реактивные, т.е. конвенциональные, ритуальные, речевые акты, например, большинство пословиц и поговорок. Ср. один из характерных примеров:

Так прошли недели её (Маши. — А. К.) замужества, похожего на суровое заключение в тюрьме, но она не сдавалась...

— Никитка, гляди, утоплюсь! — пригрозила Маша.

— Баба с возу — кобыле легче! — ответил Никита. — Кабы я тебя из воды не волок, и давно бы женился на доброй девице, детей нарожал, да покой бы ведал! Повдовею — женюсь (С. Злобин).

Пословица *Баба с возу — кобыле легче* появляется здесь на фоне реплики *Гляди, утоплюсь!* и выражает реакцию Никиты на угрозы жены. Трудно было бы представить себе коммуникативную ситуацию, в которой рассматриваемый фразеологизм выступал бы в инициальной позиции, т.е. в качестве темы интеракции.

К реактивным речевым действиям следует отнести реализацию «стереотипных реплик в стандартных ситуациях», о которых пишет Б. Ю. Норман (1988), речь идет, например, о народных приметах типа:

Соль рассыпать — к ссоре.

Красный закат — завтра будет день хороший.

Посуда бьется — к счастью.

Зеркало разбить — к несчастью.

Данным аспектом коммуникативного функционирования языка занимается новая научная дисциплина — диспозиционная прагматика (см. Nuys 1997).

Третья сфера прагматической функции языка представлена фатическим общением, цель которого состоит в поддержании или сохранении социального контакта коммуникативных партнеров. Ср. некоторые примеры:

Вернувшись в Иль, я не знал, о чем заговорить с г-жой Пейрорад, с которой я считал необходимым обмениваться несколькими словами (П. Мериме, пер. А. Смирнова).

Несколько минут все трое молчат. Наконец Панчук с трудом проглатывает большой кусок и сдавленным голосом равнодушно спрашивает:

— Что, брат, дневалишь?

Он и без того отлично знает, что Меркулов дневалит, и предложил этот вопрос ни с того ни с сего, без всякого интереса; просто так себе, спросилось (А. Куприн).

8. Стилистическая функция

Речевая коммуникация по своей природе имеет изменчивый характер, зависит от внешних условий взаимодействия партнеров. В зависимости от типа дискурса и его участников языковая система реали-

зуются в том или ином ее варианте. В силу объективности этой взаимосвязи языковые формы прямо или косвенно информируют нас о категории коммуникативной ситуации, в которой они задействованы как носители сообщений. В этом и заключается сущность стилистической функции языка.

Стилистическая маркированность касается единиц разных уровней языка — фонем, морфем, лексем, предложений, ср. реализацию разговорного стиля фонетическими средствами:

Я, Лидья Якольна, нахал! (Н. Заболоцкий).

Силового жонглера Рюмина в цирке звали «Ващета». Так он произносит мусорное словечко «вообще-то», вставляя его в свою речь кстати и некстати (В. Ливанов).

Бу сделано (В. Астафьев).

Палосич ('Павел Иосифович') (М. Булгаков).

Хватит всяких лирицких излияний! (Вал. Попов).

Зато на Глеб Успенского — пивная, Там тоже можно время провести (Д. Самойлов).

— Борь, может не надо, — робко вмешалась жена («Литературная Россия». 8 II 1985).

Стилистическая характеристика речи чрезвычайно важна в ситуациях перекодирования, когда речевой субъект выбирает такую подсистему стилистических средств языка, которая наиболее соответствует данному коммуникативному контексту (Киклевич 2007, 353). Покажу это на примере рассказа Аркадия Аверченко «Русское искусство». Русская актриса, оказавшись после революции 1917 г. в эмиграции, работает служанкой в доме барона. Встретив на улице Константинополя старого знакомого (от лица которого и ведется повествование), она предается сентиментальным воспоминаниям:

— Слушайте, простодушный! Очень хочется вас видеть. Ведь вы — мой старый милый Петербург! Приходите чайку попить.

И вот герой появляется в доме барона:

— Что угодно?

— Анна Николаевна здесь живет?

— Какая?

— Русская. Беженка.

— Ах, это вы к Аннушке! Аннушка! Тебя кто-то спрашивает.

Раздался стук каблучков и в переднюю впорхнула моя приятельница, в фартуке и с какой-то тряпкой в руке. Первые ее слова были такие:

— Чего тебя, ирода, черти по парадным носят? Не мог через черный ход приттить?!

- Виноват, – растерялся я. – Вы сказали...
- Что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня. Я его допрежь в Петербурге знала. Иди уж на кухню, раздевайся там. Недотепя!

Передача и декодирование стилистической информации является нормой речевой коммуникации. Напротив, как утверждают специалисты в области нейролингвистического программирования (Walker 2001, 76), некоторые формы патологии психики, например, шизофрения, состоят в том, что субъект не в состоянии определить тип речевого контакта, идентифицировать коммуникативную ситуацию. Сознательное смешение стилей является одним из средств создания фасцинативного эффекта в текстах художественной литературы, СМИ и рекламы. Ср. отрывок из молодежной песни, в которой выступают элементы поэтического стиля – *девушка моей мечты*, и просторечия – *зараза*:

Ты отказала мне два раза.
«Не хочу!» – сказала ты.
Вот такая ты зараза,
Девушка моей мечты.

9. Этологическая функция

Этологическая (другими словами – эргономическая, эвристическая) функция языка наиболее редко обсуждается в лингвистической литературе, большинство исследователей ее вообще не замечает и не выделяет. В терминологии Б. Шеффера ей соответствует аппликативная функция (Schaeffer 2001, 401), а в теории М. А. К. Хэллидэя – текстовая функция. Подобную функцию выделяет Я. Наутс, у него это – органическая функция (*die organische Funktion*), состоящая в способе реализации прагматической функции (Nuyts 1997, 53). А. А. Леонтьев писал о диакритической функции, заключающейся «в возможности употребления речи для корректировки или дополнения той или иной неречевой ситуации» (1969, 38).

Сущность этологической функции языка состоит в том, что благодаря речевой деятельности говорящий организует дискурс, оптимизирует собственное поведение.

На уровне гипердискурса (т.е. таких категорий, как «общество», «государство», «партия», «фирма» и т.п.) язык играет роль фундаментального организатора деятельности общественных институтов – как в сфере внешней коммуникации, охватываемой понятием

маркетинга (Szymoniuk 2006, 16), так и в сфере внутренней коммуникации, т.е. внутри группы. Этологическая функция языка выступает в этом случае как институциональная.

В интерперсональных дискурсах частным случаем реализации этологической функции является употребление рекреационных операторов, т.е. вспомогательных языковых выражений, облегчающих решение говорящим определенных психологических или практических задач (Б. Ю. Норман называет это явление хезитацией, см. 1994, 192). Таковы, например, вводные слова и выражения *видите ли..., так сказать, вот, как говорится* и т.п.

Примером реализации этологической функции могут быть разного рода вспомогательные речевые действия, которые носят бессознательный, неинтенциональный характер. Например, человек, однажды неправильно набравший номер телефона, при повторном наборе начинает его проговаривать. Подобная ситуация наблюдается в детском возрасте, когда при решении сложных практических задач ребенок прибегает к проговариванию, что было описано Л. С. Выготским (1984, 23).

К области этологической функции языка следует отнести и явление, известное под названием эхолоалии — многократного повторения одних и тех же реплик с целью их закрепления в памяти. Чаще всего эхолоалия выступает в детской речи — таким образом усваивается структура языка. Речевая деятельность при этом носит эгоцентрический характер и подтверждает теорию Ж. Пиаже (1994, 18), согласно данным которого в поведении детей социально ориентированные речевые акты составляют не более 13-14 %.

10. Когнитивная функция

Когнитивная (или познавательная, аккумулятивная, гностическая) функция языка заключается в том, что в форме и структуре языковых единиц и языковых категорий хранится информация о мире, тем самым благодаря знанию языка его носители получают доступ к конвенциональной, выработанной данной культурной традицией картине мира, т.е. системе концептов и стереотипов, относящихся к окружающим предметам (в том числе и лицам), действиям, состояниям, событиям, свойствам и процессам. Значительная часть когнитивной информации, хранимой в долгосрочной памяти человека, получена посредством языковой деятельности, что афористически отразил Максимилиан Волошин:

Не видим лиц и верим именам.

В системе языка когнитивную функцию наиболее полноценно выражают единицы лексического уровня — лексемы и фразеологизмы. Каждая усвоенная лексическая единица означает квант информации о мире.

Ролью языка в познавательных процессах занимается когнитивная лингвистика, а также лингвокультурология. В первом случае внимание уделяется, главным образом, процессам категоризации, т.е. концептуализации эмпирических данных с помощью языковых знаков. Во втором случае лингвистов интересуют стереотипные — в рамках определенного культурного сообщества — представления о явлениях окружающего мира, отраженные в системе языка.

В основе когнитивных исследований лежит обоснованный в русле психологического языкознания XIX века тезис о мотивационной природе языка, т.е. обусловленности его внутренней структуры психическими процессами, происходящими в сознании и подсознании языковых субъектов. Во второй половине XX века, как пишет В. З. Демьянков (1994, 21), в мировом языкознании произошла «когнитивная революция», сущность которой состоит в распространении интерпретативного подхода к описанию знаковых систем.

11. Креативная функция

Креативная функция языка реализуется в силу действующего в каждой культуре языкового детерминизма, т.е. воздействия структуры языка, в первую очередь его лексических категорий (которые Э. Сэпир называл «концептуальными»), на познание и поведение языковых субъектов. Тезис о языковом детерминизме был выдвинут еще в XVIII веке немецким ученым Й. Г. Гердером, хотя значительно раньше, уже в X веке, идея языковой относительности обсуждалась в арабской философии, в частности, в труде Абу Хайяна-ат-Таухиди «Книга услады и развлечения» (1988).

По словам Гердера, язык определяет границы и сферу всего человеческого познания (см. Heinz 1978, 108). В одной из современных версий тезиса Гердера, а именно — в концепции П. Либермана (Lieberman 1993), язык рассматривается как важнейший фактор прогресса в сфере морали.

Креативная функция языка проявляется, в частности, в лексикализации грамматических значений, например, в явлении персонифика-

ции значений грамматической категории рода (Успенский 1971). В качестве примеров можно привести женский образ смерти в русской народной мифологии, основанный на грамматическом значении ж. рода существительного *смерть*, или мужской образ смерти в немецкой мифологии – в немецком языке существительное *der Tod* мужского рода.

Существительное *Kunst* в немецком языке, напротив, ж. рода, поэтому нет ничего удивительного, что на картине *Die freien Künste* («Свободные искусства»), которую видят посетители принадлежащей семье Крупшов виллы Хюгель в Эссене, искусства представлены образами прекрасных женщин. Впрочем, эта традиция в изобразительном искусстве имеет античное происхождение: в латыни существительное *ars* ‘искусство’ – ж. рода.

Влиянием грамматической категории рода можно объяснить название известной книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», а также строки из стихотворения Булата Окуджавы:

Любили женщину одну –
Она звалась Победа.

Другим интересным примером такого рода является функционирование в разных европейских языках существительного *звезда*. В русском и в польском языке оно относится к словам ж. рода, в немецком языке (*der Stern*) – к словам мужского рода. Неслучайно в русском языке (особенно в поэтических текстах) *звезда* выступает символом любимой женщины (см. подробнее в статье «„Среди миров” Иннокентия Анненского...»).

12. Конститутивная функция

Конститутивная функция реализуется по отношению к языковым ситуациям и означает статус языка в социальной структуре общества, в частности – его административный статус. В социолингвистике языковая ситуация понимается как

совокупность форм существования одного языка или совокупность нескольких языков в их социальном и функциональном взаимодействии в пределах определенных территорий: регионов или административно-политических образований (Вахтин/Головко 2004, 47).

Так, в бывшей Югославии (СФРЮ) сербско-хорватский язык имел статус одного из государственных языков (кроме словенского и македонского), употреблялся в речи на территории четырех республик: в Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, а также в Черногории (Spragińska-Pruszk 2005, 10). После политических событий 80-х и 90-х годов прошлого столетия стали формироваться две независимые литературные нормы – сербская и хорватская; сфера функционирования этих языков сузилась и теперь они обладают преимущественно моноэтническим статусом.

В зависимости от социо-культурного ранга, а также от спектра функционирования этнические языки обладают разными конститутивными свойствами. С учетом этих свойств можно представить несколько оппозиций языковых систем (см. Мечковская 2001, 130 ссл.):

1. кодифицированные (письменные) – некодифицированные (устные);
2. интердиалектные – диалектные;
3. литературные – нелитературные (в работе: Obi 1996, – рассматривается конститутивная функция языка в африканских литературах);
4. полиэтнические (употребляемые несколькими народами) – моноэтнические;
5. государственные (официальные, конституционные, национальные) – негосударственные (местные, региональные, языки национальных меньшинств);
6. документные (языки, на которые в официальном порядке переводятся резолюции Государственной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН) – полудокументные;
7. пророческие (профетические, сакральные, апостольские, например: ведийский, древнееврейский, древнегреческий, классический арабский, веньянь и др.) – непророческие (народные, vernaculae);
8. язык как вспомогательное средство при обучении другому языку – язык, на котором ведется преподавание – язык как учебный предмет.

13. Интерлингвистическая функция

Интерлингвистическая функция состоит в воздействии одной языковой системы на другую (на другие). Можно различать несколько типов обусловленности языковых изменений:

1. контактные — неконтактные;
2. однонаправленные — взаимные;
3. конвергенционные — дивергенционные.

Результатом языковых контактов (в рамках определенного культурно-географического ареала) обычно является интерференция языковых систем — проникновение элементов одного языка в систему другого, и наоборот. В условиях неконтактного взаимодействия интерлингвистическую функцию выполняют языки, имеющие высокий культурный статус, например, классические языки.

Чаще всего взаимодействие языков имеет однонаправленный характер, как это наблюдается при экспансии латыни в средневековой Европе, французского языка в XVII-XIX веках или английского языка в XX веке — первой декаде XXI века (см. Zimmer 2005, 105; Sick 2005, 23).

В результате взаимных влияний в группе языков возникают языковые ареалы (например, балканский или балтийский), более редко — отдельные литературные языки, например, сербско-хорватский язык — в конце XIX века.

Обычно интерлингвистическая функция языка проявляется в виде конвергенции, т.е. сближения двух (или нескольких) языковых систем. Такой характер носила русификация в языковой политике СССР, например, в области кодифицирования орфографии белорусского языка (Лыч 1993, 18). Кроме того конвергенция приводит к возникновению смешанных языков, таких как «трасянка» в Белоруссии или «суржик» в Украине.

Языковая дивергенция обычно проявляется в условиях центробежных социально-политических процессов. С таким явлением мы имеем дело в странах бывшего Советского Союза и бывшей СФРЮ: начиная с 90-х годов XX века в бывших республиках проводится (официальная или неофициальная) языковая политика, целью которой является национализация языка. Например, в белорусских оппозиционных изданиях, особенно в Интернете, культивируется (хотя в последнее время все реже) альтернативная по отношению к официальной литературная норма белорусского языка, в значительной степениiewicz 2002). Подобными же процессами можно объяснить и возникновение в конце прошлого столетия боснийского литературного языка (Hofman-Pianka 2000, 72 ссл.).

Заключение

Проблема функций языка издавна интересовала исследователей, не только лингвистов, но также психологов, философов, обществоведов. Уже в древности различались когнитивная, оценочная и аффективная функции (Белл 1980, 114). В современных работах выделяются от трех до более десятка функций языка, а в работе: Киклевич 1999, насчитано более ста терминов, определяющих функции языка.

К сожалению, у существующих лингвистических и философских концепций имеются недостатки. Во-первых, многие классификации функций опираются на субъективный, интуитивный подход, не соответствуют принципам научной классификации. Во-вторых, наиболее известные классификации функций (например, К. Бюлера, Р. Jakobson или М. А. К. Хэллидэя) всецело опираются на структуру речевого акта и не учитывают функций, которыми обладает язык как система знаков, например, таких, как интерлингвистическая или конститутивная.

Поэтому в данной работе принят новый подход к описанию функций языка. Представленная здесь модель функций имеет несколько особенностей: 1) учитываются экспликативные функции, т.е. такие, которые заключаются в использовании языковых знаков в качестве носителей информации; 2) учитывается инструментальная («медийная») природа языка, т.е. функционирование языковых знаков как средств реализации действий, например, магических или политических; 3) система функций языка, в принципе, имеет открытый характер: с учетом новых отношений языка и элементов его окружения (среды) могут появляться новые функции. Это приводит нас к заключению, что язык является не только системой систем, как подчеркивали теоретики структурализма, но и элементом в системе культуры, которая во многом определяет содержание и направления функционирования языка.



Фреквенция как фактор изменения языковых единиц в теории В. Маньчака

Таких примеров слишком много, чтобы не
искать в них закономерности.

Виктор Конецкий

1. Лингвистическая теория и лингвистическая практика

Лингвистика не богата новыми, оригинальными теориями. Лингвистические работы чаще всего представляют собой аппликацию ранее появившихся теорий, концепций, идей, т.е. преимущественно имеют эмпирический, описательный характер. С другой стороны – многие «теории», по существу, представляют собой варианты более ранних теоретических построений, и часто их новизна заключается только во введении новой терминологии, новых моделей репрезентации, а то и вовсе сводится только к формальному декларированию «новой научной школы» (типа «саратовской лингвистической школы»). Так, Э. Табаковская проанализировала теоретические постулаты современной когнитивной лингвистики и пришла к выводу, что когнитивизм в языкознании представляет собой возврат к идеям психологии языка второй половины XIX в. и начала XX в., в частности, изложенным в работах таких исследователей, как В. Вундт или Я. Розвадовский (Tabakowska 2000, 67). Современная лингвокультурология, особенно в той версии, которая культивируется в России и в Польше, также не имеет собственной теоретической базы: ее источниками являются

теоретические работы представителей европейского неогумбольдтизма и американской антропологической лингвистики первой половины XX в. (подробнее об этом см.: Kiklewicz/Wilczewski 2011, 166).

Согласно одной из научных шуток (бытующих в среде физиков), научная теория нужна для того, чтобы избежать проведения ненужных экспериментов. Впрочем, Р. Пенроуз считает, что в отдельных областях знания, например, в физике элементарных частиц, теория может быть в определенной степени независима от практики, что объясняется сложностью и исключительной энергоемкостью некоторых экспериментов (Penrose 2006, 981). У лингвистов, казалось бы, не возникают проблемы этого рода: объекты лингвистического описания обычно легко доступны (ср. реплику из стихотворения Арсения Тарковского: «И слова у меня под ногами валялись...»), однако в лингвистике многие теории появляются в отрыве от практики и часто к практике не имеют отношения. Поэтому в течение некоторого времени они бытуют в научной среде (отражая или пропагандируя актуальные в какую-то эпоху научные идеи), чтобы в конце концов уйти в забвение, как, например, аппликативная модель С. К. Шаумяна или интегративная лингвистика (на базе семиотики) Г.-Г. Либа.

В связи с выше отмеченным особую ценность в лингвистике представляют те научные теории, которые непосредственно связаны с практикой лингвистического анализа и вследствие этого обладают значительной объяснительной силой. К этому числу следует отнести теорию языковых изменений выдающегося польского языковеда Витольда Маньчака. Концепция Маньчака сформировалась на базе изучения материала исторической фонетики и морфологии — см. одно из первых полных изложений теории в книге «Polska fonetyka i morfologia historyczna» (Mańczak 1965). Не буду скрывать, что мои лингвистические интересы и моя лингвистическая компетенция не имеют прямого отношения к этой области познания, однако теория Маньчака — в моем убеждении — касается не только исторической фонетики и морфологии — она имеет фундаментальное значение для общей теории и семиотики языка. Поэтому научный интерес представляет попытка применения «принципа Маньчака» к разным областям функционирования языка, ее инкорпорирования в методологию функциональной лингвистики.

Теория Маньчака незаслуженно не нашла пока должного отражения в современных лингвистических исследованиях, хотя «принцип Маньчака» следует отнести к числу выдающихся лингвистических открытий. Цель этой статьи отчасти состоит в том, чтобы отдать

должное заслугам краковского исследователя и обратить внимание современных лингвистов на те аспекты его теории, которые особенно ценны при проведении функциональных исследований.

2. Фреквенция как фактор фонетических изменений

В 1958 г. Маньчак предложил различать три типа исторических изменений в фонетике: 1) регулярные изменения; 2) изменения по аналогии и 3) нерегулярные изменения. При этом особое внимание исследователь уделил явлениям третьего типа, в которых, по его убеждению, обнаруживается принцип релевантности частоты употребления языковых единиц в плане их формальных преобразований. Маньчак пишет: «Обусловленное высокой частотой нерегулярное фонетическое развитие (единиц языка. — А. К.) имеет массовый характер и выступает не только в словах, но также в морфемах, особенно окончаниях, которые употребляются чаще слов» (Mańczak 2009a, 237 сл.). Для доказательства своего тезиса Маньчак приводит ряд аргументов, которые я представлю в сокращении.

Первым аргументом является факт, что, согласно наблюдениям, «большинство слов, подверженных нерегулярной редукции, относится к первой тысяче наиболее часто употребляемых слов» (ibidem, 238). Маньчак приводит соответствующие количественные данные по французскому и испанскому языкам:

Частота	Кол-во слов с нерегулярной редукцией формы			
	Французский язык		Испанский язык	
1-я тысяча	99	86%	50	89%
2-я тысяча	9	8%	1	2%
3-я тысяча	4	3%	4	7%
4-я тысяча	2	2%	1	2%
5-я тысяча	1	1%	0	0%
6-я тысяча	0	0%	0	0%

В качестве второго аргумента служит факт, что, если морфема, слово или словосочетание употребляется в двух формах: регулярной и нерегулярной, более частой является нерегулярная форма. Маньчак ссылается на старопольскую форму местоимения *tako*, которая в результате частого употребления сократилась — нерегулярным способом — до формы *tak*. Сегодня обе формы присутствуют в системе

польского языка, но первая, регулярная, встречается лишь окказионально, в составе фразеологического оборота *jako tako*.

Другой пример – современное польское существительное *brat*. Его происхождение связывают с праславянским **bratrъ*, имеющим соответствие в других индоевропейских языках, ср. лат. *frāter*, готск. *brōpar*, греч. *phrātēr*, ст.-инд. *bhrātar* (Boryś 2006, 38). Еще в XV в. в старопольском языке употреблялась форма *bratr*, которая в результате нерегулярного сокращения превратилась в форму *brat*. Сегодня существительное в этой нерегулярной (с исторической точки зрения) форме употребляется массово, регулярная же форма сохранилась только в относительно редко употребляемых дериватах *braterski*, *braterstwo*.

Это же правило реализуется в морфологии, где нерегулярные формы в составе грамматической парадигмы имеют более высокую частоту употребления. Так, существительное *książe* ‘князь’ раньше изменялось в соответствии с правилом, общим для всех существительных, оканчивающихся на носовой звук *ɛ*, т.е. по образцу существительного *koźle*: *koźlecia*, *koźleciu*, *koźleciem* и т.д. Этот – регулярный – тип словоизменения сохранился у существительного *książe* во множественном числе: *książęta*, *książąt*, *książętom* и т.д., однако в единственном числе произошла редукция формы: *księcia*, *księciu* и т.д. Маньчак объясняет это тем, что формы ед. числа обладают более высокой частотностью по сравнению с формами мн. числа.

Сильным аргументом в пользу «принципа Маньчака» являются также данные лингвогеографии. Оказывается, что из двух или более нерегулярных рефлексов данной фонетической формы более широкое распространение имеет более частотный рефлекс. Это, например, касается конечного согласного *-r* во французском языке: в результате нерегулярного фонетического изменения этот звук в некоторых словах перестал произноситься, например, в глаголах на *-er*. При этом область распространения данного явления шире, чем область, в которой конечный *-r* исчезает в глаголах на *-ir* и в глаголах на *-oir*, что Маньчак объясняет тем же фреквентивным принципом: глаголы на *-er* употребляются во французском языке чаще, чем глаголы на *-ir*, *-oir*.

Приведу несколько выбранных из разных работ Маньчака примеров действия его «фреквентивного» принципа. В истории славянских языков известно явление преитации, которое обнаруживается также в словах, исторически начинавшихся на *a*. В толковом словаре польского языка под редакцией В. Дорошевского имеется, по данным Маньчака, 418 слов на *ja-*, которые возникли в результате преитации. Осталось

только одно слово, которого прејотация не коснулась, это — сочинительный союз *a*, который на фоне общей картины фонетических изменений, представляет собой исключение. Это исключение Маньчак объясняет высокой частотой употребления союза: по данным частотного словаря польского языка под редакцией И. Курч, союз *a*, по сравнению со всеми словами на *ja-*, имеет наибольшую частотность (Mańczak 2009b, 51).

Современная польская глагольная форма *czekać* восходит к форме *czakać* (что подтверждается в этимологическом словаре В. Борыся, см. Boryś 2006, 92). В этом случае регулярный характер исторического изменения предвидел бы редукцию гласного в корне: *czakać* > *czkać*. Действительно, форма *czkać* (как и форма *czykać*) представлена в польских диалектах, однако в литературном языке распространилась форма с частичной редукцией гласного звука: заменой открытого *a* на более закрытый *e*. Маньчак сравнил, по данным частотного словаря под редакцией Курч, слова, начинающиеся на *cza-* и начинающиеся на *cze-*. Оказалось, что только слово *czas* имеет высокую частоту (855), все остальные слова на *cza-* (их количество равно 170) уступают глаголу *czekać* по частоте употребления:

Слово	Частота
czas	855
czekać	184
czasem	100
czarny	97
czapka	12
czaszka	12
czasopismo	10
czasowy	9
czaić się	5
czar	5
czasza	5

Вывод: и в этом случае отклонение от правила фонетического изменения сопровождается высокой употребительностью слова.

Та же причина лежит в основе нерегулярного образования современного польского *dziś* на базе праславянского сочетания **dьnь sь*. Хотя фонетическое преобразование **dьnь sь* > **dzieńś* > **dzińś* > *dziś* не отражает характерного для исторической фонетики польского языка правила, распространенный в современном языке — неправильный! — рефлекс имеет широкое употребление, и именно фактор высокой

частотности, по мнению Маньчака, повлиял на то, что неправильная форма оказалась общепринятой.

Регулярно гласный звук *i* после гласного сохраняется: *przyimek, zaimek, zaimponować, zaimprovizować, zainicjować, zainkasować, zainteresować, zaiste, zaistnieć, uiścić* и т.д. Такое положение наблюдается, например, в структуре 126 глаголов на *-oić* типа *doić* в словаре под редакцией Дорошевского. Имеются, однако, два исключения: глаголы *iść* и *imać się*, дериваты которых образованы нерегулярным способом, а именно — с помощью фонетического изменения *i > j*, ср.: *najść, zejść, obejść, odejść, wejść, zajmować, obejmować, przyjmować, ujmować, pojmować* и т.д.

Хотя нерегулярность, которую имеет в виду Маньчак, проявляется в разных формах (например, касается окончаний в составе парадигмы глагола, как в случае французского *chanter*, см. Mańczak 2009a, 244), однако чаще всего она находит отражение в нерегулярной редукции языковых единиц. Так, к примеру, в силу высокой частотности праиндоевропейская глагольная форма 3-го лица **esti* 'есть' была сокращена (речь идет о конечном гласном звуке) — ср. современную форму *jest*. Такого рода преобразования (диспалатализации конечного слога), согласно Маньчаку, нельзя объяснить системой языка — оно имеет нерегулярный характер (см. другую точку зрения: Bogusławski 2011, 309), но зато опирается на функциональный фактор — высокую частоту употребления данного глагола (в функции глагола существования и в функции служебного слова) (см.: Mańczak 2012, 78).

3. Частотность и принцип компенсации

Хотя «принцип Маньчака» был сформулирован применительно к фонетическим и морфологическим изменениям в истории языка, он, как показывает языковой материал, имеет более широкую сферу действия и, в частности, может быть обнаружен в синтаксисе. Так, Б. Ю. Норман обсуждает проблему функционально-синтаксических позиций, из которых складывается структура предложения — таких, как предикат действия, субъект действия, субъект отношения, объект действия, адресат действия и др. (1994, 156 ссл.; идея синтаксических позиций в русистике принадлежит Т. П. Ломтеву). Позиция синтаксемы имеет две важнейших стороны: формально-грамматическую и лексическую. Во-первых, синтаксема выражена в определенной грамматической форме; например, позиция субъекта действия — в форме имен. пад. существительных, ср.:

Иванов написал книгу.

Во-вторых, позиция, по выражению Нормана, может быть «заполнена» соответствующими лексическими формами; в случае позиции субъекта действия это может быть одушевленное или неодушевленное существительное, местоимение:

Авторский коллектив написал книгу.
Он написал книгу.
Кто написал книгу?

Хотя каждая синтаксическая позиция допускает разные варианты своей реализации, они не являются равноценными: одни варианты (например, реализация позиции субъекта существительными в имен. пад.) более типичны, другие (реализация той же позиции в косвенных падежах) — менее типичны, ср.:

Иванов написал книгу.
Ивановым написана книга.
У Иванова написана книга.
Иванову не написать книгу.

Типичность, о которой пишет Норман (и которая касается не только формально-грамматической, но и лексической реализации позиции, см.: 1994, 161), можно интерпретировать и иначе, а именно — как высокую частотность того или иного типа реализации позиции. Норман, в частности, пишет о большей или меньшей вероятности разных вариантов синтаксической позиции. Исключительно важным при этом оказывается факт, что типичность (= частотность) реализации синтаксической позиции связана с ее регулярностью или нерегулярностью. Норман обнаружил закономерность, согласно которой высокая частота употребления грамматического варианта синтаксической позиции коррелирует с возможностью ее нерегулярного лексического заполнения, что фактически соответствует «принципу Маньчака»!

Так, реализация позиции субъекта (действия, отношения, процесса и т.д.) в форме существительных имен. пад. является наиболее частотной, и именно в этих вариантах данной позиции обнаруживается наибольшая свобода ее лексического заполнения, включая нерегулярные, окказиональные формы, ср. (примеры Нормана):

Энтузиазм совершает чудеса.
Прошлый год назвал новые имена.
Март взвинтил цены.

Подобным же образом позиция инструмента действия наиболее часто реализуется в формах существительных и местоимений в твор. пад., именно поэтому данный вариант реализации позиции инструмента позволяет употреблять окказиональные формы ее лексического заполнения, ср. словоформу *бабой* в этой позиции:

Мне иногда бабой жать выгоднее, чем комбайном (Ю. Щеглов).

Между лексическими и грамматическими вариантами синтаксических позиций имеется и обратная зависимость: чем более частотна лексическая форма заполнения позиции, тем более свободной, не связанной с одним образцом является ее грамматическая реализация, а в случае наиболее частотных вариантов допускаются нерегулярные грамматические формы. Например, для позиции субъекта действия характерно ее заполнение одушевленными существительными (*Иванов написал книгу*). Именно в этом случае допускаются альтернативные грамматические формы реализации субъекта, частично имеющие нерегулярный характер. Можно даже сомневаться в правильности языковых выражений (некоторые примеры заимствованы из книги Нормана):

? У ученика решена задача.
? У плотников строится дом.
? У мамы моется пол.
? У девочки одевается кукла.

В то же время редкие лексические варианты синтаксической позиции сильно ограничивают возможности ее грамматической реализации. Хотя, например, субъект действия может быть реализован в форме существительных твор. пад. (в пассивных предложениях), это наблюдается преимущественно с одушевленными существительными, которые наиболее часто появляются в этой позиции. Однако Норман пишет, что

если ту же позицию занимают существительные с неличным значением (типа *энтузиазм, март, прошлый год*), [...] они ведут себя значительно скованней в морфологическом отношении» (1994, 164).

Так, за пределами литературной нормы находятся предложения, в которых позиция субъекта выражается нерегулярным грамматическим способом:

- ? Энтузиазмом совершаются чудеса.
- ? У прошлого года названы имена.
- ? Марту не взвинтить цен.

Выявленную закономерность Норман формулирует следующим образом:

Чем центральнее, «сильнее» избранная говорящим форма выражения позиции, тем свободнее она в своем лексическом заполнении. И наоборот, чем периферийнее, «слабее» данный формальный вариант, тем сильнее он привязан к типичному для данной функционально-синтаксической позиции классу слов (*ibidem*, 164).

Казалось бы, здесь нет прямого отношения к исторической фонетике, однако и фонетическое развитие слов, и реализация синтаксических позиций подвержены действию общего принципа: функциональная нагрузка языковых единиц отражается в формальном выражении, в их соответствии регулярным или нерегулярным способам кодирования. Частотность отражает особую функциональную значимость единицы, а именно — значимость ее определенного аспекта. Эта характеристика единицы проявляется в том, как реализуются другие ее аспекты; собственно, речь идет о том, что для единиц с высокой функциональной значимостью (в определенном аспекте) требование формального соответствия системе кодирования информации становится необязательным — у единицы появляются свои, функциональные ресурсы — в частности, высокая частота употребления.

В случае синтаксической позиции мы наблюдаем корреляцию двух параметров: лексического и формально-грамматического. «Принцип Маньчака» (в том виде, как он сформулирован) не фиксирует этой двуаспектности, хотя его действие, как мне представляется, также сводится к корреляции двух аспектов языковой единицы. Когда Маньчак пишет о том, что нерегулярное фонетическое развитие обусловлено фреквенцией, он не указывает, что является носителем признака «фреквенция». Может возникнуть мысль о единстве носителей этих свойств (или функций): нерегулярности и частотности, хотя в действительности регулярность/нерегулярность касается фонетической формы слова, а частота употребления — слова как целостной

языковой единицы, включая ее лексическое значение, синтаксическую функцию, стилистическую характеристику и др.

К примеру, рассмотренный во втором пункте союз *a* представляет собой единство фонетической формы и синтаксической функции — сочинительного (соединительного) союза. Поэтому неверным было бы говорить о прямой зависимости нерегулярной фонетической формы этого слова (без преютиации) от высокой частоты употребления фонетической формы слова, поскольку частота употребления является функцией слова как лексической единицы, а не только его фонетической формы! Об этом, в принципе, пишет в своей статье Богуславский (2011, 300): частота употребления обусловлена функциональными свойствами языковых единиц, поэтому надо учитывать, что союз *a* (без преютиации начального гласного) употребляется в речи совершенно иначе, чем, например, существительное *jabłko* (с преютиацией), а кроме того довольно часто встречается в непосредственном контакте с личным местоимением *ja* (ср. выражения типа *a ja...*), которое относится к числу наиболее частых единиц польского языка.

Обратим внимание на то, что Маньчак довольно часто рассматривает нерегулярные фонетические изменения в составе аффиксальных морфем, хотя ссылается на частотность употребления всей лексемы, включая корневую морфему. Например, он пишет, что в английском языке имеется 700 дериватов с суффиксом *-iness* типа *laziness, happiness*. При этом только в одном случае произошла фонетическая (нерегулярная!) редукция гласного — в слове *business*, которое, согласно подсчетам Маньчака, является в этой группе наиболее употребляемым. С одной стороны, все верно: зависимость между нерегулярностью фонетической формы и частоты употребления не вызывает сомнений, но, с другой стороны, обратим внимание, что высокая частота употребления обусловлена, вероятнее всего, лексическим значением существительного, прежде всего — содержанием его корневой морфемы, в частности — значимостью его семантики для носителей языка.

Подобным же образом Маньчак пишет, что в парадигме французского глагола *chanter* большинство (35 из 49) окончаний и суффиксов имеет нерегулярный характер, что объясняется высокой частотой употребления данного глагола — со значением 'петь' (Mańczak 2009a, 244). Однако и в этом случае следовало бы уточнить, что нерегулярные фонетические изменения касаются отдельных аффиксов, а ча-

стота представляет собой характеристику всей лексемы, включая и те ее морфологические формы, которые имеют регулярный характер.

Итак, возможно, «принцип Маньчака» нуждается в уточнении. Речь идет о параметричности языковых единиц, т.е. о наличии у каждой из них некоторого числа взаимосвязанных параметров, аспектов, измерений (ср. англ. *multidimensional*). Тогда, ссылаясь на «принцип Маньчака», который — я твердо хочу это подчеркнуть — не теряет своей силы, можно объяснить характер указанной выше взаимосвязи.

Чтобы описываемому явлению дать общее представление, я введу необходимую символизацию. Можно считать, что и частота, и регулярность/нерегулярность представляют собой определенные функции, при этом они относятся к разным параметрам единицы: частота характеризует единицу i как целое, а регулярность/нерегулярность — отдельные элементы ее формы, например, аффиксальные морфемы (обозначу это символически в виде i'). Тогда «принцип Маньчака» можно записать как отношение функций F (частота) и R (регулярность):

$$F(i) = \frac{k}{R(i')}$$

То же отношение лежит в основе многих других явлений, наблюдаемых в языке, в том числе и не касающихся фонетических изменений. Упомяну некоторые из них.

Во-первых, как мы уже наблюдали на примере синтаксических позиций, высокая частота грамматического варианта позиции коррелирует с нерегулярным характером ее лексического заполнения, и наоборот.

Во-вторых, высокая частота употребления слова коррелирует с его многозначностью, в том числе и с появлением некоторого числа неконвенциональных, окказиональных значений (ср. третье правило Ципфа; см. Těšitelová 1992, 55). В связи с этим можно упомянуть введенное В. А. Татаринным понятие амбисемии как широко распространенной в текстах научного стиля семантической вариативности и даже окказиональности наиболее часто употребляемых терминов (Татаринов 2006, 14 сл.; 1996, 168 сл.; 1988, 12 сл.).

Хотя Маньчак при определении своего принципа пользуется разными терминами: с одной стороны — частотность, с другой стороны — нерегулярность (изменения), однако в определенном аспекте мы

имеем дело с понятиями одного рода: ведь частотность представляет собой, в принципе, регулярность. Понятно, что под регулярностью фонетических изменений понимается их соответствие господствующим в языке образцам, моделям, но ведь и понятие господства предполагает фреквентивное содержание: *господствующий* значит *частотный*:

частотный > типичный > регулярный
регулярный > господствующий > частотный

Это значительно упрощает картину представленного выше функционального отношения: теперь наблюдаемые в языке зависимости мы можем интерпретировать как корреляции между регулярностью реализации единицы в одном аспекте и нерегулярностью ее реализации в другом аспекте. В этом случае «принцип Маньчака» может трактоваться как принцип компенсации: нерегулярность реализации единицы в одном аспекте компенсируется регулярностью ее реализации в другом аспекте, а принцип компенсации, по крайней мере по отношению к части языковых фактов, можно объяснить принципом еще более общего плана — экономией речевых усилий. Впрочем, об этом пишет и сам Маньчак:

Wyjaśnienie, czemu morfemy, wyrazy i grupy wyrazów często używane ulegają nieregularnej redukcji ich objętości, jest proste: jest to jeden z rozlicznych przejawów tendencji do najmniejszego wysiłku, właściwej wszelkiej działalności ludzkiej. Ponieważ często używane elementy języka są dobrze znane całej społeczności językowej, nie potrzeba ich dokładnie wymawiać, aby słuchacz wiedział, o co chodzi (1983, 19).

4. «Принцип Маньчака» как статистическая универсалия

Маньчак сам признает, что в историческом языкознании его теория или замалчивается, или вызывает критику. Можно понять такое положение дел: компаративисты преимущественно занимаются фактами системы языка, а функционально-речевой аспект языковых единиц и, в частности, их статистические характеристики историков языка мало интересуют.

Например, принцип обусловленности нерегулярных изменений высокой частотой употребления единицы многими интерпретируется как абсолютный. Поскольку же оказывается, что, во-первых, не все факты нерегулярных изменений можно объяснить фреквенцией, во-

вторых, не все факты высокой фреквенции сопровождаются нерегулярностью формы, то автора теории упрекают в необъективности и даже спекулятивности — примером может быть статья А. Баньковского (Bańkowski 2011, 314). Баньковский, например, сравнивает современные польские формы существительных *psy* и *krety*, отмечая, что первая из них является регулярной (как рефлекс исчезновения ера в слабой позиции), а вторая — нерегулярной. Если высокая частота употребления является фактором нерегулярных изменений, то, пишет Баньковский, надо признать, что существительное *kret* в польском языке более употребительно по сравнению с существительным *pies*, что, разумеется, не соответствует действительности.

Подобным образом и Богуславский приводит свои «контраргументы»; в этом случае обращается внимание на то, что нерегулярные варианты языковых единиц необязательно характеризуются высокой частотой речевого употребления. Например, в английском языке наблюдается устранение подчинительного союза *that* не только после часто употребляемых глаголов типа *say, know*, но и во многих других конструкциях с редкими глаголами, причем в разных речевых стилях (Bogusławski 2011, 308).⁴

Обусловленность нерегулярных фонетических изменений фреквенцией, как кажется, не подтверждается и данными сопоставительных исследований. Так, устранение союза *that* можно объяснить стремлением к экономии речевых усилий (особенно в устной речи), но Богуславский отмечает, что данное явление не наблюдается в других языках, например, польском, ср. (примеры Богуславского):

ang. The problem is not all badness results from human activity.
polsk. *Problemem nie jest (to) wszelkie zło wynika z ludzkich działań.

Другой пример: Маньчак пишет о регулярных и нерегулярных рефлексах праславянского **čelověkъ* в разных славянских языках (Mańczak 2012, 82). Он, в частности, подчеркивает факт нерегулярного развития данного слова в южно- и западнославянских языках, ср. болг. *човек*, слов. *človek*, польск. *człowiek*, хотя отмечает и регулярные

⁴ В качестве другого примера можно привести фамилию великого русского художника *Карла Брюллова*, которая происходит от французской фамилии *Брюлло*. По этому поводу Александр Генис пишет: «Это тем удивительнее, что, глядя на холст («Последний день Помпеи». — А. К.), мы никогда не узнаем в художнике русского. И правильно сделаем, потому что выходец из французско-немецкой семьи живописцев Карл Брюлло получил букву “в” в подарок от царя, в чьи владения входила даже азбука».

рефлексы (собственно, отсутствие изменения) в восточнославянских языках, ср. русск. *человек*. Вместе с тем Маньчак не объясняет этого различия, хотя совершенно очевидно, что нерегулярные рефлексы (с редукцией гласного звука) не могут быть объяснены (только) фактором частотности слова, поскольку во всех славянских языках данное существительное относится к числу наиболее часто употребляемых: в частотном словаре русского языка под ред. Л. Н. Засориной существительное *человек* занимает 68-е место, а в частотном словаре польского языка под редакцией И. Курч существительное *człowiek* — 88-е место. В русском языке, как видим, это слово даже более употребительно, чем в польском, поэтому его нерегулярное фонетическое развитие было бы более ожидаемым.

Означают ли приведенные факты, что «принцип Маньчака» «не работает? По моему убеждению — не означают. «Принцип Маньчака» остается в силе, несмотря на эти и многие другие, казалось бы, компрометирующие его факты, а объясняется это тем, что Маньчак, если я правильно понимаю его точку зрения, ни в одной из своих работ не пишет о жестко детерминированном, абсолютном характере обусловленности нерегулярных языковых изменений фактором высокой частоты употребления. Зависимость данных двух параметров единиц имеет вероятностный характер, и высокую частоту употребления единицы следует рассматривать как фактор, способствующий ее специфической, нетривиальной реализации, но не как обязательный атрибут всех нерегулярных явлений в языке (см.: Mańczak 2012, 80). Даже если бы «принцип Маньчака» объяснял небольшое число языковых фактов (как это, например, наблюдается в случае гаплогонии — чрезвычайно редкого в языке явления), и тогда он имел бы для языкознания ценность, но за «принципом Маньчака» стоят сотни языковых фактов, причем в разных языках, что дает основание отнести его к числу так называемых статистических универсалий.

5. Функциональная мимикрия

«Принцип Маньчака» в определенном отношении парадоксален (что, как думается, и является причиной его неприятия многими исследователями). Утверждение о том, что высокая частота употребления обуславливает нерегулярные, не соответствующие языковой системе факты, казалось бы, противоречит здравому смыслу: из него должно следовать, что наша каждодневная речевая деятельность

(в которой значительная доля приходится на часто употребляемые знаки) опирается на разного рода исключения, отклонения, аномалии и т.п., что не соответствует действительности. Об этом, в частности, пишет Богуславский (2011, 301): в речевой деятельности регулярные формы в количественном отношении доминируют над нерегулярными, например, флексийные падежные формы (*студент* > *студента*) — над супплетивными (*я* > *меня*). Регулярные явления составляют большинство, поэтому, естественно, они чаще, чем нерегулярные, выступают в нашем окружении и нашей деятельности — см. статистические данные, приведенные в работе: Plunkett/Bandelow 2006, 200). Как тогда следует понимать «принцип Маньчака»?

Недоразумение исчезнет, если мы обратим внимание на то, что «принцип Маньчака» относится не к классам, а к единицам, элементам классов. Действительно, класс или категория обладает, так сказать, конститутивной регулярностью, вытекающей из его/ее множественной природы: каждый класс и каждая категория включают некоторое множество элементов (например, языковых единиц), которые, во-первых, удовлетворяют (в большей или меньшей степени) общему характеристическому свойству; во-вторых, реализация этого свойства в речевой деятельности имеет повторяемый, регулярный характер. Например, очевидно, что большинство существительных современного польского языка, в том числе и наиболее частые слова, имеет падежные формы, хотя имеется незначительная группа неизменяемых существительных — заимствованных и, преимущественно, редко употребляемых, ср.: *alibi, boa, emu, etui, nu, graffiti, guru, harakiri, karibu, kiwi* и др. Разумеется, «принципом Маньчака» явлений этого рода объяснить нельзя, но этот принцип и служит не для объяснения языковых категорий (таких, как падеж), а для объяснения единичных фактов: если в языковой системе имеются отклонения от общеобязательных правил (что касается развития или функционирования языковых единиц), эти отклонения могут объясняться высокой частотой употребления единиц — носителей данного нарушения. Эта логика лежит, например, в основе объяснения нерегулярной редукции формы высокочастотного английского глагола *will*, ср.:

I will be back > I'll be back.

Разумеется, из этого нельзя делать вывод, касающийся всего класса английских глаголов, заканчивающихся на *-ill* — отмеченная Маньчаком обусловленность имеет силу только по отношению к данному,

если так можно выразиться, экземпляру. С одной стороны, регулярные явления (как представители категорий, классов) частотны, но, с другой стороны, высокая частота употребления является фактором, который содействует разного рода нерегулярным модификациям языковых единиц. Нерегулярные единицы не составляют большинства, но факт их появления в речевой деятельности может объясняться их особой функциональностью. В этом случае мы имеем дело со своего рода мимикрией: нерегулярные формы, хотя не соответствуют общему принципу кодирования, как бы имитируют регулярные формы высокой частотой появления в речи.

6. Частотность категориальная и атрибутивная

Критики «принципа Маньчака» обращают внимание на абсолютизацию статического критерия описания языковых единиц. Так, Баньковский пишет, что фреквенция не является языковым фактом, а тем более причиной языковых изменений (Bańkowski 2011, 315), упоминаемая более существенный фактор — принцип экономии.

Подобным же образом Богуславский (2011, 300) замечает, что для языковых изменений важна не фреквенция сама по себе (я бы добавил: как в некотором смысле формальный параметр), а те функциональные предпосылки речевой деятельности, которые стоят за ней. Богуславский пишет:

Język i teksty to, z jednej strony, narzędzia przede wszystkim *poznawczych*, a dalej komunikacyjnych *działań ludzkich*, z drugiej zaś *produkty takich działań*. Więc chcąc sobie wyjaśnić zmienność tych narzędzi i tych produktów, musimy zwracać się do samych owych działań i rozmaitych towarzyszących im okoliczności, w tym do specjalnych relacji między ludźmi, a także relacji do relacji funkcjonalnych między ich narzędziami mownymi. [...] (ibidem).

Далее в своей статье Богуславский (ibidem, 308), обобщая примеры того, что фреквенция необязательно сопровождается отклонением от правила, а отклонение от правила необязательно имеет высокочастотный характер (об этом см. также: Plunkett/Juola 1999, 475), делает чрезвычайно важный вывод, что за такого рода фактами стоит некий более общий фактор, по отношению к которому фреквенция является одной из производных. О том, что частота употребления слов обусловлена функциями полушарий головного мозга, можно прочитать в статье Д. Войера (Voyer 2003). Из исследования других американских исследователей (см.: Hartshorne/Ullman 2006, 25 ссл.)

вытекает, что в речи англоязычных детей частота употребления нерегулярных форм глаголов прош. времени зависит от пола.

Проблема, в моем понимании, сводится к тому, какого рода явления отражает «принцип Маньчака»: обусловленность нерегулярных изменений фреквенцией или (только) их корреляцию?

С одной стороны, имеются неоспоримые аргументы в пользу концепции обусловленности. Это прежде всего — факты сокращения языковой формы единиц (см.: Mańczak 2001), что можно непосредственно связывать с частотой их употребления, хотя, как признает сам Маньчак, в основе этих фактов лежит более общий принцип экономии (Mańczak 1983, 19). Зависимость между краткостью формы и высокой частотой употребления хорошо известна в лингвистике — сам Маньчак пишет, что в данном случае мы имеем дело с «общепринятым мнением» („rozpowszechniony pogląd”, см. Mańczak 1996, 57). Краковский исследователь формулирует упомянутую зависимость следующим образом: величина каждого языкового элемента обратно пропорциональна его частоте употребления (Mańczak 1977, 13). При этом исследователь ссылается на Г. К. Ципфа, а я упомяну также представителей популярного в Западной Европе научного направления «натуральности» («Natürlichkeit») (ср.: Döhmman 1974, 31; Fenk-Oczlon 1990, 51). Приверженцы этой теории утверждают, что часто употребляемые формы отличаются не только своей немаркированностью (гиперонимичностью), но и большей, по сравнению с полными формами, краткостью. Например, немаркированные формы имен. падежа более краткие, чем маркированные формы косвенных падежей, немаркированные формы ед. числа более краткие, чем маркированные формы мн. числа. Совершенно очевидно, что в устной разговорной речи редукция в первую очередь затрагивает наиболее часто встречаемые единицы, ср.:

I co t e r a ? (Т. Hołuj).

Gadać wiele nie t r z a (Т. Hołuj).

Możesz s e i mojego wziąć (К. Bunsch).

K i e dwóch pątników się zejdzie, bezpieczniej im spolem wędrować (К. Bunsch).

Dusza m a przeniosła się w inne ciało (М. Słyk).

Маньчак показывает, что зависимость между величиной языковой единицы и частотой ее употребления в речи имеет регулярный характер и проявляется на разных уровнях языковой системы (Mańczak 1977, 13 ссл.; 1996, 53 сл.).

В связи с этим необходимо упомянуть встречаемую в лингвистике точку зрения (см. Kiklewicz 2004б, 75 ссл.), согласно которой язык представляет собой не только функциональный, но и эргономический феномен, т.е. испытывает на себе результаты целенаправленной (сознательной или бессознательной) оптимизирующей деятельности языкового сообщества, целью которой является наиболее полное соответствие системы кодирования языковой информации условиям речевой деятельности. Именно этот, эргономический аспект языка (к которому я еще вернусь) и отражает «принцип Маньчака».

Поскольку примеры нерегулярного сокращения языковой формы, как вытекает из приводимого Маньчаком материала, составляют большинство фактов нерегулярных изменений (по крайней мере в области фонетики), существует большая вероятность того, что сформулированный им принцип обусловленности одного параметра языковых единиц — фонетической формы корневых и аффиксальных морфем, другим параметром — высокой частотой употребления содержащих их лексем, отражает объективное свойство языковой системы.

В то же время нельзя не принимать во внимание факта, что даже в случае сокращения формы фреквенция не является единственным и, видимо, достаточным объяснением. Сам Маньчак неоднократно пишет о том, что редукция формы обусловлена стремлением к экономии языковых средств, хотя, как кажется, в некоторых случаях он склонен абсолютизировать роль фреквенции. Например, в дискуссии с Баньковским Маньчак ссылается на выборы как способ формирования государственной власти (2012, 81); он пишет, что результат выборов зависит от фреквенции голосов, отданных за того или иного кандидата, значит, фреквенция является объективным фактором социальных процессов. Аналогичное положение дел наблюдается, по его мнению, и в языке. Однако следует отметить, что, хотя результат выборов формально зависит от количества отданных за каждого кандидата голосов, в то же время по существу результат обусловлен общественным мнением, т.е. теми репрезентациями политической действительности, которые хранятся «в головах» выборщиков.⁵

⁵ В связи с этим следует упомянуть культивируемую в практической статистике байесовскую вероятность — интерпретацию понятия вероятности с учетом субъективной степени уверенности в истинности суждения.

Необходимость определения «более общего фактора», о котором пишет Богуславский, особенно диктуется фактами нерегулярных изменений, которые не сводятся к редукции формы. Например, такого рода изменение мы имеем в случае нерегулярной формы глагола 3-го лица *jest* или в случае существительного *zmierzch*, в котором конечный фриктивный согласный заменил первоначальный взрывной *k* (ср. старопольск. *zmierz* / *smierz*).

В связи с обсуждаемыми здесь фактами можно выдвинуть гипотезу, что языковое поведение реализуется по крайней мере по двум моделям. Во-первых, в процессах передачи языковой информации мы пользуемся алгоритмической моделью языка, которая состоит в том, что наши речевые действия программируются в соответствии с параметрами и свойствами системы кодирования. Данная модель языковой деятельности необходима в условиях, когда ни прагматический контекст речевого акта / события, ни ментальные и эмоциональные установки речевых субъектов не имеют существенного отношения к содержанию информации. Это, например, наблюдается в письменной официальной коммуникации — научной, технической, правовой, административной и т.д.

Во-вторых, в речевой деятельности используется также эргономическая модель, которая состоит в приспособлении формы передачи информации к условиям, в которых осуществляются эти процессы, прежде всего — к ментальной и эмоциональной сфере субъектов речевых действий. Эргономическая модель реализуется в тех коммуникативных ситуациях, когда передаваемое содержание в том или ином отношении релевантно для говорящего / слушающего, например, когда референты знаков часто появляются в поле их перцепции и представляют важные элементы жизненной сферы. В этом случае важно не только программирование речевого действия в соответствии с кодом, но и личное участие речевого субъекта, его ангажированность в процесс передачи информации, находящая отражение в его креативной установке⁶.

Регулярность/нерегулярность языковых единиц в данных двух моделях представляется по-разному. В алгоритмической модели частотные регулярные формы являются представителями классов и категорий, частотные же нерегулярные формы в эргономической мо-

⁶ В какой-то степени это коррелирует с постулатом «общей семантики» А. Кожинского, согласно которому значения знаков лишены объективного содержания и «отражают лишь субъективный опыт», см.: Басин 2012, 239.

дели являются представителями говорящих индивидов или их сообществ, т.е. объясняются уже упомянутым участием носителей языка. Можно, таким образом, различать частотность категориальную, вытекающую из принадлежности к категории/классу (в системе кодирования), и частотность атрибутивную, вытекающую из соответствия среде употребления.

Речевое поведение, таким образом, опирается не только на «логику языка», заключенную в нем системность, но также на прагматическую релевантность формы передачи информации, в которой проявляется специфическая для речевых субъектов впечатлительность, эмоциональность, расчетливость, организованность, умеренность и т.д. В связи с этим следует вспомнить концепцию «моего слова» М. М. Бахтина, который писал:

Всякое слово существует [...] в трех аспектах: как нейтральное и никому не принадлежащее слово языка, как *чужое* слово других людей, полное отзвуков чужих высказываний, и, наконец, как *мое слово*, ибо, поскольку я имею с ним дело в определенной ситуации, с определенным речевым намерением, оно уже проникается моей экспрессией (Бахтин 1979, 268).

Высокая частотность языковых единиц может иметь системное обоснование: например, служебные слова употребляются чаще, чем полнозначные. Но имеется и коммуникативно-прагматический, антропологический фактор этого явления: частое важно.

Кроме того, эргономическим формам поведения часто сопутствуют разного рода девиации, что легко объяснимо: поскольку языковой знак воспринимается как элемент коммуникативной среды, сферы переживаний, убеждений, предпочтений, действий речевого субъекта или того, что определяется как габитус, такой языковой знак как бы получает лицензию на «свободное» функционирование, не связанное языковым кодом. Хорошим примером разного рода нерегулярностей могут быть социолекты и идиолекты, в которых встречается множество неологизмов и окказионализмов; ср. примеры из фамилиолекта, описанного в повести Валерия Попова «Третье дыхание»:

— Ты не волнуйся — все хорошо! — обнял я ее костлявые плечики. — П р а - д - в а ? — Ну! — воскликнул я. Если она помнит «наши слова» (« п р а - д - в а » вместо «правда», например) — то удержу ее на плаву.

— С к у с - н а ! — сладко сощурившись, проговорила она.

Кивнула на мой тяжелый пакет с продуктами, сказала, улыбаясь: — С т а в с ю - д ы .

Хотя в нейтральной (в том числе и официальной) коммуникативной обстановке характер номинации лица опирается на какую-то имеющую силу для данного языкового коллектива конвенцию и стремится к правильности (ср. имена *Александр* или *Саша*), однако в социолекте часто употребляемые имена могут подвергаться разнообразным, в том числе и нерегулярным модификациям, ср. варианты имени *Саша*: *Сашура*, *Сашуня*, *Сашуля*, *Сашуха*, *Сашута* и др. Факты этого рода, как представляется, находятся в полном соответствии с «принципом Маньчака», поскольку нерегулярным фонетическим изменениям сопутствует высокая частота употребления слов — в определенной сфере функционирования языка. Важно, однако, что помимо частоты употребления единицы этого типа характеризуются особой прагматической маркированностью, а именно — индивидуализацией, участием субъектов или тем, что можно было бы назвать скрытой модальностью. Переработка закодированной в таких знаках информации представляет своего рода инсайт, т.е. требует проникновения (иногда основанного на интуиции) в мир личностных предпочтений речевого партнера или же его коммуникативной среды.

Когда Маньчак пишет об обусловленности нерегулярных фонетических изменений высокой употребительностью единиц, например, английского глагола *will*, который, в отличие от других глаголов на *-ill*, допускает редукцию формы (см. пункт 5), он, как представляется, недостаточно учитывает функциональную маркированность таких единиц, заложенную в них «скрытую модальность»: ведь совершенно очевидно, что различие между *will* и, например, *still* состоит не только в том, что одно слово является более, а другое менее частым (это как раз — производные функциональных характеристик данных слов), но прежде всего в том, что *will* является служебным глаголом, а *still* относится к наречиям как полнозначной части речи. Естественно, что единицы этих классов по-разному перерабатываются в сознании, а у носителей языка формируются разные к ним отношения. Все это отражается и на частоте употребления, и на возможности/невозможности, а также на характере модификаций.

7. «Принцип Маньчака»: стилистический аспект

В заключение необходимо обратить внимание еще на один аспект «принципа Маньчака», который непосредственно связан с рассуждениями из предыдущего пункта. Проблема касается социального или,

другими словами, стилистического параметра языковых изменений. Маньчак, как кажется, специально не интересуется этим вопросом: его нерегулярные фонетические изменения и фактор частотности, как можно полагать, относятся к сфере «общего языка». Это, однако, не совсем очевидно, поскольку общеизвестно, что возможности редукции языковой формы варьируются в разных языковых стилях: разговорном, научном, риторическом и т.д. Поэтому зависимость нерегулярных фонетических изменений от фреквенции, видимо, опосредована функциональным стилем, а именно — наблюдается в тех сферах языковой деятельности, в которых экономия языковых средств превалирует над требованием их строгой кодификации — это в первую очередь касается разговорной речи.

* * *

В заключение хотелось бы отметить, что «принцип Маньчака», в соответствии с которым нерегулярные языковые изменения и реализации языковых единиц обусловлены их активным употреблением в речевой деятельности, объясняет значительную часть языковых фактов, описываемых в аспекте их функциональной динамики. Поэтому теория Маньчака имеет фундаментальное значение не только для исторической фонетики и морфологии, но и для функциональной лингвистики: она объясняет механизм взаимодействия между формой и функцией. В предложенной статье «принцип Маньчак» был уточнен с учетом параметричности языковых единиц, а также с учетом эргономической модели языкового поведения. Поскольку эргономическая модель поведения культивируется в соответствующих коммуникативных условиях, «принцип Маньчака» может быть, кроме того, уточнен посредством стилистической и социолингвистической атрибуции.



Анализ стихотворения Иннокентия Анненского «Среди миров»

Постигший таинство русской речи, Бальмонт не любит окаменелости сложений, как не любит ее и наш язык. На зато он до бесконечности множит *зыбкие* сочетания слов.

Иннокентий Анненский

Преподаватель статистики влюбился в нее со слезами на глазах и целовал несколько раз в коридоре совпартшколы, хотя Лида не знала даже слова «статистика».

Андрей Платонов

1. Когнитивизм, концепты и литература

Хотя лингвисты больше столетия (начиная с работ А. А. Потебни) уделяют внимание теории поэтического языка, в том числе — поэтической функции текста, художественной метафоре, однако художественный текст интересует лингвистов преимущественно как источник или материал для описания первичной моделирующей системы, т.е. системы естественного языка⁷. Текст (в частности, художественный текст) как вторичная моделирующая система с лингвистической точки зрения описывается в категориях суперсегментных синтаксических единиц — таких, как сложное синтакси-

⁷ Понятия первичной и вторичной моделирующей системы были введены учеными тартуско-московской семиотической школы, подробнее см.: Żyłko 2009, 111 ссл.

ческое целое, абзац, дискурс и т.п., а также в категориях стилистики — функционального стиля или жанра. Лингвистический фактор учитывается также при описании понимания текста, т.е. в рамках лингвистической герменевтики (см. Киклевич 2007, 235 ссл.; Kiklewicz 2010б, 128 ссл.). В последнее десятилетие художественные тексты все чаще становятся объектами когнитивной лингвистики.

Когнитивный подход к знаковым системам позволяет расширить границы лингвистического описания, в частности, преодолевает диспаратное исследование сфер языка, речи и речевой деятельности (к последней относится производство и интерпретация текстов). Характерным подтверждением этого является семантика прототипов (см. Kleiber 1993), в которой утверждается, что семантическая информация перерабатывается, в том числе и кодируется, записывается в памяти не только на уровне языковой системы, т.е. так называемых инвариантов, но также на уровне речи. К языковой компетенции человека относится не только знание о понятии, которое закреплено за знаком, но и знание о его наиболее типичных, наиболее частых, узурально релевантных речевых реализациях. При таком подходе сигнификативный (языковой, системный, конвенциональный) и референциальный/денотативный (речевой, ситуативный, окказиональный) аспекты знака становятся равнозначными, при рассмотрении же некоторых типов языковой компетенции и некоторых типов значений референциальный аспект значения становится даже важнее: это касается, например, предметно-образного типа концептуализации (или, другими словами, когнитивного стиля), а также семантического представления некоторых предметных областей, например, чувственного восприятия (особенно обоняния и осязания) (см. подробнее: Холодная 2002, 69 ссл.). К примеру, словарное определение прилагательных цвета обычно опирается на знание о типичных носителях цвета, т.е. прототипах. Например, в «Словаре русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой читаем, что *черный* — это цвет сажи угля; точно таким же образом определяют слово *czarny* авторы четырехтомного «Универсального словаря польского языка» («Uniwersalny słownik języka polskiego», red. S. Dubisz). В немецком же словаре «Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache» (под редакцией Д. Гётца) прилагательное *schwarz* описывается иначе, но также с опорой на конкретные знания о мире: 1. 'von der Farbe der Nacht, wenn es überhaupt kein Licht gibt'; 2. 'von der sehr dunkler Farbe (Augen, Nacht, Pfeffer, Wolken)'.

Когнитивная поэтика рассматривает художественный текст с точки зрения отражения в его содержательной структуре хранимых в памяти представителей определенной культурной общности познавательных категорий (см. Stockwell 2002, 11). Другими словами, интерпретация художественного текста содержит апелляции к так называемым прецедентным феноменам, т.е. к знакам (словам, высказываниям, текстам), понятиям, явлениям, предметам (в том числе лицам — так называемым «героям»), которые хорошо известны представителям данной культуры, отражают важные аспекты действительности, часто возобновляются в духовной (в частности, речевой) деятельности членов данного сообщества (см.: Красных 2003, 170 ссл.).

Когнитивисты не считают, что их метод пригоден для описания узко определенного языкового и текстового материала — когнитивная способность человека считается универсальной, поэтому объектом данного подхода признаются все элементы знаковых систем. Не буду останавливаться на том, насколько это справедливо применительно к исследованию языковой системы, но — что касается когнитивной поэтики — нет сомнения, что культурно-семантические апелляции представляют собой инструменты описания художественных текстов определенного типа. Совершенно очевидно, что применение когнитивного метода, например, к текстам русского футуризма, например, к «зауми» Велимира Хлебникова, было бы равнозначно стрельбе из пушки по воробьям.

Здесь я хотел бы обратить внимание на общую зависимость между научной поэтикой и типом литературной практики. Структурализм в литературоведении возник на фундаменте литературы модернизма, в значительной степени — формализма. Об этом пишет, в частности, хорватская исследовательница Д. Ораич-Толич (Oraić-Tolić 1995). С ее точки зрения имманентно-структурная трактовка поэтической функции Р. О. Якобсоном (имеется в виду пресловутое «проецирование принципа эквивалентности с оси селекции на ось комбинации», см.: Якобсон 1975, 204) объясняется влиянием литературного авангарда начала XX века — в его кругу находились русские формалисты (наряду с Якобсоном — Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум, Б. М. Томашевский и др.). Поэтому якобсовское структурное, инструментальное, процедурное определение поэтической функции языка/текста как абсолютизации принципа синтагматического дублирования элементов текста представляется частным случаем, уместным по отношению к конкретному виду поэтики — модернизма. Такое определение было бы, напро-

тив, неуместным применительно к «классическому письму» (в терминологии Р. Барта) или же к современной поэтике постмодернизма.

Так и в случае когнитивной поэтики. Этот метод имеет смысл прежде всего к концептуально ориентированным текстам, т.е. к таким, в которых содержание опирается на ассоциативное поле знака (или группы знаков), имеющего/имеющих статус семантической доминанты, организующей всю смысловую структуру текста (о семантической доминанте текста см.: Kiklewicz 2007б). С языковой точки зрения такие тексты являются неопределенно-значимыми (термин В. В. Мартынова): их план выражения схематичен, условен, поэтому интерпретация текста требует, в частности, обращения к тому, что Ю. С. Степанов называет «константами культуры».

Знаки, которые в художественном тексте имеют статус семантической доминанты, в теории литературы обычно определяются как символы. Литература символизма как раз и основывается на целенаправленном, тенденциозном, усиленном культивировании таких знаков (см. далее). На примере стихотворения выдающегося русского поэта Иннокентия Анненского «Среди миров» я постараюсь показать, что в художественном тексте может быть реализована и своего рода анти-когнитивная стратегия, т.е. сознательная деконструкция знака. Программную установку автора можно при этом квалифицировать как феноменологическую: ее суть в отрицании конвенциональных стереотипов культуры.

2. Символизм как поэтика инференции

Поэтика Анненского обычно трактуется как символистическая (Роднянская/Долгополов 1987, 380), а символизм, как известно, опирается на интуитивизм и философию жизни.

Символизм преимущественно был устремлен к художественному означиванию «вещей в себе» и идей, находящихся за пределами чувственных восприятий. [...] Наиболее общие черты доктрины символизма: искусство — интуитивное постижение мирового единства через символическое обнаружение «соответствий» и аналогий; музыкальная стихия — прараснона жизни и искусства; господство лирико-стихотворного начала, основывающееся на вере в близость внутренней жизни поэта к абсолютному и в надреальную или же иррациональную силу поэтической речи. [...] (там же, 379).

Польский исследователь Р. Хандке (Handke 2008, 265) подчеркивает, что для текстов символизма характерна (присутствующая уже в поэ-

тике романтизма, см.: Rzepczyński 1999) неоднозначность, недосказанность: автор только намекает на определенные темы и идеи, поэтому возникает своего рода оциллирующий смысл, который суггестивно воздействует на воображение читателей, а не на их разум.

Здесь нужно обратить внимание на существование разных типов символов. В языке, а также в некоторых формах культуры функционируют транспарантные символы, которые обладают композиционностью, т.е. выводимостью их вторичной семантики. О такого рода знаках писал Ф. де Соссюр в своем «Курсе общей лингвистики»:

Символ характеризуется тем, что он всегда не до конца произволен; он не вполне пуст, в нем есть рудимент естественной связи между означающим и означаемым. Символ справедливости, весы, нельзя заменить чем попало, например, колесницей (1977, 101).

В поэзии символистов чаще встречаются произвольные символы, т.е. немотивированные или полумотивированные, которые состоят в том, что некоторое понятие (в когнитивной семантике — целевой домен, домен-рецептор) интерпретируется со ссылкой на другое понятие (домен-источник), при этом отношение двух понятий в полной мере не осознается, что дает возможность читателям интерпретировать его по-разному, в зависимости от познавательных, культурных, эмоциональных, аксиологических и др. установок. Произвольность поэтического символа отчасти обусловлена тем, что, как пишет Э. Я. Фесенко (2008, 147), «символы имеют долгую историю, восходя к обрядам и мифам».

В связи с произвольностью символа необходимо обратиться к понятию инференции, которое широко используется в когнитивной семантике, а также в лингвистической герменевтике (см.: Kiklewicz 2010b, 142). Оно заключается в том, что при отсутствии достаточной экспликации содержания высказывания или текста в его плане выражения (на уровне лексической и грамматической структуры) речевой субъект обращается к своим энциклопедическим знаниям, отчасти общим со знаниями других представителей данного социума, отчасти же индивидуальным, специфическим. Инференция может заключаться и в актуализации окказиональной, аналоговой информации, т.е. опираться на непосредственное восприятие коммуникативной ситуации и внешних, онтологических обстоятельствах речевого акта. Именно так инференция трактуется в теории

рангов понимания текста В. Кинча и Т. А. ван Дейка: апелляция к прецедентным феноменам необходима в случае, когда возникает дефицит вербализованной информации, а именно — отсутствие связи между отдельными фрагментами текста. Благодаря инференции генерируются новые пропозиции, которые заполняют пустые места в содержательной структуре текста и обеспечивают его связность.

На уровне высказывания данное явление особенно заметно, когда мы имеем дело с некомпозиционными конструкциями, т.е. такими, в структуре которых имеются нереализованные синтаксические позиции. В качестве примера могут послужить русские высказывания с глаголом *любить* в позиции ядерного предиката (т.е. сказуемого). С пропозиционально-семантической точки зрения данный глагол представляет предикат высокого порядка, т.е. такой, который отрывает место для пропозиционального аргумента, обозначающего не предмет, а ситуацию. Общую семантическую структуру высказывания с данным предикатом на языке логики предикатов можно обозначить так: $P(x, Q)$. В наиболее эксплицированном виде эта структура реализуется в сложных предложениях типа:

Иван любит, когда Маша поет = 'Иван в большой степени положительно, с чувством наслаждения воспринимает, переживает тот факт, что Маша поет'.

Приведенный пример показывает, что объектом любви является некоторое положение дел, факт, событие, а не предмет. Это, однако, находится в несоответствии с речевым материалом, где в позиции объекта при глаголе *любить* обычно находится существительное, а не придаточное предложение, ср. некоторые иллюстрации:

Я люблю Стендаля = 'Я люблю читать книги Стендаля'.

Я люблю Моцарта = 'Я люблю слушать музыку Моцарта'.

Я люблю море = 'Я люблю отдыхать на море, бывать на море'.

Я люблю яблоки = 'Я люблю есть яблоки'.

Я люблю молоко = 'Я люблю пить молоко'.

Я люблю Интернет = 'Я люблю пользоваться Интернетом (получать информацию в Интернете)'.

Я люблю Машу = 'Я люблю быть с Машей, смотреть на Машу, думать о Маше и т.д.'

Инференция, как видим, опирается на когнитивное содержание слова, т.е. на ту дополнительную информацию о референтах знака, которая хранится в долгосрочной или (реже) краткосрочной памяти индивидов, т.е. обычно предполагает конвенциональный, кооперативный, культурно обусловленный характер интерпретации текста.

Здесь можно говорить и о конструктивной интерпретации, так как значение текста, в том числе и значение символа (сознательно или интуитивно), конструируется на основе знаний о домене-источнике. Интерпретатор как бы идет по дороге, по которой многократно прошли уже другие: он принадлежит к сообществу людей, познавательная и, вообще, духовная практика которых служит для него своего рода сценой, на которой разворачиваются события его собственной жизни, в том числе восприятие и эмоции.

3. «Звезда»: верификация символа

Стихотворение Анненского «Среди миров» можно считать особым, удивительным и даже загадочным примером функционирования символа, а именно — символа «звезда». Неслучайно статья, которую П. Вайль посвятил этому художественному тексту, называется «Не понять». В ней мы, в частности, читаем:

Возникает острое ощущение — даже не непонимания, а полной и безнадежной невозможности понять. Похоже, это все-таки заблуждение — что искусство доступно вполне. Не только то, что принципиально не переводится, но и то, что может казаться внятным и простым. Уходят предметы и понятия, и главное — не восстановить контекст (Вайль 2007, 22).

Я, однако, предпринимаю попытку *понять*, хотя бы на уровне общего когнитивного сценария. Вот текст стихотворения (написанного 3 апреля 1909 года):

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Это короткое стихотворение при первом прочтении выглядит как характерный пример поэтики символизма — с его размытостью содержания, «мерцающим» смыслом. Хотя здесь мы имеем дело и с элементами формализма: на это указывает синтаксический параллелизм, а имен-

но – повторяемость синтаксической группы *Не потому... а потому...*⁸ Обратим также внимание на то, что каждая строфа построена по тому же принципу: сначала передается речевая ситуация (*повторяю имя, молю ответа*), а затем интенциональная ситуация (*любить, томиться, от нее [мне] светло, не надо [мне] света*). Причем в обоих случаях реализуется то же отношение: интенциональная, эмоциональная сфера выступает как объяснение, разрешение речевой.

ПРИЧИНА	СЛЕДСТВИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ	РЕЧЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ
любить – НЕТ	повторять имя
томиться – ДА	
от нее [мне] светло – НЕТ	молить ответа
не надо [мне] света – ДА	

К соответствию сферы речи и сферы «души» я еще вернусь в последнем разделе. На данном этапе исследования важно сосредоточить внимание на концептуальном ресурсе данного текста. Стихотворение весьма условно связано с какой-либо действительностью – это типично для символизма, который был свободен от задачи изображать реальность (Фесенко 2008, 359). Зато в небольшом по объему тексте выступает несколько концептов, т.е. однозначных слов (существительных и глаголов), обладающих общей, характеристической семантикой (я иногда называю ее эссенциальной):

1. миры/светила
2. Звезда;
3. любить/любовь;
4. томиться/томление;
5. сомнение;
6. речь (произносить имя и просить ответа);
7. свет/светло.

При этом можно полагать, что статус семантической доминанты принадлежит концепту «звезда», который здесь употребляется в прямом и символическом значении: с одной стороны, мы представляем себе звездное небо, «мерцающие» светила, с другой – женщину, с которой лирический герой ведет условный, мысленный разго-

⁸ А. В. Федоров пишет о контрасте как об одном из характерных для Анненского художественных приемов, см.: 1988, 16.

вор. Здесь надо — вслед за О. Клингом — отметить, что слово *звезда* «одно из самых употребляемых у символистов, начиная с Сологуба (знаменитая «Звезда Маир») и кончая Блоком («Шлейф, забрызганный звездами...») и др.» (2010, 188). Существительное *звезда* в русском языке, согласно толковому словарю под редакцией А. П. Евгеньевой, имеет переносное значение: 'о человеке, прославившимся в какой-либо сфере деятельности, о знаменитости'. Словарь не упоминает об употреблении этого слова в интимном, эротическом значении — как обозначения любимой женщины, ср. фразеологизм:

Звезда моих очей!

Ср. такое употребление этого слова в русском переводе «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера:

Мадам Пертлот, звезда моих очей!
И птицы нынче нам поют звончей,
И травы мягче, и цветы душистей,
И сам я веселей и голосистей.

Существительное *звезда* часто появляется в поэзии в эротическом контексте также в первичном значении, как обозначение небесного тела: звезда на небе является объектом сравнения с любимой женщиной или же рассматривается как источник особой энергии, которая непосредственно влияет на эмоциональную связь мужчины и женщины. На это указывает, например, текст песни, известной в исполнении Рашида Бейбутова (автор текста — К. Сейтлиев, перевод А. Кронгауза):

В небе блещут звезды золотые.
Ярче звезд очей твоих краса.
Только у любимой могут быть такие
Необыкновенные глаза!

Другой характерный пример этого типа — написанное в начале XX века стихотворение классика белорусской литературы Максима Богдановича, в котором *звезда Венера* сопутствует любовным переживаниям лирического героя:

Зорка Венера ўзышла над зямлёю,
Светлыя згадкі з сабой прывяла...
Помніш, калі я спаткаўся з табою,
Зорка Венера ўзышла.

З гэтай пары я пачаў углядацца
Ў неба начное і зорку шукаў.
Ціхім каханнем к табе разгарацца
З гэтай пары я пачаў.

Але расстацца нам час наступае;
Пэўна, ўжо доля такая у нас.
Моцна кахаў я цябе, дарагая,
Але расстацца нам час.

Буду ў далёкім краю я нудзіцца,
Ў сэрцы любоў затаіўшы сваю;
Кожную ночку на зорку дзівіцца
Буду ў далёкім краю.

Глянь іншы раз на яе, — у расстанні
Там з ёй зліём мы пагляды свае...
Каб хоць на міг уваскрэсла каханне,
Глянь іншы раз на яе...

Эротический мотив звезды широко используется также в современной популярной музыке, примером чего может быть песня из репертуара группы «Цветы» (текст О. Фокиной):

Песни у людей разные,
А моя одна на века.
Звездочка моя ясная,
Как ты от меня далека!

Своеобразную реализацию эротический мотив звезды получает в фольклоре. В тексте известной частушки звезда хотя прямо и не символизирует любовного чувства, однако оказывается включенной в эротическую (а отчасти связанную с ней физиологическую) сферу:

С неба звездочка упала
прямо милому в штаны.
Пусть бы все там разорвало,
только б не было войны.

Интересно, что частушка эта имеет множество вариантов, но в каждом из них мотив звезды (с эротической окраской!) в большинстве случаев остается нетронутым:

С неба звездочка упала.
Прямо милому в штаны,
Пусть горит там, что попало,
Лишь бы не было войны.

С неба звездочка упала,
Снеговая белая.
На характер боевая,
На любовь несмелая.

С неба звездочка упала,
На электролинию,
Скоро милый перепишет
На свою фамилию.

С неба звездочка упала
Прямо на теленочка.
Неужели не найдется
Для меня миленочка?

С неба звездочка упала
Мне на фартук голубой.
Пока ужинать ходила —
Он уже сидит с другой.

С неба звездочка упала,
Прямо курочке на хвост.
Петуху обидно стало,
Он в милицию донес.

С неба звездочка упала
Бригадиру на ремень.
Если я ему отдамся,
Он запишет трудовень.

С неба звездочка упала
Прямо на х** петуху.
Подскочил петух удало
И запел: — Ку-ка-ре-ку!

Надо заметить, что *звезда* необязательно передает символическое эротическое содержание — в поэтических текстах встречается употребление этого слова и в качестве символа духовной или физической близости, родства, поклонения; ср. стихотворение Марины Цветаевой:

Звезда над люлькой — и звезда над гробом!
А посредине — голубым сугробом —
Большая жизнь. — Хоть я тебе и мать,

Мне больше нечего тебе сказать,
Звезда моя!..

Известная песня русского барда Александра Дольского с начинается словами:

Мне звезда упала на ладошку,
Я ее спросил: «Откуда ты?»

Удивляет столь «глубокомысленное» начало песни, как и сама «задумчивость» героя: откуда же еще взяться упавшей звезде, как не с темного ночного неба? Все дело здесь, видимо, в банальной подрифмовке: *ты – высоты*. Песня, однако (как лингвистический материал), ценна тем, что отражает общую тенденцию символизации звезды – в лирической, романтической интонации.

Вторичной (а именно – эротической) семантике существительного *звезда* способствует его грамматическое значение ж. рода. Так возникает ассоциация с женщиной, с любовным отношением к ней. Например, в написанном Александром Блоком переводе стихотворения Генриха Гейне читаем:

Тихая ночь, на улицах дрема,
В этом доме жила моя звезда;
Она ушла из этого дома,
А он стоит, как стоял всегда.

Впрочем, этот пример требует специального рассмотрения, так как мы имеем дело с переводом с немецкого языка, где существительное *der Stern* 'звезда' имеет значение мужского рода. Именно поэтому мотив *Du bist mein Stern* 'Ты – моя звезда' так часто употребляется в женской немецкой поэзии XX века.

В немецкой поэзии XIX века мотив *Du bist mein Stern* был также распространен в мужской лирической поэзии, что, кстати, подтверждает стихотворение Гейне. Как видим, в этом случае креативная функция грамматической категории рода отходит на второй план – учитывается культурная семантика слова, основанная на его лексическом значении.

В русском языке, подобно как и в польском, существительное *звезда* имеет также астрологическую коннотацию⁹. На этот ас-

⁹ Известный польский русист Е. Фарино пишет в связи с этим: «[Звезда – это] один из древнейших символов; принадлежит к астральным знакам. Символ вечно-

пект лексического значения данного слова обратил внимание Е. Бартомиński (Bartmiński 1999, 113). С астрологической точки зрения имеется действительное воздействие небесных тел на земной мир и человека (его темперамент, характер, поступки и будущее) и, соответственно, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга (см. дефиницию из Википедии).

Наконец, нельзя не отметить идеологического оттенка в содержании русского концепта «звезда»: выражения *красная звезда*, *кремлевская звезда* бытовали в СССР как важные коммунистические символы, элементы советского новояза. Ср. фрагмент из детской песни, автором которой является Петр Синявский:

С детства по-весеннему лучисто
Светит нам Кремлевская звезда.
Знамя мира реет над Отчизной,
Значит, наше счастье — навсегда!

В связи с этим Е. Фарино пишет:

Красная пятиконечная звезда — одна из первых советских эмблем. Возникла весной — осенью 1918 года как эмблема (вместо предлагавшегося меча) Красной Армии, с мотивацией охраны, безопасности, символа устремленности к идеалам. Ее красный цвет интерпретировался как цвет революции, революционного войска. Создал ее К. Еремеев — первый командующий войсками Петроградского военного округа. Сначала вырезалась из материи и нашивалась на суконный шлем или на рукав. С мая 1918 г. в ее центр вписывали молот и плуг, а с 21 сентября стала эмалированной, с малым гербом РСФСР — серпом и молотом. С 1923 г. включена в состав большого герба СССР как бэдж — фигурный эквивалент девиза *Пролетарии всех стран соединяйтесь!* и поэтому считается эмблемой международной солидарности трудящихся, а ее пять лучей объясняются как пять континентов и как «символ конечного торжества идей коммунизма на пяти континентах земного шара» (Faruno 1999, 154).

сти, а с XVIII в. — высоких (вечных, непреходящих) идеалов, эмблема путеводности. Девиз *Ad astra!* значит 'К возвышенному, к идеальному!' Пятиконечная — пентаграмма — древневосточного происхождения, символ охраны, безопасности. Употребляется как военная эмблема» (Faruno 1999, 154). П. Ковальский пишет, что приписываемые небесным телам значения вытекают из общей символизации неба как сакрального феномена (Kowalski 2007, 158). Исследователь отмечает также, что звезды и другие небесные тела занимают определенное место в культурной, а именно — трехъярусной, структуре мира: они относятся к «верхнему слою», который ассоциируется с ценностями высшего порядка.

А что же Анненский? Как поэт-символист, а также замечательный филолог, автор критических статей и рецензий переводов античных авторов он должен был с особой чуткостью относиться к семантической глубине слова, воспринимать его во всей полноте его культурных ассоциаций. Другое дело — соответствовал ли культурный конвенционализм его пониманию мира, человека, языка? «Среди миров» является, по-моему, ярким примером того, что Анненскому была чужда интерпретирующая функция символа; его *Звезда* не согласуется ни с одной общепринятой коннотацией, хотя автор отдает себе отчет в том, что они существуют, довлеют. Альтернативой когнитивному конструктивизму у Анненского выступает эмпиризм, феноменологическая установка, которая отводит на второй план стереотипы культуры и отдает предпочтение живому впечатлению — здесь и сейчас.

4. Феноменология любви

Стихотворение начинается с представления онтологической сцены, которая впоследствии послужит источником символизации — надстройки второго, антропологического смысла. *Среди миров, в мерцании светил...* — этой информации достаточно, чтобы мы представили себе исходную предметную область: звездный небосвод. На этом представлении базируется выводной смысл, а именно — образ женщины и образ интимной связи с ней. На это указывает фраза [...] *я повторяю имя*, а также то, что существительное *Звезда* написано прописной буквой. Интеракция значений <Звезда> и <любимая женщина> здесь ожидаема — она имеет устойчивый, конвенциональный характер. Но в третьей и четвертой строке наступает отвержение этой, казалось бы, очевидной предпосылки: тема любви отрицается, а символический смысл «звезды» теряет основание. Больше того, становится вообще непонятным, идет ли речь о каком-либо чувстве лирического героя непосредственно к *Звезде* — это чувство, скорее, опосредовано отношением к другим, а именно — *томлением с другими*. При такой интерпретации отношение между <я> и <Звезда> принимает, как можно судить, экзистенциальный характер — речь идет о чем-то вроде неразделенности, обреченности друг на друга. Причем в тексте нет прямого указания на то, что герой не любит *Звезду* — его интимное отношение к женщине, скорее, неопределенно — в отличие от отношения к «другим», которое обозначается глаголом *томиться*.

Во второй части мы имеем дело с подобным противоречием: сначала автор отрицает наиболее очевидное, конвенциональное, банальное объяснение интимной близости лирических героев (*Не потому, что от нее светло*), а затем предлагает решение, которое кажется неочевидным, неоднозначным: *С ней не надо света*.

Попытаемся разложить смысл текста на предикаты и аргументы. Окруженный многими людьми, лирический герой повторяет имя женщины (мысленно обращается к ней), подобно тому как человек, глядя на ночное небо, направляет взгляд на одну звезду. Когда появляется глагол *любить*, мы должны вспомнить о его пропозициональном содержании — см. второй пункт. При буквальном прочтении *любить Ее* означало бы: 'Я люблю смотреть на свет, который излучает звезда в ночной темноте'. Подобным образом следует интерпретировать и четвертую строку: *я томлюсь с другими* = 'Я томлюсь от того, что другие звезды так тускло мерцают'. На уровне символического смысла мы должны заполнить место пропозиционального аргумента при предикате *любить* другой, антропологической семантикой: 'Не потому, что я люблю быть с тобой, смотреть на тебя, думать о тебе, а потому, что я томлюсь, когда нахожусь с другими, смотрю на других, думаю о других'.

Итак, первое отрицание касается семантического ряда:

звезда > женщина > любить

При интерпретации второй части мы должны учесть аспект концепта «звезда», который часто игнорируется: речь идет о том, что звезда обычно представляется как элемент множества, ведь звезды на небосклоне появляются в определенном количестве, в частности, составляют созвездия, звездные скопления, галактические туманности и т.д. И в стихотворении Анненского это явно подчеркивается: *Среди миров, в мерцании светил* — ср. формы мн. числа существительных. Звезды, светила мерцают, излучают свет. Что же является причиной сосредоточения героя на одном, избранном объекте? Если женщина — звезда, то чем, почему она лучше других звезд? Интерпретация, которая лежит на поверхности, имела бы логический, конвенциональный характер: «Звезда» излучает особый — по сравнению с другими светилами — свет. Но *светила* — *мерцают*, а значит, категория света оказывается здесь недостаточной. Анненский, таким образом, вводит второе отрицание, касающееся семантического ряда:

свет > положительные черты личности > духовная близость людей

Анненский выражает здесь эмпирический, в какой-то степени агностический взгляд на мир, а именно — сферу человеческих отношений. *С ней не надо света* означает бессмысленность попыток какой-либо категоризации, конструирования одних понятий на основе других¹⁰. Символы «звезда» и «свет» оказываются пустыми — единственное, что связывает их с реальностью, это — то, что о них можно говорить, их можно назвать. Реальные же чувства, переживания, отношения и действия не поддаются знаковой фиксации. Подобные реминисценции можно встретить и у других русских поэтов:

Ты стала самую любимой, // Не подберешь тебе имен (Мария Петровых).
Не сравнивай: живущий несравним (Осип Мандельштам).

Символический смысл имеет и выражение *среди миров*. Оказывается, что за ним скрываются миры наших ощущений, ситуации восприятия, рефлексии, оценки. Анненский как бы убеждает нас, что реально переживаемое чувство не может быть передано в границах мира конвенциональных символов — необходим выход за эти границы, т.е. отказ от привычной категоризации, от условностей нашей культуры. *С ней не надо света* означает также отказ о апелляции к рассудку: действительные мотивы человеческих поступков и отношений с рациональной точки зрения непостижимы.

Такая, феноменологическая установка была, по-видимому, характерна для всего творчества поэта. По этому поводу А. В. Федоров пишет:

Лирическое «я» у Анненского прежде всего естественно, просто, как бы полностью приближено к человеческому «я» автора, и этому соответствует сдержанность тона при всей внутренней эмоциональности, отсутствие громких и вычурных слов, преобладание слов привычных, порою подчеркнутая разговорность и даже будничность речи и [...] особая чуткость поэта к «реальным воздействиям жизни» (1988, 15).

¹⁰ В выражении *С ней не надо света* можно видеть и совершенно конкретную — эротическую семантику. Именно так звучит концовка стихотворения Анненского в песне, исполняемой Александром Вертинским. В другой, написанной на стихи Анненского песне, — Александра Суханова, напротив, доминирует чрезмерно меланхолическая, глубокомысленная интонация, которая — с моей точки зрения — не передает смысла этих стихов.

Феноменологическая, эмпирическая, сенсуалистическая установка Анненского находит отражение в противопоставлении реального мира, данного нам в ощущениях, и мира культурной концептуализации. С этой точки зрения символизм Анненского имеет много общего с современной философией постмодернизма, корни которой отчасти находятся в культуре чань-буддизма. Рассмотрим один из известных коанов — «Вымой миску»:

Монах сказал учителю Дзёсю:

— Я только что пришел в ваш монастырь. Пожалуйста, учите меня.

— А ты уже поел рисовой каши? — спросил Дзёсю.

— Поел, — ответил тот.

— Так вымой лучше миску, — сказал Дзёсю.

В этот миг монах обрел просветление.

А. С. Майданов (2011) комментирует этот текст следующим образом:

Монах представлял себе процесс усвоения системы чань как сложную работу по изучению глубоких, эзотерических знаний. Но учитель своим советом показал, что действительное усвоение этого учения состоит в правильном, аккуратном, добросовестном выполнении обычных повседневных дел.

Эмпиризм и духовные практики монахов дзэн объединяет деконструкция познавательной системы, основанной на рациональных категориях. В этом можно видеть элементы апологии агностицизма. У Анненского концептуальные категории размыты: между любовью и нелюбовью, между светом и тьмой. Позитивное знание не имеет ничего общего с действительностью — человек, скорее всего, знает, что не знает. «Среди миров» представляет собой своего рода антипод стихотворения Василия Каменского «Жить чудесно» — и по своей поэтике, и по содержанию. Приведу фрагмент текста русского футуриста, написанный, кстати, как и стихотворение Анненского, в 1909 году:

Жить чудесно! Подумай:
Утром рано с песнями
Тебя разбудят птицы —
О, не жалея невиденного сна —
И выгашат взглянуть
На розовое, солнечное утро.
Радуйся! Оно для тебя!
Свежими глазами
Взгляни на луг, взгляни!
Огни! Блестят огни!
Как радужно! Легко!

Оптимизм Каменского кажется странным: действительно ли так хороша жизнь, если об этом надо специально задуматься, сделать усилие? У Анненского действительный мир деформирован в категориях культуры, а непосредственный доступ к нему возможен, скорее, благодаря интуиции — независимо от того, в какой рациональной или иррациональной форме мы объясняем наши эмоциональные состояния и наши коммуникативные практики.¹¹

Элемент недосказанности в отношениях между человеком и человеком, человеком и миром обращает наше внимание на функцию языка. В предыдущей части статьи я уже писал об отсутствии ясной содержательной мотивации речевых действий лирического героя. С одной стороны, речь, коммуникативное действие оказывается единственной реальностью, которая верифицируется благодаря ощущению. С другой стороны, попытки какой-либо антропологической интерпретации речи оказываются бесплодными и ненужными: концепты культуры не адекватны реальности, а окказионально (и реально) переживаемые эмоции не постижимы. Знак оказывается произвольным, а коммуникативные практики предстают в стихотворении Анненского как «вещи в себе», как идиоматика, не имеющая ясной, транспарантной основы в сфере духовной жизни.

Действительно, присмотримся к выражениям с глаголом *любить* в эротическом значении. Например:

Иван любит Машу.

В отличие от выражений *любить кофе*, *любить прогулки по парку*, *любить Толстого* и т.п., в данном случае содержание пропозиционального аргумента размыто, оно скорее выступает как открытое множество семантических вариантов:

‘Иван любит бывать с Машей’

‘Иван любит смотреть на Машу’

‘Иван любит думать о Маше’

‘Иван любит что-то делать для Маши, с участием Маши’ и т.д.

¹¹ На определенный вербоцентризм, акмеизм Анненского указывает и фрагмент его рецензии на сборник Николая Гумилева «Романтические цветы»: «В последнее время не принято допытываться о соответствии стихотворного сборника с его названием. [...] *Романтические цветы* — это имя мне нравится, хотя я и не знаю, что собственно оно значит. Но несколько тусклое как символ, оно красиво как звучность, — и с меня довольно» (цит. по: Клинг 2010, 91).

Мотив эротического чувства остается, в принципе, недоступным — это находит, в частности, проявление в том, что высказывания с глаголом *любить* плохо объясняются с помощью метода перефразирования. Здесь уместно вспомнить структуралистское определение значения как перевода. Р. О. Jakobson писал:

Для нас, лингвистов и просто носителей языка, значением любого лингвистического знака является его перевод в другой знак, особенно в такой, в котором [...] «оно более полно развернуто» (1978/2011).

Если же существует выражение (например, *Иван любит Машу*), для которого нельзя привести переводной эквивалент, передающий содержание более развернутым, аналитическим способом, следовательно, можно сделать вывод: у этого выражения нет значения, а к нашей языковой компетенции оно относится только благодаря своему употреблению в коммуникативных практиках. Анненский как бы предвосхищает Л. Витгенштейна, который на лекциях в Кембридже любил повторять: «Не ищите смысл, ищите употребление». Можно привести и другое, близкое по смыслу афористическое высказывание — известного польского литературоведа М. П. Марковского: «Я не могу логически обосновать всего, что я говорю, потому что иначе я бы ничего не сказал».

При таком подходе теряет смысл прагматическая категория искренности речи (хотя в прагмалингвистике она считается необходимой при определении некоторых типов речевых актов, особенно — обещания). Например, с данной точки зрения неважно, искренен дающий обещание или нет — для адресата этот речевой акт останется обещанием и в ситуации, если говорящий, произнося *Обещаю, что...*, ставит перед собой совсем другую цель. Так и у Анненского: произносимые слова остаются словами — они произвольны, т.е. произносятся в самых разных ментальных и интенциональных контекстах, в том числе и при отсутствии у говорящего ясного объяснения, осознания коммуникативной цели, мотива речевого действия.

5. Заключительные замечания

Иннокентий Анненский, автор стихотворения «Среди миров», принял сознательную установку на разрушение, фальсификацию метафорических концептов. Мы имеем здесь дело с деконструкцией метафорических проекций: звезда > любимая женщина; свет > любовь.

Подобно тому, как звезды освещают землю в ночную пору суток, любимая женщина «освещает» жизнь мужчины в минуты сомнения, дает ему душевную силу, инспирации. Такая интерпретация символа — с точки зрения «общей» культуры — напрашивается сама по себе. Но человек у Анненского живет в окказиональной, неповторимой ситуации, и единственное, что может ему предложить культурная конвенция, это — идиоматические формы языка. Культурная семантика — это (в терминологии интенциональной и модальной логики) не более чем один из возможных миров. «Среди миров» — само название стихотворения намекает на это.

Поэтическая установка Анненского имеет эмпирический, центро-стремительный характер, поэтому символические аналогии, возникшие в недрах культуры и имеющие априорный, детерминирующий характер, подвергаются деконструкции. Анненский (как бы в духе феноменологического стиля мышления) «выносит за скобки» культурные ситуации бытия предметов, результаты закодированной в культурной памяти категоризации окружающего мира. *Не надо света* имеет и прямое (в частности, эротическое), и переносное значение, причем во втором случае это выражение означает неубедительность культурных апелляций при интерпретации человеческих отношений.

Анненский осуществляет процедуру секуляризации категорий восприятия¹², возвращая нас к другому миру — миру предметов, в котором звездное небо — это звездное небо, а мерцающие светила — это мерцающие светила. Символист, который здесь, как кажется, изменяет принципу символизма¹³, передает нам простую, в сущности,

¹² Возможно, под влиянием философской секуляризации, которая, по словам А. Ф. Loseva (1979, 313), была характерна для эллинизма, по крайней мере в его раннем периоде. См. также следующую сноску.

¹³ Здесь надо отметить, что принадлежность Анненского к кругу символистов была особенной. На это обращает внимание О. Клинг (2010, 25). В своей книге он приводит мнение разных исследователей, в том числе Л. Я. Гинзбург, о том, что у Анненского не было никаких «организационных связей и даже сколько-нибудь близких отношений с представителями новой поэзии». Неоднозначное место Анненского в символизме объясняется — по мнению Клинга — тем, что поэтика символизма получила у него «социально-психологическую» интерпретацию. Ссылаясь на исследование И. В. Корецкой, Клинг пишет, что Анненскому «близка „мопассановская“ драма современного человека, который „не ищет одиночества, а напротив, боится его“ и хочет творчески „впитать“ реальное». Поэтому отмечается иная, по сравнению с русскими символистами, функция символа «как внешнего эквивалента внутреннему состоянию лирического субъекта». Указываются такие характерные черты художественной философии Анненского, как первичное и внемистическое использование символа, безыдеальность его лирического мира, десакрализация мира, который

мысль: аналогии и символические проекции малопригодны для истолкования человеческих чувств, особенно в сфере интимности.

В заключение приведу высказывание из книги Гилберта Кита Честертона «Чарльз Диккенс»: «На освещенной сцене на приходится выполнять то, что положено, подчиняться единым строгим стандартам. [...] Только в частной жизни мы находим, что люди [...] индивидуальны. [...] Многие из нас проводят свою общественную жизнь среди безликих марионеток, подчиняющихся мелочным и отвлеченным требованиям общества. Лишь отворив заветную дверь и переступив порог своего дома, мы входим в страну великанов».

у Анненского «не освещен некоей высшей религиозно мистической правдой». Художественный метод Анненского оценивался современниками как «земной символизм», именно поэтому много у Анненского было заимствовано акмеистами, в первую очередь — Ахматовой.



Спорное в лингвокультурологии (теория концепта)

В нашем городе дождь.
Он идет днем и ночью.
Слов моих ты не ждешь.
Я люблю тебя молча.

Евгений Евтушенко

1. Открытая семантика

Современная лингвистическая семантика, главным образом, ориентирована на описание содержательной стороны языка в контексте категорий человеческой деятельности: речевой, мыслительной, культурной. Именно такой смысл вкладывается в понятие функциональной семантики, которая по своей сути является «открытой», т.е. предполагающей интерпретацию языковых знаков с учетом среды их употребления: интеллектуальной, эмоциональной, социальной и т.д. Это означает, что лингвистическое описание знаков дополняется описанием нелингвистических объектов, а именно — носителей языка, принятой в данном языковом сообществе системы культурных норм, типов и способов концептуализации мира, ситуаций общения и др.

С. Ульман различал два типа семантики: структурную, или аналитическую, которая разлагает слова или другие символы на конечные составляющие, и операционную, или функциональную, задача которой состоит в том, чтобы познать значение «посредством его изучения в действии и в наблюдении над его использованием» (см.:

Звегинцев 1968, 59; ср. дихотомию субстанциональной и функциональной лингвистических парадигм у А. Н. Рудякова — 2004, 7, а также дихотомию системоцентризма и антропоцентризма у А. А. Камаловой — 1998, 15). В шестидесятые годы XX века В. А. Звегинцев, комментируя предложенную Ульманом дихотомию, писал, что второе направление в семантике разработано слабо.

В языкознании XX века (уже в его первой половине) возникло несколько семантических теорий, которые были направлены на изучение взаимодействия языка со средой. Этому способствовала традиция психологического языкознания в Европе (в том числе и русской психологической школы, ср. утверждение И. И. Срезневского: «Всякий живой язык есть такое народное достояние, которым каждый член народа по закону природы должен воспользоваться, воплощая его в себе, воплощая в нем все силы своего духа» — 1986, 103), заложенная В. фон Гумбольдтом традиция лингвистической антропологии, в XX веке известная в версии неогумбольдтианства, а также популярная в Соединенных Штатах Америки теория функционального прагматизма В. Джемса и, конечно же, восходящая к антропологии Ф. Боаса и Э. Сепира теория языкового детерминизма Б. Уорфа. К наиболее значимым лингвистическим направлениям прошлого столетия, которые создали базу для современной функциональной семантики, следует отнести:

1. интерактивную теорию метафоры А. Ричардса;
2. модальную и интенциональную семантику;
3. синтагматическую семантику;
4. теорию универсальных семантических признаков А. Вежбицкой.

1.1. Теория интерактивной метафоры

Одним из родоначальников открытой семантики можно считать английского филолога А. Ричардса, создателя интерактивной теории метафоры (1950/1990), возникшей — как можно полагать — под влиянием структурного функционализма Ф. де Соссюра: общая идея этих направлений состоит в том, что содержание знака определяется его структурными (виртуальными или линейными) отношениями, с точки зрения Соссюра — в системе языка, с точки зрения Ричардса — в структуре высказывания и связного текста. В соответствии со своим программным положением Ричардс считал, что природа метафоры обусловлена процессами в речевой деятельности, базой которых является познавательная система человека:

[...] Когда мы используем метафору, у нас присутствуют две мысли о двух различных вещах, причем эти мысли взаимодействуют между собой внутри одного-единственного слова или выражения, чье значение как раз и есть результат этого взаимодействия. [...] В основе метафоры лежит заимствование и взаимодействие идей (thoughts) и смена контекстов. Метафорична сама мысль (1990, 46-47).

Как видим, Ричардс предложил — почти полвека до того, как об этом написали Дж. Лакофф и М. Джонсон — функциональный и даже в какой-то степени когнитивный подход к изучению метафоры; его дихотомия базовых аргументов метафорической интеракции (возникшая, возможно, в контексте дихотомического мышления структуралистов): «содержание» («tenor») — «носитель/оболочка» («vehicle»), прямо коррелирует с когнитивной теорией метафоры (теории метафорической проекции — «mapping»), распространившейся в США и в Европе в 80-е годы XX века (точнее, когнитивная теория метафоры в значительной степени повторяет теорию Ричардса).

Особенность предложенной Ричардсом трактовки метафоры заключается также в динамическом и синтагматическом подходе. Критикуя традиционную теорию метафоры, которая рассматривала метафорические знаки как номинативные элементы системы языка — такой подход называется монистическим (Moosj 1978, 91), Ричардс трактовал метафорическую интеракцию как актуальное явление, реализующееся в речевой деятельности. Его тезис о том, что «слово может одновременно выступать в своем прямом и метафорическом значениях» (ibidem, 60), в 90-е годы XX века получил дальнейшую разработку в рамках функциональной семантики (см.: Chlebda 1991; Баранов 1998; Киклевич 1993; Перцов 2000).

1.2. Модальная и интенциональная семантика

Для теории Ричардса характерен функциональный подход к метафоре и вообще — к знаку, в чем нельзя не усмотреть продолжения традиций романтизма, а также прагматического функционализма Джемса, ср. высказывание английского филолога: «Наш мир — это проецируемый мир, пронизанный чертами, заимствованными из нашей собственной жизни» (Ричардс 1990, 56). Проблема метафоры рассматривалась Ричардсом в аспекте психических состояний субъекта. Это направление исследований во второй половине XX века развивалось в рамках модальной и интенциональной семантики. Так, в теории возможных миров семантическая интерпретация языкового

выражения зависит не столько от его лексической и грамматической структуры, сколько от пропозициональных установок, прежде всего в форме предикатов высшего порядка *знаю, верю, предполагаю, допускаю, думаю* и т.п. Таким образом, смысл знака (главным образом — высказывания) не вытекает (полностью) из языковой конвенции, не закодирован (полностью) в системе языка, а выводится из способа конфигурации элементов, принадлежащих к асертивной и пресуппозитивной, к диктальной и модальной части высказывания. С выбором пропозициональной установки связана и интерпретация метафорических выражений (Киклевич 1992, 44ссл.), ср.:

Длинным треугольником летели, // Утопая в небе, журавли (Н. Заболоцкий).

Бывают крылья у художников, // Портных и железнодорожников (Г. Шпаликов).

Сначала пустой был асфальт, потом пошли навстречу ровные порции машин, где-то впереди нарезанные светофором (Вал. Попов).

С одной стороны, в каждом из приведенных высказываний можно усмотреть метафорический перенос: выражения *утопая в небе, крылья, нарезанные светофором* употреблены здесь в небуквальном смысле. Но, с другой стороны, если принять во внимание, что каждое из приведенных высказываний сопровождается пропозициональной установкой, отражающей интенциональное состояние говорящего, метафоричность (небуквальность) исчезает:

Мне казалось, что летящие журавли утопают в небе.

Мне кажется, что у художников есть крылья.

Мне казалось, что светофор нарезал порции машин.

В естественных языках существуют также присловные операторы пропозициональных установок, например, русская частица *как бы*:

Журавли летели и как бы утопали в небе.

У художников есть как бы крылья.

Светофор как бы нарезал порции машин.

В письменном тексте эту функцию выполняет «закавычивание» (термин Б. А. Успенского, см. также: Kiklewicz 2009, 60 ссл.), ср.:

Журавли летели и «утопали» в небе.

У художников есть «крылья».

Светофор «нарезал» порции машин.

Таким образом, проблема метафоры в модальной семантике фактически выводится не только за пределы структуры языка, но и за пределы текста — она заменяется проблемой выбора пропозициональной установки, т.е. «закавычивания» языкового выражения, приписывания его референту статуса «как бы».

Пропозициональная установка представляет собой один из эпистемических факторов семантической интерпретации языковых выражений. Другим таким фактором являются так называемые «миропорождающие» операторы (термин И. М. Богусловского) — обычно в форме синтаксических детерминантов, например, заголовков. Ср. с этой точки зрения стихотворение Николая Заболоцкого «Движение»:

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь р у к а м и машет,
То вытянется, как налим,
То снова в о с е м ь ног сверкают
В его блестящем животе

В данном случае существительное *руками* и числительное *восемь* должны быть интерпретированы в буквальном смысле — на фоне онтологической сцены «движение», которая противопоставлена сцене «покой». Онтологические сцены, о которых здесь идет речь, представлены в сознании человека в виде понятийных категорий, так называемых паттернов: фреймов, скриптов, историй (см.: Дилтс 2001). Обычно паттерн накладывается на пропозициональную установку субъекта, например, в отрывке из прозы Бориса Пастернака, где фактуальная информация вводится с помощью пропозициональной установки *мне казалось (я видел)* и онтологического оператора *когда я смотрел из окна вагона*:

Каждую минуту навстречу к окнам подбегали и проносились мимо березовые рощи с тесно расставленными дачами. Пролетали узкие платформы без навесов с дачниками и дачницами, которые отлетали далеко в сторону в облаке пыли, поднятой поездом, и вертелись как карусели.

Паттерн может выступать в виде обобщения серии текстов, т.е. иметь стилистическое содержание, например: «проза Андрея Платонова».

Если в сознании языкового субъекта закодирован соответствующий паттерн, отдельные высказывания обрабатываются с его учетом:

(а) ВЫСКАЗЫВАНИЕ: Инженер говорил, что попало, пробрасывая сквозь ум свою скопившуюся тоску.

(б) ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЧИТАТЕЛЯ: У Платонова герой говорит / герои говорят, пробрасывая сквозь ум тоску.

(а) ВЫСКАЗЫВАНИЕ: Запивала чаем потерю своих сил.

(б) ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЧИТАТЕЛЯ: У Платонова героиня запивает / герои запивают чаем потерю сил.

Таким образом, с точки зрения интенциональной семантики метафорические знаки отражают ментальные установки языковых субъектов, а также содержание и объем их когнитивной компетенции. Это в значительной степени расширило онтологию семантических исследований, подготовило базу для возникновения и распространения во второй половине XX века когнитивной семантики. На эту связь между аналитической философией и когнитивизмом указывает и тот факт, что издаваемый в Варшаве В. Косеской-Тошевой научный журнал, посвященный преимущественно проблемам модальной и интенциональной семантики, называется: «Cognitives Studies».

1.3. Синтагматическая семантика

Одна из наиболее перспективных, с моей точки зрения, идей Ричардса состояла в том, что между моно- и полисемией не существует строгой, «стабильной и постоянной» границы. Ссылаясь на английские выражения *leg of horse* 'нога лошади' и *leg of table* 'ножка стола', Ричардс указывал, что, хотя в первом существительное *leg* выступает в основном, а во втором — в переносном значении, их семантическое различие, в принципе, незначительно и заключается в том, что «ножка стола обладает лишь несколькими признаками из числа тех, которыми наделена нога лошади» (1990, 59). Оказывается, что и основное значение слова не представляет собой постоянной величины: референты выражений

нога лошади
нога паука
нога человека

обладают отчасти разными свойствами, а следовательно, рассуждал Ричардс, в каждом из этих буквальных значений присутствует элемент метафоры. Поскольку, как подчеркивает Дж. Серль (Searle 1979, 96), каждая — не только метафорическая — номинация базируется на принципе сходства, то, с одной стороны, каждая номинация метафорична, с другой стороны, каждая метафора представляет собой результат диффузии значения — открытости и внутренней неоднородности (диссипативности) семантических категорий.

В русистике одним из первых синтагматическую изменчивость лексического значения исследовал Д. Н. Шмелев (1973, 161 ссл.), автор утверждения: «Синтагматические связи, присущие слову, входят в характеристику его семантики» (1964, 188). Поскольку каждое сочетание слов «всегда приводит к созданию нового смыслового единства, нового смысла», между основным и переносным значениями слова имеется промежуточная зона, заполненная так называемыми *оттенками значения* (некоторые из них фиксируются в толковых словарях). Так, между основным значением глагола *сорвать* 'снять, отнять, отделить, сдернуть (преимущественно резким движением, рывком)' и его переносным значением 'испортить, погубить, сделать осуществление или дальнейшее ведение, течение чего-н. невозможным' (например, в выражениях *сорвать дело, программу, занятия, заседание*) существует целое множество семантических вариантов, которые в той или иной степени приближаются к одному из названных значений. Данные семантические различия отражаются в синтаксической структуре предложения (которую отчасти можно использовать для диагностирования семантических отношений в лексике):

- Ветром сорвало крышу.
- Ветром сорвало шляпу.
- *Ветром сорвало цветок.
- *Иваном сорвало занятия.
- *Механиком сорвало резьбу.

В связи с нестрогой границей между основным и переносным значением В. Мартин пишет, что основу полисемии составляет нежесткий характер множества слотов и их наполнительной как «flexible classes/families» в структуре фрейма (Martin 1997). Поэтому нет возможности определить — например, при составлении толкового или двуязычного словаря — точного количества переносных значений и оттенков основного значения слова, само противопоставление «основное значение — переносное значение» в какой-то степени теряет

научную целесообразность. Так, например, И. К. Архипов, обращает внимание на проблему описания метафорических высказываний как «воспроизведения известных смыслов лексикона (компетенции) или творческого создания смысла в речевом контексте (интерпретации)», признает, что «истинность ни того, ни другого подхода не может быть доказана», а исследователям остается выбирать то решение, которое представляется «более элегантным» (2008, 92).

Стремлением разрешить указанный парадокс диффузии значения объясняется наметившееся в последнее время увеличение интереса к понятию семантического инварианта (или, в другой терминологии, лексического прототипа): Архипов 1997; 2008, 110 ссл.; Киклевич 1999, 96 ссл.; 2007, 112 ссл.; Кошелев 1996; Перцов 1996; 1998a; 1998b; 1999 и др. Синтез функциональной семантики и теории прототипов представляет собой одно из перспективных направлений семантических исследований.

В радикальных версиях синтагматической семантики принимается подход, в соответствии с которым лексическая сочетаемость выступает как главный фактор классификации слов или их значений в системе языка, граница между парадигматическими и синтагматическими категориями размывается. Пользуясь терминами Р. Якобсона, это можно было бы квалифицировать как перенос отношений между знаками с оси комбинации на ось селекции. Этот подход широко используется учеными московской семантической школы, например, Е. В. Падучевой (1985, 225 ссл.; см. критический анализ: Киклевич 2007, 102 ссл.). В подобном духе Г. Зельдович проанализировал русские временные квантификаторы (1998), а научная группа под руководством М. В. Всеволодовой – русские, белорусские и украинские предлоги. В последнем случае исследователи обращают внимание на словосочетания с предлогами, например:

Он сидел близко к окну.

Близко к окну рассматривается здесь как цельное (неделимое, нечленимое) словосочетание, выполняющее функцию одного члена предложения:

Он сидел (где?) [близко к окну].

Данное, синтагматическое основание позволяет Всеволодовой и ее коллегам трактовать *близко к* как одну языковую, а именно – предложную единицу. Таким образом, класс предлогов значительно рас-

ширяется — его объем в некоторых версиях исследователей группы Всеволодовой составляет около 10 000 единиц. Возражения против данного подхода высказаны мной в работе: Киклевич 2008, 352 ссл.

1.4. Теория элементарных семантических признаков

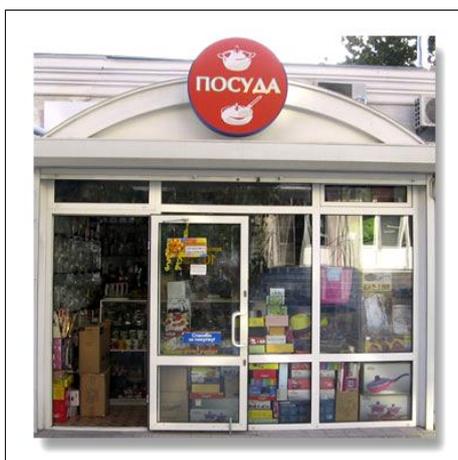
Теория элементарных терминов польской исследовательницы А. Вежбицкой сформировалась на базе традиции рационализма (прежде всего философии В. Оккама и Р. Декарта). С одной стороны, целью использования «семантических примитивов» в толкованиях слов естественного языка было преодоление интуитивизма языковой компетенции, создание универсального семантического метаязыка, сопоставимого с искусственными, в первую очередь — логическими языками (Вежбицкая 1983, 226).

Суть проблемы состоит в том, чтобы выделить возможно меньшую часть естественного языка и, в частности, определить тот минимальный список слов и выражений, который оказался бы достаточным для того, чтобы представить значения всех остальных слов и их взаимосвязь (там же).

С другой стороны, Вежбицкая подчеркивает, что элементарные термины «извлечены из естественного языка», а значит, непосредственно связаны с реальным языковым сознанием, с естественными условиями функционирования. Эта точка зрения выдвигается на передний план в позднейших работах Вежбицкой, где она, например, критикует применение в семантических толкованиях таксономического, а именно — иерархического принципа, в соответствии с которым семантическая дефиниция базируется на экспликации родового признака: *ель* 'вечнозеленое хвойное д е р е в о семейства сосновых...'

Вежбицкая, например, считает искусственным применение в словарных дефинициях существительного *чашка* родовых дескрипторов типа «сосуд» или «посуда» (ср. толкование из «Словаря русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой: *чашка* 'небольшой сосуд для питья круглой формы, обычно с ручкой из фарфора, фаянса и т.п. '), поскольку это не отражает реальной языковой компетенции, в которой абстрактные термины (в терминологии когнитивной семантики — термины надбазового уровня категоризации) не играют такой важной роли, как в языке науки. Поэтому Вежбицкая предлагает «естественную дефиницию» *чашки*, в основе которой лежит родовой дескриптор 'вещь, сделанная человеком' (1999, 88). С этим конкретным случаем анализа хотелось бы поспорить: если дескриптор «со-

суд», действительно, заимствован из языка науки и, скорее всего, чужд обыденному сознанию носителей языка, то дескриптор «посуда» как раз вполне хорошо и естественно вписывается в контекст повседневной деятельности человека, ведь лексема *посуда* широко используется — например, в русской культурной среде — в качестве торговой вывески, а значит — можно предполагать — она получает свое отражение и в тезаурусе носителей языка. Напротив, тяжело представить себе (в реальном мире) вывеску с текстом: *Вещи, сделанные человеком*.



Теория элементарных терминов и компонентный анализ в целом имеют, кроме того, вполне конкретные культурные или технологические задачи. Одной из первых прикладных задач структурной семантики (еще в шестидесятые годы XX века) стало создание лингвистического интерфейса, позволяющего «переводить» языковую информацию, т.е. закодированную в знаках естественного языка, на языки программирования. Это дает основание утверждать, что «закрытая» структурная семантика не была такой уж закрытой, просто характер ее задач существенно отличался от традиционной, психологически ориентированной семантики. Так, например, выдающийся белорусский лингвист В. В. Мартынов — в русле компонентного анализа — создал оригинальную теорию универсального семантического кода (УСК), в которой для толкования слов используются только три (sic!) базовые понятия: субъект, объект и акция (1966; 1977). Напомню, что в первой версии теории Вежбицкой выделено 14 таких понятий (1983, 237). По признанию Мартынова, прикладная цель УСК связана с ав-

томатизированным управлением, информатикой и эвристикой: данная теория, по замыслу ее создателя, призвана преодолеть информационную несовместимость «проблемно-ориентированных языков» и языков программирования разных типов. Одной из важнейших теоретических задач является преодоление языковой неопределеннозначности, например, в случаях, когда одной синтаксической структуре потенциально соответствует несколько толкований. Как пишет Мартынов:

Поскольку не существует алгоритма для разрешения неэксплицированной неоднозначности, различные семантические структуры должны эксплицироваться различными синтаксическими структурами. Чтобы научить машину понимать текст, нужно создать универсальный семантический код с полностью канонизированным семантическим синтаксисом (1977, 16).

Другая прикладная задача компонентного анализа — межкультурный перевод, трудности которого вытекают из специфического, идиотнического характера многих языковых номинаций, обусловленных культурной традицией данного языкового сообщества (Wierzbicka 2002, 24 ссл.). Использование универсальных семантических терминов, по мнению Вежбицкой, позволяет элиминировать культурный фон лексических номинаций, а тем самым — передать смысл в наиболее адекватной форме.

2. Лексическое значение vs. концепт

К исследованиям в области открытой семантики лингвистов в значительной степени подтолкнули наблюдения над словарными дефинициями. Их анализ показал, что, во-первых, традиционные семантические описания являются неполными: в частности, они недостаточно представляют информацию о так называемых интегральных признаках. Ссылаясь на И. А. Стернина, А. А. Камалова пишет:

Семантическая структура слова помимо дифференциальных компонентов включает разного рода недифференциальные (интегральные, потенциальные, ассоциативные) компоненты. Они не нужны для построения оппозиций, структурно значимых для данного языка, но являются реальными элементами языковой компетенции, актуализируются в речи, составляют основу семантического варьирования слова и его диахронического развития, обуславливают сочетаемость и ассоциативные связи слова (1998, 29 сл.).

В том же духе Л. М. Васильев (со ссылкой на того же Стернина) пишет, что

в речевой смысл языковых значений вовлекаются [...] коммуникативно значимые элементы тех наших знаний о предмете, которые в их содержание как системных единиц не входят (2006, 32).

При этом Васильев приводит пример:

Вот это мужчина!

Если мы ограничимся только лексическим значением существительного *мужчина* 'взрослый человек мужского пола', то полный смысл высказывания окажется непонятным — в этом случае от нашего внимания «ускользнет» важная культурная информация: «Настоящий мужчина обладает такими качествами, как сила, ум, благородство, решительность и т.д.». В современной коммуникативной лингвистике это свойство называется инференцией (Киклевич 2007, 237 ссл.).

Во-вторых, анализ словарных дефиниций показал, что они чрезмерно научны, не отражают обыденного сознания «рядового» носителя языка. Действительное, приведенное в предыдущем разделе определение существительного *ель* ('вечнозеленое хвойное дерево семейства сосновых...') с этой точки зрения кажется довольно умозрительным: человек, который вполне правильно употребляет данное слово в своей речевой практике, может не иметь представления о том, что ель относится к семейству сосновых и вообще — представления о семействе как о родовом признаке. Поэтому лингвисты направили свои усилия не только на то, чтобы изменить (а именно — расширить) содержание семантических толкований, но и на то, чтобы изменить их форму, а именно — приблизить ее к реальным ментальным категориям. Так, Е. Бартминский предложил различать системное и когнитивное значение слова: первое основано на дифференциальных семантических признаках, закодированных в системе языка, второе — на естественных ментальных категориях обыденного сознания. Бартминский противопоставил наукообразную дефиницию польского существительного *gwiazda* 'звезда' в традиционном словаре и «когнитивную дефиницию», которая, по его мнению, адекватна по отношению к реальной форме переработки информации в сознании человека — неспециалиста (Bartmiński 1999, 113):

СИСТЕМНАЯ ДЕФИНИЦИЯ: gwiazda = 'ciało niebieskie złożone z gazów i plazmy, świecąca wskutek reakcji termojądrowych zachodzących w jego wnętrzu; punkt świetlny widoczny na ciemnym niebie'¹⁴

КОГНИТИВНАЯ ДЕФИНИЦИЯ: gwiazda = 'jedno z licznych małych światel na niebie, widocznych nocą, które układają się w swoiste zespoły zwane gwiazdozbiorami, i o których mówi się, że świecą, mrugają, migoczą, zapalają się, gasną, spadają... o których wierzy się, że towarzyszą człowiekowi od urodzenia do zgonu, a swoim układem i zachowaniem wróżą ludziom ich losy'

Таким образом, традиционной категории лексического значения были противопоставлены категории открытой семантики: контекстное значение, «добавленное значение» (ср. «sens naddany» — у А. Авдеева; см.: Awdziejew 2004, 15), когнитивное значение, фрейм — в когнитивной семантике, концепт — в этнолингвистике. Все эти категории отражают стремление языковедов при описании содержания знаков выйти за пределы структуры языка, отразить те экстралингвистические явления и процессы, которые существенно влияют на функционирование знаков и без учета которых адекватное понимание продуктов языковой деятельности невозможно. При этом следует иметь в виду, что разные категории функциональной, антропологически ориентированной семантики по-разному отражают упомянутые выше ментальные явления и процессы: одни в большей степени направлены на представление содержания знания, другие — на его форму. Например, популярное среди языковедов понятие фрейма, которое было введено в орбиту лингвистических исследований Ч. Филлмором, понимающим фрейм как «конструкцию знания и связанную схематизацию опыта» (1988, 54), в принципе, не отражает специфически человеческих форм категоризации мира, это — общая модель категоризации, которая пригодна для описания любых интеллектуальных (рефлексивных) систем, в том числе и искусственных. Поэтому Ю. Чарняк подчеркивает, что понятие фрейма было введено М. А. Минским для системного моделирования процессов визуального восприятия (1983, 304), т.е. прямо не связанных с естественным языком.

Имеется существенное различие в представлении языкового значения когнитивной и культурной лингвистикой. Когнитивная лингвистика в качестве объекта описания рассматривает индивидуальную языковую компетенцию как реализующуюся в психических процессах способность рефлексивно реагировать на внешние, а также на

¹⁴ Приведенное словарное толкование не является полным: например, для носителей русского и польского языков важно, что луна имеет форму круга или серпа, видна в темное время суток, луна всходит, заходит за облака и т.д.

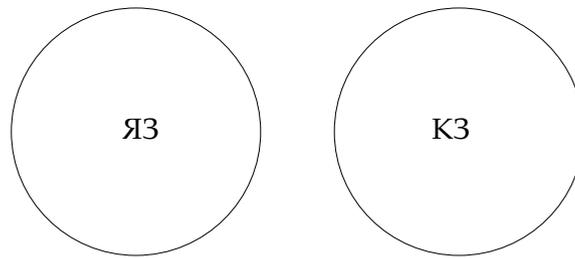
внутренние раздражители. В этом смысле так называемая когнитивная революция означает значительный, радикальный отход от структурализма: де Соссюр и его последователи рассматривали язык как продукт коллективного (в определенной степени — виртуального, см.: Архипов 2008, 39) сознания, приписывая ему главенствующую социальную (другими словами — коммуникативную) функцию, тогда как когнитивисты описывают язык в качестве элемента индивидуальной психической деятельности, как реальную компетенцию, разумеется, абстрактного, виртуального носителя языка.

Что касается культурной лингвистики, то в этом случае мы наблюдаем возврат к традиции структурализма, а может быть — просто ее продолжение: в качестве основной единицы языкового сознания рассматривается концепт (или стереотип), который представляет собой обобщение, а скорее — механическое объединение разнородной, накопленной в системе культурной деятельности сообщества информации, которая касается определенных явлений и объектов внешнего мира или так называемых конструкторов. Роль, которую для структуралистов играл язык (система языка), теперь приписывается другой абстракции — культуре (или ее модели — «языковой картине мира»), а языковые знаки описываются как культурно значимые элементы, т.е. как носители ценностей, выработанных данным культурным сообществом. Соотношение структурной, когнитивной и культурной лингвистики показывает следующая таблица.

Научное направление	Предмет исследования	Трактовка языкового субъекта
Структурализм	Система языка как принятый в данном сообществе код коммуникативной деятельности	Коллективный языковой субъект: языковое сообщество
Когнитивная лингвистика	Когнитивные процессы обработки языковой информации	Индивидуальный языковой субъект: когнитивная компетенция
Культурная лингвистика	Языковые формы хранения культурной информации	Коллективный языковой субъект: культурное сообщество

В структурной лингвистике собственно языковое значение слова и разного рода культурные «добавки» строго разграничивались, что

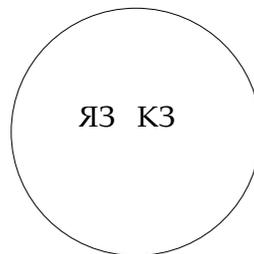
можно показать в виде рисунка (символ «ЯЗ» означает языковое значение, а символ «КЗ» — когнитивное значение):



Иначе представляют себе это отношение когнитивисты: в содержании языковых знаков отражена ментальная концептуализация мира, а значит, семантическое описание языка должно предусматривать задачу описания процессов ментальной репрезентации мира (Tabakowska 2000, 60). Семантика рассматривается как психосемантика:

[...] Jednostki języka nie są niczym innym jak wynikiem subiektywnego spojrzenia człowieka na otaczający go świat. Znaczenie zaś jest równoznaczne z konceptualizacją, czyli z doświadczeniem umysłowym, tworzeniem subiektywnej struktury pojęciowej odpowiadającej naszemu widzeniu świata (Tabakowska 1995, 55).

Отношение между значением и понятийной категорией в когнитивной лингвистике выглядит следующим образом:



Интеракцию между языковой и культурной семантикой усматривают также сторонники идиоэтнической теории языка. Так оценивал неогумбольдтианство Л. Вайсгербера известный польский германист А. Маньчик, который писал, что в этом случае «познание начинается и заканчивается в языке» (Mańczyk 1982, 48). Языковая семантика рас-

сма тривалася Вайсгербером и другими сторонниками социальной теории языка как своего рода «медиум» между внешним миром и системой языковых форм (см.: Weisgerber 1964, 45 ссл.; 1971, 149 ссл.).

В том же духе Р. Токарский пишет, что когнитивный подход стирает границу между языковыми и энциклопедическими знаниями: все, что человек знает о мире, может найти отражение в языке, в частности, в его словарном запасе:

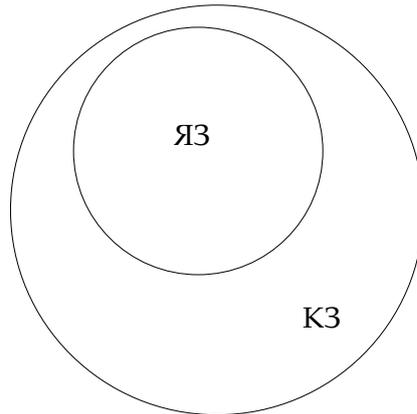
W opisie języka celem analiz ma być odtworzenie językowych sposobów konceptualizacji świata [...] i projektowanie tej wiedzy na znaczenie słowa (Tokarski 1995, 32).

Впрочем, культурная лингвистика, которая, как уже было отмечено, рассматривает язык в виртуальном культурном пространстве, интерпретирует отношение между языковым и когнитивным значением несколько иначе, чем это наблюдается в когнитивизме: здесь принимается точка зрения, что языковая и когнитивная интерпретация мира не тождественны, но языковой знак по своей природе амбивалентен, т.е. он указывает на элементы языкового и когнитивного содержания. Такова точка зрения упомянутого выше Токарского, который считает, что антропоцентрический подход в семантике, т.е. учет языковых и внеязыковых элементов содержания морфем, лексем и предложений,

nie oznacza [...] akceptowania braku jakichkolwiek różnic między owymi dwoma rodzajami świadomości. [...] Wiedza zawarta w języku jest częścią szeroko rozumianej wiedzy o świecie, lecz częścią o nie zawsze wyraźnych granicach (там же, 33).

Культурная лингвистика трактует каждый элемент языковой системы как своего рода аpellацию к системе культуры, считает возможным на базе формы, структуры и семантики языковых знаков реконструировать культурный код, лежащий в основе поведения представителей данного сообщества. При этом, однако, считается, что культурный код шире языкового, прежде всего за счет того, что культура — по сравнению с языком — развивается более быстрыми темпами, о чем одним из первых писал Э. Сепир (1993, 282 ссл.).

Отношение между языковым и когнитивным (культурным) содержанием знаков в культурной лингвистике (этнолингвистике) показывает следующий рисунок.



3. Проблема реальности концепта

Понятие концепта как своего рода синтеза языкового и неязыкового содержания слова (а шире — знака), с одной стороны, появилось и распространилось благодаря методологии постструктурализма, но, с другой стороны, оно вытекает из идеи интегративного описания языка, которая была разработана уже в системе структурной лингвистики, например — в известной теории И. А. Мельчука «смысл — текст» или в более поздней функциональной грамматике А. В. Бондарко. При этом важно, что модель Мельчука опиралась на релевантные языковые признаки (семантические, формальные, структурные, дистрибутивные), которые удерживаются в языковой памяти, т.е. отражают реальную языковую компетенцию человека (неважно, в каких формах — аналоговых или «цифровых», т.е. условных). Этого не скажешь о категории концепта. Известный языковед и семиотик Ю. С. Степанов, родоначальник лингвистической концептологии в России, пишет:

Концепт — это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт — это то, посредством чего человек — рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» — сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее (1997, 40).

Однако реальность так понимаемого концепта вызывает сомнения. Это связано с тем, что концепт — в отличие от (системного) лексиче-

ского значения — представляет собой (во всяком случае в работах большинства русских исследователей) компиляцию разных содержательных признаков, своего рода семантическую «мозаику», составленную из разнообразных элементов духовного и практического опыта носителей языка (см.: Камалова 1998, 44). Так, Степанов пишет о сложной структуре концепта, который включает не только элементы понятия, но и «все то, что и делает его фактом культуры» (1997, 41), а именно — внутреннюю форму лексического знака (другими словами — мотивационное значение), «сжатую до основных признаков содержания историю», ассоциативное поле, оценочные интерпретации и др. Можно сомневаться в том, что «рядовой, обычный человек, не творец культурных ценностей», как выражается Степанов (или «дядя Вася, сантехник из соседней квартиры», как выражается Б. Ю. Норман), способен хранить в своей памяти и культивировать в своей деятельности настолько сложную, в некоторых чертах — специфическую информационную систему.

Так, вызывает сомнение отнесение к области содержания концепта — помимо прочих «слоев» — этимологии слова, т.е. закодированной в его форме мотивации, своего рода отсылки к ситуации именованного. Например, Степанов пишет, что культурный «смысл» существительного *пелух* включает указание на внутреннюю форму, а именно — семантический признак: «птица, названная по своему особенному пению: *пелух* от глагола *петь*» (1997, 42). Можно, однако, сомневаться (вопреки, например, точке зрения Л. М. Васильева, см.: 2006, 48), входит ли подобная (иногда совершенно неочевидная) этимологическая информация в обыденное сознание «рядового» носителя языка. Например, этимология слова *страх* восходит, по А. Вайану, к индоевропейскому корню **ser-*, на базе которого возник праславянский корень **srā-* 'плыть', лежащий в основе таких русских слов, как *страда*, *струя*, *срать* (см.: Степанов 1997, 673). Однако очевидно, что эта информация доступна лишь специалисту, для большинства же носителей языка этимологическая и вообще — историческая информация, преимущественно, не существенна.

В связи с этим напомним известное утверждение Ф. де Соссюра: «Синхронический аспект превалирует над диахроническим, так как для говорящих только он — подлинная и единственная реальность» (1977, 123; разрядка моя. — А. К.). Разумеется, это не исключает окказиональных и, в принципе, экзотических фактов актуализации внутренней формы как средства создания игрового, каламбурного эффекта, например, в художественной литера-

туре, рекламе или публицистике. Но это — именно то исключение, которое подтверждает правило.

Сам Степанов признает существование таких культурных ситуаций (и описывает ситуации), когда этимологический компонент концептуального содержания является неосознаваемым (1977, 44). Тогда правомерен вопрос: можно ли подобную информацию относить к области содержания концепта, который — по определению самого Степанова — является ступенью культуры в сознании человека (ср. также его высказывание из другой книги: «Понятие „определяется“, концепт же „переживается“, 2007, 20»)?

Подобным же образом можно усомниться в психологической реальности ассоциативного «слоя» концептуального содержания, который — в интерпретации Степанова — относится, скорее, к сфере специфического, экспертного знания, например, о формах ритуальных действий в разных культурах, которые представлены в работе: Степанов/Проскурин 2003, 408. Концепты русской культуры в книге Степанова предстают как концепты в голове академика Юрия Сергеевича Степанова, как их понимает академик Степанов, а не «дядя Вася, сантехник из соседней квартиры», у которого другой взгляд на мир и другая концептуальная система. Неслучайно И. К. Архипов — см.: 2008, 63, замечает, что в книге Степанова для отражения 22 «констант русской культуры» понадобилось почти 1000 страниц печатного текста.

Об индивидуальности, специфичности и даже экзотичности так понимаемых концептов свидетельствует следующий пример из книги Степанова (2007, 89 сл.): «Один польско-русский концепт — Ярослав Ивашкевич, „За что я ненавижу и люблю Россию“». Приведу фрагмент из текста:

Стихотворение Ярослава Ивашкевича (1894-1980) подлинное, но сам концепт — наша реконструкция (и, кажется, ко времени).

На моей кафедре в Московском Университете, давно уже, работал молодой стажер поляк Ян Вавжинчик, с которым мы вместе учились своим языкам — он у меня русскому, я у него польскому. [...]

А у меня в одной пьесе (1989 г., конечно, неопубликованной, рукописи не горят, но «рукописи не публикуются и не возвращаются») есть замечательный персонаж — гениальный танцор балета Вацлав Нижинский, и он там читает по-русски польские стихи Я. Ивашкевича. Весь этот эпизод и образовал этот польско-русский концепт. [...] (Далее приводится текст стихотворения Ивашкевича «Do Rosji» — «России» и его перевод на русский язык. — А. К.). Мы уже знаем [...] что концепты можно посвящать. Тогда этот польско-русский пример я посвящаю Яну Вавжинчику, автору и соавтору прекрасных работ, важных для русско-польского культурного общения. [...]

При аддитивном, компилятивном подходе концепты превращаются в культурные окказионализмы, и тогда возникает вопрос о степени их репрезентативности: что, в самом деле, они представляют: константы культуры или же отдельные феномены («феномен Степанова», «феномен Аверинцева», «феномен Тейяра де Шардена» и т.д.)? В связи с этим можно вспомнить разграничение А. А. Потемной двух понятий: ближайшего и дальнейшего значения слова. Дальнейшие значения, которые отражают сферу неязыкового знания, по мнению Потемной, имеют — в отличие от ближайших значений — индивидуальный характер (1958, 19 ссл.). Приблизительно о том же — в связи с определением смысла знака — писал Л. С. Выготский:

Смысл слова (в отличие от значения. — А. К.) [...] представляет собой совокупность всех психологических фактов, возникающих в нашем сознании благодаря слову. Смысл слова, таким образом, оказывается всегда динамическим, текучим, сложным образованием, которое имеет несколько различной устойчивости. Значение есть только одна из зон того смысла, который приобретает слово в контексте какой-либо речи, и притом зона наиболее устойчивая, унифицированная и точная. [...] Между смыслом и словом существуют гораздо более независимые отношения, чем между значением и словом (1982, 346-347).

Противоречие в системе лингвистической лингвокультурологии состоит в том, что, с одной стороны, Степанов пишет о психологической реальности («переживаемости») концепта (см. выше), а с другой стороны, признает в качестве концептов «факты культурной жизни», например, такие, как «праздник женщин» — 8 марта, или «праздник мужчин» — 23 февраля (1997, 42). Понятие факта культурной жизни, с моей точки зрения, слишком широко для определения концепта, ведь культура основана на системе социально релевантных, обычно — институциональных действий (например, таких, как представление точки зрения, передача знания, оценка поступков, удовлетворение запроса, урегулирование конфликта и др.), концепт же относится к сфере ментальной (или другого рода) репрезентации мира.

Существует точка зрения о концепте как единице коллективного знания, имеющей языковое выражение и отмеченной этнокультурной спецификой (Маслова 2005, 35; Шестак 2003, 7). Но и при таком подходе мы сталкиваемся с проблемами описания концептов. Первая проблема заключается в определении критерия конвенциональности. У лингвистов, которые пишут о концептах, нет привычки (подозреваю, что не возникает даже такая мысль) подкреплять свои лингвистические наблюдения материалом социологических

исследований — а как иначе, если речь идет о коллективном сознании?! Исключения немногочисленны, см. например, работы М. Фляйшера: Fleischer 1997; 2003a; 2003b; 2004. Таким образом, вопрос о конвенциональности концептов решается «на глазок», на основе интуиции конкретного ученого. Например, витебская исследовательница В. А. Маслова, выделяющая десять признаков русского концепта «дружба», пишет и о таком признаке:

Для русского сознания определяющей является мысль о том, что дружба тесно связана с образом жизни людей. Об этом свидетельствует русская пословица *Какову дружбу заведешь, такову и жизнь поведешь* (2006, 178).

Но, во-первых, «русское сознание» с того момента, когда возникла приведенная пословица, сильно изменилось: под влиянием западной культуры русские становятся все более прагматичными, поэтому для утверждения об этических мотивациях поведения современного русского человека нужна опора в виде уже упомянутых социологических исследований.

Во-вторых, ссылка на пословицу как источник культурной информации вряд ли уместна: сама пословица относится к культурному и языковому прошлому — она давно вышла из широкого речевого обихода и никак не отражает культурного сознания современного русского человека. На это указывает и тот факт, что в электронном «Национальном корпусе русского языка» нет (sic!) ни одного примера употребления этой языковой единицы.

В связи с этим заслуживает внимания работа Б. Хансена, который пишет о том, что многие семантические коннотации слов и словосочетаний (например, стереотип цыгана или еврея в пословицах) не актуальны в культурном или прагматическом аспекте. Они лексикализованы, т.е. представляют собой лишь элемент языковой конвенции, речевого навыка, идиоматики того или иного языка (Hansen 2006, 172).

Вторая проблема касается функционального единства концептов. Когда мы начинаем анализировать состав концепта, как он представляется большинством русских лингвокультурологов, то убеждаемся, что концепт лишен важнейшего свойства семантической и понятийной категории — функционального единства. Концепт оказывается — повторяю — результатом аддитивного обобщения, компиляции, простого сложения информации из разных областей знания и из разных источников. Так понимаемый концепт не только не имеет ничего общего с языковой, но и с культурной компетенцией отдельных

языковых личностей. Например, в статье М. В. Пименовой рассматриваются разные аспекты концепта «мудрец» в русской и английской культуре — на материале текстов разных авторов (2010, 101 ссл.). При этом, однако, не приводятся никакие доказательства того, что между этими аспектами, которые эксплицированы на материале различных источников, имеется какая-либо интеракция — помимо соотносительности с одним и тем же языковым знаком — существительным *мудрец* в русском языке и словосочетанием *wise man* в английском языке. Не доказанным остается факт, что все эти аспекты составляют общий, единый концепт «мудрец», что мы не имеем дела с серией концептов, отражающих специфическую категоризацию одного и того же явления разными культурными субъектами, часто относящимися к разным эпохам.

Третья проблема касается прагматической релевантности концептов. Степанов пишет, что концепт по-разному функционирует в «активном» и в «пассивном» слое:

В основном признаке, в актуальном значении, «активном» слое концепт актуально существует для всех пользующихся данным языком [...] как средство их взаимопонимания и общения. [...] В дополнительных, «пассивных» признаках своего содержания концепт актуален лишь для некоторых социальных групп (а то и вовсе — для отдельных личностей. — А. К.) (1997, 45).

Это означает, что концепты неоднородны не только по своему содержанию, но и по своему функционированию. Социальная дифференциация культурного сообщества в работах лингвокультурологического направления часто остается «за кадром». В действительности же одни и те же явления и объекты концептуализируются по-разному — достаточно сослаться на программы разных политических партий или общественных движений. А. П. Павлов (2008) пишет о динамическом характере общественного сознания и, в частности, понятия нормы. Он ссылается на пример дореволюционной России и СССР, где коллективное (государственное) начало ставилось выше индивидуального, тогда как в первой декаде XXI века это представление утратило свое значение.

В связи с выше сказанным можно сослаться на традицию русской литературы, в которой представлен многомерный образ России. Так, в «Бесах» Достоевского читаем:

О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера и в то же время мы бушем по трактирам и вырываем у пьянчужек, собутыльников наших, бородачки. [...]

Ощущение низости падения так же необходимо разнузданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства [...] — и это правда: именно им нужна эта неестественная смесь постоянно и непрерывно. Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент — без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, широки, как вся наша матушка Россия, мы всё вместим и со всем уживемся! [...]

Повторю еще: тут не глупость; большинство этих сумасбродов довольно умно и хитро, — а именно бестолковость, да еще какая-то особенная, национальная.

Павлов различает два типа схем поведения: идеальные, т.е. принятые в некотором сообществе за каноническую норму — «императивы правильного, должного поведения с точки зрения базисных ценностей и норм общества», и релевантные или практические (которые можно было бы также квалифицировать как узуальные или приватные), т.е. такие, которые реально культивируются в практической деятельности индивидов. Исследователь пишет, что в современной России представлены культурные ситуации, в которых «идеальные и практические паттерны не совпадают» (в качестве примера приводятся «неуставные отношения» в армейских подразделениях).

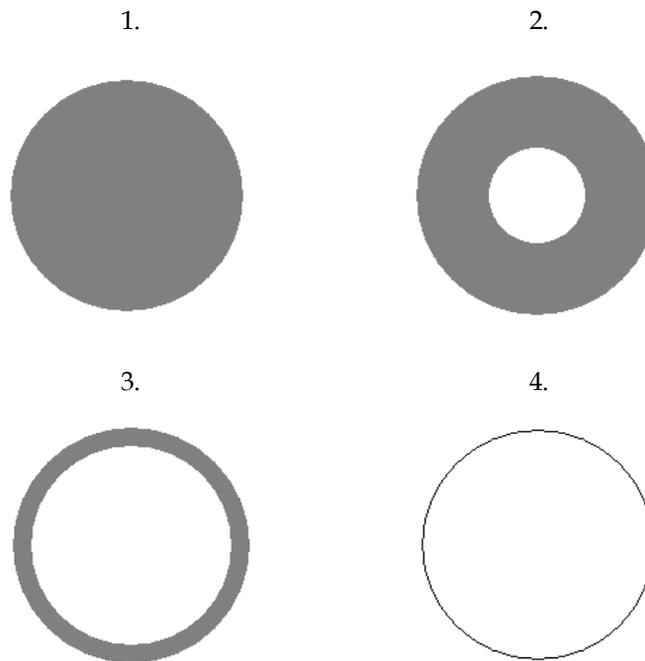
В зависимости от формата (степени сложности) культурного субъекта, можно различать концепты разного порядка: универсальные (общечеловеческие), национальные, региональные, групповые, гендерные, возрастные, профессиональные, конфессиональные, исторические и т.д. (см. также: Bourdieu 1974, 46). Важно, чтобы каждый концепт представлял собой действительный элемент коллективного (или реже — индивидуального) сознания, удовлетворяя требованиям фреквентивности: содержание концепта должно быть известным если не всем, то по крайней мере большинству представителей данного культурного сообщества, и требованию интегративности: концепт функционирует как фактор социального (как определил бы В. Н. Волошинов — идеологического) единства.

Варьирование содержания концепта (при сохранении его имени как, в сущности, внешнего и даже факультативного признака — ведь Степанов пишет и о концептах «без имени», см.: 2007, 192ссл.) должно пониматься как культивирование альтернативных концептов, если строго придерживаться точки зрения, что концепт — это содержание культурной памяти индивида или социальной группы. При таком подходе концепт наполняется прагматическим содержанием, а именно — ставится в зависимость от конкретной культурной ситуации и от конкретной группы исполнителей культурно маркированных действий.

Отношение между содержанием концепта и сферой его действия напоминает отношение между содержанием и объемом понятия: чем шире содержание концепта, тем уже сфера его действия. В принципе на эту закономерность — хоть и не прямо — обращает внимание Степанов (1997, 45). Теоретически можно различать четыре типа культурных ситуаций:

1. концептуальное содержание отсутствует;
2. бедное содержание концепта;
3. богатое содержание концепта;
4. экспансивное содержание концепта.

Данные четыре типа функционирования концептов можно представить графически; при этом серый цвет означает сферу действия, а белый цвет — содержание концепта.



Первая ситуация характеризует действия, программируемые общими биологическими параметрами индивидов, т.е. действия на доконцептуальном уровне, которые имеют универсальный характер — охватывают максимально широкий объем популяции.

Вторая модель представляет функционирование коллективных концептов, которые охватывают супрагруппы индивидов, например, такие,

как народы или геокультурные общности (европейцы). О таких случаях Степанов пишет, что

концепт (в своем «активном слое». — А. К.) актуально существует для всех пользующихся данным языком (языком данной культуры) как средство их взаимопонимания и общения» (1997, 45).

С помощью третьей модели можно отобразить социально маркированные концепты, которые культивируются отдельными социальными группами, например, политиками, журналистами, крестьянами, лидерами общественных движений, представителями меньшинств и др. К этому же типу следует отнести и индивидуальные концепты.

Максимально широкое содержание концепта отражает четвертая модель, которая означает, что сфера его функционирования является нулевой. Действительно, экспликация, т.е. собрание воедино, всех возможных представлений и сведений о данном объекте или явлении — это научная абстракция. Подобную ситуацию можно представить себе лишь в виртуальном пространстве Интернета, где одна информация — с помощью системы так называемых гиперссылок — вызывает ассоциацию с другой, та — с третьей, четвертой и т.д. Этот процесс принципиально бесконечен, потому что за время, которое человек потратит на обработку всех возможных тематических узлов, появятся новые носители информации и новые тематические узлы.

4. Проблема недостаточного основания

В предыдущем разделе уже обращалось внимание на то, что при описании концептов лингвисты опираются, главным образом, на языковую информацию, почерпнутую из текстов или словарей. Это обосновывается тем, что

язык как основное средство коммуникации между людьми обладает кумулятивно-трансляционной функцией, т.е. он способен хранить и передавать информацию о культуре носителей того или иного языка. Другими словами, язык обладает своеобразной культурной памятью, в том числе национально-культурной (Deboveanu/Cojocaru 2000, 101).

В подобном духе пишет А. Д. Шмелев:

значение большого числа лексических единиц [...] включает в себя лингвоспецифические конфигурации идей. При этом нередко обнаруживается, что эти конфигурации смыслов соответствуют каким-то представлениям, которые

традиционно принято считать характерными именно для «русского» взгляда на мир. В других случаях лексико-семантический анализ позволяет уточнить выводы этнокультурологов, полученные без привлечения лингвистических данных (2002, 12).

По моим наблюдениям, упомянутые здесь «другие случаи» чрезвычайно редки, хотя Степанов ведь посвящает в своей книге отдельный раздел концептам без имени (2007, 192ссл.)¹⁵. Для широкой практики эксплицирования концептов в литературе характерен своего рода вербоцентризм — опора на языковые данные и игнорирование данных иного рода — социологических, психологических, этнологических. Это в значительной степени объясняется тем, что большинство современных когнитивных лингвистов и этнолингвистов не имеют специального социологического или психологического образования, навыков проведения экспериментальных исследований или анкетирования. Об этом (на что обратила внимание Э. Табаковская, см.: Tabakowska 2000, 67) еще в начале прошлого столетия писал выдающийся польский языковед Я. Розвадовский:

Mimo wyrzucenia logiczno-gramatycznego schematyzmu i stałego zaznaczania psychologicznego charakteru zjawisk językowych, językoznawcy w ogóle gruntownego wykształcenia psychologicznego nie posiadają (1903, 20; разрядка моя. — А. К.).

Вербоцентризм (примат языка) структурной лингвистики носил открытый, методологический характер, он заключался в признании языка как главенствующего фактора успешной коммуникации. В современной лингвокультурологии, а отчасти и в когнитивной лингвистике вербоцентризм имеет неявный, процедурный характер и заключается в том, что основанием для культурологических обобщений является материал языка: лексические номинации, лексическая сочетаемость, фразеология, частота употребления слов и др. Многие лингвисты этого направления, отрицающие структурализм, бессознательно используют классический метод структурной лингвистики — дистрибутивный анализ, который в данном случае заключается в том, что из характера лексической сочетаемости знаков выводятся элементы содержания реализуемых ими культурных концептов или «когниций» (см.: Kiklewicz 2004a).

¹⁵ Именно на такие концепты косвенно указывает отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко, использованный в качестве эпиграфа к данной работе.

Об отсутствии непосредственной детерминации в отношении между языком и культурой написано множество томов, одной из последних является богатая по содержанию книга А. Гута (Gut 2009). В свете обсуждаемой здесь лингвистической концептологии обращу внимание на два аспекта этой проблемы. Первый аспект касается ограниченного характера культурных апелляций в содержании языковых выражений. В современных исследованиях, как уже писалось в разделе 2, лексический знак рассматривается как носитель когнитивного или культурного содержания. Так, Е. Бартмиński вводит понятие профиля как специфического, обусловленного культурной средой и/или коммуникативными условиями видения объекта или положения вещей (Bartmiński/Niebrzegowska 1998, 217). Например, выделяются четыре профиля немца в системе (а отчасти и в истории) польской культуры: чужака, франта («pludrak»), оккупанта и богатого европейца (Bartmiński 1998, 231). При этом важно то, что Бартмиński рассматривает каждый из этих профилей как элемент лексического содержания слова:

[...] Należy stwierdzić, że różne profile nie są różnymi znaczeniami, lecz sposobami organizacji treści semantycznej wewnątrz znaczeń. Są tworzone na zasadzie derywacji wychodzącej od bazowego zespołu cech semantycznych w obrębie znaczenia – otwartego zespołu cech (Bartmiński/Niebrzegowska 1998, 220; разрядка моя. – А. К.).

Языковой материал, однако, не подтверждает этого положения. По моим наблюдениям, употреблению названий национальностей, например, в публицистических текстах довольно редко сопутствует какая-то либо культурная информация – существительное *немец* означает ‘представитель немецкого народа; житель, гражданин Германии’, и только. Ср.:

Теперь первый опасный соперник – весьма искусно играющий на траве немец Давид Приношил – может встретиться на пути Сафина лишь в третьем круге («Известия», 25 VI 2001).

Уже Э. Сепир различал в системе языка формальные и концептуальные категории (1993, 193 ссл.). Современный немецкий славист Б. Хансен развивает это положение, показывая на конкретном языковом материале, что культурные коннотации не всегда сопровождают употребление языковых знаков, во всяком случае культурная информация не составляет очевидного элемента лексического фона (Hansen 2006, 170 ссл.). Ср. приводимые им примеры этнонимов:

греческий салат, итальянский салат, кофе по-турецки
нем. *holländische Soße* 'голландский соус', *Russischbrot* 'русский хлеб, т.е. кекс в форме буханки', *Russenmaß* 'в Баварии — один литр пива, смешанного с кока-колой'
хорв. *francuzka salata* 'французский салат'

Хансен пишет, что только некоторые из подобных выражений отражают национальную специфику, например, страну происхождения: *греческий салат, японки, французский каблук*. Многие же из них вообще потеряли связь с источником: *Russischbrot, английский вальс, английская соль*. Немецкий автор считает, что такие случаи являются результатом лексикализации, т.е. потери первичной мотивации слова или словосочетания (2006, 172).

Второй аспект отношений между языком и культурой — применительно к проблематике концептов — касается достаточности языкового основания при выделении и описании концептов. Действительно, нельзя не согласиться с процитированным выше Шмелевым, что в лексическом содержании слов и словосочетаний (свободных и устойчивых) закодированы общие представления носителей языка о мире, в том числе — добавлю — и представления о представлениях. Но если концепты — это, действительно, константы культуры, другими словами — общие схемы интерпретации мира и схемы поведения, значит, они должны находить проявление в разных сферах деятельности человека — не только в языке, но и в процессах запоминания, в решении невербальных задач, таких, например, как задача выбора, в визуальном восприятии, в формах социального поведения, в оценках и др. Это свойство концептов (и вообще так называемых «схем интерпретации») можно определить как функциональную амбивалентность. Наблюдения показывают, что анализ языкового и текстового материала не является достаточным для выводов общего, культурологического характера. В качестве примера рассмотрим отрывок из известной белорусской народной песни «Рушнікі» («Полотенца»). У песни довольно замысловатый сюжет: девушка по имени Алёна знакомится у реки с молодым парнем, который просит показать ему брод. Девушка отказывается — она занята стиркой белья. Однако по нерасторопности Алёна упускает в воду полотенце, и оно начинает уплывать. Теперь уже девушка просит парня о помощи, тот же требует за это поцелуя. Песня, в том виде, в котором ее многократно исполнял ансамбль «Песняры», заканчивается куплетом:

Супьніўся гнеды над вярбой густой
Цалавала Лена Янку над вадой.
Стала ціха, ціха на усёй зямлі,
Па рацэ далёка рушнікі пльлі...

Хотя с логической точки зрения поступок девушки обоснован, ведь просьба о поцелуе прозвучала из уст Янки (*Пацалуў спачатку, бо я ўтану*), но с культурной, антропологической точки зрения поведение молодой девушки представляется явной натяжкой: Алёна, даже если предположить, что по реке уплывало ее любимое полотенце, ведет себя довольно распушено, вопреки норме традиционного поведения отличавшихся скромностью и сдержанностью белорусок. Кстати, несколько иное, более близкое к действительности концептуальное содержание заключено в другом варианте этой песни, опубликованном в «Антологии белорусской народной песни» в 1975 г.:

Супьніўся гнеды над вярбой густой,
Цалаваў Алёну Янка над вадой...

Как видим, здесь роли героев представлены по-другому, а на основании текста можно сделать вывод о том, что инициатива в любовных отношениях принадлежит мужчине.

В связи с понятием функциональной амбивалентности понятийных категорий И. К. Архипов пишет:

Данные исследований последних 20 лет указывают на то объективное обстоятельство, что внутренний мир человека, мир мыслей и языка, складывается под влиянием всех сигналов, поступающих в тело и доступных рецепторам различных систем, не только вербальных (2008, 60; разрядка моя. — А. К.).

Требование функциональной амбивалентности познавательных категорий было каноном психолингвистических исследований в 60-80-е годы прошлого столетия. Критикуя спекулятивный подход к решению проблемы языковой относительности, известные американские психолингвисты М. Коул и С. Скрибнер пишут о когнитивной интерпретации грамматических различий в естественных языках:

Как и в случае тех языковых данных, которые относятся к лексическим различиям, мы снова не вполне представляем себе, как следует истолковать эти данные. Уорф и другие авторы убеждают нас в том, что языковые категории оказывают неизбежное влияние на наше мышление, но о мышлении они опять же судят на основе языковых данных. Они не предполагают независимых от языка данных о познавательных процессах. Таким

образом, мы должны судить о процессах мышления либо на основе общих характеристик культуры (значения которых можно истолковать по-разному), либо на основе каких-либо других языковых данных, которые предположительно имеют отношение к познавательным процессам. В обоих случаях мы идем по тонкому льду (1977, 68; разрядка моя. — А. К.).

Проверка на функциональную амбивалентность познавательных категорий — по отношению к разным сферам духовной и практической деятельности человека, в психолингвистике осуществлялось с помощью экспериментов. Примером может служить классический эксперимент Дж. Кэррола и Дж. Касагранде (см.: Коул/Скрибнер 1977, 68 ссл.).

В современной когнитивной лингвистике и лингвокультурологии то, что для психолингвистов было только исследовательской гипотезой, толчком к ее экспериментальному подтверждению, считается уже доказанным фактом. Здесь мы имеем дело с манипулятивным силлогизмом типа: «*ab esse ad posse*» («если нечто возможно, то оно существует»). Когда исследователи на материале языковых данных конструируют содержание концептов культуры, нет никакой гарантии, что в результате мы имеем дело с инвариантными — в рамках данного культурного сообщества — категориями, гештальтами поведения, поскольку они выведены из конкретного, а именно — языкового материала, и их инвариантный, в сущности — концептуальный, статус не доказан. В этом контексте заслуживает внимания позиция известной польской исследовательницы К. Писарковой, которая считает, что если стереотипы сознания устанавливаются на материале естественного языка (или языковых текстов), то их необходимо квалифицировать как языковые стереотипы (Pisarkowa 1994, 215).

Е. Бартминский, ведущий в Польше специалист в области этнолингвистики, хотя и не пишет прямо о функциональной амбивалентности познавательных и культурных категорий, то все же обращает внимание на то, что при экспликации языковой картины мира необходимо опираться не только на факты языка, но и на релевантный с точки зрения интерпретации языковых фактов внеязыковой контекст («kontekst przyjęzyczny») (Bartmiński 2001, 33). Эту идею — еще в более категорической форме — высказывал в XIX веке В. Вундт, который решительно противился использованию в исследованиях «психологии народа» художественных текстов:

Психология народов должна обнимать те психические явления, которые представляют собою продукты совместного существования и взаимодействия людей. Она не может, следовательно, захватывать те области, в которых сказывается преобладающее влияние личностей, например, литературу. Исключая

подобные области, находим, что объектом психологии народов будут служить язык, мифы (с зачатками религии) и обычаи (с зачатками морали) (1912).

Разумеется, художественных текстов нельзя исключать как объектов концептуальных исследований, однако они в этом отношении интересны прежде всего как сферы реализации так называемой текстовой картины мира (см.: Киклевич 2006а; 2006б).

При изучении концептов важно учитывать их прагматическую маркированность: концепты обусловлены социально-культурными параметрами своих носителей, а следовательно изменчивы во времени и в пространстве (см. раздел 3). В социологической литературе описан случай американского исследователя М. Шерифа, который в 30-е годы прошлого столетия планировал путешествие со своей женой, индианкой, по Соединенным Штатам. Когда Шериф, резервируя номер в гостинице по телефону, сообщал, что его жена — индианка, то в большинстве случаев получал отказ («Места заняты» и т.п.). Когда же, несмотря на это, он отправился с женой в путешествие, ни в одной гостинице — при непосредственном контакте с рецепцией — проблем с получением номера не было (см.: Brosius/Koschel 2005, 133). Этот пример свидетельствует о том, что стереотипы культурного сознания обусловлены сферами поведения людей, например, такими, как идеальная (декларативная) vs. практическая — по определению А. П. Павлова (2008; см. раздел 3). Это, предположительно, не исключает возможности существования концептов общего значения.

Заключение

Современная культурная лингвистика, или лингвокультурология, представлена в данной статье как версия открытой семантики, а также — в более широком аспекте — интерпретативной лингвистики, которая рассматривает естественный язык с точки зрения социальных, когнитивных, эмотивных, культурных и др. мотивационных контекстов, влияющих на формирование и функционирование системы языка, на понимание текстов. В качестве наиболее значимых теорий этого научного направления были отдельно рассмотрены интерактивная теория метафоры А. Ричардса, модальная и интенциональная семантика, синтагматическая семантика, теория универсальных терминов А. Вежбицкой.

В основе культурной лингвистики лежат два понятия: концепта и стереотипа. Концепт, который представляет собой смежную категорию по отношению к паттернам, фреймам, скриптам, когнитивным доменам, семантическим гештальтам и др., понимается как функционирующее в коллективном сознании сложное представление о выделенном фрагменте физической, социальной, психической или биологической действительности, а также как представление о представлениях, которое отражает культурно-исторический опыт социальной группы и культивируется большинством ее членов.

Специального внимания заслуживает отношение между концептуальным и номинативным (системным) содержанием знаков. Было отмечено, что в структурной лингвистике эти понятия рассматривались дизъюнктивно, т.е. из лексического значения намеренно устранялись всяческие контекстные «добавки», тогда как когнитивная лингвистика включила элементы «лексического фона» в содержание слова. В современной культурной лингвистике языковое значение рассматривается как часть концепта, в структуре которого находится также внутренняя форма слова, его ассоциативное поле, представления о прототипических референтах и др.

Основное место в статье занял критический анализ лингвистической концептологии. Проблема репрезентативности заключается в том, что при компилятивном подходе к содержанию концептов их границы «размываются», становится неясным статус концептуального субъекта: индивидуальная личность, социальная группа или народ? Концепты (в их полном объеме) предстают, скорее, как научные, теоретические конструкторы, которые реально не «переживаются» в культурно маркированных действиях, а уж тем более не составляют реальности психической деятельности индивидов.

Второй проблемой является отсутствие функционального единства концептов. В современных лингвокультурологических исследованиях концепты определяются на основе разнородных данных (в том числе в историческом плане), часто на базе художественных текстов, которые, как известно, в значительной степени отражают черты индивидуального «внутреннего мира» их авторов. Остается недоказанным, представляют ли так понимаемые концепты функциональные категории или же простое нагромождение полученных из разных источников сведений на определенную тему.

Проблема недостаточного основания состоит в том, что в концептуальных исследованиях господствует филологический подход, в соответствии с которым выделение и описание концептов

опирается на языковые данные. При этом игнорируется важнейшее требование, предъявляемое ко всем схемам интерпретации, а именно – требование функциональной амбивалентности: концепты должны иметь силу (другими словами – моделирующую, программирующую функцию) по отношению к разнообразным формам проявления культуры. Ограничивая сферу релевантности концептов языковыми источниками, лингвисты напоминают пресловутого натуралиста из книги А. Пуанкаре «Ценность науки» (1990, 213), который считал, что достаточно знает слона, хотя всю жизнь изучал это животное под микроскопом.

Критика современных лингвистических теорий концептуализации не означает, что понятие концепта избыточно. Несмотря на то, что разного рода культурная информация не входит в семантический минимум знака и может быть неактуальной в практическом режиме речи (см.: Kiklewicz 2007a, 72 ссл.), она присутствует в содержании в виде коннотаций, которые особенно важны в рефлексивном режиме речи, когда фактором понимания сообщения является не только декодирование языкового сообщения, но и интерпретация коммуникативных установок отправителя информации. Концепты могут функционировать в тексте как семантические доминанты (см.: Kiklewicz 2007б) – тематические организаторы текста, роль которых особенно очевидна по отношению к выражениям с компрессированной структурой, а также в ситуациях смыслового прогнозирования, которое оптимизирует речевое взаимодействие. Исключительно важную роль (как положительную, так и отрицательную) играют концепты в межкультурной коммуникации.



Концептуальные метафоры и прототипические эффекты

Но в том-то и дело, что дело не в том.

Новелла Матвеева

1. Теория концептуальных метафор

Данная статья посвящена анализу когнитивных метафор с точки зрения культурных, ситуативных (коммуникативных) и познавательных факторов языковой номинации. Задача состоит в том, чтобы показать множественный, дифференцированный, идиосинкратический характер содержания метафорической номинации, отсутствие строго ограниченного списка когнитивных схем, по которым строится языковая идиоматика.

В. З. Демьянков пишет:

В сферу жизненных интересов когнитивной лингвистики входят [...] «репрезентации» знаний и процедуры их обработки. Обычно полагают, что репрезентации и соответствующие процедуры организованы модульно, а потому подчинены разным принципам организации (2012).

Ученый утверждает, что «активность человеческой когниции не следует рассматривать [...] как функционирование единого и неизменного универсального механизма»:

В [...] когниции заложены универсальные когнитивные стратегии. Человеческий опыт их использования приводит к накоплению «объектных» знаний и «оптимизирующих стратегий». [...] Универсальные стратегии встроены в человеческий мозг, заданы самой его биологической структурой [...] (там же).

Тот же исследователь, однако, одновременно определяет язык как «общий когнитивный механизм», пишет, что «теоретики языка, причисляющие себя к когнитивистам, стремятся применить общий подход для описания и объяснения языковой когниции» (разрядка моя. — А. К.; см. также: Sztencel 2011, 381). Эта (вторая) установка находит отражение в практике когнитивных исследований, например, в теории концептуальной метафоры, которая ставит своей целью представление закрытого множества когнитивных моделей, определяемых на базе языковой сочетаемости, т.е. синтаксических конструкций типа

время течет
охватил страх
привести к краху

В таком духе Д. О. Добровольский пишет, что ментальные образы, которые ассоциируются с метафорическими выражениями (в частности, идиомами), зависят не от значений конкретных конститuentов, но объясняются с точки зрения концептуальных моделей, которые принадлежат общей базе знаний языкового субъекта, поэтому идиомы одного и того же семантического поля можно описать с помощью небольшого числа концептуальных метафор (Dobrovol'skij 1997, 27 ссл.).

Вызывает, однако, несогласие то, что такого рода процедуры «когнитивной/ментальной интерпретации» осуществляются независимо от происхождения и истории языковых выражений, культурных, социальных и коммуникативных условий их номинации, а также категоризации соответствующих объектов восприятия и рефлексии (так называемых денотатов). Теория метафоры, по определению М. С. Лабашука,

должна быть [...] функциональной, действующей. Она должна быть теорией экспрессивно (-мыслительно) и коммуникативно направленного субъекта. [...] Она с необходимостью должна включать опыт предметно-чувственной и коммуникативно-мыслительной деятельности (2003, 113).

Согласно современному пониманию, метафора представляет собой способ концептуализации (или же категоризации) опытных данных, другими словами — тип ментальной репрезентации (англ. *knowledge representation*), т.е. сохранения в памяти ранее полученных впечатлений. Метафора с когнитивной точки зрения содержит про е ц и р о -

вание (англ. *mapping*) знаний о сущностях одного рода на понимание (интерпретацию) сущностей другого рода. В операции проецирования участвуют два объекта: 1) исходная концептуальная область (модель) – донор, источник, эффектор (англ. *donor / source domain*) и 2) определяемая концептуальная область – рецептор, цель (англ. *receptor / target domain*). При таком подходе предложение

Your claims are indefensible 'Твои слова убийственны'

интерпретируется как отражение присутствующего в сознании говорящего представления о споре, дискуссии, коммуникации как о войне (Lakoff/Johnson 1980, 6). Концептуальная метафора СПОР – ЭТО ВОЙНА представляет собой – с точки зрения когнитивистов – своего рода порождающую модель, которая лежит в основе целого ряда метафорических знаков, например:

He attacked every weak point in my argument.
His criticisms were right on target.

В связи с этим когнитивисты пишут о моделирующей функции концептуальных метафор; Д. Росс трактует ее как «метафорическую экспансию» (Ross 1993, 38). При такой теоретической установке задача исследователя сводится к тому, чтобы в результате анализа языкового материала представить серию когнитивных моделей типа:

ЖИЗНЬ – ЭТО ДОРОГА
ЭМОЦИЯ – ЭТО КОНТЕЙНЕР
ЛЮБОВЬ – ЭТО ВОЗДУХ
ИНФЛЯЦИЯ – ЭТО РАСТЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВО – ЭТО СУБСТАНЦИЯ

Данный подход к анализу языкового материала неоднократно критиковался – см. обзор литературы в моей работе: Киклевич 2007, 35 ссл. В предлагаемой статье в центре внимания будет отсутствие единства в когнитивной интерпретации лексического понятия, за которым стоит невозможность свести все значения полисеманта к одному семантическому инварианту, отождествляемому с метафорической проекцией. Другими словами, речь пойдет о степени обоснованности утверждения когнитивистов о базовом статусе экспликаций типа СПОР – ЭТО ВОЙНА в познавательной системе человека.

2. Семантическая идиосинкразия

Чтобы наиболее убедительно показать идиосинкратический характер метафорической номинации, я начну с обычных — языковых метафор. Хорошо известно, что так называемым «переносным значением» вторичная номинация не ограничивается: в действительности мы имеем дело с целыми сериями таких номинаций, при этом количество разных значений может превышать десяток. Примером может послужить русский глагол *идти*, которому приписывается более 25 значений, или английский глагол *go*, у которого (по некоторым источникам) насчитывается около 40 значений.

Лежащая в основе функциональной лингвистики идея «бесконечной семантической валентности» знака принадлежит А. Ф. Лосеву, который определял значение как «знак, рассматриваемый в свете своего контекста» (1976, 125; 1982, 114 ссл.). В русском языкознании динамический подход к описанию семантики одним из первых применил Д. Н. Шмелев (1964, 185 ссл.), по мнению которого каждое сочетание слов «всегда приводит к созданию нового смыслового единства, нового смысла» (1973, 161; см. также: Burkart 1995, 46 ссл.; Норман 1998). Близкие по содержанию высказывания находим и у других лингвистов, например, у Е. Куриловича: «Содержание слова обусловлено сферой употребления» (1962, 18), или у В. А. Звегинцева: лексическое значение — это «совокупность потенциальных типовых сочетаний, в которых фиксируется область использования данного слова» (1976, 60). Л. Блумфилд еще раньше утверждал, что каждое новое произнесение языковой формы представляет собой семантическую инновацию (1968, 445 ссл.). В функциональной грамматике А. В. Бондарко принимается (с терминологической точки зрения спорное) положение, что значение и функция грамматической формы не тождественны: функция включает, помимо значения, разного рода контекстные добавки:

При помощи грамматической формы в высказывании передается семантика, которую целиком нельзя приписать форме, в выражении этой семантики участвуют самые разнообразные средства высказывания (1984, 17).

В связи с этим А. Богуславский замечает, что в польском предложении

Chciałbym, żeby Franek zabił Józka 'Я бы хотел, чтобы Франек убил Юзека'

значение желаемого действия выражается не только формой прошедшего времени *zabit*, но целым комплексом форм, который включает также глагольное сказуемое главного предложения (в оппозитивном значении) и подчинительный союз *žeby*. Это означает, что синтагматический контекст может обуславливать если не полифункциональность каждой языковой формы, то во всяком случае ее участие в выражении большого количества разных функций.

Ярким примером такой семантической дисперсии является фразаология. Из монографии В. М. Мокиенко (1999, 62 ссл.) вытекает, что фразеологизмы (в основе которых лежит метафорическое употребление знаков — слов или целых выражений) — вопреки поверхностному взгляду — лишены единой семантической интерпретации. Известный исследователь фразеологии показал это на примере выражения *во всю ивановскую*. Оказывается, в основе этого фразеологизма лежит несколько мотиваций (культурно-исторических и частных, бытовых), а его употребление в речи также характеризуется разнообразием, ср. примеры:

спать во всю ивановскую
скакать во всю ивановскую
стараться во всю ивановскую
кричать во всю ивановскую
дурачиться во всю ивановскую

Таким образом, следует согласиться со Д. Н. Шмелевым, который писал: «Несводимость отдельных значений целого ряда слов к какому-либо общему значению совершенно очевидна» (1977, 82). Как указывал данный исследователь, даже если отдельные вторичные значения выводимы из основного, их своеобразие при этом не раскрывается. Например, по мнению Шмелева, на основании выражений

готовить уроки
готовить кадры
готовить встречу
готовить обед

трудно предвидеть употребление данного глагола в другом значении в безобъектной позиции:

Она хорошо готовит.

Обоснованием такой точки зрения является то, что различные «переносные» значения слова часто образуются по цепочечному принципу (см.: Падучева 2004, 148) – в результате разных семантических процессов (например, метафоры и метонимии), которые нельзя обобщить в одной категории, ср.:

дом₁ – Никого не будет в доме
дом₂ – дружить домами
дом₃ – Пустыня – их дом
дом₄ – дом Романовых

Кроме того, как пишет Г. И. Кустова (2004, 16), наличие общих компонентов у разных значений полисеманта не всегда очевидно. Характерным примером этого явления можно считать многозначность служебных слов, особенно – предлогов. Трудно, например, объяснить, по какому – единственному! – принципу возникли разные значения русского предлога *за*: пространственное (*за село, за селом*), количественное (*перевалить за пятьсот*), временное (*за час до отъезда*), причинное (*беспокоюсь за тебя*), целевое (*бороться за первенство*) и др.

3. Вопрос о познавательной функции метафор

Хотя М. Блэк, один из основателей динамической теории метафоры, подчеркивает неповторимый и креативный характер метафор, их несводимость к реестру семантических правил (Black 1979, 25), Дж. Лаккофф и М. Джонсон, а также их сторонники и последователи убеждены в возможности идентификации и обобщения метафорических проекций. Получаемые таким образом концептуальные метафоры типа СПОР – ЭТО ВОЙНА или ПСИХИКА – ЭТО МАШИНА, по их мнению, составляют основу когнитивной системы человека, регулирующей его речевую и неречевую деятельность. При этом считается, что число схем репрезентации, на которых базируются метафорические модели, невелико (Lakoff 1987, 271 ссл.; Johnson 1987, 112 ссл.).

Один из первых опытов экспликации подобных семантических проекций принадлежит русскому математику В. А. Успенскому (1979/1997), который рассмотрел «вещные коннотации» абстрактных существительных, трактуя их как «компактный, синкретический способ кодирования» семантической информации. Статья Успенского, хотя автора нельзя, конечно же, отнести к когнитивистам, настолько показательна – как своего рода модель когнитивного анализа, что имеет смысл обсудить ее более подробно.

На основании своих наблюдений Успенский делает вывод, что подобно тому, как «лексические значения конкретных существительных, если и не хранятся непосредственно в виде чувственных образов, то, во всяком случае, тесно связаны с такими образами», абстрактные существительные (а именно — их значения) также связаны в познавательной системе с чувственными образами в форме вещных коннотаций (1997, 152). Что же это за коннотации? Обобщая языковые конструкции со словом *авторитет*, Успенский пишет, что это

отвлеченное существительное [...] во многих контекстах ведет себя так, как если бы оно обозначало тяжелый предмет из твердого небьющегося материала (1997, 149).

Действительно — это так. Но дело в том, что данная интерпретация метафорического употребления существительного *авторитет* не является единственной, что, кстати, доказывает анализ, проведенный самим Успенским. Во-первых, авторитет осмысливается как полезный предмет — на это указывают выражения:

пользоваться авторитетом
использовать авторитет
обладать авторитетом

Во-вторых, авторитет метафорически представляется как вознаграждение, ценное приобретение:

завоевать авторитет
заработать авторитет
заслужить авторитет

В-третьих, авторитет интерпретируется посредством его уподобления с шаром, вообще — полым предметом, что отражается в языковых сочетаниях:

дутый авторитет
раздутый авторитет
авторитет лопнул

В-четвертых, авторитет чем-то напоминает закрепленный на какой-либо поверхности, например, в земле, предмет — дерево или столб, поэтому возможны сочетания типа:

расшатать авторитет
авторитет поколебался
укрепить авторитет

При этом важно, что этими четырьмя типами «вещных коннотаций» содержание метафорических выражений с существительным *авторитет* не исчерпывается — ср. нижеприведенные примеры:

хрупкий авторитет
дешевый авторитет
высокий авторитет
потерять авторитет
подпирать авторитетом
давить авторитетом

Что же такое авторитет в метафорическом представлении? Шар? Дерево? Ценное приобретение? Товар? Получается — и то, и другое. Подобную ситуацию мы наблюдаем и с другими абстрактными существительными, рассматриваемыми в статье Успенского: *горе, радость, страх*. С одной стороны, горе можно *испить* — это дает основание для метафорической экспликации ГОРЕ — ЭТО НАПИТОК. С другой стороны, горе может быть *глубоким* — в этом случае реализуется метафорическая модель ГОРЕ — ЭТО ОТВЕРСТИЕ В ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. Кроме того мы говорим про горе, что оно *убивает*, бывает *тяжелым*, а человек может быть им *придавлен*. Если страх, как пишет Успенский, метафорически уподобляется «враждебному существу, подобному гигантскому членистоногому или спруту», которое «помещается внутри человека», то непонятно, каким образом это существо *просыпается, растет и нападает* на человека.

Во всех этих случаях реализуются разные метафорические модели, и утверждение об общей когнитивной основе всех метафорических номинаций, связанных с некоторым понятием, было бы недопустимой спекуляцией.

Именно поэтому весьма спорным представляется утверждение Успенского, что на основании множества отражающихся в языковой идиоматике «вещных коннотаций» можно *прогнозировать* новые, ранее неизвестные говорящему конструкции. Трудно понять, как из выражения *дутый авторитет* можно «вывести» выражение *ниспровергнуть авторитет* или выражение *положить авторитет на чашу весов*, ведь в их основе лежат совершенно разные представления.

4. Проблема психологической релевантности

В работе: Киклевич 2007, 26, уже была речь о внутреннем методологическом противоречии когнитивной лингвистики. С одной стороны, Лаккофф/Джонсон (Lakoff/Johnson 1980, 181) принципиально отказываются от эпистемологического фундаментализма, лежащего в основе аналитической философии. Они продолжают иную традицию философии языка — феноменологическую, согласно которой важнейшим фактором организации и структурирования знаний (шире — опыта) является онтология и опытные данные, одним из важнейших источников которых является человеческое тело. Как известно, базовым понятием философии эмпиризма является интенциональность: «феноменологическое сознание всегда обладает изначальной отношенностью к предметности» (Грицанов 2003, 427) — вспомним в связи с этим «вещные коннотации» Успенского.

С другой стороны, если аналитическая философия, в частности, ее основная версия — теория дескрипций Б. Рассела, рассматривала семантику языка с позиций номинализма (ср. тезис об особом, референциальном статусе единичных терминов), то теория когнитивных метафор опирается на философский реализм, признающий реальность всякого рода интеллектуальных конструкций типа СПОР — ЭТО ВОЙНА, ИНФЛЯЦИЯ — ЭТО ВЕЩЕСТВО и т.п.

В теоретической лингвистике неоднократно обращалось внимание на то, что стремление свести множество лингвистических фактов к небольшому числу инвариантов, т.е. жесткий детерминизм, приводит к чрезмерному абстрагированию и фактически отрыву от языковой действительности, а также от реальных процессов переработки языковой информации. Об этом, например, писал В. Г. Гак:

Чрезмерное увлечение поисками «глобальных» значений не только искажает реальную значимость отдельных грамматических категорий, но и наносит грамматической науке более значительный ущерб (1998, 192).

Н. В. Перцов (1996, 25) указывает, что одна из первых «жестких» версий теории инварианта была предложена Р. О. Якобсоном в его работах по падежу. Так, Якобсон писал, что признаком вин. падежа по сравнению с имен. падежом является указание на наличие отношения, признаком род. падежа — предел участия обозначаемого предмета в содержании высказывания (1985, 141 ссл.). Перцов справедливо критикует такого рода определения как слишком умозрительные.

Когнитивисты — в соответствии со своей эмпириомонистской установкой — казалось бы, должны избегать подобных ошибок. В действительности же мы наблюдаем обратное — нагромождение абстрактных «когнитивных» моделей, психологическая реальность которых никогда не была (и, как я убежден, не будет) подтверждена. Поэтому возникает сомнение по поводу репрезентативности когнитивных моделей типа ЭМОЦИЯ — ЭТО КОНТЕЙНЕР. Подобного рода схоластические построения мы, например, находим в (широко цитируемых) работах З. Кёвечеша (см.: Kövecses 2002, 138 ссл.), который пишет, что большинство категорий сознания (например, вся эмоциональная сфера человека) основывается на «схеме взаимодействия сил», а именно — агониста и антагониста. Если когнитивная наука, действительно, ставит своей задачей представление системы общего, неспециального знания (отражаемого в форме и идиоматике языковых знаков), то антиципация «концептуальных метафор» СТРАХ — ЭТО АНТАГОНИСТ, ВРЕМЯ — ЭТО РЕСУРС, ТЕКСТ — ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ, как думается, уводит в сторону от решения этой задачи, потому что оперирование такими абстрактными (надбазовыми) категориями, как <антагонист>, <ресурс> или <вместилище>, вряд ли имеет место в обыденной интеллектуальной и языковой деятельности.

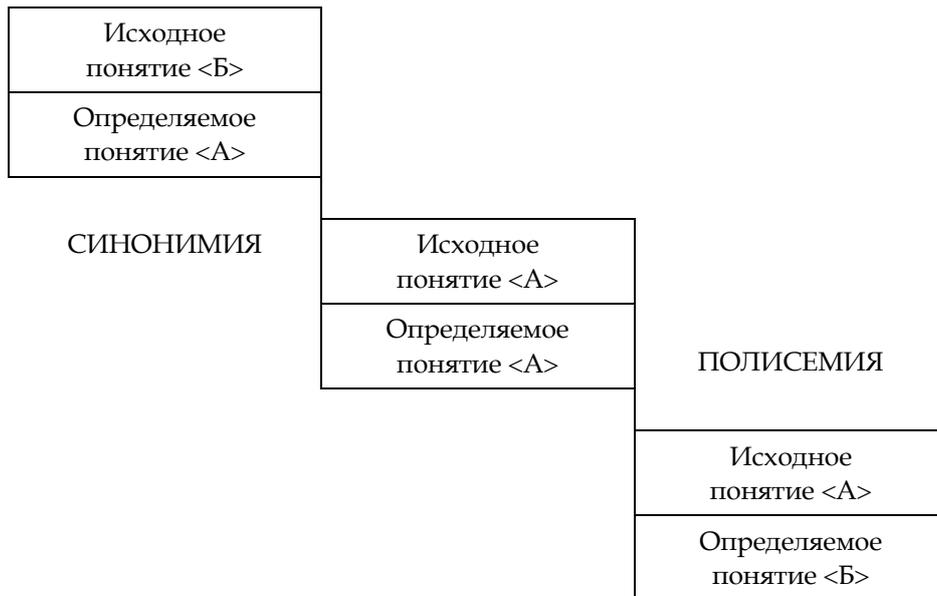
5. Психофизиологическая основа концептуальных метафор

Согласно постулатам когнитивной семантики, выбор метафорической модели не случаен: субъект стремится представить некоторую сложную концептуальную область в терминах простой, поддающейся прямому, чаще всего — визуальному восприятию (Jäkel 1998, 102). Сущность многих онтологических метафор практически сводится к форме: АБСТРАКТНОЕ — ЭТО КОНКРЕТНОЕ. И все-таки данная однонаправленность относительна, на что указывает пример из стихотворения Новеллы Матвеевой, в котором объекты сравнения меняют свои позиции:

Река текла, как дождь,
Лежащий на боку,
А дождик шел, как речка в вертикали.

В работе: Киклевич 2007, 58 ссл., было показано, что в области концептуальных метафор реализуется сформулированный С. О. Карцевским

асимметрический дуализм знака. Он заключается в том, что данная форма выражает разные значения, а данное значение реализуется разными формами. Применительно к когнитивной метафоре это означает, что одна и та же исходная концептуальная категория (например, «верх – низ») может использоваться (как источник) в разных метафорических моделях – это явление соответствует полисемии в лексической (языковой) семантике. Синонимия же заключается в том, что одна и та же определяемая концептуальная категория интерпретируется в терминах разных исходных категорий.



Как известно, синонимия в языке обычно сопровождается различиями слов, которые обусловлены их разной стилистической окраской (т.е. коммуникативной средой функционирования), их закрепленностью за разными синтаксическими оборотами, наконец – их разной деривационной историей, т.е. происхождением (см.: Grodiński 1985; Чешко 1969, 4). Так и когнитивная метафора: она возникает в конкретных условиях, при необходимости осмысления сенсорной или, чаще, понятийной информации, при этом важно, что, как пишет философ А. И. Корнеева, «создать модель можно лишь в том случае, если об исследуемом объекте уже имеются какие-то данные» (1978, 115).

Здесь необходимо сделать общее замечание об отношении между познавательной и языковой деятельностью. В теории номинации из-

вестно, что необходимость назвать предмет или явление вовсе не означает решения познавательной задачи — его категоризации. Один из первых об этом писал Ф. Ницше:

Мы думаем, что знаем кое-что о самих вещах, когда говорим о деревьях, цветах, снеге и цветах; на самом же деле мы обладаем лишь метафорами вещей, которые совершенно не соответствуют их первоначальным сущностям (цит. по: Арутюнова 1990, 11 сл.).

Опытные данные, которые субъект получает из внешней среды, а также из своей собственной перцептивной и интеллектуальной системы, выходят за рамки минимума, необходимого для называния предмета. С этой целью выбирается только один признак, хоть наше знание о предмете богаче. Это же наблюдается и в метафорической номинации.

Задача когнитивной метафоры не в том, чтобы создать одно понятие на базе другого — элементы этого «другого» понятия уже существуют в познавательной системе, а в чем-то другом.

Чтобы в этом убедиться, рассмотрим конструкции с прилагательным *большой*:

большой успех
большая проблема
большой секрет
большое удовольствие
большая польза
большое воздействие
большие надежды
большая рентабельность

Если исходить из принципов когнитивного анализа, мы должны были бы выделить здесь несколько когнитивных метафор:

УСПЕХ — ЭТО МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
ПРОБЛЕМА — ЭТО МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
СЕКРЕТ — ЭТО МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
ПОЛЬЗА — ЭТО МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
НАДЕЖДА — ЭТО МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
УДОВОЛЬСТВИЕ — ЭТО МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ

Эти (и возможные многие другие) экспликации основываются на факте, что свойство [быть большим, т.е. значительным по величине, размерам] присуще материальным предметам, и именно данное зна-

чение прилагательного *большой* приводится в толковых словарях как первичное. Но присмотримся внимательнее к списку метафорических моделей: разве из выражения *большой успех* следует, что *успех* означает *материальный предмет*? Разве выражение *большая польза* дает основание утверждать, что *польза* — это *материальный предмет*? Между одним понятием и другим имеется сходство в определенном аспекте — величины, интенсивности, степени проявления. В процессе метафорического познания мира не происходит отождествление одного понятия с другим, проецирование существующей в памяти информации на пустое «полотно» — тот участок познавательной системы, который должно занять новое понятие. Если бы так было, чем бы одно понятие отличалось от другого? В процессе метафорического познания всегда учитывается конкретный аспект сравнения двух понятий (подробнее об этом см.: Kiklewicz 2007в, 200). Метафорические модели типа УСПЕХ — ЭТО МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ не имеют смысла без учета того, как выражается известный философ М. М. Новоселов, «интервала отождествления» (1977, 31; 1978, 184), в котором различия двух понятийных категорий нейтрализуются.

В качестве характерного примера может послужить абсурдное решение Европейской Комиссии о причислении улиток к категории... наземных рыб (источник — польская газета «Dziennik Bałtycki»; 2 II 2010). Данное решение было принято по инициативе Франции, заинтересованной в получении дотации на разведение улиток в таком же размере, в каком ЕС дотирует рыболовство. Совершенно очевидно, что семантическое отношение УЛИТКИ — ЭТО РЫБЫ имеет только определенный, узкоспециальный, а именно — экономический смысл, и ни о каком генерировании понятия улитки на базе понятия рыбы здесь не может быть речи! Подобным же образом в XVII веке католическая церковь причислила к категории рыб... бобров — и в этом случае речь шла только о конкретном «интервале отождествления» — о том, что мясо бобра можно есть во время поста.

Обратим внимание на то, что идея «интервалов отождествления» отчасти выражена в работе Успенского, который писал: «Вещная коннотация абстрактного существительного образуется на основе сопряженных с этим существительным способов выражения лексических параметров [...]» (1997, 151), т.е. способов выражения определенных аспектов рассматриваемого понятия.

Эту мысль мы, в частности, находим в работе М. Ю. Михеева (2000, 56 ссл.). Московский лингвист пишет, что при метафоре на определя-

емое понятие переносится только «некоторое, никогда до конца не уточняемое» количество признаков исходного понятия (по моему убеждению обычно это — один признак), ср. примеры метафорических выражений:

дождь вопросов
пожар любви

В первом случае метафорически выражается признак [интенсивность, обильность], но не, например, признак [влажность] или [холод]. Во втором случае любовь и пожар объединяет, как пишет Михеев, «жар, повышенная яркость, может быть, даже нанесение ран и увечий вплоть до уничтожения объекта», хотя, например, признак пожара [сопровождается удушливым запахом дыма и едкой копотью] на любовь не распространяется.

Важно отметить, что в теории когнитивных метафор также принимается постулат фокусирования (англ. *focussing hypothesis*), о котором пишет, например, О. Екель (Jäkel 1997; 1998; 2002): метафора отражает только один из конкретных аспектов целевой понятийной категории, оставляя «за кадром» другие. При этом, однако, когнитивисты не видят противоречия между постулатом фокусирования и другими постулатами. Например, согласно постулату инвариантности концептуальные метафоры означают осмысление одной информации на основе другой — данное отношение двух категорий нашей познавательной системы является своего рода инвариантом, который обуславливает единство (метафорически определяемого) понятия. Непонятно, каким образом единство понятийной категории формируется на основании одного, часто совершенно внешнего, функционального признака понятия, как например, в случае выражения

наелись страху

Неясно, как метафорическая проекция СТРАХ — ЭТО ПИЩА участвует в формировании понятия страха и как этот признак, т.е. [пища], проявляется в неметафорических номинациях данного психического состояния, ср.:

Мама, я боюсь!

У данного явления – метафорической интерпретации аспектов определяемых понятий – имеются две стороны. Во-первых, у разных понятий имеются подобные аспекты – они и осмысливаются сходным образом, поэтому в языковой идиоматике *глаза, река, успех* и *рентабельность* могут быть *большими*.

Во-вторых (и это, с точки зрения данной статьи, более интересно и важно), у некоторого понятия имеется несколько аспектов (параметров), каждый из которых может метафорически определяться с помощью разных проекций. Анна А. Зализняк (2000) совершенно справедливо указывает, что не существует единственного способа метафорического представления одной идеи в разных идиомах, что подтверждается, например, на материале метафор страха (см. также: Dobrovol'skij 1997, 187; Kiklewicz 2005a; 2006a; 2006b).

СТРАХ – ЭТО ЖИДКОСТЬ В КОНТЕЙНЕРЕ
СТРАХ – ЭТО ВРАГ / МУЧИТЕЛЬ
СТРАХ – ЭТО БОЛЕЗНЬ
СТРАХ – ЭТО СТИХИЯ
СТРАХ – ЭТО РУКОВОДИТЕЛЬ
СТРАХ – ЭТО ПИЩА и т.д.

Во-первых, возникает естественный вопрос: если некоторое понятие определено (например, страх – как жидкость в контейнере), зачем его определять (иначе) второй, третий, пятый и десятый раз?

Во-вторых, совершенно очевидно, что попытка сведения всех этих (и других возможных) метафорических моделей в единую дефиницию страха была бы лишена смысла: между жидкостью в контейнере и руководителем в данном случае не больше сходства, чем между ногами и горлом в известной шутке: «Промочишь ноги, не работает горло – промочишь горло, не работают ноги».

Приведенные выше метафорические модели возникают (если возникают) в сознании совершенно разрозненно – не только с учетом потребности концептуализации разных параметров понятия, но в разных познавательных (можно сказать и так: прагматических) условиях.

В связи с этим следует решительно выступить против распространенного среди современных исследователей (особенно так называемых «лингвокультурологов») мифа, что все языковые (например, этимологические) факты можно свести к некоторому множеству культурных или даже антропологических инвариантов, в частности,

архетипов. Это положение является необоснованным в силу того, что общий источник мотивации языковых знаков — пресловутый «дух народа» — отсутствует. Процессы номинации, в действительности, не имеют единого источника — восходят к разным культурным, в том числе историческим ситуациям, к разным, часто окказиональным, инцидентальным точкам зрения. В связи с этим Мокиенко справедливо пишет об опасности «пристегивания» происхождения пословиц и поговорок к конкретным историческим событиям:

[...] Во многих случаях корни национального колорита пословиц и поговорок не в их «историчности», которая может на поверку оказаться просто историческим анекдотом, а в народном быту (1999, 77).

Кроме того известно, что каждое национальное сознание формируется под влиянием других и часто трудно отделить свое от чужого, заимствованного.

6. Концептуальные метафоры и регулярная полисемия

Фокусирование на определенном аспекте описываемого понятия, о котором была речь в предыдущей секции, наиболее ярко проявляется в случае предикативных метафор — термин этот был введен Дж. Миллером (Miller 1979, 230 ссл.). По мнению американского лингвиста, в основе метафорических выражений лежит преобразование исходных пропозиций с предикатом подобия (SIM):

Человек — это волк
SIM [F (человек) G (волк)]

Предикативные метафоры, выражаемые с помощью прилагательных, глаголов (реже — существительных), а также в высказываниях с составным именным сказуемым, используются для описания признаков некоторого познавательного объекта, ср.:

железные нервы
курс доллара падает
голоса орудий
Не человек — змея.

Имеются, однако, и именные метафоры, которые заключаются в том, что некоторое определяемое понятие непосредственно становится объектом метафорической номинации. Например, в русском

языке распространено употребление названий животных в значении технических терминов — приспособлений, приборов, устройств, ср.:

е р ш = 'жесткая щетка для чистки или мытья бутылок, стекл'
ц ы п л я т а = 'военные самолеты'
к о ш к а = 'небольшой якорь'
ж у ч о к = 'подслушивающее или другое тайное устройство'
е ж = 'оборонительное ограждение в виде скрещивающихся переплетенных колючей проволокой кольев, брусев, рельсов'
к у к у ш к а = 'небольшой маневровый паровоз, а также поезд местного назначения на железнодорожных ветках'
г у с е н и ц а = 'у тракторов, танков, самоходных кранов: охватывающее колеса замкнутое полотно, состоящее из отдельных шарнирно закрепленных звеньев'
м ы ш ь = 'механический манипулятор, преобразующий механические движения в движение курсора на экране компьютера'
ч е р в я к = 'зубчатое колесо в форме винта для передачи движения в некоторых механизмах'

Можно было бы предполагать, что именные метафоры означают перенос всего исходного понятия на определяемую категорию — именно так и трактуют концептуальную метафору когнитивисты: метафоричность, по их мнению, состоит в понимании одной категории в терминах другой (Maćkiewicz 2006, 71). Однако и эта гипотеза не подтверждается: все приведенные существительные фокусируют внимание на отдельном параметре называемого предмета: *жучок*, по-видимому, подчеркивает небольшой размер устройства, *гусеница* — его форму, *кукушка* — характерный издаваемый звук и т.д.

Конечно, нельзя не заметить, что в этом случае мы имеем дело с регулярной полисемией, а значит, возможно обобщение всех этих конкретных выражений, например, в виде инварианта: ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО — ЭТО ЖИВОТНОЕ. Но, во-первых, этот инвариант никак не указывает на содержание конкретных метафорических знаков, а именно — тех семантических аспектов, которые реализуются с помощью существительных *мышь*, *кукушка*, *гусеница* и др. Во-вторых, можно сомневаться в психологической реальности такого инварианта: многие из рассмотренных выше метафор носят разговорный характер, и весьма сомнительно, что категоризация с опорой на абстрактные понятия (типа ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО) реализуется в этом типе познавательной деятельности. Это, кроме того, противоречит и программной феноменологической установке когнитивной лингвистики — требованию описывать познавательную систему человека с точки зрения конкретных, предметно-чувственных опытных данных (см. подробнее раздел 4).

7. Метафоры и уровни категоризации

Феноменологическая, эмпирическая установка и абстрактный характер большинства метафорических моделей — это только один парадокс когнитивной семантики. Другим парадоксом является то, что, с одной стороны, принимается постулат категориальности (англ. *domain hypothesis*), согласно которому метафора служит для формирования понятия (Jäkel 2002), с другой же стороны, метафорические модели описываются применительно к лексическим понятиям, которые уже определены, а это значит — имеют не только свою форму, но и свое содержание (ср. приведенное в секции 5 мнение философа о существовании предварительного знания о моделируемом объекте). Действительно, существуют ведь неметафорические названия страха (см. секцию 5):

Я боюсь.
Мне страшно.
Ужас!

Трудно представить себе, что произнося выражения этого типа, говорящий каждый раз актуализирует в своем сознании все возможные «вещные коннотации»: страх — это враг, болезнь, жидкость в контейнере, руководитель, пища и др. Обычно в процессе номинации употребляется какой-то один признак — так называемый этимон, но, во-первых, им содержание слова не исчерпывается, во-вторых, он не имеет никакого отношения к большинству «вещных коннотаций», возникающих у слова в разных синтаксических контекстах.

Если когнитивная метафора не служит для формирования понятия, то чему она служит?

Наблюдения показывают, что метафорические проекции наиболее часто реализуются в высказываниях с абстрактными существительными (а значит, определяемое понятие уже осмыслено и названо!), к которым применяются разного рода характеристики в форме глаголов или прилагательных, например:

Страх прошел.
Охвачен печалью.
Поразила догадка.
Мучают сомнения.

Целью метафорической номинации не является здесь ни страх, ни печаль, ни догадка, ни сомнения, а то, что с этими психическими со-

стояниями происходит: страх исчезает, т.е. человек перестает бояться; сомнения проявляются с особой интенсивностью — у человека отсутствует уверенность в принятии решения и т.д.

Объектом метафорической категоризации / номинации является здесь не лексическое понятие, а только один из его аспектов (в когнитивной семантике используются и другие термины: «фасета», «дименсия», «точка зрения», «лексический параметр», см.: Апресян 1974, 45; Bartmiński/Niebrzegowska 1998, 215; Geeraerts 1999; Langacker 2000, 2002; Spiro 1980; Williams 1993). Так, М. Хороманская пишет о реализующихся в метафорических выражениях «мотивационных предикатах», которые содержат признаки одного понятия, коннотируемые по отношению к другому понятию (Choromańska 2000, 51).

С помощью метаязыка логики предикатов такие аспекты можно представить как предикаты высшего порядка: это — признаки признаков, т.е. такие действия, свойства, процессы и состояния, которые касаются ситуаций, событий, положений дел. Так, в предложении

Цены растут

представлены две ситуации: первая, выраженная так называемым пропозициональным аргументом в форме абстрактного существительного *цены* соотносится с положением дел «Денежное возмещение за товар, услуги, плата» («Люди возмещают определенным количеством денег приобретаемые товары, услуги»). Вторая ситуация основана на предикате *растут*, который имеет значение 'увеличиваться, умножаться'. При этом первая ситуация инкорпорирована во вторую, так что предложение реализует единую семантическую структуру:

РАСТИ (ЦЕНЫ)
= УМНОЖАТЬСЯ (ВОЗМЕЩАТЬ ДЕНЬГАМИ (x, Q))
= P (P...)

Как видим, метафорическая номинация употребляется для того, чтобы выразить признак [умножаться] с помощью конкретного значения глагола *расти*. Совершенно очевидно, что первый признак относится к числу абстрактных, так называемых надбазовых, а второй — к числу базовых, образующих центральную сферу познавательной системы человека: базовый уровень концептуализации предусматривает оптимальное количество информации, требуемое в нейтральных (не-

специальных) условиях человеческой деятельности, в частности, в условиях естественной коммуникации, поэтому названия категорий базового уровня доминируют в разговорной речи, тогда как названия над- и подбазовых категорий более естественны в условиях специализированной коммуникации.



Если бы мы анализировали высказывание *Цены растут* с точки зрения теории когнитивизма, необходимо было бы понятию ЦЕНА (как целевой категории) поставить в соответствие некоторое другое понятие как источник метафорического проецирования. Что же это за понятие? Мы знаем, что растут дети, растут животные, растут деревья, растут в лесу грибы. Все это, в принципе, можно объединить в понятие ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, а высказывание *Цены растут* интерпретировать в свете когнитивной метафоры ЦЕНА — ЭТО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО. Но возникают вопросы: не слишком ли абстрактно такое определение для обыденного сознания? И действительно ли в обыденном сознании грибы или, например, баклажаны ассоциируются с живыми существами?

В целом ряде случаев определение исходной (вспомогательной) понятийной категории является сложной задачей, а ее решение в работах когнитивистов выглядит как спекуляция. Как, например, интерпретировать польское выражение:

usiąć drzemkę = 'вздремнуть, соснуть'

В своем основном значении глагол *usiąć* означает 'отрезать, срезать; отсечь, отрубить'. Объектом этого действия может быть живой или

неживой предмет, при этом трудно определить предел приложения данного признака, ср.:

usiąć głowę 'отрубить голову'
usiąć rękę 'отрубить руку'
usiąć włosy 'отрезать волосы'
usiąć gałąź 'отрезать / отрубить ветку'
usiąć kawał deski 'отрезать кусок доски'

Поэтому неясно, как с когнитивной точки зрения интерпретировать выражение *usiąć drzemkę*: СОН – ЭТО... ЧАСТЬ ТЕЛА? ЧАСТЬ ЖИВОГО ОРГАНИЗМА? ЧАСТЬ ПРЕДМЕТА?

С учетом данных фактов предлагаемое мной решение – использование понятия признака высшего порядка (признака признака) – кажется более предпочтительным. Эмпирический материал подсказывает, что в конструкциях (особенно) предикативных метафор последовательно реализуется принцип конкретной номинации, а именно – апелляция к базовому уровню категоризации свойств определяемого понятия.

Исключительно важно и то, какого рода свойства представляются метафорическим способом. Обычно мы имеем дело с метафорическими конструкциями, в которых выражаются функциональные, фазовые, экзистенциальные признаки, т.е. внешние по отношению к определяемому понятию, не имеющие отношения к его дефинитивному содержанию. Примером могут послужить метафорические конструкции с названиями эмоций:

сеять страх
страх улетучился
веет страхом
заразить кого-л. страхом
пробуждать страх
порождать страх

Ни в одном из этих случаев метафорически употребленный глагол не вносит ничего нового в значение определяемого существительного *страх* – 'состояние сильной тревоги, беспокойства перед какой-либо опасностью'. Так, глагол *сеять* указывает на признак [каузация], т.е. касается ситуаций, в которых страх чем-то обуславливается, вызывается, предопределяется. Глагол *улетучиться* обозначает другой – фазовый признак данного психического состояния, а именно – стадию его завершения, исчезновения. Совершенно очевидно, что

исчезнуть может не только чувство страха, но и любое другое чувство или вообще состояние — признак исчезновения отнюдь не является существенным для понятия страха, на что указывают языковые выражения:

Но прошли годы, ул е т у ч и л с я наивный снобизм (Д. Драгунский).
Хмель моментально куда-то ул е т у ч и л с я (Т. Тронина).
Мой потребительский азарт ул е т у ч и л с я (А. Каледина).
Мой иронический настрой ул е т у ч и л с я (Н. Щербак).

Все эти факты красноречиво говорят о том, что в случае метафорической номинации мы имеем дело не с особым рода дефиницией лексического понятия, как утверждают когнитивисты, а с переносным (т.е. вторичным) употреблением слова для конкретизации представления о (обычно — абстрактном) признаке некоторого понятия. Такую интерпретацию метафоры можно, в частности, найти у П. Рикёра, который писал: «Метафору скорее следует считать актом предикации, чем называния» (1990, 433).

8. Метафоры и семантические прототипы

В предыдущей секции речь шла о предикативных метафорах (в терминологии Миллера). Именные метафоры, т.е. употребление одного существительного вместо другого, только внешне указывают на тождество двух понятий — в действительности же реализуется метафорическая номинация признака. Рассмотрим некоторые примеры:

А этот упрямый о с е л пусть не показывается мне на глаза, если хочет быть цел (Д. Мамин-Сибиряк).

Вчера выиграл, сегодня встретил богатого о с л а, завтра, может быть, умру (И. Эренбург).

На серой колонне какой-то о с е л много раз подряд химическим карандашом написал свою фамилию (Ю. Домбровский).

Понятно, что слово *осел* не равнозначно здесь понятию (или представлению) о некотором лице — это понятие отражается толькоемой [человек], основное же предназначение метафорической номинации — в том, чтобы выразить оценочный признак [глупый, упрямый]. Когнитивная экспликация (в духе Лакоффа/Джонсона) ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЖИВОТНОЕ в данном случае ничего не объясняет — она отражает только общий семантический принцип, которому подчиня-

ется «метафора осла». При этом надо заметить, что данный принцип функционирует и в конвертированной форме: ЖИВОТНОЕ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, на что указывают различные антропоморфные клички животных:

Васька (кот)
Иштван (собака)
Ричард (жеребец)

В конструкциях с именными метафорами, как и в конструкциях с предикативными метафорами, реализуется один и тот же принцип номинации / категоризации, а именно – стремление субъекта к конкретно-чувственному, другими словами – эмпирическому, представлению некоторого абстрактного признака. Отличие именной метафоры (от предикативной) состоит в том, что в этом случае признак выражается существительным, которое – в своем первичном значении – указывает на его типичного носителя. Так, в «метафоре осла» признак [упрямый, глупый] реализуется с помощью его прототипа – [осел].



Как известно, прототип в когнитивной семантике означает понятие о предмете (экземпляре некоторого множества), «проявляющем в наибольшей степени свойства, общие с другими единицами данной группы» (Демьянков 1996, 140). Именные метафоры как раз и являются областью (одной из областей) реализации прототипической семантики. Необходимо заметить, что идею интерпретации идиоматических выражений с помощью понятия прототипа, а также понятия базового уровня категоризации впервые высказал

Д. О. Добровольский (1995, 89 ссл.). Рассмотрим пример из работы упомянутого исследователя. В немецком языке употребляется фразеологизм

polnische Wirtschaft

который дословно означает 'польская экономика', но функционирует с более общим значением 'хаос, беспорядок'. В данном случае реализуется прототипическое представление немцев (во всяком случае традиционной немецкой культуры) о беспорядке — носителем этого представления выступает польская экономика.



Добровольский подчеркивает, что такого рода концептуальные метафоры возникают под влиянием национальной культуры, а именно — присущей ей символики. Например, фразеологизм

der goldene Mittelweg 'оптимальное решение проблемы'

обусловлен культурным концептом «золото», который в европейской культуре ассоциируется с чем-то наилучшим, ценным.

И. М. Кобозева (2012), которая пишет, что концептуальные метафоры «должны обеспечивать возможность осмысления недискретных феноменов (гор, труда, инфляции и т.п.) в терминах дискретных сущностей или веществ», указывает на существование метафор, которые не соответствуют этому принципу восхождения от конкретного к абстрактному; например, это касается зоономических метафор типа:

Собакевич был совершеннейший медведь.

По мнению Кобозевой, несоответствие с принципом потребности (см. подробнее раздел 10) состоит здесь в том, что «люди и звери в равной мере — дискретные сущности» — речь идет о концептуальной метафоре ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЖИВОТНОЕ. Но дело в том, что в приведенном выше предложении (и вообще — в позиции именной части сказуемого) существительное *медведь* не употребляется референтно (т.е. в предметном значении) и называет признак — подобно как и в прямом значении:

Животное, которое вы видите на картинке, это — медведь
(= 'относится к классу медведей')

«Метафора медведя» реализует прототипический эффект, который заключается в представлении признака [неуклюжий, неповоротливый] с помощью конкретного понятия [медведь].

9. Метафора и инференция

Если в случае предикативной метафоры переносное определение признака вполне объяснимо с точки зрения цели номинации (эту функцию и выполняют метафорически употребляемые глаголы и прилагательные), то может возникать вопрос, как осуществляется на основании признака номинация предметов, явлений, фактов. Сомнение, в частности, вызывает то, что не все именные метафоры опираются на аксиологическую семантику (как в примере «метафоры осла») — в целом ряде случаев, действительно, речь идет о том, чтобы квалифицировать предмет, дать ему название, которое опиралось бы на его свойства. Это явление мы наблюдаем на примере вторичного употребления названий животных как технических терминов (см. пункт 6): *ерш* употребляется как название специальной щетки, *еж* — как название оборонительного заграждения, *кукушка* — как название паровоза. Однако обратим внимание на то, что, хотя все эти существительные не обозначают признаки предметов, однако они обозначают предметы по характерным для них признакам. Поэтому каждое метафорическое значение может получить следующую (однотипную) интерпретацию:

е р ш = 'то (предмет / вещь), что по форме, т.е. по тому, как выглядит, напоминает ерша'

е ж = 'то (предмет / вещь), что по форме, т.е. по тому, как выглядит, напоминает ежа'
к у к у ш к а = 'то (предмет / вещь), что по издаваемому звуку напоминает кукушку'

Данный тип категоризации и тип номинации может показаться слишком общим и практически непригодным, ведь в нашем окружении многие предметы по форме напоминают ерша или ежа. В действительности же противоречия с языковыми фактами нет. Во-первых, определенная амбивалентность вторичной номинации предметов, в основе которой лежит апелляция к характерному признаку, как раз и обуславливает много-значность слов. Например, существительное *колесо*, помимо основного значения, имеет несколько вторичных значений: 2) сочленение, звено, отрезок в составе чего-л., являющегося соединением таких отрезков; 3) изгиб чего-л., идущего ломаной линией, от одного поворота до другого; 4) в пении, музыкальном произведении: пассаж, отдельное, выделяющееся чем-л. место, часть; 5) в танце: отдельный прием, фигура, отличающаяся своей эффектностью.

Во-вторых, каждая вторичная номинация конкретна с функциональной, в частности, онтологической точки зрения: имеется в виду конкретная предметная область, в которой данный предмет идентифицируется — с учетом других предметов — по свойству. Отчасти такая идентификация предмета корректируется и коммуникативной ситуацией, которая ограничивает сферу выбора предмета по его свойству. Так, вторичная номинация *кукушка* > *паровоз* реализуется в предметной сфере техники — эта фоновая, инферентная информация отражается в содержании понятия:

к у к у ш к а = 'вид транспорта / технического средства передвижения, который / которое по издаваемому звуку напоминает кукушку'

Подобным же образом технический термин *гусеница* возникает на фоне представления о конструкции трактора, танка, самоходного крана:

г у с е н и ц а = 'часть трактор, танка, самоходного крана, которая по своей форме и характеру движения напоминает гусеницу'

Когда мы метафорически употребляем существительное *ножка*, то приписываем этому слову разные значения в зависимости от того, какую инферентную информацию мы имеем в виду:

ножка = 1. часть мебели, утвари, какого-либо устройства, которая по своей форме, положению в пространстве и функции напоминает ножку; 2. часть растения, которая по своей форме, положению в пространстве и функции напоминает ножку; 3. часть чертежного или измерительного инструмента, которая по своей форме, положению в пространстве и функции напоминает ножку

При этом важно отметить, что первая часть каждой из этих дефиниций обусловлена («порождена») внешним по отношению к вторичной номинации фактором – знанием субъекта о предметной области. Функция именной метафоры ограничивается указанием на то, что существует признак, по которому один предмет (объект перцепции или рефлексии) можно идентифицировать (распознать) на основании другого.

Совершенно очевидно, что в основе такой идентификации лежит первичное лексическое значение существительного и даже не столько значение, сколько установка субъекта, что данный предмет (денотат существительного) является типичным носителем некоторых содержащихся в значении признаков. Другими словами, именная метафора – независимо от того, носит ли вторичное значение аксиологический или другой характер, опирается на упомянутые в предыдущем разделе прототипические эффекты. Так, *ножка* представляет собой наиболее типичный экземпляр класса предметов, которым свойственны признаки: [имеет удлиненную форму], [составляет нижнюю часть предмета], [служит для опоры или для передвижения предмета]. Эта информация, в принципе, закодирована в значении существительного *ножка*, хотя в речевом сообщении имеет фоновый, пресуппозитивный характер:

Ножка стула сломалась = ‘Сломалась та часть стула, которая по своей форме, положению в пространстве и функции напоминает ножку; пресуппозиция: Известно, что ножка: а) имеет удлиненную форму; б) составляет нижнюю часть предмета; в) служит для опоры или для передвижения предмета’

10. Концептуальная метафора: постулат потребности

С познавательной точки зрения метафора представляет собой отношение признаков или же отношение признака и его прототипа, при этом первостепенное значение имеет характер признаков. В когнитивной теории метафоры в качестве основного принимается постулат потребности (англ. *necessity hypothesis*), согласно которому объяснительная функция метафор наиболее отчетливо прояв-

ляется при номинации абстрактных категорий, которые не поддаются прямому чувственному восприятию и идентифицируются благодаря проекции на них свойств конкретных понятий. В точных науках с этой целью употребляются физические модели, которые позволяют осуществить «наглядное представление» объектов микромира (см.: Корнеева 1978, 120). Этим объясняется однонаправленность метафорических моделей типа ЧУВСТВО – ЭТО ПОМЕЩЕНИЕ: первую позицию (определяемого члена) занимает абстрактное понятие, а вторую позицию (определяющего члена) – конкретное понятие. Такой порядок в структуре метафорической модели отражает стремление субъекта к конкретизации языковой информации, хотя в основе метафорической номинации лежит более общий принцип: в качестве исходного используется признак (в том числе представление о предмете), который находится в фокусе интереса субъекта, т.е. имеет особый, прецедентный статус в его познавательной системе. Понятно, что чаще всего в фокусе интереса находятся понятия и представления о ближайшем окружении человека, в частности, о его теле. Но общие приоритеты мы можем определить только в некоторых границах, потому что каждый тип человеческой деятельности, каждая культурная среда обуславливает свою собственную шкалу прецедентности. Например, специфическим явлением в тюркских языках является то, что в качестве прецедентных предметов, используемых в процессе метафорической номинации, часто выступают *конь* или *копье* – это не характерно для славянских языков; ср. примеры из работы Г. Ф. Благовой (1999): семантический признак [небольшое расстояние] в туркменском языке выражается фразеологизмом *ат гайтарым йер*, первичное значение которого ‘расстояние возвращения коня’; в хакасском языке для выражения признака [маленькое, минимальное расстояние] употребляется слово *iriq* с буквальным значением ‘расстояние между задними ногами кобылы’. В одном из источников на турецком языке время восхода солнца метафорически определяется посредством указания на длину копья (дословно: *Солнце поднялось на длину копья*).

Культурный контекст (сфера деятельности, в частности, профессиональной) иногда обуславливает весьма специфические вторичные номинации, основанные на узкоспециальных прецедентных понятиях. С таким явлением мы имеем дело в случае приведенного ниже фрагмента частной переписки известного композитора и профессора химии А. П. Бородина (источником данного примера послужил журнал «Химия и жизнь»):

Ну, любезнейший дружище, если бы можно было краснеть письменно, то я покраснел бы подобно мочевой кислоте, когда ее обрабатывают HNO_3 и потом NH_3 .

К этому кругу явлений относятся разного рода научные пародии, например, «Квантовая теория танца» Я. И. Френкеля или же лингвистические афоризмы поэта и профессора филологии Юрия Казарина (из книги «Пловец»):

Снегопад падает в форме множественного числа.

Смерть — это когда понимаешь все, а сказать некому.

Писатель — говорящий и слушающий в одном лице.

Ложась на землю и превращаясь в поле, снег переходит из множественного в единственное число. Грамматика погоды.

Государство мое поменяло пол: был Союз, а стала Россия.

При этом важно отметить два аспекта отношения признаков при метафорической номинации. Во-первых, в этой сфере встречается а м-б бивалентность: одна и та же понятийная категория может использоваться и как исходная, вспомогательная, и как целевая. Например, когнитивисты пишут о метафорической модели СПОР — ЭТО ВОЙНА (см. пункт 1), однако в языковом материале можно найти подтверждение и обратной зависимости: ВОЙНА — ЭТО СПОР.

Противник ответил новой атакой.

ответный огонь

неубедительный удар

голоса орудий

Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо (В. Маяковский).

Мы мчались, мечтая // Постичь поскорей // Грамматику боя — // Язык батарей (М. Светлов).

Хотя когнитивисты убеждены, что воплощенная в метафоре связь абстрактного и конкретного (чувственного) является существенным биофизическим свойством познавательной деятельности, обеспечивающим единство человеческого опыта, в действительности, как показывают наблюдения, при определении метафорических моделей трудно указать их общую биофизическую основу. Когда мы читаем у Пушкина:

Роняет лес багряный свой убор

мы имеем дело с одним направлением метафорической проекции: ПРИРОДА — ЭТО ЧЕЛОВЕК. Но когда мы читаем у Пастернака:

Ты так же сбрасываешь платя,
Как роща сбрасывает листья

совершенно очевидно, что направление метафорической проекции диаметрально меняется: ЧЕЛОВЕК — ЭТО ПРИРОДА.

Общий вывод, который следует из этих наблюдений, таков: метафорическая номинация, в основе которой лежат процессы категоризации чувственного и интеллектуального опыта человеческой деятельности, отчасти обусловлена биофизической природой нашей познавательной системы, а отчасти — культурной средой и специфическими условиями реализации познавательных и коммуникативных процессов.



Полисемия vs. синтаксическая компрессия

Данные, полученные при изучении какого-либо уровня, помогают изучению другого уровня, но с их помощью никогда нельзя полностью объяснить явления, происходящие на этом другом уровне.

Ю. Одум, «Основы экологии»

1. О взаимосвязи семантических и синтаксических признаков слова

Семантическая деривация (т.е. преобразование значения) слова часто связана с изменением его синтаксического функционирования, например — валентностных свойств. Так, глагол *стучать* в своем основном значении употребляется как двухместный предикат первого порядка: *стучать* (x, y), ср.:

Кто-то стучит в дверь
Сторож стучит по доске

Но в разговорной речи этот глагол (а также форма совершенного вида *настучать*) употребляется также в переносном значении 'доносить на кого-л.; наущничать' — в этом случае мы имеем дело с трехместным предикатом: *стучать/настучать* (x, y, z), ср.:

Сергей настучал на меня декану / в деканате

При этом меняются и селективные признаки глагола:

стучать₁ (X_[pers], Y_[object])
стучать/настучать₂ (X_[pers], Y_[pers], Z_[pers/instr])

Взаимозависимость между семантическими и синтаксическими свойствами лексем, с одной стороны, способствует более оптимальному, объективному, по своей природе – функциональному описанию системы языка, ср. широко применявшийся в структурной лингвистике принцип семантической классификации на базе сочетаемостных (или дистрибутивных) свойств слов. Но, с другой стороны, эта взаимосвязь в определенной степени усложняет лингвистический анализ, потому что граница между семантическими и синтаксическими процессами оказывается размытой, а достоверное диагностирование того или иного языкового варьирования не всегда возможно, во всяком случае – связано со значительными теоретическими и эвристическими сложностями, что в особенности проявляется в конструкциях с метонимическим употреблением слов.

2. Прямое значение или переносное?

Метонимия представляет собой один из видов многозначности, а именно – такой, который основан на смежности, пространственной, временной или функциональной ассоциативности называемых денотатов или понятий. Так в предложении

Przywitaly go sporadyczne oklaski i gromkie buczenie („Życie”. 8.II.1999) ‘Его встретили редкие аплодисменты и недовольное бурчание голосов’

в позиции подлежащего (и первого аргумента семантической структуры) находятся абстрактные существительные – *oklaski* и *buczenie*, тогда как семантика глагольного предиката требует в этой позиции одушевленного существительного. Данное явление возможно благодаря ассоциации: *лицо – действие лица*. Таким образом, приведенное предложение с традиционной точки зрения можно рассматривать как метонимическую трансформацию именной группы в позиции первого аргумента предложения:

Ludzie przywitali go w ten sposób, że oklaskiwali go i buczeli ‘Люди (в зале) встретили его редкими аплодисментами и недовольным бурчанием голосов’

Хотя метонимия опирается на систему семантических связей слова (см. далее) и поэтому типы метонимических переносов можно пред-

ставить в виде закрытого списка — данное явление В. Г. Гак квалифицирует как регулярную полисемию (1977, 257), однако реализация универсальных семантических моделей в разных этнических языках всегда имеет своеобразный и неповторимый характер. По мнению Гака, «конкретные проявления регулярной полисемии [...] могут зависеть от словообразовательных моделей, грамматических особенностей языка и других факторов» (ibidem). Ср. реализацию некоторых универсальных типов регулярной метонимии в польском и русском языках.

Предмет (материал) — изделие

Например: *бриллиант* в значении 'камень' и в значении 'изделие из камня', ср.: *На пальцах — бриллианты; тростник* в значении 'растение' и в значении 'то, для чего оно используется', ср. *тростники* как синоним сочетания *перья (для письма) из тростника* в одном из рассказов А. Куприна. В польском языке к этой категории относится метонимическое употребление существительное *karton* в значении 'картонная коробка' (ср. *mleko z kartonu*), тогда как русскому существительному *картон* такое употребление не свойственно. Кроме того в польском языке, в отличие от русского, отмечается метонимическое употребление существительного *deski* 'доски' в значении 'лыжи' (Lachur 2004, 178).

Производитель — продукт

Например: *Читаю Борхеса* в значении 'Читаю произведения Борхеса'. В польском языке к явлениям этого типа относится и употребление онима *Kałasznikow* 'русский инженер, создатель известного автоматического оружия' в значении 'автомат модели Калашникова', ср.: *Policjanci, grożąc kałasznikowami, zapędzili ich do aresztu* („Gazeta Wyborcza”. 11.VIII.1997). В русском языке такое функционирование данного слова не известно.

Действие — объект действия

Например: польское существительное *jedzenie* и русское *еда* означают действие — от глаголов *jeść* и *есть* (*w czasie jedzenia, po jedzeniu — во время еды, после еды*), а также пищу (*smaczne jedzenie, częstować jedzeniem — вкусная еда, угощать едой*). Различие, однако, заключается в том, что польская лексема более регулярно употребляется в абстрактном значении, ср.: *Jedzenie mięsa, ryb — *Еда мяса, рыбы — Употребление в пищу мяса, рыбы*. Впрочем, это — отражение общей типологической характеристики польского языка (по сравнению с восточнославянскими) — более высокая функциональная активность отглагольных существительных в позиции предиката. Существи-

тельное *потеря* в русском языке многозначно — оно означает не только ‘лишение чего-л., утрату’, но и (в особенности в форме мн. числа) — ‘то, что потеряно’, ср.: *Потери в живой силе и технике*. В польском языке этим двум употреблением одного и того же слова соответствуют разные эквиваленты: *потеря* в предметном значении переводится как *zguba* или во множественном числе — *straty, szkody*, а *потеря* в акциональном значении — как *strata, utrata, zgubienie*.

Дерево — плод дерева

Например: *слива, груша, орех* и др. В русском языке этот тип метонимии более распространен — в польском (подобно, как во французском) некоторые названия плодов представляют собой лексические дериваты с суффиксом *-k*, например: *grusza* (дерево) — *gruszka* (плод), *śliwa* (дерево) — *śliwka* (плод).

Действие — инструмент действия

Например: лексемы русск. *приглашение* и польск. *zaproszenie* выступают не только в своем основном значении ‘просьба принять участие в чем-л.’, но и в переносном значении ‘письмо, записка и т.п. с просьбой принять участие в чем-л.’. В этой категории также наблюдаются различия. Так, польское существительное *transport* употребляется двояко: и в акциональном значении ‘транспортирование, перевозка чего-л.’, и в предметном значении ‘партия доставленных или предназначенных для перевозки грузов’. Русскому существительному *транспорт* также свойственны эти значения, но его акциональное употребление, по сравнению с польским, ограничено, ср.: *Transport trwał dziesięć dni* — *Транспорт длился десять дней — Перевозка длилась десять дней.

Метонимия как семантическое явление имеет сходства с синтаксической компрессией (или конденсацией), которая заключается в том, что в поверхностной структуре предложения не получают представления (или лексикализации) некоторые обязательные элементы семантической структуры — зарезервированные для них синтаксические позиции оказываются нулевыми или же заполненными синтаксемами, которые выполняют иные семантические функции. В отдельных случаях граница между метонимией как явлением лексической семантики и синтаксической компрессией довольно очевидна — например, когда компрессия носит окказиональный характер и приводит к двусмысленности предложения (примеры из интернета):

Больных в семь утра закапывать всех.

В связи с ремонтом парикмахерской укладка женщин будет производиться в мужском зале.

Ввиду холода в рентгеновском кабинете делаем только срочные переломы.

Делаем полиэтиленовые мешки по размеру заказчика.

Дети до пятилетнего возраста проходят в цирк на руках.

Кондитерская фабрика приглашает на работу двух мужчин — одного для обертки, другого для начинки.

Один звонок, и вам оформят свидетельство о смерти, изготовят венки!

Продается немецкая овчарка. Недорого. Ест любое мясо. Особенно любит маленьких детей.

Арбитр достал из штанов удаление.

Так, в первом из приведенных предложений конструкция *закапывать глаза больным* сокращена в виде *закапывать больных*; во втором предложении вместо выражения *укладка волос женщинам* употребляется его компрессированная форма: *укладка женщин*.

Синтаксическая компрессия необязательно вызывает комический эффект, на что указывают пример из художественной прозы:

Название книги было: «Святого отца нашего Исаака Сирина слова». [...] Смердяков снял с пачек Исаака Сирина и отложил в сторону (Федор Достоевский).

Вот, кстати, тут у меня пара договоров на поставку шоколадных конфет и сигар. [...] На шоколадные конфеты и сигары ушло три ночи (Дмитрий Глуховский).

В первом предложении выражение *книга под названием «Святого отца Исаака Сирина слова»* сокращается и принимает форму *Исаак Сирин*. Многие же русские выражения, возникшие в результате синтаксической компрессии, стали устойчивыми, получили узуальный статус и, несмотря на часто содержащиеся в них семантические парадоксы, ничем не обращают на себя внимания — так сказать, влились в общий поток словоупотребления. Это касается, например, имеющего массовый характер выражения *открыть крышку*, ср.:

Открыть такую крышку практически не возможно, не испортив ее (интернет).

Я [...] открыл крышку контрольной панели ([Павел Михненко]).

Еще мне запомнилось, как он открыл крышку [...] (Михаил Шишкин).

Вырыл он яму по пояс, подкатил тачку к помойке, открыл крышку, оттуда на него крыса глядит (Григорий Бакланов).

Выражение *открыть крышку* представляет собой результат преобразования выражения более сложной синтаксической структуры: *открыть банку (тачку, панель и т.д.), снимая крышку*. На такую интерпретацию указывает и то, что толкование глагола *открыть* в словаре зву-

чит: 'подняв или сняв крышку, раздвинув створки и т.п., сделать доступным (внутреннюю часть чего-л.)' (Евгеньева 1983). Как видим, *крышка* закодирована в лексическом значении глагола *открыть* как его семантический компонент, а значит, выражение *открыть крышку* не может быть признано исходным, изосемичным — оно имеет производный, компрессированный характер.

Многие компрессированные конструкции имеют устойчивый характер и функционируют как фразеологизмы, ср.:

Было видно, что мальчик неслучайно и не в первый раз сидит на веслах (Леонид Пантелеев).

Когда человек прицелился, Вильгельм быстро в него выстрелил и дал шпоры коню (Юрий Тынянов).

Вместе с тем имеется большое число, так сказать, проблемных ситуаций, когда не совсем ясно, с каким типом языкового преобразования мы имеем дело: лексико-семантическим или поверхностно-синтаксическим. В качестве характерного примера можно рассмотреть предложение:

Я три тарелки съел!

С одной стороны, мы можем рассматривать его как результат формального сокращения фразы

Я съел три тарелки супа.

В соответствии с этим подходом словоформа *супа* предполагается в семантической структуре предложения (например, под влиянием ситуативного фактора), поэтому предложение интерпретируется как конденсированное (в плане формы), а именная группа *три тарелки* — в своем основном, словарном значении.

С другой стороны, нельзя не учитывать того факта, что в толковом словаре отмечается метонимическое значение (а именно — оттенок первого, основного значения) существительного *тарелка* — 'количество вещества, которое может вместиться в такую посуду' (хотя правильнее было бы истолковать его иначе: 'вещество (чаще всего — пища), которое находится в такой посуде'). А это означает, что в предложении *Я три тарелки съел* мы имеем дело с метонимией именной группы в позиции второго аргумента, а формальная структура предложения полностью соответствует структурной схеме: $V(NN)$ — в этом случае ни о какой конденсации предложения не может быть речи.

Рассмотрим другой пример – выражение *выпить таблетку*, которое широко функционирует в русской разговорной речи (и отражающей ее художественной литературе), ср.:

Боль головную терпеть вредно, выпей таблетку (интернет-форум).
Вот, выпей таблетку, и совсем перестанет болеть (Виктор Доценко).
Выпей таблетку ингенкардина, слышишь? (Леонид Филатов).

Рассматриваемое выражение можно трактовать как результат синтаксической компрессии:

выпить таблетку < принять таблетку, запивая ее водой

Не исключено, однако, что здесь реализуется регулярная полисемия: употребление глагола *выпить* в более общем значении ‘проглотить, принять внутрь’.

В русской разговорной речи существительное *школа* употребляется метонимически, например, в конструкциях типа:

П о с л е ш к о л ы Вася шел в музей = ‘После уроков в школе Вася шел в музей’

Толковый словарь, однако, не фиксирует переносного значения данного существительного ‘уроки в школе’, и на этом основании мы должны были бы признать приведенное выше предложение неполным, конденсированным. Из приводимой ниже экспликации его поверхностно-синтаксической структуры вытекает, что незаполненными являются три синтаксические позиции:

$\text{Conj}(V(N, N), \emptyset_V(\emptyset_V(\emptyset_N, N)))$ = ‘После того, как заканчивалось то, что Вася учился в школе, Вася шел (направлялся) в музей’

Можно было бы предположить, что и в предложении

А н я л е ж и т н а с о л н ц е

также выступает синтаксическая конденсация, ведь в формальной структуре предложения не представлены некоторые семантические элементы, ср. буквальный смысл: ‘Аня лежит на поверхности, ярко освещенной солнцем’. В этом случае, однако, толковый словарь выделяет отдельное переносное значение существительного *солнце*: ‘свет, тепло излучаемое солнцем’, при этом приводится пример:

Г р е т ь с я н а с о л н ц е.

Во-первых, дефиниция переносного значения неточна, ведь здесь речь идет не о солнечном свете или тепле, а о месте, освещенном солнцем (ведь *греться на солнце* не значит 'греться на тепле'). Во-вторых — и это более общее замечание — в словаре не дается никаких объяснений или обоснований того, почему одни метонимические номинации фиксируются, а другие — нет.

3. Глубинно-синтаксическая природа метонимии в концепции Е. Л. Гинзбурга

Приведенные и многие другие семантические процессы, как правило, составляют одно целое, их можно представить в виде семантической системы, или фрейма, соответствующего семантике определенной лексемы. Именно с такой концепцией синтаксической интерпретации полисемии в 80-е годы прошлого века в русском языкознании выступил Е. Л. Гинзбург (1985, 61 ссл.). По его мнению, метонимия чаще всего заключается в изменении синтаксической структуры семантического толкования слова при сохранении его состава, ср.: *коньки* как 'средство передвижения' и как 'передвижение с помощью этого средства':

Что касается зимнего инвентаря, то сегодня в продаже коньки и лыжи.

Что касается спортивных занятий, то все мы особенно любим коньки и плавание.

При метонимии в значении слова относительно редко возникают новые семантические признаки, модификация значения в этом случае сводится обычно к их перекомпоновке, к изменению внутреннего смыслового синтаксиса.

Гинзбург предложил методику семантической транскрипции полисемантов. Разнообразные процессы семантической деривации при метонимии можно, по его мнению, свести к нескольким типам глубинно-синтаксических преобразований (*ibidem*, 81 ссл.):

1. результативное — с предикатами *результат, следствие, происходит от, быть из* и др.; символически *От*
2. причинное — с предикатами *источник, причина, мотив* и др.; символически *От'*
3. инструментальное — с предикатами *служить, инструмент, способ, быть для* и др.; символически *К*

4. объектное — с предикатами *требует, предполагает, цель, назначение* и др.; символически *K'*
 5. местное — с предикатами *быть в, находится в, участвовать в* и др.; символически *B*
 6. посессивное — с предикатами *иметь* и др.; символически *B'*
- «Средства семантической транскрипции, — пишет Гинзбург, — позволяют отчетливее представить способы семантического членения (объединения форм) слова» (*ibidem*, 92). Так, многозначность существительных *завтрак, обед, полдник, ужин* может быть отражена в виде множества преобразований (которые здесь представлены в несколько упрощенном виде):
1. *i_o* 'пища, принимаемая человеком в определенное время дня', например: *горячий, овощной, легкий, скудный завтрак*
 2. *Ki_o* 'то, объектом чего является пища — прием пищи', например: *завтрак с другом, сидеть за завтраком*
 3. *K' i_o* 'то, для чего предназначена пища — для приема пищи', например: *накрыть стол к обеду, выйти к завтраку*
 4. *B'K' i_o* 'то, когда обычно имеет место прием пищи', например: *закрывать на обед, прийти в обед*
 5. *B'K i_o* 'то, что сопровождается приемом пищи', например: *завтрак в честь его приезда*
 6. *B'K i_o* 'то, когда прием пищи имеет место', например: *прийти к обеду*
 7. *BV'K i_o* 'то, что сопровождает прием пищи или сопровождает то, что сопровождается приемом пищи', например: *ужин был веселый* и т.д.

4. Проблема метафорических предложений в концепции П. Жмигородского

На проблему разграничения семантической и синтаксической деривации обратил внимание также известный польский исследователь П. Жмигородский (*Żmigrodzki* 1995), который ввел понятие *метафорических предложений*, т.е. таких, в которых глагольный предикат сочетается хотя бы с одной именной группой, лексическое содержание которой нарушает его селективные требования (*ibidem*, 72). Совершенно очевидно, что в высказываниях типа (пример Жмигородского)

Jan czyta Marksa — Ян читает Маркса

существительное в вин. падеже занимает «чужую» синтаксическую позицию, а буквальный смысл предложения можно представить как: 'Ян читает произведения/книги Маркса'. Жмигродский рассматривает две версии семантической интерпретации выражений этого типа: во-первых, существительному в позиции второго аргумента можно приписать переносное значение:

Маркс $C_{pers/ex}$ где $ex \rightarrow$ [книги]
'каждый аргумент C_{pers} может выступать в позиции с признаком [книги]'

Однако, как считает исследователь, такая версия прежде всего неудобна — она связана с рядом дополнительных сложностей, в частности, с необходимостью уточнить, что C_{pers} выступает в значении [фамилия]. С моей точки зрения, это необязательно, ведь предложения типа

Я читаю Мурата

могут быть, вопреки мнению Жмигродского, правильными — при условии, что референтом онима является лицо, хорошо знакомое, близкое говорящему и слушающему, ср. типичные для разговорного стиля высказывания типа:

Я пойду на Мурата = 'Я пойду послушать доклад Мурата'
Я без ума от Мурата = 'Я без ума от того, как Мурат исполняет сонаты Шопена'
Я не понимаю Мурата = 'Я не понимаю того, о чем пишет Мурат в своих стихах'

Во-вторых, в качестве более адекватной по отношению к языковому материалу Жмигродский рассматривает версию, согласно которой предложение *Ян читает Маркса* интерпретируется как метафорическое, т.е. как результат преобразования базового предложения

Jan czyta książki Marksa — Ян читает книги Маркса

Впрочем, остается впечатление, что Жмигродский, не отдавая предпочтения ни одной из упомянутых версий: он довольно двусмысленно пишет, что высказывания этого типа «скорее всего, следовало бы описывать как метафорические, хотя можно в них усмотреть и перенос значения» (ibidem, 71). Можно теряться в догадках, как в рамках одной модели описания могут быть объединены эти два, принципиально несовместимых подхода.

5. Сокращение и синтаксическая аналогия в концепции Б. Ю. Нормана

С подобным противоречием мы сталкиваемся и в работах Б. Ю. Нормана (1993а; 1993б; 1995; 1996; 1998). С одной стороны, в высказываниях типа

Цвет платья напоминал спелую вишню
Скорости летательных аппаратов оставили позади быстроходные катера

усматривается логическая ошибка, поскольку, по мнению исследователя, здесь сопоставляются неоднородные, а именно — абстрактные и конкретные, понятия: *цвет — вишня, скорости — катера*. Но, с другой стороны, автор пишет, что подобные высказывания возникают в результате синтаксического сокращения, а в их основе лежат более развернутые синтаксические структуры, ср.:

Цвет платья напоминал цвет спелой вишни
Летательные аппараты — ввиду их высокой скорости — оставили позади быстроходные катера

По мнению Нормана, слово, сохранившееся в результате сокращения фразы (например, *вишня* вместо *цвет вишни*) «обогащается, как бы впитывает в себя значения своих „менее удачливых коллег“ — исчезнувших слов». Но если так, то никакого логического противоречия в приведенных выше предложениях нет — мы имеем дело только с преобразованиями поверхностной структуры, подобно тому, как это наблюдается в предложениях типа:

К чертовой матери летит вежливость кожаной куртки (Вс. Иванов) = 'К чертовой матери летит вежливость человека в кожаной куртке'

Саша начал с носков в переходе (В. Ерофеев) = 'Саша начал свою предпринимательскую деятельность с того, что продавал в переходе носки'

Подошел тот же грубый голос (А. Битов) = 'Подошел тот же человек с грубым голосом'

Тимур Тимурович поздоровался с темнотой, и ему ответило несколько голосов (В. Пелевин) = 'Тимур Тимурович поздоровался с теми, кто был в темноте'

Что ты на солнце полезла? (разговорная речь) = 'Что ты полезла на место, ярко освещенное солнцем?'

(ситуация на стройке) Я подам кирпич Светой (разговорная речь) = 'Я подам кирпич с помощью башенного крана, на котором работает крановщица по имени Света'

В механизме формирования метонимических конструкций типа

трикотажные подробности
остановиться на светофоре
очередь на Ягодина

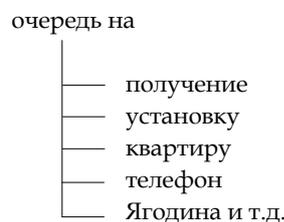
Норман усматривает действие процесса синтаксической аналогии. По мнению исследователя, произносятся подобные выражения, говорящий

прибегает к усвоенному языковому шаблону — ведь в нашей языковой памяти уже заложены словосочетания вроде *очередь на квартиру* (т.е. «на получение квартиры») или *очередь на телефон* (т.е. «на установку телефона») и т.п.; это готовые конструкции поверхностного синтаксиса (Норман 1993а, 11).

Норман считает, что разная степень сложности подобных выражений в плане глубинного (семантического) синтаксиса несущественна, потому что речевой субъект оперирует данными конструкциями в готовом виде (Норман 1993б, 105).

[...] Конструкции, появившиеся в тексте в результате определенных речедетельностных процессов, становятся для носителя языка основой для непосредственных аналогий, образцами при построении очередных высказываний [...] Как сами эти — речевые — образцы, так и их регулярные преобразования (трансформации) принадлежат поверхностному синтаксису (Норман 1998, 8).

Таким образом, очевидно, что синтаксическая аналогия, о которой здесь идет речь, носит формальный, морфологический характер — она представляет собой параллельное подключение словоформ, которые обладают одинаковыми грамматическими признаками, принадлежат к одному парадигматическому классу:



Синтаксическая (а точнее — морфологическая) аналогия позволяет словоформе занять в структуре высказывания соответствующую синтаксическую позицию, но она не содержит в себе алгоритма ее семантической интерпретации. Во-первых, морфологическая аналогия не всегда является достаточным основанием для переносного употребления слова, ср.:

- *очередь на яблоко
- *очередь на меня
- *очередь на пирожки

Во-вторых, морфологической аналогией нельзя объяснить семантического содержания конкретных синтаксических реализаций одной и той же схемы. Так, в основе содержательной интерпретации приводимых ниже конструкций лежат разные пропозициональные предикаты, а связано это не с грамматическими свойствами словоформ, а с их номинативной, и более того — когнитивной семантикой:

очередь на квартиру = 'очередь, целью которой является ПОЛУЧЕНИЕ квартиры'
 очередь на Ягодина = 'очередь, целью которой является возможность ВСТРЕТИТЬСЯ и ПОГОВОРИТЬ с Ягодиным'

При этом следует обратить внимание на то, что в выражении *очередь на Ягодина* остаются «следы» первичного употребления предлога *на*, поэтому в выражении присутствует, видимо, и второй план содержания:

очередь на Ягодина = 'очередь, целью которой является возможность ПОЛУЧЕНИЯ Ягодиным, ПОЛЬЗОВАНИЯ Ягодиным'

Сосуществование этих двух планов и создает фасцинативный оттенок в семантике данного выражения.

6. Критерии разграничения процессов семантической и синтаксической деривации

Из проведенных наблюдений следует общий вывод: только синтаксическими средствами семантических проблем решить нельзя — необходим анализ лексической сочетаемости, а также учет значимости того или иного знака в семантической системе языка, степень устойчивости (конвенциональности) того или иного его употребления.

Одним из важнейших при разграничении метонимии и компрессии следует считать **д и с т р и б у т и в н ы й к р и т е р и й** — проверку на совместимость определенной лексемы (в определенном значении) с типичным представителем некоторого семантического класса. Так, выражение

Я получил приглашение

в котором существительное употребляется метонимически — ‘письмо, записка и т.п. с просьбой прийти, приехать куда-л., принять участие в чем-л.’; в основном значении данное существительное употребляется как название действия. Приведенное выше предложение может быть расширено с помощью сочинительной связи:

Я получил приглашение и программу.

О лексемах *приглашение* и *программа* — в соответствии с принципом описания, предложенным Ю. Д. Апресяном (1969) — можно говорить, что они совместимы по отношению к глаголу *получил*, что является показателем их принадлежности к одному семантическому классу. Это, кроме того, означает, что мы имеем дело с переносным значением существительного, а не с процессом синтаксической компрессии (поэтому указание на переносное значение существительного *приглашение* в толковом словаре является обоснованным). Ср. подобные примеры, которые позволяют говорить о переносном значении существительного *коньки*:

Все мы особенно любим коньки и плаванье (пример Е. Л. Гинзбурга)

Иначе обстоит дело с существительным *тарелка*, которому толковый словарь приписывает переносное значение ‘содержимое, еда в тарелке’:

? Иван съел три тарелки и один пончик

Можно сомневаться, возможно ли в нейтральном стилистическом контексте подобное объединение существительных в сочинительном ряду — значит, рассматриваемые лексемы не совместимы по отношению к глаголу и слову *тарелка* нельзя приписать закодированного в лексической системе значения ‘вещество (чаще всего — еда), которое находится в такой посуде’. Данное значение (фиксируемое толковым словарем) является окказиональным, синтаксически или ситуативно обусловленным, т.е. в высказываниях типа

Иван съел уже три тарелки

реализуется контекстуальный или ситуативный эллипсис, ср.:

- На плите есть суп.
- Спасибо, я уже съел три тарелки

В качестве другого критерия можно предложить с у б с т и т у ц и ю — с возможностью лексических и грамматических преобразований и дистрибутивного партнера. Целью данной операции является проверка на неидиоматичность сочетания двух слов. Так, существительное *тарелка* употребляется метонимически в определенном синтаксическом контексте — его изменение блокирует возможность субституции — замены на существительное в прямом значении, ср.:

Иван съел целую тарелку.
Иван съел целую тарелку супа.
Иван съел весь суп — целую тарелку.
— Что он там делает? — Ест суп.
— Что он там делает? — *Ест тарелку

Наконец, в качестве третьего критерия можно было бы предложить ко г н и т и в н ы й к р и т е р и й , а именно — учет значимости, степени прецедентности того или иного слова в культурном тезаурусе носителей языка. Так называемые прецедентные знаки обладают в культуре устойчивыми ассоциациями (или коннотациями). Например, И. Э. Ратникова пишет о таких коннотациях прецедентных онимов — главным образом, фамилий известных деятелей политики, науки, искусства:

[...] Предпосылка нестандартного речевого поведения онимов, выражающегося в семантических трансформациях, заложена в их лексическом фоне, который отражает культурную специфику носителей собственных имен. Семантическое расширение онимов возможно в практике языка вследствие концептуализации некоторых фрагментов реальности, группирующихся вокруг того или иного индивида, топоса, события (2003, 36).

Поэтому можно считать, что их переносное употребление, основанное на таких коннотациях, закодировано в языковой и культурной памяти субъектов. Ср. предложения:

Я люблю Стендаля
Я люблю Шостаковича
Я люблю Ван Гога
Я люблю Кривошеева

Если в первых трех предложениях семантическая интерпретация основана на культурной семантике онимов *Стендаль*, *Шостакович*, *Ван Гог* и носит устойчивый характер, ср.:

Я люблю Стендаля = 'Я люблю читать книги Стендаля'
Я люблю Шостаковича = 'Я люблю слушать музыкальные произведения Шостаковича'
Я люблю Ван Гога = 'Я люблю смотреть картины Ван Гога'

то предложение *Я люблю Кривошееву* не содержит такого культурного алгоритма, который функционировал бы как своего рода доминанта, т.е. определял его семантическую интерпретацию. В этом случае способов понимания предложения может быть множество:

Я люблю Кривошееву
= 'Я люблю читать книги Кривошеевой'
= 'Я люблю слушать музыкальные произведения Кривошеевой'
= 'Я люблю смотреть картины Кривошеевой'
= 'Я люблю смотреть на Кривошееву, проводить время, быть с Кривошеевым и т.д.'

Конечно, нельзя отрицать и возможности окказиональной интерпретации прецедентных имен, как, например, в истории о композиторе Д. Д. Шостаковиче, которую рассказал А. К. Жолковский (2006, 109)

В 30-е годы его (Шостаковича. — А. К.) даме вдруг захотелось пойти в театр, мимо которого они проходили. В кассе билетов не оказалось. Шостакович готов был ретироваться, но дамочка продолжала напирать: он знаменитость, его все знают, стоит ему назвать себя, как билеты найдутся. Он долго отнекивался, но, в конце концов, сдался и обратился в окошечко администратора с сообщением, что он Шостакович. В ответ он услышал.

— Ви себе Шостакович, я себе Рабинович, ви меня не знаете, я вас не знаю...

Сильным коннотативным полем обладают не только онимы, но и другие типы собственных имен, например, некоторые топонимы. Именно это лежит в основе переносного употребления существительных *Сахалин* и *Индия* в следующих предложениях:

Новый строй грозит писателям-«радикалам» гораздо бóльшим: изгнанием за пределы общества, ссылкой на Сахалин одиночества (В. Брюсов).

Видишь вокзал, на котором можно // В Индию Ду х а купить билет (Н. Гумилев).

* * *

В заключение следует отметить, что граница между синтаксической и семантической деривацией, в принципе, размыта, поэтому приведенные выше критерии их разграничения носят скорее рекомендательный, чем императивный характер. Имеем ли мы дело с новым

значением в лексической системе языка или только с сокращением формальной структуры высказывания — это зависит от степени конвенциональности той или иной речевой конструкции, а степень конвенциональности представляет собой градуальную, вероятностную категорию. Это, однако, не исключает того, что применяемая в традиционных толковых словарях практика описания метонимических значений должна совершенствоваться с учетом новейших лингвистических исследований.



Номинация и социальный контекст речи

Пьяный на улице пристаёт к прохожим:
– Скажите, пожалуйста, где здесь другая
сторона улицы?
Ему показывают...
– Вы что? А там говорят, что здесь...
Анекдот

Названия дней отличаются друг от друга
– ночь имеет только одно название.

Элиас Канетти

1. Семантика на основе прагматики

В философской поэме «О природе вещей» Тит Лукреций Кар писал: «Что же до звуков, какие язык производит, — природа // Вызвала их, а нужда подсказала названья предметов» (разрядка моя. — А. К.). В этой фразе усматривать квинтэссенцию современного функционального прагматизма, основным требованием которого является описание языка с учетом человеческой деятельности, прежде всего — мыслительной и коммуникативной (см.: Лещак 2004, 62).

Семантика и прагматика как два важнейших функциональных аспекта языка находятся в отношении диалектического взаимодействия: с одной стороны, семантическая информация используется в коммуникативных процессах для реализации прагматических целей речевых субъектов, в первую очередь — говорящего/пишущего

(см.: Kiklewicz 2011б, 30 ссл.; 2012а, 51 ссл.). С другой стороны, формирование и функционирование значений языковых единиц зависит от прагматических факторов, в первую очередь — непосредственного окружения языковой деятельности и социально-культурной среды.

Феномен, который можно определить как прагматика на базе семантики, проявляется в сфере речевых актов, реализующих информацию двоякого рода: перформативную (типа *Прошу...*) и номинативную (типа *о том, чтобы...*) (см.: Searle 1987, 39).

Важность семантической информации в речевом взаимодействии наиболее очевидна на уровне текста: в этом случае коммуникативная (реальная или предполагаемая) реакция получателя информации обусловлена не интерактивными операторами (которые не всегда четко выделены¹⁶), а семантическим содержанием текста — таково воздействие на читателя романа, научной статьи или газетного комментария политических событий.

В данной работе меня будет интересовать другая конфигурация функциональных аспектов языка: семантика на базе прагматики, т.е. зависимость значений языковых единиц от характера социальной, культурной и коммуникативной среды, в которой они возникают и употребляются наиболее регулярно.

Идея социально-культурной обусловленности семантической системы языка имела фундаментальное значение в марксистском языкознании, а также в разных версиях лингвистической семантики, основанных на философском эмпиризме (или же на феноменологии) (см.: Лещак 1996, 22). Один из выдающихся представителей этого направления лингвистической мысли, В. Дорошевский, утверждал:

Семантика является прагматической наукой; [...] интерпретация значений слов — это интерпретация определенных форм поведения людей и их деятельности (1973, 66).

Дорошевский, кроме того, писал о «культурно-социальной ответственности тех, кто занимается этой интерпретацией, т.е. словарников-лексикографов» — его научная позиция четко представлена следующим образом:

¹⁶ В структуре текста обычно отсутствуют интерактивные операторы того же типа, что в высказывании (например, перформативные глаголы *советую, прошу, предупреждаю, соглашусь* и т.п.), поэтому прагматика текста в большей степени опирается на его семантическое содержание, а также на прагматическую информацию, закодированную в жанре.

Языкознание следует признать наукой не только общественно-исторической, но и общественно-педагогической, воспитательной; этот общественно-воспитательный аспект его наиболее ясно виден в лексикографии, главным стремлением которой [...] является стремление к тому, чтобы интеллектуальное развитие общества происходило в той степени, в какой это только возможно. [...] Если мы примем во внимание эту цель, нас будут интересовать всякие мыслительные взаимозависимости [...] истории языкознания с историей интеллектуальной культуры общества (там же, 66).

Следует отметить, что эта научная программа, как показал, например, Е. Бартминский (Bartmiński 1999, 113), не была реализована в лексикографической практике — в изданном под редакцией Доррошевского многотомном «Словаре польского языка». Словарные описания значений слишком научны, умозрительны, абстрактны и тем самым оторваны от реальной речевой практики носителей языка — в обыденной устной коммуникации.

К проблеме обусловленности формы, структуры и значения социальным окружением речевой деятельности в 70-е и 80-е годы прошлого столетия обратились представители английской школы критической лингвистики (Fowler/Hodge/Kress 1979; Fowler 1991; Kress/Hodge 1979; Mey 1985). Исследователи этого направления, сосредоточив внимание на грамматической и синтаксической номинации, показали, что языковая организация высказывания и текста отражает систему идеологических ценностей речевых субъектов, а также структуру социальных отношений в коммуникативной ситуации. Так, выбор активной или пассивной диатезы, т.е. заполнение позиции подлежащего словоформой с семантической функцией субъекта или объекта действия, зависит от значимости референта слова в идеологической системе говорящего. Подлежащее, таким образом, служит средством профилирования референтной ситуации с точки зрения социально-культурных приоритетов языковых субъектов (см.: ван Дейк 2000, 61). Т. А. ван Дейк пишет о важнейшей роли, которую играют закодированные в культурной памяти носителей «ситуационные модели» для правильной интерпретации речевых актов — языковая компетенция при этом оказывается недостаточной (ван Дейк 1989, 18).

На связь между организацией речевых сообщений и их социальным окружением обратили внимание также представители генеративной семантики. Так, известный американский языковед Дж. МакКоли не только утверждал, что полное описание языковой семантики требует описания синтаксиса (1981, 285), но и, на что обратил внима-

ние В. А. Звегинцев (1981, 20), считал, что при описании лингвистической компетенции необходимо учитывать «отношения между высказыванием и ситуацией, в которой оно употребляется».

В подобном же духе проблему заполнения позиции подлежащего в английском предложении рассматривает Дж. Лакофф (1981, 362). Ученый обратил внимание на то, что в предложениях с активной формой глагола-сказуемого типа

This car drives easily 'Этой машиной легко управлять'; буквально: 'Эта машина управляет легко'.

позицию подлежащего занимает объект действия (пациенс). Лакофф объясняет данный парадокс тем, что в грамматической структуре высказывания (как номинативной единицы высшего порядка) отражается принцип ответственности, т.е. интерпретация говорящим референта подлежащего как представляющего собой в описываемой ситуации главную действующую силу: в приведенном выше предложении именно функциональные свойства машины обуславливают то, что для управления ею не требуются особые усилия и навыки.

Идея зависимости структуры высказывания от социального контекста речевой деятельности нашла отражение в теории функционального синтаксиса С. Куно, который ввел понятие эмпатии как особого интенционального отношения говорящего к элементам (фрагментам) описываемой референциальной ситуации (Куно 1987). Говорящий как бы «сочувствует» одним предметам и равнодушен или настроен негативно по отношению к другим. В зависимости от эмпатической установки та или иная словоформа (именная группа) выдвигается в позицию подлежащего, которая является коммуникативным центром высказывания, находится в «фокусе интереса». Ср. некоторые примеры:

[Когда я был в институте] я случайно встретил там Машу – ? [Когда я был в институте] меня случайно встретила там Маша.

Девочка съела пирожок – ? Девочкой был съеден пирожок.

Кошка лежит на коврике – ? Коврик находится под кошкой.

Все приведенные выше предложения грамматически правильны, однако только левая версия приемлема с коммуникативной точки зрения, так как она отражает естественные преференции говорящего, который отдает предпочтение самому себе – перед другими, актив-

ному субъекту — перед объектом или же занимаемым им фрагментом пространства, живому существу — перед неживым предметом и т.д. В соответствии с характером предпочтений участников ситуации Куно выделил несколько типов эмпатии: дескриптивную, атрибутивную, речевую и родовую.

Роль социального аспекта речевого взаимодействия в организации языковых единиц подчеркивают представители коммуникативного направления в современной лингвистике. Один из основателей функционального прагматизма американский психолог и философ У. Джемс писал об интенциональном, избирательном характере познавательной деятельности, которая отражается в естественном языке, в частности, в явлениях номинации. С точки зрения Джемса название вещи «более характеризует нас, чем саму вещь» (1981, 15). Подобную точку зрения в первой половине XX века высказывали представители русской школы социологии языка, в частности, В. Н. Волошинов, который писал: «Нельзя отрывать знак от конкретных форм социального общения» (1995, 234). В связи с этим следует отметить и оригинальную концепцию русского философа А. Ф. Loseва, который писал о «бесконечной семантической валентности» знака (1976, 125), определял значение как «знак, рассматриваемый в свете своего контекста» (1982, 114 ссл.).

Идея синергизма речевой деятельности была развита в «Философских исследованиях» Л. Витгенштейна, который подчеркивал, что язык неразрывно связан с человеческой деятельностью. В § 19 своего труда Витгенштейн писал, что представить себе какой-либо язык означает представить определенный образ жизни. Присутствие в речевой коммуникации социально-культурного фона обуславливает принципиальную схематичность языковых построений, т.е. их неоформленность, некомпозитивность; ср. введенное В. В. Мартыновым (1985, 155 ссл.; 1995, 83 ссл.) понятие «неопределеннозначности». И схематичность, и неопределеннозначность связаны с ситуативностью высказываний, которая особенно проявляется в разговорной речи (см.: Земская/Китайгородская/Ширяев 1981, 19; Warchala 2003, 83).

В русском языкознании убежденным сторонником идеи синергизма был В. А. Звегинцев — автор афористического высказывания: «Язык как сквозь туман проглядывает сквозь каждое предложение» (1976, 143). Звегинцев утверждал, что конститутивные признаки единиц любого уровня языка «следует искать в вышележащем уровне, вне которого они не существуют» (там же, 172), а языковая компетен-

ция в процессе речевой деятельности взаимодействует с когнитивной (1982, 79). В случае предложения таким уровнем является сфера внеязыковой человеческой деятельности, т.е. дискурс, поэтому, по мнению Звегинцева, «смысл способен преодолеть любое сопротивление языка, если он достигает при этом привязанности к той или иной ситуации» (1976, 178). Построенные по синтаксическим схемам единицы, которые лишены контекстуализации, Звегинцев квалифицировал как псевдо-предложения.

Значительное влияние на языкознание последних десятилетий XX века оказала теория этнографии и речи Д. Хаймса, который выдвинул тезис об основополагающей роли контекстуализации и как зависимости процессов функционирования речевых единиц от системы межличностных отношений; эта система, по убеждению Хаймса, должна получить полноценное отражение в социолингвистических исследованиях. Язык в этнографии речи интерпретируется в свете социальных и антропологических явлений, потребностей человеческой деятельности и эволюционной адаптации человека к окружающей среде (Hymes 1996, 25; 2003).

Значимость социально-культурного фактора в процессах функционирования языка принимается в качестве аксиомы в современной функциональной семантике. Одним из первых на необходимость привлечения когнитивной информации в семантических исследованиях писал Дж. Сёрль (Searle 1979, 94). Развивающий это направление исследований бельгийский лингвист Р. Дирвен утверждает, что интерпретация языковых выражений всегда опирается на (выходящие за рамки языковой компетенции) знания о мире, т.е. то, что в психологическом языкознании XIX века определялось как «апперцептивная база». Дирвен ввел понятие «*minimal-specification view*» (Dirven 2001), которое означает схематичный, упрощенно-обобщенный характер закодированной в языковых знаках информации — ее понимание, адекватное по отношению к замыслу говорящего, а также по отношению к ожидаемым эффектам речевого акта, требует инференции — актуализации общих знаний о мире, о коммуникативной ситуации и т.д.¹⁷

¹⁷ Существует зависимость между степенью освоения той или иной, называемой предметной области и характером ее категоризации. Так, можно считать, что профилирование (в языковой номинации) внутренних свойств называемого предмета свидетельствует о его устойчивом присутствии в сфере практической деятельности языкового субъекта. Наоборот, обращение внимания на внешние параметры — признак того, что контакт между субъектом и предметом номинации

Исследования в области функциональной семантики показали, что влияние социальной, культурной и коммуникативной среды на языковую/речевую деятельность проявляется в аспекте формы и в аспекте содержания языковых единиц. В первом случае речь идет о реализации стилистической функции знаков, т.е. об отражении в их форме коммуникативных условий их функционирования (см.: Kiklewicz 2004в, 251 ссл.). Так, А. Е. Супрун (1993) ввел понятие прагматической парадигмы, т.е. совокупности языковых единиц, которые при тождестве своей номинативной семантики различаются стилистическими свойствами, например:

Иван
Иван Петрович
Иванов Иван Петрович
Иван Иванов
Ваня
Ванюша
Ванечка и др.

Ср. реализацию такой прагматической парадигмы в тексте:

Когда я вспоминаю Генку, Генриха, Генриха Семеновича, меня всегда поражает эта его способность уйти (Андрей Битов).

Взгляд на язык в перспективе его социального функционирования стал также характерной чертой психолингвистики третьего поколения. Как отмечает В. П. Глухов (2005), ученые этого направ-

непродолжителен или случаен. Примером этой зависимости является существительное казахского языка *бешбармак* — название национального блюда. По своей внутренней форме это слово означает 'пять пальцев', что объясняется способом его употребления: бешбармак, который представляет собой отварное мясо с лапшой, едят без употребления столовых приборов — мясо берут руками. Некоторые казаховеды считают, что название *бешбармак* было дано иностранными путешественниками, тогда как коренные жители Казахстана используют другие формы номинации: *ет* или *сыбага*, которые означают 'мясо' (подробнее см.: «Мегаполис». 20 VIII 2012).

Ср. подтверждающий данное правило диалог из эссе Александра Гениса:

— Почему у Шагала все летают? — спросил я у знавшей художника Бел Кауфман, внучки Шолом-Алейхема.

— Кто бы его знал, если бы не летали, — не без ехидства ответила она.

Ответ художницы, как видим, содержит не объяснение положения дел (на картинах Шагала) — что и составляет суть вопроса, а указание на следствие («У Шагала все летают, поэтому он так известен»). Такой, «внешний» взгляд на проблему, по сути, означает уклонение от прямого ответа, признание в неспособности дать объяснение феномену Шагала.

вления критически отнеслись к неопозитивистской теории Н. Хомского о роли врожденных универсальных языковых структур в формировании языковой способности человека, подчеркивая социальную и историческую детерминированность языковой системы, а тем более речевой деятельности. В 70-е года XX века широкое распространение получили работы норвежского лингвиста Р. Ромметвейта, который выступил с требованием изучать «высказывания, включенные в коммуникативные окружения» (1972, 72). Ромметвейт и другие сторонники эмпиризма, а также интеракционизма в социальной психологии в качестве фундаментальной рассматривали категорию роли как культурно обусловленный, устойчивый статус субъектов социально релевантного поведения, который находит отражение в процессах информационного обмена с помощью естественного языка.

2. Социально-культурный компонент семантического содержания языковых знаков

Влияние социальной, культурной и коммуникативной среды на языковую/речевую деятельность проявляется не только в аспекте формы языковых единиц, но и в аспекте их содержания. Можно различать четыре типа таких явлений в языковой семантике:

1. внутреннюю форму (слова, словосочетания, предложения);
2. вторичную номинацию;
3. коннотацию;
4. структуру семантических полей.

Внутренняя форма, т.е. мотивация языкового знака, всегда социально и культурно обусловлена: каждая конкретная номинация связана с ситуацией человеческой деятельности, с практическим и интеллектуальным опытом языковых субъектов, с конкретными задачами, которые должны быть решены с использованием знаковых средств¹⁸. Именно поэтому внутренняя форма знаков, имеющих оди-

¹⁸ В связи с этим можно привести цитату из работы У. Джемса: «Мое мышление всегда связано с деятельностью, а действовать я могу лишь в одном направлении. [...] В данную минуту для меня, пока я пишу эту главу, способность подбора фактов и умение сосредоточивать внимание на известных сторонах явления представляется сущностью человеческого ума. В других главах иные свойства казались и будут казаться мне наиболее существенными сторонами человеческого духа» (1981, 15). Подобную мысль применительно к языковым знаниям высказывает И. К. Архипов (2011, 460).

наковое семантическое содержание в разных языках, может различаться, что хорошо показано в литературе, например, в монографии Б. А. Плотникова (1989, 124). Эта зависимость между внутренней формой и социально-культурной средой является основным предметом этнолингвистики, которая ставит своей задачей восстановить на базе языкового материала (прежде всего лексического) культурную картину мира. В какой-то степени эта задача решаема, но возможности лингвистических методов в данной области ограничены. Во-первых, реконструируемая таким образом картина мира часто отличается от реально культивируемой носителями языка. Тогда ученые используют своего рода уловку: они вводят понятие «языковой картины мира». Остается, однако, неясным, какие культурные феномены скрываются за реконструкциями внутренней формы. Другими словами, необходима социально-культурная, в частности, историческая атрибуция подобных экстраполяций, которую нельзя осуществить только лингвистическими методами. Например, с современной точки зрения мотивация русского существительного *болеельщик* (как и итальянского *tifosi*), т.е. идея болезни, кажется странной, трудно объяснимой (с точки зрения здравого смысла). Лингвист может указать на происхождение существительного *болеельщик* от глагола *болеть*, но сама мотивация этого факта требует специального анализа культурной ситуации, которая имела место в прошлом. К лингвистике такой анализ не имеет непосредственного отношения.

Во-вторых, как пишет В. М. Мокиенко (2007, 50), этнолингвистические исследования «направлены в конечном итоге на поиски национальной специфики языка как культурологического феномена». В основе этого подхода в значительной степени лежит научная концепция В. Вундта, который считал, что объектом социальной психологии (или психологии народов) должен служить язык, мифы (с зачатками религии) и обычаи (с зачатками морали). По мнению немецкого психолога, «их содержание превышает объем индивидуального сознания». При этом Вундт подчеркивал: «Язык содержит в себе общую форму живущих в духе народа представлений и законы их связи» (1912). Из этой установки, по мнению Мокиенко, вытекает

общая методологическая особенность многих исследований такого рода — глобальность выводов, построенных на неадекватном сопоставлении фактов разных языков или вообще отсутствие сопоставительного фона (Мокиенко 2007, 50).

Проблема заключается в том, что попытка гипергенерализации и культурных интерпретаций фактов этимологического (и вообще — реконструктивного) анализа оказывается необоснованной в силу того, что общий источник мотивации языковых знаков — пресловутый «дух народа» — отсутствует. Процессы номинации не имеют единого источника, они восходят к разным культурным, в том числе историческим, ситуационным, к разным, часто окказиональным, инцидентальным точкам зрения. К тому же каждое национальное сознание (и «языковая картина мира») формируется под влиянием других и часто трудно отделить свое от чужого, заимствованного. Как, например, объяснить ссылкой на «психологию народа» факт, что в основу русского существительного *полотенце* положен признак материала и размера (оно образовано от существительного *полотно*), а в основу польского существительного *ręcznik* или белорусского *рушнік* — признак цели употребления?

Множественность точек зрения обуславливает мозаичный характер культуры, о которой А. Моль пишет как о «результате случайного скопления разрозненных элементов» (2007, 84). Поэтому «языковая картина мира» оказывается внутренне неоднородной и даже противоречивой. Таковы, например, языковые стереотипы национальностей, которые содержат взаимоисключающие (положительные и отрицательные) признаки (Hansen 2006, 165 ссл.). В связи с этим Е. Фарино пишет:

[...] Беспорядка, хаоса моделировать нельзя. Поэтому по своей сути моделирование есть воспроизведение упорядоченности, структуры некоторого объекта, нетождественного воспринимаемому объекту (1973, 132).

И заключает: «То, что обычно называется естественным языком, не есть система и не является моделью мира» (там же, 133; разрядка моя. — А. К.).

Социо-культурно маркированной является также вторичная номинация, т.е. метафорическое и метонимическое употребление слов. Каждый факт вторичной номинации опирается на базовые представления о действительности, актуальные для данного языкового субъекта в данной обстановке, при этом, вероятно, во внимание принимаются и познавательные-культурные параметры «другой стороны» — коммуникативного партнера или потенциального пользователя языковых знаков. Исходя из подобных теоретических предположений, М. Лизенберг высказывает критические замечания по адресу теории когнитивных метафор Дж. Лакоффа и М. Джонсона, в част-

ности, обращает внимание на ее чрезмерный эмпиризм: в качестве источника информации об исходной понятийной категории («source domain») рассматривается сенсорное восприятие объектов и сформированный на этой базе познавательный опыт (Leezenberd 2001, 142). Это, считает Лизенберг (ссылаясь на работу: Indurkha 1992, 126), не соответствует действительности, потому что в процессе вторичной номинации исключительно важен также социально-культурный фактор, а именно — принятая в данном сообществе система ценностей.

С одной стороны, имеются языковые факты, которые однозначно указывают на обусловленность метафоры принятой в данной языковой сообществе системой культурных ценностей. Это, например, отмечает Г. Ф. Благова (1999, 79 ссл.), которая приводит характерные для тюрских народов способы метафорического определения времени и пространства. Так, значение 'небольшое расстояние' метафорически выражается с помощью лексемы с первичным значением 'расстояние между задними ногами лошади'; значение 'светает' метафорически реализуется посредством значения 'солнце поднимется на высоту копьа'. Эти и другие базовые понятийные категории (<лошадь>, <копье>) непосредственно связаны с образом жизни носителей тюрских языков, с их традиционной культурой.

А. П. Чудинов обратил внимание на различия между российской и американской политической метафорой; некоторые из этих метафор довольно «прозрачны» с точки зрения культурной обусловленности. Так, в американской политической речи больше доля метафор, связанных с миром кино, что можно объяснить более значимым статусом киноискусства в системе американской культуры (Чудинов 2007, 203).

Культурно обусловлен также характер сравнительных и метафорических конструкций в отдельных идиолектах: в их основе лежит характерный для данного языкового субъекта круг интересов, способ мышления. С другой стороны, многие метафорические значения (как показывает их сравнение в разных языках) лишены очевидной, с точки зрения носителей современного языка, культурной мотивации. Так, Ю. А. Бельчиков (1988, 33 ссл.) приводит пример русского существительного *гусь*, которое во вторичном употреблении включает в себе негативную характеристику человека с намеком на его плутовство, необязательность. Подобное по значению существительное *die Gans* в немецком языке метафорически употребляется как характеристика глупой медлительной женщины; отчасти это можно объяснить грамматическим значением ж. рода.

Другой пример: немецкой пословице

Erst wägen, dann wagen, дословно: 'Сначала надо взвесить, а потом осмелиться (что-либо сделать)'

соответствует русская:

Семь раз отмерь, один – отрежь.

По смыслу оба высказывания эквивалентны, но все же имеют разную мотивацию: немецкая конструкция опирается на прототипическую ситуацию взвешивания, тогда как русская конструкция – на ситуацию кроения ткани. Можно ли, используя современные лингвистические методы, установить культурные источники этого различия, апеллировать к характерной для немцев и русских «народной психологии»? Думаю, что для этого нет никаких оснований. Подобным же образом следует интерпретировать большинство случаев метафорической д и а с е м и и, в том числе и при сравнении близкородственных языков. Например, в польском языке встречается ласковое обращение к женщине: *Moja żabko!*.. или к мужчине: *Mój misi!*.. Эти вторичные номинации трудно представить себе в русской речевой среде: **Моя лягушечка!*.. **Мой медвежонок!*.., как и польские обращения **Mój ptaszku!*..; **Moja łapko!*.., которые вполне естественны в русской речи: *Птичка моя!*..; *Лапочка!*.. Вряд ли существует возможность установления когнитивного источника подобных различий, как и в случае различий в сфере регулярной полисемии в русском и французском языках, описанных В. Г. Гаком (1977, 257). Апелляции к характерной для поляков, русских, французов и т.д. «языковой картине мира», которые в связи с решением таких задач можно встретить в работах многих современных лингвистов, в своем большинстве являются не более чем спекуляциями.

Роль социально-культурного контекста в реализации языковой семантики знаков, пожалуй, наиболее ярко проявляется в явлении к о н н о т а ц и и. Как пишет Ю. А. Бельчиков, в речевой практике к основному значению слова добавляется культурный компонент, обусловленный обстановкой речи, другими словами – «о б с т а н о в о ч н ы м к о н т е к с т о м». Таким образом, благодаря уже упомянутому явлению инференции возникает добавочный смысл, о котором писал Л. С. Выготский (1982, 346).

В русском языкознании системное изучение культурной семантики языковых единиц было предложено в 1980 г. Е. М. Верещагиным

и В. Г. Костомаровым. В их работе подчеркивалось, что «семантика слова лексическим понятием не исчерпывается» — в состав значения входят также компоненты, обусловленные функционированием слова в типичных коммуникативных ситуациях. Совокупность этих компонентов была определена как лексический фон (Верещагин/Костомаров 1980, 25). Например, довольно широко распространены национально-культурные семантические компоненты, отражающие

особенности территории распространения общности людей, специфику ее экономической жизни, самобытность национальной психологии и своеобразие национальной культуры (там же, 67; см. также: Тер-Минасова 2008, 148 ссл).

Так, в русской символической семантике существительное *черемуха* часто вызывает ассоциацию с чувством любви. Например, в русских лирических песнях юноши дарят девушкам цветы черемухи (иногда бросая букеты в окно):

Еще косою острою // В лугах трава не скошена, // Еще не вся черемуха // В твое окошко брошена (Михаил Исаковский).

Все равно любимая отцветет черемухой (Сергей Есенин).

Ах, черемуха белая, сколько бед ты наделала, // Ах, любовь твоя смелая, сумасшедшей была (Марина Журавлева).

Эта символика, однако, не известна польской культуре. Опрос польских студентов-русистов показал, что любовная коннотация черемухи им не известна — некоторые даже признались, что не имеют представления, как выглядит черемуха.

Другой пример. В одной из песен Булата Окуджавы есть строки:

Кларнет пробит, труба помята. // Фагот, как старый посох, стерт. // На барабане швы разлезлись, // но кларнетист красив, как черт.

Выделенная сравнительная конструкция нечасто употребляется в русском языке, но все-таки она характерна для русской идиоматики, ср. ее более частый вариант *чертовски красив*:

Освальд взрывной, неизменно заряженный на шутку, склонный к риску — в пределах разумного. Голубоглазый атлет, красив как черт, умен как бес (Владимир Санин).

Он был чертовски красив — такой мужчина был бы подарком судьбы для любой женщины (Дарья Мартынкина).

Он не только чертовски аккуратен, он чертовски красив (Михаил Анчаров).

Интересно, почему люди говорят «чертовски повезло» или «чертовски красив», а также «дьявольски красив» или «дьявольски умен». Почему не говорят: «по-божески умен» или «по-божески красив»? (Михаил Задорнов).

В польской культурной среде лексическое значение существительного *diabeł* 'черт' маркировано исключительно негативно, поэтому сравнительная конструкция, соответствующая русскому выражению *красив как черт*, здесь не встречается. Можно отметить исключительный случай такого употребления в интернете — в тексте одного из молодежных форумов (<http://forum.interia.pl/i-tak-to-jest-tematy,dId,525186>):

ładny jak diabeł pozna... 'красивый как черт познакомится...'

Эта (несущая в себе элементы языковой игры — оксюморона) реплика вызвала в интернете серию иронических и даже осудительных откликов:

Co nagle, to po diable... 'Поспешишь — людей насмешишь'

Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego jak odstraszasz ludzi i sobie tłumaczysz to takimi bzdetami 'Ты даже не представляешь себе, как ты отпугиваешь людей и в свое оправдание пишешь такие глупости'

Как указывает Бельчиков, культурные коннотации в первую очередь охватывают общественно-политическую лексику. В связи с этим важно отметить понятие идеологемы как языкового знака, обычно лексемы, с заметной идеологической окрашенностью, содержащего в себе положительную или отрицательную оценку (Эпштейн 1991, 20; см. также «słowa sztandarowe», т.е. ключевые слова политической культуры в работе: Pisarek 1999, 63). Например, Б. Ю. Норман и Х. Яхнов приводят из сферы публицистической лексики примеры слов, которые подобны по своему словарному значению, но различаются идеологическим фоном (Norman/Jachnow 1999, 43 ссл.). Таковы существительные *солдат*, *боец*, *воин*, *войка* и *головазрез*, которые несмотря на свое семантическое сходство обладают различными коммуникативными коннотациями:

ЛЕКСЕМА	КОННОТАЦИЯ
<i>солдат</i>	нейтральная
<i>боец</i>	нейтральная
<i>воин</i>	возвышенная; положительная оценка
<i>войка</i>	функциональная; положительная оценка
<i>головазрез</i>	этическая; отрицательная оценка

Так, существительное *войка* со значением 'опытный солдат' отличается от существительного *головорез* своей положительной коннотацией, поэтому невозможна взаимозаменяемость этих слов в одном и том же предложении, ср.:

Войка он был смелый и решительный (Андрей Лазарчук) – *Головорез он был смелый...

На самой этой черте у стены стоял подполковник Климентьев – весь прямой, ровный, как кадровый войка перед парадом (Александр Солженицын) – *...Весь прямой, ровный, как кадровый головорез перед парадом.

Он храбрый войка, этот подполковник ополченцев Георг Кларк (Роберт Штильмарк) – *Он храбрый головорез...

Кроме того *войка* употребляется преимущественно в разговорных дискурсах, несет в себе оттенок приватности, фамильярности, поэтому это слово не встречается в официальных стилях речи, ср.:

наши славные воины – *наши славные войки

Последний, выделенный мной, параметр описания воздействия культурной среды на язык – система семантических (тематических) полей. На эту особенность естественных языков указывал, например, Б. А. Плотников:

Несмотря на объективность внешнего мира и единство действующих в нем закономерностей, в зависимости от традиций, условий жизни, обычаев людей и т.д. в семантике языка каждого народа отражаются неидентичные стороны реалий и выделяются не одни и те же отношения между этими реалиями, а это приводит к разной тематической классификации лексики не только в типологически далеких языках, но и в родственных языках [...] (1984, 139).

Такая, эпистемологическая трактовка структуры лексикона, как пишет Ю. Н. Караулов, обуславливает стремление ученых «подменить „картину мира“ структурой словаря и наоборот» (1976, 246). Наблюдения над разными версиями идеографических словарей позволяют сделать общий вывод:

В более высоких ярусах (семантической классификации. – А. К.) фигурируют общелогические понятия, свойственные всем языкам, и тем более эти общелогические понятия характерны для самого высокого уровня. [...] Чем дальше мы углубляемся в иерархические отношения, тем больше возможность расхождения между языками, тем больше вероятность появления лагун, несовпадения границ полей как между языками, так и в пределах одного языка – между полями у разных носителей (Караулов 1976, 255).

Тем самым сопоставительное изучение семантических полей, как показал опыт немецкого неогумбольдтианства, создает эмпирические предпосылки для теоретических построений в области этнолингвистики.

3. Социальный контекст и принципы речевой номинации

Чаще лингвисты обращаются к проблемам социально-культурной обусловленности семантики в языке, хотя еще бóльшая степень участия социального контекста наблюдается в речевой деятельности.¹⁹ Следует отметить, что проблемы речевой номинации – по сравнению с языковой номинацией – изучены значительно слабее. Исследователи, главным образом, концентрируют внимание на трех явлениях: 1) дейксисе; 2) референции и 3) уровнях категоризации денотатов знаков (см.: Tabakowska 2001, 59). Однако существует не менее важная проблема выбора в конкретной речевой ситуации способа концептуализации рассматриваемого объекта (предмета, действия, состояния и т.д.). При этом речевой субъект принимает во внимание как минимум три фактора:

1. объективные свойства денотата;
2. имеющиеся в его распоряжении средства языковой номинации;
3. собственные субъективные установки с учетом цели и характера деятельности субъекта, а также коммуникативной ситуации, ее обстановки и сцены (ср. «мотивационную функцию невербальных компонентов коммуникативного акта» в работе: Земская/Китайгородская/Ширяев 1981, 19).

Таким образом, объективная действительность, язык и человеческая (интеллектуальная и практическая) деятельность составляют в речевой коммуникации диалектическое единство.

Социальный контекст обуславливает специфические принципы речевой номинации, которые будут кратко рассмотрены в этой части работы:

1. принцип ближайшего (оптимального) отношения;
2. принцип эмпатии;
3. диакритический принцип.

¹⁹ И. К. Архипов (2011, 459) вообще считает, что семантика реально существует только в конкретных биокогнитивных процессах, а «семантика языка» является научной абстракцией.

3.1. Принцип ближайшего отношения

Принцип ближайшего отношения в первую очередь касается номинации лиц. В этом случае учитывается фон личных отношений между речевым субъектом и тем лицом, которое описывается в высказывании²⁰. Действие данного принципа удобно показать на примере анекдота, опубликованного в сборнике «Физики продолжают шутить»:

Дирак женился на сестре Вигнера. Вскоре к нему в гости заехал знакомый, который еще ничего не знал о происшедшем событии. В разгар их разговора в комнату вошла молодая женщина, которая называла Дирака по имени, разливала чай и вообще вела себя как хозяйка дома. Через некоторое время Дирак заметил смущение гостя и, хлопнув себя по лбу, воскликнул: «Извини, пожалуйста, я забыл тебя поздравить — это... сестра Вигнера!»

Комический эффект в данной истории основан на том, что говорящий (Дирак) нарушает принцип ближайшего отношения: называя свою жену *сестрой Вигнера*, он тем самым избегает способа номинации, который был бы в данной ситуации наиболее естественным: речь идет об указании на непосредственное отношение молодой женщины к самому говорящему.

Подобное нарушение принципа ближайшего отношения обыгрывается в следующем анекдоте:

Маленький Ваня, запыхавшись, прибегает к матери:

— Мама, мама! Там в лесу голые люди бегают!

Мама успокаивает:

— Они, наверно, дикие.

Ваня:

— Чужая тетя, наверно, дикая, но наш папа — нет!

В соответствии с данным принципом говорящий должен выбрать такую языковую номинацию лица, которая отражает наиболее близкое его отношение к одному из участников коммуникативной ситуации, прежде всего — к себе самому. В каком-то смысле здесь можно гово-

²⁰ За принципом ближайшего отношения, видимо, скрывается более общий коммуникативный принцип — семантического эгоцентризма, на который, в частности, указывает следующий анекдот: «Программист в гостях у пианиста. Тот показывает новое пианино. Программист оценивающе окинул взглядом и проговорил: — Да, кнопок-то мало, но shift ногами нажимать — это круто!» Семантический эгоцентризм, скорее всего, представляет собой рудимент детского реализма, о котором речь идет в статье «Стереотипы в структуре межкультурной коммуникации».

ритель и о принципе коммуникативной релевантности, потому что (возвращаясь к нашему примеру) отношение молодой женщины к Дираку ('жена') является более релевантным, коммуникативно значимым, чем ее отношение к Вигнеру ('сестра'). Формально это можно отразить следующим образом:

RЖЕНА (Дирак, молодая женщина) > RСЕСТРА (Вигнер, молодая женщина)

Х. Беличова (Belíčová 1984, 148) приводит примеры чешских словосочетаний, которые — при своей грамматической и семантической правильности — в разной степени соответствуют принципу ближайшего отношения, поэтому одни конструкции выглядят естественно, а другие в речевой практике не представлены:

moje matka 'моя мать'
žena mého otce 'жена моего отца'
dcera mé babičky 'дочь моей бабушки'

Градации степень релевантности здесь очевидна:

RМАТЬ (лицо, говорящий) > RЖЕНА (лицо, лицо: МОЙ ОТЕЦ (лицо, говорящий))
RМАТЬ (лицо, говорящий) > RМАТЬ (лицо, лицо: МАТЬ (лицо, говорящий))

Часто данный принцип реализуется как принцип эгоцентризма: говорящий выбирает такой тип концептуализации (и языковой номинации) лица, который указывает на отношения между данным лицом и говорящим (Kiklewicz 2012a, 183). Именно так (в значении 'я и мое ближайшее окружение') интерпретируется личное местоимение *мы* в тексте следующего анекдота:

Брежнев говорит с трибуны: «В следующей пятилетке мы будем жить еще лучше!» Голос из зала: «А мы?»

Однако «ближайшая номинация» не всегда эгоцентрична — говорящий учитывает не только свою позицию, но и позиции коммуникативных партнеров, а также других, непосредственно не участвующих в коммуникации лиц. Сравним с этой точки зрения три высказывания:

Звонила моя теща.
Звонила твоя теща.
Звонила теща Иванова.

Первое высказывание будет мотивированным в ситуации, когда отношение <теща> между референтом существительного и говорящим является наиболее близким — ни одно лицо в данной ситуации не имеет более близкого отношения. Напротив, было бы коммуникативно необоснованным, если бы муж обратился с такой репликой к своей жене — в этом случае следовало бы учесть другую иерархию релевантности:

$R_{\text{МАТЬ (лицо, слушающий)}} > R_{\text{ТЕЩА (лицо, говорящий)}}$

Второе высказывание учитывает другой фон социальных отношений: здесь предполагается, что наиболее близким является отношение <теща> между референтом существительного и адресатом сообщения. Наконец, в третьем высказывании говорящий отдает себе отчет в том, что никто из участников речевой ситуации не входит в близкое отношение с референтом существительного, поэтому в качестве одного из агентов отношения <теща> выбирается «третье» лицо (*Иванов*).

Принцип ближайшего отношения объясняет также процесс речевой компрессии в высказываниях с релятивными существительными: в ситуации, когда отсутствует указание на агента релятивной функции, обычно этот статус приписывается говорящему (реже слушающему), о чем свидетельствуют следующие примеры:

А: — Что произошло?

Б: — Звонил директор.

Хотя в высказывании прямо не указывается, чей директор звонил, мы склонны интерпретировать ответную реплику довольно однозначно: ‘Звонил мой директор’. Это — своего рода речевая номинация по умолчанию, у которой есть и вторая сторона: если говорящий, характеризуя лицо, не ссылается на его отношение к самому себе, это значит, что между данным лицом и говорящим нет близкого отношения. Например, из высказывания

Сосед Кости — очень симпатичный человек

следует, что у говорящего нет прямых контактов с соседом Кости. Таким образом с помощью средств речевой номинации выражается отношение чуждости, как, например, в предложении из прозы Антона Чехова:

Отец и его жена не пускают меня сюда.

Из формы номинации *его жена* вытекает, что имеется в виду лицо, которое не является матерью говорящего — иначе конструкция была бы построена иначе:

Отец и мать не пускают меня сюда.

Используя принцип ближайшего отношения, можно интерпретировать некоторые фрагменты речевой коммуникации в «Сказке о царе Салтане» Пушкина. Так, в начальной сцене в деревенской избе царь обращается к девушкам:

Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы,
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой.

Как видим, здесь отдается предпочтение релятивному существительному *сестра*, которое в данной ситуации отражает наиболее релевантное коммуникативное отношение, ср.:

Р СЕСТРА (лицо, слушающий) > Р БУДУЩАЯ ЖЕНА (лицо, говорящий)

Далее в тексте, когда социальные отношения между героями изменяются, существительное *сестра* уступает другой форме номинации:

Царь Салтан, с женой простясь,
На добра-коня садясь,
Ей наказывал себя
Поберечь, его любя.

В ситуации, когда царь Салтан не участвует в коммуникативном событии, номинация того же лица осуществляется с точки зрения царя Гвидона:

Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон.

Наконец, в завершающей сцене «Сказки» используется нейтральная — статусная номинация:

Царь слезами залился,
Обнимает он ц а р и ц у ,
И сынка, и молодицу,

В коммуникативной ситуации присутствуют как минимум четыре лица: царь (Салтан), царица, сын (Гвидон), молодица (жена Гвидона). В принципе, царь имеет приоритетный статус и можно ожидать, что ситуация будет представлена с его точки зрения, однако это касается только Гвидона, который квалифицируется как *сын*. Что касается других лиц, их номинация не опирается на личные отношения: встреча с Гвидоном интерпретируется как обретение сына, т.е. с семейно-родовой и отчасти эмоциональной точки зрения, воссоединение же с женой интерпретируется как возвращение ей статуса *царицы*, т.е. с официальной, институциональной точки зрения.

3.2. Принцип эмпатии

О принципе эмпатии уже была речь в первом пункте. С. Куно, который ввел это понятие в функциональную лингвистику, рассматривает эмпатию прежде всего с точки зрения организации предложения, однако существуют также ее аспекты, связанные с речевой, в том числе лексической, номинацией. Одним из характерных явлений этого типа является номинация с точки зрения ребенка в речи взрослого. Когда один из родителей обращается к ребенку с репликой:

Поедем к бабушке

принцип ближайшего отношения нарушается: говорящий отдает предпочтение отношению <бабушка> между референтом существительного и адресатом, хотя отношение <мать> — между референтом существительного и говорящим, было бы более релевантным. Объясняется это особой установкой говорящего — «сочувствием» к адресату.

Номинация этого типа реализуется не только на фоне отношений взрослого к ребенку или старшего родственника к младшему (в европейских культурах), но и вообще — при вежливом обращении к собеседнику, как можно наблюдать, например, в «Преступлении и наказании» Достоевского (речь идет об употреблении существительного *матушка*):

— А к вам матушка приехала? — осведомился для чего-то Порфирий Петрович. — Да. — Когда же это-с? — Вчера вечером.

В реплике Порфирия Петровича имеется в виду *матушка Раскольникова*, хотя формально на это в речи нет никаких указаний.

3.3. Диакритический принцип

В речевой коммуникации реализуется также принцип различия, который состоит в том, что номинация служит выделению объекта (чаще всего лица) из числа участников ситуации. Говорящему важно сообщить о таких характеристиках лица, которые были бы достаточны для его надежной идентификации — на фоне других лиц. Такую идентифицирующую и, одновременно, диакритическую функцию выполняют многие обращения. Рассмотрим в связи с этим реплику из рассказа Владимира Короленко «Мороз»:

Погоди, барин, этак нельзя. Одежда у тебя не по этому ветру. На вот, я привез тебе. Одевайся.

Существительное *барин* в форме обращения выполняет, скорее, различительную (или выделительную) функцию: в речевой ситуации принимают участие два человека, один из которых является деревенским старостой (управителем), а другой — начальником разведочной приисковой партии, т.е. «господином». Данная форма обращения, таким образом, служит манифестации социальной структуры, представляет статусные роли коммуникативных партнеров. Обращение *барин* было бы неуместно в ситуации с участием партнеров с одинаковым социальным статусом, независимо от характера статуса, например, в ситуации, когда один «господин» обращается к другому.

На диакритический принцип указывают и следующие примеры речевой коммуникации из художественной литературы:

Я не поздоровался с этим подлецом, которого не видел много лет (Фазиль Искандер).

Я не заложила тебя, как сказал этот вор и бандит, твой приятель (Эдуард Лимонов).

— А! — восклицает господин Ковалевский. — Здравствуйте, молодой человек красивой наружности и ловкого телосложения (Юрий Олеша).

Веселая барышня, — осклабясь сказал извозчик, — прибавьте хоть пяточок (Федор Сологуб).

В первом предложении предполагается, что говорящий не считает себя подлецом, во втором — не считает себя вором и бандитом, в третьем — не относит себя к числу молодых людей красивой наружности и ловкого телосложения, а в четвертом — не является веселой барышней.

Особенно заметна диакритическая функция номинативных средств языка в обращениях, содержащих негативную оценку адресата:

Скотина!
Мерзавец!
Глупец!
Иуда!

В этом случае предполагается фоновая информация о речевом субъекте, который считает, что у него нет негативных свойств, приписываемых другому лицу — и дает ему право для негативной оценки («Ты — глупец, я — нет»).

Диакритический принцип необязательно реализуется в высказываниях с аксиологической семантикой — выделение лица касается любых его характеристик: внешнего вида, поведения, рода занятий и т.п. Так, в предложении

На пороге стоял солдат с бумагой в руках (Юрий Домбровский)

с одной стороны, референт существительного *солдат* представляется с учетом его объективных свойств (человек на пороге, например, был одет в военный мундир и выглядел как солдат), но, с другой стороны, по-видимому, говорящий учитывает и факт, что ни он сам, ни другие лица, чью точку зрения он выражает, не относятся к классу солдат — иначе был бы выбран другой способ номинации. Подобным же образом реализуется диакритическая функция номинации в повести Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». С одной стороны — с точки зрения говорящего — отношение между описываемым лицом и участниками коммуникативной ситуации является основанием для выбора оптимальной формы номинации лица, хотя с другой стороны — с точки зрения слушающего — форма номинации позволяет судить о структуре коммуникативной ситуации. Рассмотрим один из примеров:

В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал:

— Я тоже хочу с вами выпить.

Все разом на него поглядели. То был черноусый, в жакетке и в коричневом берете (Венедикт Ерофеев).

Данная лицу характеристика (*черноусый, в жакетке* и т.д.) не оставляет сомнений относительно того, что это был единственный в данной ситуации черноусый человек, единственный, кто был одет в жакетку, и единственный, у кого на голове был коричневый берет. Кроме того, поскольку нет никаких указаний на близкое отношение *черноусого* к кому-либо из участников коммуникативной ситуации, можно считать, что такое отношение отсутствует.

Заключение

В данной работе рассмотрены теоретические предпосылки научного исследования социально-культурных аспектов языка, речи и речевой деятельности в разных лингвистических дисциплинах — таких, как функциональная и генеративная семантика, критическая лингвистика, психолингвистика третьего поколения, интерактивная грамматика и др. В качестве параметров семантической системы языка, которые отражают воздействие социальных факторов, были рассмотрены внутренняя форма, вторичная номинация (в частности, метафора), коннотация (ассоциация, лексический фон слова) и структура семантических полей. Были описаны три принципа речевой номинации, основанные на учете фона социальных отношений с участием говорящего или других участников коммуникативной ситуации: принцип ближайшего отношения, принцип эмпатии и принцип дифференциации. Из проведенных наблюдений следует общий вывод о своего рода амбивалентности процессов речевой номинации: говорящий, с одной стороны, учитывает функциональные, физические, генетические и др. свойства описываемого объекта концептуализации (и объекта номинации), с другой же стороны — обращает внимание на социально-культурный контекст номинации, место денотата знака в социальной структуре — с учетом собственной позиции. Этот процесс чем-то напоминает ситуацию из стихотворения Беллы Ахмадулиной «Мне дан июнь холодный и пространный...»:

На любованье маленьким оттенком
уходит час. Светло, но не рассвет.
Сверяю свет и слово — так аптекарь
то на весы глядит, то на рецепт.



Правда и значение слова

Я вам верю... но только это неправда!

Максим Горький

Введение

Данная статья посвящена проблеме описания категории правды в семантических исследованиях. В лингвистике, в частности, в русистике языковая номинация рассматривается без учета истинностного критерия, господствующего в логике и эпистемологии (и поэтому часто отвергаемого лингвистами как чуждый). Новые направления в языкознании последних десятилетий, особенно когнитивная лингвистика и эколлингвистика, способствуют тому, что место категории правды в системе языковой номинации пересматривается. В статье будет показано, что языковые знаки опираются на ментальную категоризацию денотатов, которая в более или менее явном виде фиксируется в их форме и структуре²¹. В зависимости от степени репрезентации в знаке содержания соответствующей когнитивной категории, а также соответствия этой категории объективным свойствам называемых объектов знаки могут получать веритативную (и отчасти аксиологическую) интерпретацию. Лингвистическая семантика, таким образом, получает свое место в парадигме наук о правде. Перед рассмотрением конкретного языкового материала я обращусь к истории данной лингвистической проблемы.

²¹ В последнее время в связи с этим часто используется понятие «языковлечения».

1. Значение и правда: от Аристотеля и Ф. де Соссюра до наших дней

Уже на раннем этапе философии языка обозначилась дихотомия двух концепций значения: феноменологической (эмпирической) и эпистемологической (гностической). В античности они были представлены теориями фюсей и тесей — природного и условного происхождения имен²². Основываясь на философских взглядах Платона, сторонники фюсей считали, что лексические знаки имеют естественную, онтологическую мотивацию, тем самым правдиво или неправдиво отражают предметы и явления действительности и, что важно, с этой точки зрения принципиально не отличаются от предложений. Напротив, представители другого лагеря, прежде всего Аристотель, утверждали, что знак (κατὰ συνθήκην) имеет конвенциональную природу — опирается на ассоциативную связь между звуком и понятием. Семантическая система языка, в понимании Аристотеля, включает три категории: 1) значение; 2) обозначение (референцию) и 3) истинностное значение. Каждая категория определяется в рамках бивалентного отношения: 1) между звуковой формой слова и понятием; 2) между знаком и предметом (его денотатом/референтом); 3) между субъектом и предикатом. Ниже совокупность этих отношений представлена графически.



Согласно Аристотелю, ни значение, ни референция слова не имеют отношения к истинностному критерию интерпретации знаков, который появляется только на уровне предложения как предикативной единицы: правдивым или неправдивым может быть формальное, т.е.

²² Историю разработки данной проблемы в языкознании подробно представил Э. Косериу (Coseriu 2004, 99 ссл.).

выраженное лексическими средствами языка, установление связи между логическим субъектом (подлежащим) и логическим предикатом (сказуемым), сами же лексические средства этой характеристики лишены, ср.:

Правда, что Оноре де Бальзак родился в Туре в семье крестьянина из Лангедока.

*Правда, что Оноре де Бальзак.

*Правда, что в семье.

Косериу убедительно показал, что в философии языка последующих эпох совершенно определенно обозначилось доминирование «линии Аристотеля»: начиная со средних веков, в теории семантики на первый план выдвинулась эпистемологическая, в своей сущности — функциональная концепция знака. В языкознании XX века ее последовательным сторонником был Ф. де Соссюр, который в разделе «Природа языкового знака» своего знаменитого «Курса общей лингвистики» писал: «Языковой знак связывает не вещь и ее название, а понятие и акустический образ» (1977, 99). При этом де Соссюр подчеркивал: «Связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна, поскольку под знаком мы понимаем целое, возникающее в результате некоторого означающего с некоторым означаемым» (там же, 100). Де Соссюр, который был убежден, что «всякий принятый в данном обществе способ выражения (семантической информации. — А. К.) в основном покоится на коллективной привычке или, что то же, на соглашении», считал, что «совокупность систем, основанных на произвольности знака», является главным предметом семиологии.

Непроизвольный, конвенциональный, культурно (а не онтологически) мотивированный характер лексических знаков (и что касается *signifiant*, и что касается *signifié*) означает невозможность их интерпретации с точки зрения правды/неправды. Лексические значения выражены произвольными фонетическими формами и образуют систему, в которой каждый семантический признак функционально зависит от другого. Семантика языка представляет тем самым замкнутую систему, в которой единицы наделяются соответствующими значимостями. Таким образом, категория правды оказалась вне границ лексической семантики и теории номинации (Rokoszowa 1997, 11): потеряло смысл рассуждать о правде или неправде лексических единиц языка как соответствии или несоответствию закодированных в них значений предметам и явлениям действительности, поскольку действительности в методологии имманентной лингвистической се-

мантики не было места. Эту точку зрения высказывает, например, польская исследовательница Б. Станош: существование или несуществование денотатов языковых знаков в реальном мире с лингвистической точки зрения не имеет значения, все знаки — и правдивые, и неправдивые — в системе языка обладают одинаковым функциональным статусом (см.: Rokoszowa 1999, 11)²³.

Продолжая «линию Аристотеля», современная лингвистическая семантика радикально дифференцирует слово и предложение как единицы разного порядка: на уровне предложения реализуется веритативная модальность, которая состоит в интерпретации его значения с точки зрения соответствия или несоответствия описываемому положению дел (см.: Kiklewicz 2004в, 146 ссл.), у слова же и словосочетания как номинативных единиц языка эта функция отсутствует. В связи с этим И. Ф. Вардуль (1977, 227) предложил различать фактовые и номинативные выражения, ср. его примеры:

The doctor arrived.
the doctor's arrival

Первое выражение обладает статусом предиктивной, фактовой единицы — оно может быть интерпретировано с помощью соответствующего веритативного оператора. Второе выражение имеет номинативный характер, и его веритативная интерпретация невозможна:

It is true that the doctor arrived.
*It is true that the doctor's arrival.

Дихотомия «слово — предложение» (в свете веритативной интерпретации) представлена не только в традиционной лингвистике, но и в логической семантике: здесь основными компонентами высказывания являются предикаты и аргументы, причем последние могут выступать в виде переменных или констант: $P(x, y)$; $P(a, b)$. Первая формула отражает открытую пропозицию, которая обладает только смыслом и лишена локализации в одном из возможных миров; другими словами, она отражает псевдовысказывания типа

Нечто имеет некоторое отношение к чему-либо.

²³ В связи с этим можно привести ставший уже хрестоматийным пример «нормального» языкового выражения из «Аспектов теории синтаксиса» (1966) Н. Хомского: *Colorless green ideas sleep furiously* — *Бесцветные зеленые идеи спят яростно*.

Вторая формула отражает закрытую пропозицию — она обладает не только смыслом, но и значением: существует хотя бы один возможный мир, по отношению к которому она может быть истинной или ложной. Поскольку переменная обладает значением, в область которого входит группа констант, например, $x = \{a, b, c\}$, то превращение открытой пропозиции в закрытую может быть достигнуто в результате замены переменной на соотносимые с ней константы или же посредством применения кванторов с целью количественного определения той области значения переменной, которая участвует в описываемой ситуации (Тарский 1948, 39). Кванторы применяются только к переменным (к общим терминам), ср.: **каждый Петр I, *каждый я*. Замена переменной на константу при наличии квантора невозможна, поэтому переменные закрытых пропозиций называют связанными. Открытая пропозиция содержит свободные переменные. Если хотя бы одна переменная в формуле свободна, то считается, что формула лишена истинностного значения и не является высказыванием.

Некоторые исследователи связывают квантификацию с понятием экстенционала (экстенсии) предиката — множества индивидов, по отношению к которым предикат, по терминологии Тарского, выполняется. Если имеется формула $P(x)$ и область значений переменной x составляют индивидные константы a, b, c , то экстенционал предиката P конгруэнтен подмножеству множества индивидных констант a, b, c , относительно которого высказывание с этим предикатом имеет истинностное значение, т.е. истинно или ложно. В. Косеска-Тошева и Г. Гаргов рассматривают квантификацию как свойство предиката, а именно — «наложение (или установление) ограничений на экстенсию предиката в различных ситуациях, в которых он участвует» (1990, 21; см. также: Dörpke 1985, 45; Hlavsa 1975, 72).

Независимо от версии логической семантики и трактовки категории квантификации очевидно, что, во-первых, категория правды применяется только к высказываниям (закрытым пропозициям) — веритативная интерпретация не свойственна предикатам и аргументам; во-вторых, истинностное значение высказывания обусловлено операциями, осуществляемыми с его лексическими конституентами — аргументами (по одной версии) или предикатами (по другой версии).

Было бы, однако, упрощением утверждать, что истинностный критерий вообще не присутствует в описании лексической семантики. На это, в частности, указывает практика семантического описания глагольных предикатов, а именно — разграничение фактивных

и нефактивных предикатов (см.: Шатуновский 1998, 18 ссл.; Danielewiczowa 2002, 32 сл.; Bogusławski 2009, 21). В первом случае в значении глагола (с функцией предиката высшего порядка) содержится презумпция (пресуппозиция) истинности, т.е. информация о том, что сообщение, передаваемое зависимым от глагола пропозициональным аргументом, правдиво. Такой характер имеют предикаты знания, например:

Иван знает, что Игорь едет в Москву.

В этом случае предполагается правдивость придаточного предложения («Правда, что Игорь едет в Москву»), которая остается в силе и при отрицании глагольного предиката:

Иван не знает, что Игорь едет в Москву [предполагается: Правда, что Игорь едет в Москву].

Нефактивные предикаты (как, например, глаголы *вообразать* и *считать*) содержат неправдивые или немаркированные с точки зрения веритативной интерпретации пресуппозиции:

Иван воображает, что спасает страну.

Иван считает, что кто-то должен ответить за это.

Важно, что различие фактивных и нефактивных предикатов связано с возможностью или невозможностью глагола присоединять к себе так называемый косвенный вопрос, ср.:

Иван знает, кто едет в Москву.

Иван знает, едет ли Игорь в Москву.

*Иван воображает, кто спасает страну.

*Иван воображает, спасает ли кто-то страну.

*Иван считает, кто должен ответить за это.

*Иван считает, должен ли кто-то ответить за это.

Следует, однако, заметить, что пример фактивных и нефактивных предикатов не служит убедительным доказательством того, что категория правды распространяется также на сферу лексической номинации: веритативная интерпретация в этом случае касается не непосредственно лексического значения глагола, а его пропозиционального аргумента, который реализуется в развернутой, изосемичной форме придаточного предложения. Как видим, правда не может преодолеть силу притяжения синтаксической предикативности.

Остается, однако, еще одна сфера лексической семантики, в которой категория правды применяется, по крайней мере, как объяснительный признак — метафора. В теории коммуникативной кооперации Г. П. Грайса рассматриваются разные виды отступлений от постулатов качества: «Не говори того, что ты считаешь ложным» и «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований» (1985, 222 сл.). Одним из видов таких коммуникативных импликаций считается метафора. Высказывания типа

Мышкин полез в портфель за газетой (Вера Белоусова)

внешне нарушают принцип кооперации: формально говорящий передает неправдивое сообщение, ведь Мышкин — дословно — не полез в портфель за газетой, а только сунул руку в портфель, чтобы достать газету.²⁴ Однако с коммуникативной точки зрения говорящий здесь подчиняется принципу кооперации — нарушая же один из его постулатов, дает слушающему сигнал, что какие-то лексические единицы в сообщении (в рассматриваемом случае это — глагол *полез*) употреблены неконвенционально.

Тот факт, что, как пишет Д. Дэвидсон, «в метафоре определенные слова принимают новое или, как его иногда называют, расширенное значение» (1990, 176), означает, что интерпретация этих слов с учетом их базовой, конвенциональной семантики не соответствовала бы намерению говорящего, другими словами — смыслу, закодированному в сообщении. Поэтому Дэвидсон считает, что явление метафоры может быть описано с помощью истинностного критерия (подобную мысль высказывает А. Богуславский, см.: Bogusławski 2009, 30):

[...] Предложения, в которых содержатся метафоры, истинны или ложны самым обычным, буквальным образом. [...] Наиболее очевидное семантическое различие между метафорой и сравнением заключается в том, что все сравнения истинны, а большинство метафор ложно. Земля на самом деле похожа на диск или шар, ассирийцы действительно спустились вниз, как волки в расщелину, потому что все подобно всему. Не сделайте эти предложения метафорами, и вы сразу получите ложь: земля похожа на диск или шар, но это не диск и не шар; писатель Толстой был похож на ребенка, но он не был ребенком (1990, 185).

²⁴ Это значение глагола *полезть*, кстати, отсутствует в академическом «Словаре русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой.

Другой американский философ, Дж. Серль, хотя не высказывается прямо в пользу веритативной интерпретации метафорических выражений, однако также использует истинностный критерий при объяснении данного явления. По Серлю, каждое предложение предполагает некоторый набор условий истинности, при этом в случае метафорических выражений, «когда говорящий произносит предложение вида S есть P , имея в виду метафорически, что S есть R »²⁵,

слушающему требуется нечто большее, чем знание языка, осведомленность об условиях произнесения высказывания и владение общими с говорящим фоновыми представлениями. Он должен располагать какими-то дополнительными принципами, или дополнительной фактической информацией, или какой-то комбинацией того и другого, которая позволила бы ему распознать, что, когда говоря S есть P , говорящий имеет в виду S есть R (1990, 314).

Как видим, и здесь метафора в определенном смысле равнозначна неправде: значение сообщения, по Серлю, не равняется значению говорящего, т.е. ложно с учетом того, что имеет в виду говорящий. Обратим, однако, внимание, что и Дэвидсон, и Серль, скорее, не имеют в виду ложность метафорического слова, а ложность всего предложения, в котором слово передает только какой-то элемент смысла. Действительно, ведь в случае приведенного выше предложения о Мышкине ложь содержит не сама глагольная форма *полез*, а тот факт, что этим словом (с учетом его буквального значения) называется действие Мышкина:

Неправда, что то, что сделал Мышкин, есть полез.

Как видим, и здесь категория правды/неправды реализуется в рамках предикативного отношения S есть P .

2. Значение и правда в свете теории категоризации

В модели Аристотеля и базирующейся на ней теории лингвистической семантики имеется определенное упущение, а именно — отсутствует указание на прямое отношение между значением и предметом. Хотя в известном семантическом треугольнике Ч. Огдена и А. Ричардса (Ogden/Richards 1969, 11 ссл.) — см. рисунок ниже, значение слова отражает, символизирует предмет, однако это отношение всегда

²⁵ Так понимаемая метафора представляет собой частный случай более общей категории малапропизмов, о чем пишет А. Богуславский (Bogusławski 2009, 49).

оставалось на периферии лингвистической семантики, о чем пишет, например, Г. Карделя (Kardela 1999, 23): лингвисты как бы сознательно «умывали руки», оставляя эту проблему для решения логикам, психологам, философам.



В связи с этим Дж. Лайонз писал:

Что касается взаимоотношения между «понятиями» и «вещами», то оно служило, конечно, предметом значительных философских разногласий. [...] Здесь (т.е. в аспекте лингвистической семантики. — А. К.) мы можем игнорировать эти философские различия (1978, 428).

С лингвистической точки зрения, как указывает И. К. Архипов, «подразумевается, что выбор той или иной формы слова обеспечивает ассоциацию с определенным смыслом и, наоборот, для выражения данного смысла используется данная форма слова» (2011, 456) — проблема же ментальной репрезентации предмета в языковом сознании остается на втором плане.

Лингвистическая семантика (в частности, ономазиология) имеет дело как бы с «готовым» значением, которое получает соответствующее языковое выражение. Но ведь значение (т.е. лексическое понятие) создается в процессе познавательной деятельности человека, представляя собой форму реакции организмов, а именно — человеческого сознания, на информацию, поступающую из внешнего мира. В языке, прежде всего в процессе номинации, отражается «первая попытка»²⁶ ментальной категоризации предметов; пусть потом, в процессе «второй, третьей и т.д. попытки» когнитивная репрезентация опытных данных претерпит изменения, но важно, что в языковой

²⁶ Я пользуюсь здесь метафорой А. Богуславского (Boguslawski 2009, 49).

форме знака закодирован определенный способ отражения конкретного фрагмента действительности. Поэтому сущность значения нельзя свести к отношению фонетической формы и лексического понятия — оно предполагает отношение трех элементов: формы, понятия и денотата (см.: Гак 1976, 83).

Поскольку определение языкового знака включает информацию о ментальной репрезентации денотата, которая кодируется в форме и структуре знака, естественно, возникает вопрос, насколько эта репрезентация соответствует объективным свойствам денотата, его актуальному восприятию. Де Соссюр писал: «Означающее не мотивировано, то есть произвольно по отношению к данному означаемому, с которым у него нет в действительности никакой естественной связи» (1977, 101). Замечу, что и отношение между понятием и денотатом носит произвольный характер: субъект познавательной деятельности имеет определенную свободу категоризации предметов окружающего мира²⁷, поэтому подобно тому, как с точки зрения отношения между означающим и означаемым знаками можно дифференцировать на композитивные, т.е. отражающие структуру означаемого, и синкретичные, условные, «глобальные», т.е. не отражающие структуру означаемого (ср. производные и непроизводные слова) (см.: Кубрякова 1986, 42 ссл.), знаки могут быть дифференцированы также с точки зрения степени адекватности ментальной репрезентации денотатов. Например, когда в конце 80-х прошлого столетия в Советском Союзе были введены талоны на продукты питания и некоторые товары народного потребления, власти пользовались приемом языковой манипуляции: в некоторых регионах талоны имели форму официального *приглашения*; ср. в качестве иллюстрации *Приглашение*



на покупку зубной пасты. Здесь совершенно очевидно расхождение между объективным статусом денотата и его интенциональным представлением, отраженным в форме слова. Можно утверждать, что в данном случае мы имеем дело с особым рода неправдой, реализуемой на уровне лексической единицы.

Языковая деятельность человека осуществляется в определенной среде — природной, технологической, идеологической и т.д., поэтому особое значение имеет необходимость конструирования языковых знаков в соответствии с релевантными формами отражения действи-

²⁷ Субъект пользуется особым рода когнитивным «интерфейсом».

тельности (с учетом окружающей среды). От степени точности, адекватности закодированной в форме знака категоризации предметов зависит успешность, оптимальность социального поведения человека посредством естественного языка. На эту сторону языковой деятельности особенно обращает внимание активно развивающаяся в последнее время *эколингвистика*, которая, в частности, ставит своей задачей реформирование языка с точки зрения содержания системы номинации, которая (на определенном синхронном срезе) должна соответствовать культивируемой данным языковым сообществом системе ценностей и картине мира (Kettemann/Penz 2000, 11; Steciąg 2011, 197 ссл.).

3. Пропозициональная и номинальная правда

В эпистемологии различаются понятия пропозициональной и номинальной правды (см.: Woleński 2007, 143 ссл.): в первом случае речь идет о реализации категории правды на уровне предикативных единиц, т.е. предложений, во втором случае — на уровне лексических единиц и словосочетаний. Как видим, эпистемологическая интерпретация правды несколько отличается от лингвистической, хотя Я. Воленский признает, что концепция номинальной правды, сущность которой сводится к тому, что понятие в большей или меньшей степени соответствует предмету мысли, встречается в философии относительно редко — например, культивируется некоторыми сторонниками гегельянства (там же, 144).

Такое положение можно объяснить тем, что концепция номинальной правды противоречит теории суппозиции. Как известно, в формальной логике каждое имя обладает суппозицией (или суппозитивной функцией): существует то, что названо (см.: Ziemiński 1987, 27). Поскольку имя обладает суппозицией, с момента своего появления оно с необходимостью обладает значением правды — она как бы «встроена» в его содержание. Другими словами, имя не возникло бы как имя чего-то — существование этого «чего-то» и обуславливает перманентный веритативный статус имен. Например, в случае предложения

Русские не сдаются

можно дискутировать по поводу уместности подобной предикации, т.е. содержания предложения, однако правдивость номина-

ции *русские* при любой интерпретации предложения не вызывает сомнений.

С концепцией номинальной правды не согласуются также факты языковой практики, а именно — условия употребления веритативных операторов *правда, неправда* и т.п. Данные операторы функционируют в речи как предикаты высшего порядка, которые обязательно подчиняют пропозициональный аргумент:

Правда / неправда, что русские не сдаются.

Именно поэтому исключено применение веритативного оператора к отдельным именным группам:

*Правда / неправда, что русские.

Проблема могла бы считаться решенной, если бы понятие действительности ограничивалось только рамками материального мира, данного нам в ощущениях, и если бы ощущения не зависели от конкретных ситуаций нашего опыта. В действительности же мы имеем дело с возможными мирами, поэтому суппозитивная функция имени реализуется по отношению к одному из возможных миров — к материальному миру или вымыслу. Существование возможных миров обуславливает феномен пустых (или контрфактивных) имен, другими словами — семантических фантомов типа:

бездетный отец
зеленая синева
третья жена Пушкина
концерт для виолончели Бетховена
круглый квадрат и др.

Лексические единицы этого типа представляют собой семантический парадокс: с одной стороны, денотат этих имен существует в силу их суппозитивной функции (они что-то называют); с другой стороны, их денотат не существует — в силу их значения. Контрфактивные имена правдивы и ложны одновременно. Парадокс этот можно разрешить ссылкой на возможные миры: имя является пустым только по отношению к определенному возможному миру (в рассматриваемых выше случаях это — материальная действительность), при этом обязательно существует такой возможный мир, в котором имя имеет репрезентативный статус. Так, приведенные выше выражения вполне могут быть «оправданы» с учетом особых перцептивных состояний

субъектов, их воображения, представления, ментального конструирования. Этим объясняется специфика естественных языков, в которых отношение между правдой и неправдой имеет размытый характер (см.: Putnam1981, 30).

Существование возможных миров и обуславливает, и объясняет (объяснение обычно сводится к описанию причины) тот факт, что в зависимости от системы культурного программирования поведения и системы ментальной репрезентации одни и те же формы лексической номинации могут быть правдивыми и ложными. Это часто наблюдается при конфронтации двух точек зрения: обыденной и научной. Характерный пример этого рода приводит В. И. Беликов (2009): существительное *камыш* в русском языке, по данным словаря под ред. А. П. Евгеньевой, употребляется в значении: 'высокое травянистое растение семейства осоковых, растущее по берегам рек, озер, на болотах'. Отличить камыш от других высоких растений, растущих по берегам водоемов, однако, не так легко. Беликов пишет, что неоднократно предъявлял носителям русского языка три изображения, спрашивая, на каком из них представлен камыш.



typha latifolia



phragmites australis



scirpus lacustris

По результатам исследования Беликова, в Москве камышом обычно называется левое растение — правое с этим названием ассоциируется меньше всего, хотя с научной точки зрения обе номинации следовало бы признать ложными: в биологической номенклатуре *typha latifolia* — это *рогоз*, *phragmites australis* — *тростник*, а *scirpus lacustris* — *камыш*.

Беликов приводит и другой интересный пример веритативной относительности имен, на этот раз обусловленный социокультурным и региональным факторами. Речь идет об условиях репрезентативного употребления словосочетания *красная рыба*:

В трактовке красной рыбы абсолютно все толковые словари единодушны: 'рыба семейства осетровых'; сведение крайне полезное для читателей русской классики. Скажем, когда в «Братьях Карамазовых» в описании монастырского обеда фигурируют котлеты из красной рыбы (кн. 2, VIII, Скандал), надо понимать, что приготовлены они были из осетрины, на худой конец из стерлядки. Но говорят ли сейчас так? Конечно: в Махачкале, Астрахани, Атырау (бывшем Гурьеве), Дудинке только так и говорят. Иногда в Ростове-на-Дону и совсем редко в Красноярске. Но в районах концентрации лексикографов для бутербродов с красной рыбой используют семгу, кету, в крайнем случае — горбушу (все — лососевые) (2009).

Ссылкой на возможные миры (альтернативные типы категоризации объектов восприятия) нельзя, однако, объяснить всех фактов несоответствия языковых выражений действительности — некоторые из них относятся к разряду языковых ош и б о к . Таковы, например, многие «перлы» спортивных комментаторов, например:

индивидуальная акция всей команды

В большинстве же случаев лексические фантомы появляются в результате намеренной, креативной деятельности языкового субъекта — своеобразной экстериоризации мира переживаний, впечатлений, представлений и т.д. Например, выражение

живой труп

внешне может казаться контрфактивным, однако как название пьесы Льва Толстого оно указывает на человека в состоянии сильной психической депрессии, потерявшего интерес к жизни²⁸. В дискурсах современной массовой культуры *живой труп* представляется в виде зомби — оживленного фантастическим образом трупа. Кроме того *живой труп* представлен в разных формах шизофренического воображения (см.: Дилтс 2001, 115).

Требование истинности экзистенциальных пресуппозиций применительно к естественным языкам не может пониматься в онтологическом смысле, иначе языковая передача сообщений о так называемых конструктах (например, написание повести *science fiction* или

²⁸ Первоисточником данного выражения является Новый Завет. В русском языке оно впервые — в его общеизвестной форме — встречается у А. С. Пушкина в поэме «Полтава».

лирического стихотворения)²⁹ была бы невозможной. Поэтому по отношению к естественному языку наиболее применима консенсуальная концепция правды (см.: Dębowski 2010, 77)³⁰. Как пишет Ю. Дембовский, сторонник «радикального когниционизма», понятие правды функционирует за границами познавательной сферы. Этим объясняется диверсификация «правды» – существование «правды литературы», «исторической правды», «комсомольской правды», «своей vs. чужой правды», «правды, освещающей путь vs. правды, согревающей сердце» и т.д.

4. Лексические фантомы

В следующих секциях будет рассмотрено явление ложной номинации, т.е. неадекватной репрезентации предметов, действий, состояний, процессов и свойств в семантическом содержании знаков, отраженном в их структуре. При этом я буду различать два типа ложной номинации. Во-первых, существуют лексические фантомы – контрфактивные лексические единицы, нерепрезентативные экстенционально, т.е. имена несуществующих с объективной или конвенциональной точки зрения денотатов. Во-вторых, имеется также большой массив лексических фальсификатов, которые, называя реально существующие объекты, указывают на несвойственные им признаки и тем самым искажают когнитивную репрезентацию денотатов.

В первой группе выделяются аналитически ложные номинации, контрфактивность которых обусловлена объединением в одной конструкции семантически несогласующихся, контрастирующих слов. В сущности, речь идет о семантическом противоречии или парадоксе. Примеры этого явления частично приводились уже в предыдущей секции, их можно, разумеется, продолжить:

железное дерево
горячий снег
без вины виноватый
начало конца

²⁹ Ср. выразительный пример – название сборника стихотворений белорусского поэта Виктора Шнипа: «Беларускае мора» («Белорусское море»).

³⁰ Существует давний спор между сторонниками абсолютной и относительной концепции правды, см.: Ziemińska 2009; Bańka 2009.

Кроме того существуют эмпирически ложные номинаты: они не содержат семантического противоречия, но нерепрезентативны в силу того, что называют вымышленные явления и предметы, хотя часто используют категории явлений и предметов, существующих в действительности, например:

золотая гора
трехметровый человек
демократические выборы в России

Может казаться, что с практической точки зрения лексические фантомы нецелесообразны и сфера их функционирования ограничивается логическими (эвристическими) экспериментами, философскими и художественными текстами. Это предположение неверно, так как явление контрфактивности оказывается востребованным во всех сферах речевой деятельности. Например, регулярно оно встречается в разговорной речи — в составе многих фразеологизмов (см.: Dobrovol'skij 1995); здесь семантическое противоречие представляет фактор метафорического преобразования слов, о чем свидетельствуют примеры русского, польского и немецкого языков:

десять/сорок бочек арестантов 'неправда'
wieszać na kimś psy 'оскорблять, оговаривать кого-л.'; буквально: 'вешать на ком-л. собак'
aus der Haut fahren 'нервничать, чувствовать себя разраженным'; буквально: 'ехать / выезжать из кожи'

На явлении контрфактивности основан также оксюморон — «парадоксально звучащая антитеза, обычно в виде антонимичных существительного с прилагательным или глагола с наречием» (Кожевников/Николаева 1987, 258).

убогая роскошь наряда (Николай Некрасов)
черная белизна украинских судей («Еженедельник»; 1 XII 2006)
медленно спешить (интернет-форум; <http://otvet.mail.ru/question/42978248>)
веселая грусть (интернет-форум; <http://otvet.mail.ru/question/42978248>)
смех сквозь слезы

Очередное явление, в котором находит отражение контрфактивное употребление лексических номинатов, — это гипербола, которая представляет собой нарушение одного из постулатов категории качества в теории Грайса (см. секцию 1): «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований». При этом надо заметить, что гипер-

бола нередко лежит в основе фразеологических сочетаний, ср. некоторые примеры:

миллион поцелуев
глаза на лоб полезли
подпрыгнуть до небес

Гиперболическая контрфактивность часто употребляется как средство идеологической пропаганды, причем не только в дискурсе власти, но и в дискурсе оппозиции. Например, прошедшая в России в мае 2012 года акция политической оппозиции была названа претенциозно:

«Марш миллионов».

Действительно, это было одно из самых массовых шествий оппозиции за последние десять лет, однако даже по подсчетам главного организатора этого мероприятия, Сергея Удальцова, в митинге приняло участие около 120 тысяч человек, по данным же ГУВД — не более 15 тысяч. До миллиона далеко...

Видимая семантическая контрфактивность возникает не только в результате диверсификации понятия действительности (а именно — соотношения знака с одним из возможных, интенциональных миров), а также не только как фактор метафорического употребления лексических знаков — в основе семантической контрфактивности может лежать также синтаксическая компрессия. Рассмотрим с этой точки зрения словосочетание:

сухое молоко

Поскольку *молоко* определяется в толковых словарях как 'белая жидкость, выделяемая грудными железами женщин и самок млекопитающих после родов для вскармливания младенца', то совершенно понятно, что сочетание с прилагательным *сухой* приводит к семантическому противоречию. Это противоречие, однако, является следствием преобразования базовой, более развернутой синтаксической структуры:

сухое молоко < растворимый порошок, получаемый высушиванием нормализованного пастеризованного коровьего молока

Поскольку лексические фантомы связаны с возможными мирами, их роль особенно заметна в межкультурной коммуникации, когда системы ментальной репрезентации коммуникативных партнеров существенно различаются. В этом отдает себе отчет, например, неспециалист, имеющий дело с научными и техническими терминами, которые при «первой попытке» (вспомним здесь определение Богуславского) их интерпретации кажутся парадоксальными:

нулевая вода
жидкий кислород
пустое множество
квадратура круга
множество всех множеств
нулевая флексия

Возможные миры могут генерироваться также историческим фактором, что обуславливает существование в лексической системе языка так называемых историзмов, в частности, советизмов — названий ушедших из обихода предметов и явлений, характерных для эпохи СССР, ср. некоторые примеры:

социалистическое соревнование
нормы ГТО
комсомол
октябрята

Не менее широка область функционирования лексических фантомов в сфере этнических межкультурных отношений. Здесь часто наблюдается явление экзотизмов, т.е. таких названий, которые отсутствуют в языке коммуникативного партнера — они определяются также как лексические лакуны. Например, словосочетание

выпить молока

в русском языке выглядит совершенно обычным, хотя, переведенное на вьетнамский язык, содержит в себе семантический парадокс: вьетнамцы не пьют молоко, употребляя его только в виде порошка или добавляя в кофе (см.: Koczerhan 2009, 23). Поэтому переводя с русского языка на вьетнамский предложение

Утром она выпила стакан молока и пошла на работу

переводчик должен учитывать, что с вьетнамской точки зрения оно звучит весьма экзотично (как, например, по-русски звучало бы сочетание *выпить стакан уксуса*). Желая избежать нежелательной реинтерпретации предложения, *молоко* в переводе можно заменить *чаем* или другим, более типичным для вьетнамской культуры напитком.

Наконец, возможные миры реализуются также в разного рода функциональных стилях, которые состоят не только в употреблении определенных языковых и реализации определенных коммуникативных действий, но также характеризуются определенным типом онтологической отнесенности. Пожалуй, особенно заметна здесь нетривиальность языковой номинации в сфере художественных дискурсов и, прежде всего, лирической поэзии. Польское и русское выражения

piąta pora roku
пятая пора года

формально представляют собой примеры эмпирической контрфактивности, хотя функционально они «оправданы» так называемыми текстами культуры (прецедентными текстами — в терминологии Ю. Н. Караулова): русское выражение ассоциируется со стихотворением Анны Ахматовой, а польское — с фильмом Ежи Домарадского.

5. Лексические фальсификаты

Лексические фальсификаты выделяются в области производных номинатов, морфемная или лексическая структура которых хотя бы частично отражает категоризацию денотата в сознании. Обычно это явление описывается с помощью понятия *внутренней формы*: в структуре языкового знака представлена его понятийная мотивация, т.е. сжатый ответ на вопрос, почему данный предмет называется данным словом. Как уже отмечалось в первом разделе, внутренняя форма обычно представляет результат «первой попытки» категоризации предмета. Эта «первая попытка» может быть более или менее удачной, т.е. представлять предмет более или менее адекватным образом. В связи с этим лексические номинаты можно разделить на две группы: репрезентативные и нерепрезентативные, хотя граница между ними не имеет строгого характера. Например, сравним слова *понедельник* и *полночь*. Первое существительное своей внутренней

формой (*понедельник* происходит от общеслав. **nedělja* ‘воскресенье’) указывает на день недели, следующий после воскресенья; таким образом, закодированная в структуре знака понятийная интерпретация денотата согласуется с его релевантной, актуальной эпистемической репрезентацией в современной культуре (т.е. с тем, что мы знаем о *понедельнике*).

Второе существительное с этой точки зрения оказывается более проблематичным: формально *полночь* означает «половину», т.е. середину ночи, но с лексическим значением эта внутренняя форма согласуется только частично: в «Словаре русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой *полночь* объясняется как ‘середина ночи, время, соответствующее двенадцати часам ночи’. С культурно-когнитивной точки зрения семантическая фальсификация оказывается еще более заметной, ведь время, соответствующее двенадцати часам ночи, не делит, строго говоря, ночь на две равные части. Современные европейцы в темное время суток ложатся спать около десяти-одиннадцати часов вечера, а просыпаются — около шести-семи; таким образом, середина ночи, скорее, соответствует двум-трем часам. Картина существенно не изменится, если понятие темного времени суток мы будем определять астрономически. По астрономическим данным, 12 сентября 2013, когда я пишу этот текст, заход солнца начинается в 19:01, а восход — в 06:11. Простой арифметический подсчет показывает, что середина ночи приходится на момент времени 00:35 — так или иначе это не равняется двенадцати часам ночи.

Другим примером интенциональной неадекватности лексической единицы может послужить существительное *выключатель*. Если мы обратимся к толковому словарю, то станет очевидным, насколько сильно здесь расхождение между внутренней формой и лексическим значением: словарь определяет данное слово как ‘прибор для включения и выключения электрического тока’, тогда как внутренняя форма слова указывает только на одну функцию³¹. В данном случае мы имеем дело с исключенной альтернативой — явлением, когда в языковой номинации учитывается только один аспект называемого предмета, другие же его аспекты, в том числе и противоположные по содержанию, игнорируются. Можно сослаться на ставший хрестоматийным пример существительного *чернила*, которое происхо-

³¹ В польском языке в этом случае имеется большой выбор форм номинации, а именно — существительные *wyłącznik*, *włącznik*, *łącznik*.

дит от прилагательного *черный* и своей внутренней формой указывает на черный цвет, хотя чернила могут быть *красные, зеленые, синие* и т.д.

Исключенная альтернатива реализуется и в случае слова *отвертка*. В словаре его значение определяется как 'инструмент для ввинчивания и вывинчивания винтов, шурупов'. Как и на примере *выключателя*, мы видим, что понятийная категоризация имеет бивалентный характер, т.е. указывает на две противоположные функции предмета. Удивительно то, что в практике, как подсказывает мой опыт, отвертка чаще употребляется как инструмент для ввинчивания, поэтому странно, что она называется *отверткой* (а не, например, *заверткой*, хотя последнее название не годится — оно зарезервировано для выражения другого значения: 'изделие, служащее для запираания дверей и окон с одной стороны при помощи вращения ручки').

С подобным фактом мы сталкиваемся и в случае слова *насос*. Лексическая категоризация указывает на действие в определенном направлении: *насосать* означает 'наполнить емкость жидкостью или газом'. Однако же значение слова (понятийная категоризация) имеет более широкое содержание: 'машина, устройство для накачивания или выкачивания жидкостей'. В случае таких названий, как *водный насос*, функция выкачивания оказывается даже важнее.

Интенционально нерепрезентативный характер имеют также многие номинаты в форме словосочетания. Одним из первых на это явление (не употребляя, естественно, лингвистической терминологии) обратил внимание Гилберт Кит Честертон. В эссе «Бернард Шоу» он писал о неточности, аппроксимативности некоторых названий цвета:

Про Бернарда Шоу и даже про тех, кто много глупее его, обычно говорят: «Они хотят доказать, что белое — это черное». Лучше бы сперва подумать о том, точно ли мы обозначаем цвета. Не знаю, зовется ли белым черное, но желтое и розовато-бежевое белым зовется. Белое вино — светло-желтое, а европейца, чье лицо неопределенного, бежеватого, иногда розоватого цвета, мы именуем «белым человеком», что звучит жутко, как описание призрака у Эдгара По. Если кто-то попросит официанта принести желтого вина, тот усомнится в его разуме. Если чиновник сообщит из Бирмы, что там живет «две тысячи бежеватых людей», его сочтут глупым шутником и выгонят со службы. Однако оба пострадают за правду. Бернард Шоу — именно этот правдолюбец из ресторана, именно этот правдолюбец из Бирмы. Все думают, что он сумасброд и чудак, потому что он не называет желтого белым. И блеском своим и твердостью он обязан очевидной, но забытой истине, гласящей, что правда удивительней выдумки. Иначе и быть не может; ведь выдумка должна угодить нам (Честертон 1984, 68; разрядка моя. — А. К.).

Другой пример: в русской речи казахов мне привелось несколько раз слышать странное выражение³²:

машина в масле

Таким образом в разговорной речи называется новый автомобиль, купленный в салоне. То, что *машина* — понятно, но почему она *в масле*? По-видимому, прототипом этой номинации послужил вид механизмов (в том числе и средств передвижения), некоторые детали которых имеют на себе так называемую *заводскую смазку*. Смазка эта, служащая для консервации деталей устройства при длительном его хранении³³, и вызывает у носителей языка ассоциацию с (машинным) маслом. Таким образом, странное выражение представляет собой результат синтаксической компрессии и имеет, предположительно, следующую деривационную историю:

машина в масле < новая машина, металлические детали которой покрыты слоем заводской смазки, своим видом, консистенцией напоминающей машинное масло

Как видим, процесс синтаксической деривации приводит к резкому сокращению формы и структуры языкового выражения, чем может объясняться его особый семантический статус — «непрозрачность» понятийной категоризации денотата.

Кстати, рассматриваемый пример интересен и в другом смысле — с точки зрения синтаксической нерепрезентативности. Выражение *машина в масле* образовано по модели выражения

машина в гараже

в котором предлог *в* имеет пространственное значение: 'место, внутри которого находится предмет'. Совершенно понятно, что конструкция *машина в масле* не согласуется с этим значением: в действительности имеется в виду не машина в масле (т.е. внутри масла), а масло (т.е. заводская смазка) на машине (на поверхности деталей

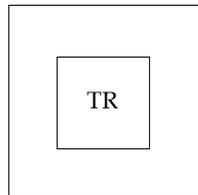
³² Данное выражение специфично для русской разговорной речи в Казахстане — в других регионах СНГ оно, по моим данным, не известно; см. об этом фрагмент интернет-форума на сайте: <http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=5fcd3820191be967>.

³³ Специалисты объясняют эту ситуацию тем, что новый автомобиль собирается по частям (иногда детали могут быть от разных заводов-производителей), которые консервируются с помощью смазки. Собранный автомобиль подлежит расконсервации, но ассоциация с маслом (как видом жидкого смазочного материала) остается.

машины), с определенной точки зрения — масло в машине, например, под капотом, где находятся детали двигателя. Это различие можно показать графически, используя понятия траектора и ландмарка из когнитивной грамматики Р. Лангакера³⁴.

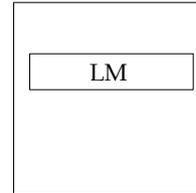
машина в гараже

LM



машина в масле

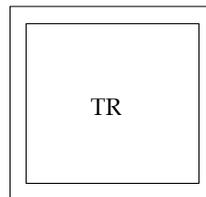
TR



Лексическая категоризация, отраженная в структуре выражения *машина в масле*, как можно предполагать, опирается на представление языкового субъекта, что масло (заводская смазка) как бы обволакивает весь корпус машины.

машина в масле

LM



Тогда языковая номинация оказывается в какой-то степени оправданной, хотя это не изменяет факта специфической ментальной установки языкового субъекта, что с конвенциональной точки зрения (т.е. когда вышеуказанная установка отсутствует) вызывает эффект

³⁴ Напомню, что траектор — это компонент высказывания, называющий элемент описываемой ситуации (обычно подлежащее), который считается основным, ответственным за протекание ситуации (на него направлен фокус внимания субъекта), а ландмарк (обычно дополнение) — фоновым, дополнительным.

малапропизма. Такого же типа явление (впрочем, еще более странное) мы наблюдаем на примере высказываний:

В Украине начали конфисковывать авто на иностранных номерах.
Таможенники и ГАИ ловят авто на литовских и польских номерах.
Кто может подсказать относительно покупки авто на польских номерах?
Встречаю объявления о продаже машин на иностранных номерах.

Выражение *машина на номерах* (обычно с прилагательным при зависимом существительном) довольно трудно обосновать с когнитивной точки зрения: если масло в воображении человека хотя бы обволакивает автомобиль, то такую картину трудно представить себе с номерным знаком, ведь он занимает фиксированное положение на передней и задней стороне машины. С объективной точки зрения картина выглядит как раз противоположным образом: не *машина – на номерах*, а *номера – на машине*. Как видим, у языкового сознания свои причуды, которые не всегда можно объяснить соображениями здравого смысла.

Заключение

В теории и философии языка справедливо считается, что языковые знаки амбивалентны по отношению к значениям веритативной модальности: ни слова естественного языка, ни морфемы, ни структурные схемы словосочетаний и предложений не выражают правды или неправды. Это, однако, не означает, что категория правды не имеет отношения к системе языка. Поскольку подавляющая часть лексикона производна (см.: Kiklewicz 2001, 41), а кроме того, к ней примыкает огромный массив номинатов в форме словосочетаний (так называемых языковых клише и фразеологизмов, см.: Chlebda 2003, 177 ссл.; Leszczak 2007), в форме и структуре лексических знаков – хотя бы фрагментарно – представлена ментальная категоризация называемых объектов. Таким образом, в лексическом знаке закодирована «скрытая предикация» – то, что польский исследователь П. Стальмащик называет понятийной предикацией (Stalmaszczyk 1998, 34).

В данной статье был рассмотрен языковой материал, т.е. факты семантической нерепрезентативности лексических единиц в системе языка. Это явление еще более массово в речевой деятельности, где значительно большую роль играет субъективный фактор. Например, когда на упаковке продукта мы читаем:

растительный белок

само название (в сущности, лексическое клише) непосредственно означает белок растительного происхождения — по модели выражений:

растительное масло
растительный жир
растительная пища

Поскольку в современной культуре популярны разного рода практики здорового питания, в частности, ограничение употребления жира, выражение *растительный белок* благодаря своей внутренней форме ('белок растительного происхождения') несет положительную коннотацию. Эта коннотация оказывается, однако, обманчивой: в действительности за растительным белком часто скрывается генетически модифицированная соя. Независимо от того, как относиться к проблеме ГМО, очевидно, что выражение *растительный белок* в гастрономической (глуттоническом) дискурсе (об этом дискурсе см. подробнее: Земскова 2013) заключает в себе фальсификацию денотата.

Другим примером фальсификации в коммерческом дискурсе может послужить шоколад «Бабаевский».



На лицевой стороне упаковки указано, что конфеты сделаны из темного (или горького) шоколада. В то же время на обратной стороне упаковки можно прочесть состав изделия: сахар, какао, масло какао, молочный жир... В соответствии с рецептурой в горьком или темном шоколаде молочного жира быть не должно — его кладут в шоколад для уменьшения количества какао-масла. Такой шоколад должен называться молочным.

В статье было показано, что явление семантической нерепрезентативности (экстенциональной и интенциональной) широко представлено также в системе языка. Поскольку данная проблема непосредственно связана с понятием возможных миров, категория правды получает новую перспективу реализации — в области лингвокультурологических исследований. Каждый языковой номинат с этой точки

зрения рассматривается как своего рода сообщение невидимого отправителя из (более или менее) далекого прошлого — субъекта «первой категоризации» денотата, современникам, которые интерпретируют его в аспекте веритативной модальности, т.е. как соответствующее или не соответствующее действительности.

Честертон писал: «Глубоко убежденный человек кажется странным, ибо он не меняется вместе с миром». Это можно сказать и о многих словах нашего языка.



Язык новых русских: прагматика имен собственных

Там (в США. — А. К.) художника никто не знал. Однажды Шагал хотел расплатиться за визит к местному доктору своим рисунком. Сельский врач предпочел два доллара, чего ему так и не простили наследники.

Александр Генис

1. Неосемантизация / деонимизация

В последнее время лингвисты обратили внимание на новое явление в славянских языках: неосемантизацию имен собственных (далее — ИС), а именно — деонимизацию, т.е. их переносное, нереференциальное употребление (Rutkowski 2007, 13; Ратникова 2003, 51 сл.). Речь идет о выражениях типа:

Афродита нашей легкой атлетики
одесский Армстронг
Мерилин Монро нового миллениума

Это явление особенно широко распространено в текстах массовой информации, а также в художественной литературе, которая, как известно, в стилистическом аспекте все более подвержена влиянию СМИ.

Не менее интересны также процессы, затрагивающие коммуникативную сферу языковой деятельности. В этом случае семантический (системный) потенциал знака остается без изменений (без существенной модификации), но зато наблюдается смещение коммуника-

тивных сфер, шире — условий, его функционирования. Наблюдения показывают, что одним из примеров такого прагматического смещения является употребление ИС в устной разговорной речи так называемых «новых русских» — новой финансово-промышленной элиты, возникшей в России в 80-е и 90-е годы прошлого столетия. Язык новых русских можно квалифицировать как один из социальных, а именно — классовых, вариантов современного русского языка. Таким образом, предмет данного исследования — в теоретическом аспекте — касается функционально-прагматических свойств конкретного социолекта.

Источником эмпирического материала послужила повесть современной русской писательницы Оксаны Робски «Casual»³⁵. Выбор источника языкового материала определен тем, что книга Робски переведена на несколько европейских языков (в том числе и на польский) и пользуется широким читательским успехом благодаря точной передаче атмосферы, господствующей в среде «новых русских», их системы ценностей и специфического языка.

2. Имена собственные и уровни категоризации

С точки зрения когнитивной семантики, а именно — теории семантических прототипов, ИС представляют собой названия категорий подбазового уровня, для которых характерна высокая степень спецификации объектов, ср.:

1. надбазовый уровень: *бытовой прибор*;
2. базовый уровень: *зажигалка*;
3. подбазовый уровень: *зажигалка Dupont*.

В области когнитивной теории прототипов — применительно к лингвистической семантике — в последние десятилетия появилось немало фундаментальных исследований, в частности, ставшие классическими монографии Дж. Тэйлора и Г. Клейбера (см.: Lakoff 1984; Corrigan 1989; Taylor 1989; Kleiber 1993; Rice 1996; Schmid 1998; Sigloch 1994).

Особое место в системе категоризации опытных данных занимает базовый уровень: он предусматривает оптимальное количество информации, требуемое в нейтральных условиях человеческой деятельности, в частности, в условиях естественной коммуникации, поэтому названия категорий базового уровня доминируют в разговор-

³⁵ В выборке и предварительной обработке фактического материала принимала участие моя семинаристка М. Кшечковская.

ной речи, тогда как названия над- и подбазовых категорий более естественны в условиях специализированной коммуникации, на что указывает польская исследовательница Э. Табаковская (Tabakowska 2001, 46), ср.:

Ивана укусила собака.

? Ивана укусило животное.

? Ивана укусил молодой соседский боксер по кличке Вальтер.

Характерным примером стилистической маркированности знаков является также окказиональное употребление ИС в «метафизической» поэзии Николая Заболоцкого:

Меркнут знаки Зодиака
Над просторами полей.
Спит животное Собака,
Дремлет птица Воробей.
Меркнут знаки Зодиака
Над просторами села,
Спит животное Собака,
Дремлет рыба Камбала [...]

В этом и в подобных случаях мы имеем дело с нарушением известного, сформулированного Г. П. Грайсом постулата количества, в соответствии с которым высказывание должно содержать не меньше и не больше информации, чем требуется (Грайс 1985, 222). В ситуациях данного рода возникают коммуникативные (в другой терминологии — прагматические) импликации, т.е. вытекающая из содержания или формы сообщения дополнительная информация — фактуального или интерпретирующего характера. Например, злоупотребление абстрактными существительными или местоимениями — вместо лексем с конкретным содержанием, может означать стремление говорящего к тому, чтобы «затушевать» чувство неловкости, связанное с информированием об определенных явлениях и предметах (например, из эротической сферы, подробнее см.: Киклевич 2007, 393), ср.:

Мать. Опомнись, что между вами могло быть! Альдонса. Всё (Александр Володин).

Я выросла и узнала, как все делается (Петр Кожевников).

3. Стиль «гламур»

Употребление ИС в речевой коммуникации удовлетворяет определенным требованиям, прежде всего — точности и конкретности выражения. Например, в повести Чингиза Абдуллаева читаем:

В общем, Глушкова убили. Нашли на втором этаже, в кабинете. А пистолет не нашли, исчез. Наши эксперты установили, что выстрел был сделан из пистолета системы Бернарделли, модель «П-18 компакт».

В этом случае употребление названий марки и модели пистолета полностью обосновано, востребовано ситуацией следствия: информации о том, что *выстрел был сделан из пистолета* было бы, скорее всего, недостаточно. В другом фрагменте повести читаем:

В приемной была немецкая офисная мебель, за которую, очевидно, были уплачены немалые деньги. Институт Глушкова явно не бедствовал.

Ссылка на *немецкую офисную мебель* здесь также оправдана — она необходима для общей оценки описываемой ситуации.

В то же время в коммуникации с участием новых русских (как она отражена в художественной прозе, в частности, в повести Оксаны Робски) часто наблюдается чрезмерное, прагматически не оправданное употребление ИС, которое становится источником коммуникативных импликаций. Рассмотрим несколько примеров:

Я нажала интерком и попросила чаю. Откинулась на спинку плюшевого кресла.

Я вытащила из пачки сигарету. Он щелкнул зажигалкой Dupont.

Платье с длинным фартуком от «Мажордома» делало её похожей на героиню мексиканских сериалов.

Я подъехала к их белому дому! Захватив с собой торт «Наполеон».

Чрезмерная спецификация описываемых объектов в данном случае прагматически не оправдана: с точки зрения повествования и содержания описываемых событий, как можно судить, совершенно не существенно, было ли кресло плюшевым, виднелся ли на зажигалке фирменный знак одного из крупнейших в мире химических концернов «Дюпон», какой марки было платье с длинным фартуком на героине и как назывался торт, который она захватила с собой, подъезжая к белому дому. На эту необязательность подбазовых номинаций, в том числе и ИС, указывают следующие трансформации — альтернативные формы повествования:

Я нажала интерком и попросила чаю. Откинулась на спинку кресла.
Я вытащила из пачки сигарету. Он щелкнул зажигалкой.
Платье с длинным фартуком делало её похожей на героиню мексиканских сериалов.
Я подъехала к их белому дому! Захватив с собой торт.

Как видим, после элиминирования ИС семантически языковые выражения мало что теряют. Писательница, однако, регулярно прибегает к приему семантического усложнения текста, преследуя при этом, вне сомнения, конкретную коммуникативную цель, а именно — создание коммуникативных импликаций (или коннотаций), характеризующих не столько описываемые события и объекты (денотаты языковых выражений), сколько самого говорящего. Так, в тексте повести подчеркивается роскошь окружающих героиню предметов: телефон с функцией интеркома, плюшевое (значит — мягкое, удобное, дорогое) кресло, фирменная зажигалка, фирменный фартук и т.д. Налицо стремление посредством ссылки на дорогие предметы одежды или питания подчеркнуть исключительную важность, высокий ранг собственной персоны. Ср. подобные примеры стиля «гламур» из произведений других современных русских авторов (материал частично предоставлен украинско-немецкой германисткой К. Прокопчук):

Современный писатель, [...] заканчивая роман, проводит несколько дней над подшивкой глянцевого журнала, переносит в текст названия дорогих машин, галстуков и ресторанов — и в результате его текст приобретает некое отраженное подобие высокобюджетности (Виктор Пелевин).

Я повертела в руках серебристый тюбик Живанши, похожий на ракету, — дорогая фирма, вернее, одна из самых дорогих. Я сама пользуюсь такой и хорошо знаю ее цену — пятьдесят долларов (Дарья Донцова).

У него ведь страшно дорогая штука на запястье болталась — «Лонжин», браслет платиновый, по циферблату бриллианты (Дарья Донцова).

Начнем с прихожей, со шкафа-купе, где висит зимняя одежда. Теплая куртка-пуховик фирмы «Богнер», дорогушая [...] А это что? Кроссовки. Дорогие, фирменные (Александра Маринина).

Иногда в тексте Робски встречается нагромождение элитарных наименований, не имеющих практического смысла; оно подчинено прагматической установке говорящего — созданию фасцинирующего эффекта, психологического потрясения читателя, ср.:

Приехала моя дочь. Мама привезла ее на подержанном «митцубиси», которым лихо управляла, жалуясь на слабый кондиционер, потрепанную кожу на креслах, отсутствие системы ABS, отсутствие памяти установки кресел, отсутствие электрической настройки зеркал...

Если нарекания «мамы» по поводу слабого кондиционера или потрепанных кресел еще можно как-то понять и разделить, то вряд ли среднестатистический автолюбитель — а тем более женщина старшего возраста! — в состоянии определить качество системы ABS, действующей, скорее, в исключительных случаях, не говоря уже об отсутствии в автомобиле памяти установки кресел или электрической настройки зеркал — ведь нормальный пользователь прибегает к этим услугам лишь эпизодически.

Наиболее часто в качестве подобных импликатур в тексте Робски употребляются названия предприятий общественного питания — ресторанов, кафе, баров; суммарно число их употреблений составляет 31 лексическую единицу, ср. некоторые примеры:

Через час я входила с цветами в ресторан «Бисквит».

Мы заехали пообедать в «Виллу».

Катя пересела за стол к одному из первых лиц «Веранды у Дачи».

Мы пили шампанское в «Грине» на Кутузовском. Ресторана дороже найти в Москве невозможно.

Довольно регулярно (22 употребления) в тексте выступают также названия магазинов и коммерческих фирм, при этом доминируют иностранные названия, чаще всего английского происхождения:

Все ходовые размеры Bluemarin в «Италмоде» разобрали ещё в конце февраля.

Я заехала в «Вини».

Вероника отправила его в магазин «Седьмой континент» в Крылатском.

Я заехала в Broni [...] посмотреть подарок Ванечке на день рождения.

Следующую ступень в иерархии ценностей русских нуворишей занимает — если судить по частоте соответствующих лексических групп — фирменная одежда (18 употреблений) и средства коммуникации — роскошные, комфортабельные автомобили:

Я сняла с вешалки яркое платье из последней коллекции Dolce & Gabbana.

Я сама была обладательницей сноублейдов от Chanel.

Денис сидел в белых шортах Broni.

Официанты в этом ресторане ходили в одежде от Армани.

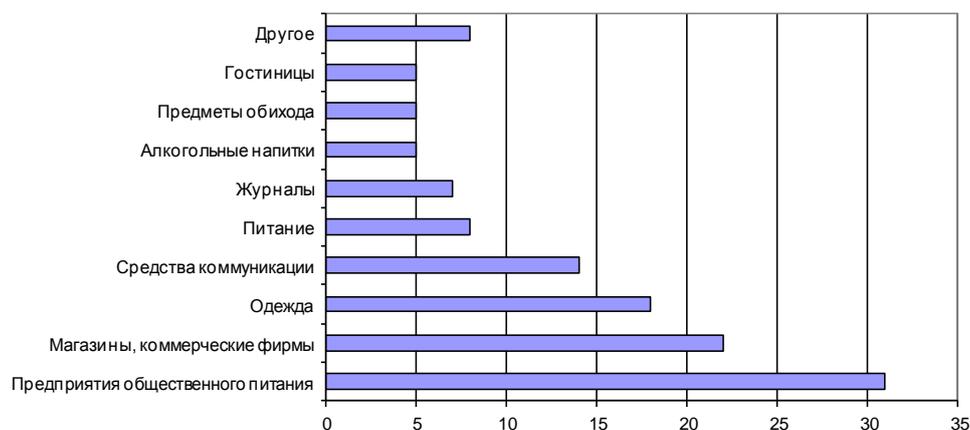
Она подъехала на старом «фольксвагене».

Пусть мне купят двести двадцатый «мерседес».

[...] Тебе утром к подъезду подгонят Bentley с откидным верхом в розовых ленточках.

Кате купили джип Cayenne.

Суммарно в тексте Робски можно выделить десять тематических групп ИС, употреблению которых сопутствуют черты маньеризма, или прагматизма. Общую картину их функционирования представляет следующая диаграмма.



4. Коммуникативный маньеризм

Согласно известному польскому социолингвисту С. Грабьясу, социолект, во-первых, унифицирует процесс интерпретации опытных данных; во-вторых, определяет или «программирует» отношение членов культурного сообщества к явлениям окружающей действительности; в-третьих, определяет типы их поведения в социальной и физической (географической) среде (Grabias 2003, 160). К примеру, в картине мира, которая отражена в основном лексическом запасе современного польского языка, услуги (торговля, одежда, гастрономия, путешествия и т.д.) охватывают только около 15 % всей лексики (там же), тогда как в социолекте новых русских эта лексика занимает приоритетное положение, а соответствующие ценности абсолютизируются.

Особенность функционирования ИС в элитолекте новых русских касается не только прагматики, но и семантики, а точнее — оба аспекта тесно связаны между собой: маньеризм речевого поведения новых русских основан на высокочастотном употреблении ИС, которые чаще всего представляют собой названия фирменных, другими словами — марочных предметов и услуг, функционирующие как своего

рода индексы элитарности. Марка, как известно, дает потребителям гарантию функциональной и эмоциональной пользы, а также конструирует профиль клиента, обычно — с сильной положительной окраской (Skowron 2006, 44 сл.). В среде потребителей марка функционирует как своего рода медиум, целенаправленно используемый клиентами в коммуникации как внутри своего сообщества, так и за его пределами — в контактах с представителями других социальных групп.

Можно, таким образом, различать две функции чрезмерного употребления ИС в речи новых русских: индексальную (презентативную) и социативную. Индексальная функция состоит в идентификации речевого субъекта в качестве члена определенной социальной группы, а в рассматриваемом нами случае — класса новых русских. Данная функция связана с социативной, а именно — с речевым воздействием на социальные отношения между говорящим и слушающим, а также — потенциально — с третьими лицами. При этом могут реализовываться две противоположные тенденции. Во-первых, мы имеем дело с социальной интеграцией, т.е. с созданием отношений групповой солидарности благодаря передаче социально значимой информации типа: «Мы с тобой принадлежим к одному социальному классу», которой, видимо, сопутствует положительная аксиологическая информация: «Хорошо, что мы принадлежим...»

Во-вторых, наблюдается также дивергенция, как правило — по отношению к людям чужого круга. В этом случае дополнительно может выражаться также фасцинация (удивление адресата) или пейоративная семантика, как, например, в следующем отрывке из повести Робски:

— Мне «Пламенеющий краклян» с сабайоном «пинья-колада» и шоколадным ганашем.

Она смотрела на меня во все глаза и стеснялась спросить, что это такое. Горячее? Алкоголь? Десерт?

Экспансия специальной лексики, в частности, названий товаров и продуктов, в современных европейских языках, с одной стороны, объясняется развитием технического прогресса, особенно — компьютерных технологий, а также распространением потребительской культуры — как одной из черт постмодернизма, о чем, в частности, пишет известный польский исследователь К. Ожуг (Ożóg 2006, 294). С другой стороны, у данного процесса есть и коммуникативно-психологическая сторона, а именно — использование названий ма-

рок в целях автопрезентации, а также манипуляции в социальных отношениях. Жизнь «по эту сторону рекламы» нередко оказывается интереснее и богаче, чем ее экономические или риторические аспекты, потому что здесь мы имеем дело со знаковостью особого рода (гиперзнаковостью) — когда знаковым становится потребление и — особенно — употребление рекламной и другой медиальной информации.



Социальные ценности в системе современной культуры

Когда до моих родителей наконец дошло,
что меня похитили, они не медлили ни ми-
нуты и сразу же сдали внаем мою комнату.

Вуди Аллен

1. Понятие ценности

В социальной психологии принято понятие ценностной ориентации (или установки), которое означает 1) идеологические, политические, моральные, эстетические и другие основания оценивания человеком окружающей действительности; 2) способ дифференциации объектов по их значимости (см.: Петровский/Ярошевский 1985, 389) (фактически способ дифференциации и оценка непосредственно связаны друг с другом). Следует иметь в виду, что ценностные ориентации не только «обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и других проявлениях личности» (там же), но также касаются сферы человеческой деятельности: ценности находят отражение в поведенческих нормах и, как следствие, в выборе поступков (Hofstede 2007, 21), во всяком случае в ситуациях, когда такой выбор возможен, а тем более желателен. Ценности являются важнейшим фактором планирования деятельности — благодаря апелляции к положительному, отраженному в содержании ценностной категории опыту предшественников. На связь между оценкой и действием указывает, например, то, что, как пишет Дж. Серль, «слова *good* 'хороший', *right* 'правильный' [...] обладают смыслом, который имеет ха-

рактер императива или „руководства к действию”» (Серль 1986, 197). Это значит, что многим оценочным выражениям языка (оценочным экспозитивам) свойственно употребляться и в качестве директивных речевых актов. Например, высказывание

Эти яблоки – свежие и очень вкусные

в определенной коммуникативной ситуации (в магазине, на рынке, за обеденным столом) будет интерпретировано как рекомендация, совет: ‘Я советую тебе взять/съесть/купить и т.д. эти яблоки, потому что они свежие и очень вкусные’.

В таких науках, как этика, эстетика, экономика, антропология, культурология, политическая философия, ценность определяется как индивидуальный или разделяемый большинством членов сообщества взгляд на то, что является моральным или неморальным, изящным или безобразным, полезным или вредным, желаемым или заслуживающим презрения (Marshall 2004, 416; Olechnicki/Załęcki 1987, 239).

В ценности отражаются опытные данные, которые прошли многократную проверку и относительно которых у субъекта или же у большинства представителей данного сообщества выработан устойчивый способ оценочной интерпретации, т.е. с точки зрения таких понятий, как «хорошо», «плохо». Обычно это свойство ценности квалифицируется как а с с е р т и в н о с т ь . Польский социолог Е. Микуловский-Поморский пишет, что функционирование каждого сообщества опирается на принцип, в соответствии с которым общепринятым в данном сообществе, традиционным типам поведения приписывается статус наилучших, приоритетных, образцовых, а их восприятие сопровождается определенным эгоцентризмом: «Все наше (т.е. соответствующее принятым у нас образцам) – наилучшее» (Mikulowski Pomorski 2007, 209).

Ценности имеют конвенциональный или по крайней мере надситуативный, обобщенный характер, что сближает их с категорией стереотипов. Подобно стереотипам, ценности закреплены (в соответствии с терминологией Г. Хофстеде – «запрограммированы») в индивидуальной или культурной памяти, в частности, в виде суждений (или убеждений) типа:

Здоровье – это важно/хорошо.

Болезнь – это плохо.

Если на уровне индивидуального поведения ценности имеют прежде всего прагматическую, эпистемическую или эмоциональную значимость, то на уровне общества они выполняют важную интегративную функцию. Как пишет Микуловский-Поморский, ценности определяют общественный порядок и направленность, единство человеческих действий и мыслей (Mikułowski Pomorski 2007, 210).

Ценности активно изучаются в разных областях гуманитарного знания, за исключением, пожалуй, семиотики, в которой данная категория культуры не получила систематического представления. Можно считать, что это несправедливо, ведь ценность — это своего рода знак, с помощью которого в социальной среде передается информация о правильных, желаемых, требуемых типах поведения, т.е. о нормах. С семиотической точки зрения можно различать три аспекта ценностных категорий: 1) форму; 2) содержание и 3) употребление.

Г. Хофстеде, автор известной монографии о системах ценностей в разных культурах, предложил модель культуры, ядро которой составляет категория ценности, а периферические слои образуются разного рода практиками: ритуалами, личностями и символами (Hofstede 2007, 20). Эта модель, по-моему, не совсем точна: во-первых, ценности, ритуалы, личности и символы не представляют собой одной, градуальной (макро)категории — напротив, они находятся в оппозиции как элементы плана содержания и плана выражения культуры. Во-вторых, понятие «практики» соединяет в себе разнородные элементы: формальные — символы, и прагматические — ритуалы. Категория «личности» с этой точки зрения амбивалентна: с одной стороны, личность (понимаемая как носитель, абонент) принадлежит к сфере употребления ценности, с другой стороны, выдающаяся личность сама становится ценностью, а точнее, формой манифестации ценности (подробнее см. далее).

Семиотический подход к категориям культуры имеет, в частности, эргономический аспект: он облегчает параметризацию ценностей и их сопоставительное описание. В социологии и антропологии культуры приняты определенные стандарты и шкалы. Например, в соответствии с широко применяемым в исследованиях индексом А. Инкельса и Д. Левинсона различаются четыре параметра ценностей (Hofstede 2007, 35):

1. отношение к власти;
2. отношение между человеком и обществом;
3. половые отношения;
4. способы решения конфликтов.

Однако следует обратить внимание на то, что данный подход учитывает только определенный аспект ценностных категорий, а именно — аксиологическую интерпретацию избранных типов социальных ценностей. «За кадром» остаются такие аспекты, как манифестация ценностей, их позиционирование в разных культурах, их концептуальное содержание (например, понимание патриотизма у разных народов), а кроме того — функционирование эстетических, этических, познавательных и других систем ценностей.

Кратко представлю каждый из выделенных выше трех аспектов ценностных категорий.

Ф о р м ы существования ценностей могут быть латентные («внутренние») или манифестированные («внешние»). В первом случае речь идет об убеждениях, которые — в силу их высокой степени абстрактности — редко, по крайней мере в рамках обыденного сознания, получают манифестацию. Кроме того многие из убеждений (прежде всего усвоенные в раннем детстве артефакты) хранятся в памяти индивидов в неосознанном виде. К манифестированным формам ценностных категорий относятся так называемые тексты культуры, в русской терминологии — прецедентные тексты и вообще — прецедентные феномены, например, «герои», в определении Хофстеде (в современной терминологии — «celebrities»). Так, в русской культуре Александр Сергеевич Пушкин является не только символом художественного совершенства, но и символом свободлюбия, мужественности (в разных оттенках этого понятия, в том числе — эротическом), патриотизма, вообще — абсолютно положительным символом. Неслучайны знаменитые слова Аполлона Григорьева: «Пушкин — это наше всё». В Польше большой популярностью пользуется творчество и личность другого классика литературы — Адама Мицкевича, но ее трудно сопоставить с гигантской популярностью Пушкина в России. Например, в русском языке имеются фразеологизмы и пословицы с существительным *Пушкин* или же именами пушкинских героев — подобное не встречается в польском языке в связи с фамилией *Mickiewicz*, ср.:

А работать вместо тебя Пушкин будет?
Тише, Маша! Я — Дубровский.

Кроме того цитаты из пушкинских произведений используются в текстах массовой литературы, например, в рекламе:

«Хоть тяжело подчас в ней бремя, телега на ходу легка» — реклама автомобиля.

«Примите новую тетрадь, вы, юноши, и вы, девицы» — реклама канцелярских товаров.

«Вот здесь лежит больной студент; Его судьба неумолима. Несите прочь медикамент: Болезнь любви неизлечима!» — реклама на дверях аптеки.

К сожалению, Пушкина в системе русской культуры постепенно вытесняют современные *celebrities* из сферы политики и поп-культуры: Владимир Жириновский, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Оксана Федорова и другие. Эти новые «звезды» олицетворяют, преимущественно, другие ценности: агрессию, ксенофобию, примитивизм.

Содержание ценностной категории имеет бинарную структуру, а именно — включает: 1) репрезентативный аспект, т.е. концептуализацию фрагмента действительности; 2) интерпретативный, другими словами — аксиологический аспект. Репрезентативный аспект ценности реализуется в определенной предметной области³⁶. В соответствии с этим ценности можно распределить по нескольким категориям:

1. материальные (в том числе технические);
2. экономические;
3. социальные (политические, административные, религиозные, правовые, приватные);
4. познавательные (образовательные, научные);
5. моральные / этические;
6. биологические (прежде всего физиологические);
7. эстетические;
8. гедонистические;
9. этологические / функциональные;
10. экзистенциальные (развлечение, спорт и т.д.)

Ценностные категории могут содержать два типа интерпретации: с точки зрения эффекта воздействия определенной нормы на субъекта (или на социальную группу), а также с точки зрения абсолютной, арбитражно установленной целесообразности. Микуловский-Поморский ввел в соответствии с этим два типа ценностей: *pożądanе* 'желаемые' и *postulowane* 'постулируемые' (Mikulowski Pomorski 2007, 210), другими словами — прагматические и идеологические ценности. Ценности первого типа имеют эмпи-

³⁶ В моем понимании, предметная область является категорией, родственной «функциональной системе» в теории коммуникации М. Фляйшера, см.: Fleischer 2007, 63.

рический, феноменологический характер, касаются преимущественно действий, а результатом их культивирования является извлечение пользы³⁷. Ценности второго типа приняты за каноническую норму. А. П. Павлов определяет их как «императивы правильного, должного поведения с точки зрения базисных [...] норм общества» (2008). Они реализуются в операциях выбора, градуирования и акцептирования, хотя нередко противоречат здравому смыслу (т.е. практическим целям деятельности), поскольку принимаются сообществом с учетом категорий высшего порядка. Именно поэтому одни и те же явления социальной жизни по-разному интерпретируются разными культурными формациями. Так, в системе западно- и центральноевропейской культуры демократия неизменно оценивается положительно, тогда как в русской культуре, наоборот, широко распространен другой стереотип: демократия — источник социального беспорядка и экономического упадка. Об этом пишет известный русский режиссер, а также общественный деятель Александр Адабашьян в статье «Протест с двойным дном» на страницах газеты «Аргументы и факты» (2012/32):

Надо в стране сперва порядок навести, «гайки закрутить». Развал образования, медицины и всего остального — это не что иное, как следствие той демократии, которую пытались скопировать по западным лекалам.

Русский политик Виталий Трофимов пишет на своем сайте (<http://ttrofimov.ru/2012/09/istochniki-demokratii/>), что демократия представляет собой положительную ценность, но всегда обусловлена экономическим уровнем государства: «Демократия всегда вторична по отношению к заработку». Из этого делается вывод о том, что демократическая система управления государством не является сама по себе положительной ценностью:

Логика «сперва богатство, потом демократия» кажется мне более логичным, чем «сперва демократия, а потом как-нибудь богатство». [...] Из 38 попыток США навязать демократию, состоялись только в трех. Япония и Германия никогда не были бедными странами, там демократия утвердилась. В Панаме демократия утвердилась из-за долгосрочного проекта по аренде канала. Все остальные проводились в нищих странах и привели только к десятилетней резне внутри этих стран или еще большей диктатуре (а иной раз и к развалу страны).

³⁷ О практической интерпретации принадлежности Польши к Европейскому Союзу пишет публицист Яцек Ставиский: «Nic chyba nie dodaje dumy z bycia obywatelem Unii jak powrót z wakacji z kraju pozaunijnego, gdzie ustawiamy się w kolejce paszportowej dla tych lepszych» («Tygodnik Powszechny»; 25 IX 2011).

Примером идеальной ценности может быть страдание в христианстве. С одной стороны, страдание — это проклятие, зло, которое в нашей жизни не должно существовать, с другой же стороны, страдание интерпретируется как блаженство: с точки зрения христианского богословия переживаемое с Христом страдание является источником славы по ту сторону смерти и источником радости (Леон-Дюфура 1974, 1119)³⁸.

Подобным же образом можно рассматривать дуэль — тип социального события, которое сегодня относится к прошлому. Здесь главным ценностным мотивом являлась категория чести, о чем писал, например, Ю. М. Лотман:

Дуэль представляет определенную процедуру по восстановлению чести и не может быть понята вне самой специфики понятия «честь» в общей системе этики русского европеизированного послепетровского дворянского общества. Естественно, что с позиции, в принципе отвергавшей это понятие, дуэль теряла смысл, превращалась в ритуализированное убийство (1983, 92).

Хотя Лотман утверждал, что психологическим стимулом для подчинения закону чести был стыд, а утверждение чести было синонимом изгнания страха, однако нет сомнения, что в данном случае мы имеем дело с идеальной ценностной категорией, прагматическая бессмысленность которой очевидна: многие дуэли заканчивались смертельным исходом³⁹.

Упомянутый выше Павлов пишет, что в современной России представлены культурные ситуации, в которых идеальные и практические ценности не совпадают, а в качестве примера приводит «неуставные отношения» в армейских подразделениях.

Разные по содержанию ценности образуют системы ценностей. Такие системы имеют иерархический характер: они включают предметные области (как категории наивысшего порядка), внутри предметных областей — категории и, далее, подкатегории. Каждая культура обладает своей, отчасти специфической системой ценностей (см. дальше).

³⁸ А. В. Сергеева (2004, 25) пишет, что одним из стереотипов русского национального сознания является представление о ценности страдания, терпения как способа очищения и возвышения человека — этот мотив широко встречается, например, в фольклоре, в пословицах, в художественной литературе, ср.: *Беда научит человека мудрости; О боль, ты — мудрость* (Б. Ахмадулина).

³⁹ О критическом отношении к дуэли см. также: Лотман 1983, 93-94.

Употребление представляет третий аспект описания ценностей. Здесь можно рассматривать несколько параметров функционирования ценностных категорий — ограничусь только их перечислением:

1. носители (индивиды или группы индивидов: этнические, региональные, классовые, половые, возрастные, профессиональные и др.);
2. сферы (семья, школа, организация, администрация и др.);
3. предпосылки, мотивы и эффекты;
4. позиционирование, т.е. выделение ценностей по степени значимости; ср. важные или маргинальные ценности⁴⁰.

С учетом формы, содержания и употребления ценностей возможна их классификация:

1. по предметной области (социальные, моральные, эстетические, гедонистические и др.);
2. по аксиологическому содержанию (положительные, отрицательные, нейтральные);
3. по носителю (индивидуальные, групповые, массовые, универсальные);
4. по позиционированию (основные, важные, маргинальные) и др.

2. Асимметрия ценностей.

Технический детерминизм vs. человеческий фактор

Слово *система* в словосочетании *система ценностей* вовсе не означает, что отдельные категории в ее рамках логически строго упорядочены. Поскольку каждая культура складывается из множества точек зрения и в силу этого никогда не является абсолютно однородной, а кроме того каждая культура исторически изменчива и в каждом ее состоянии сосуществуют старые и новые элементы, то система ценностей является *внутренне противоречивой*. Например, доказано, что научные парадигмы (как системы ценностей, культивируемые научными сообществами в разные исторические эпохи), включают разнородные категории, которые не всегда согласуются друг с другом⁴¹. Микулов-

⁴⁰ Так, М. А. Можейко (2001, 433) пишет о любви как о «глубоком индивидуально-избирательном интимном чувстве», которое представляет «максимальную ценность и важнейшую детерминанту жизненной стратегии» на уровне субъективного сознания.

⁴¹ В таком ключе — за И. Лакатошем — интерпретирует современную когнитивную парадигму польский исследователь Х. Карделя; см. его доклад «Сколько струк-

ский-Поморский ссылается на другой пример противоречия ценностей, а именно — на категории равенства и свободы (Mikulowski Pomorski 2007, 210). На аксиологическое многоголосье в культуре указывает хотя бы тот факт, что в одну и ту же эпоху значительно различаются программы политических партий и общественных движений. Упомянутый ранее Павлов пишет о динамичности российского общественного сознания, в частности, об изменчивости понятия нормы.

Противоречия могут возникать также между разными содержательными категориями ценностей, например, техническими и социальными. Новые технологии возникают не только благодаря существованию научной инфраструктуры и развитой материально-производственной базы — важным фактором является также уровень социального развития общества, т.е. характер социальных потребностей, система социальных институтов, в том числе система образования, благодаря которой нормы социального поведения передаются из поколения в поколение. Можно считать, что в определенной степени новые технологии возникают в контексте системы социальных отношений, при этом они отчасти и формируют ее⁴².

Принципиально иначе ситуация выглядит, когда новые технологии расширяют сферу своего употребления, а именно — когда их носителями становятся представители культурных сообществ с диаметрально отличными системами ценностей, по сравнению с теми культурными условиями, в которых технологии возникли. Обычно это наблюдается, когда новые достижения технической мысли приходят в страны и регионы с низкой культурой социальных отношений, где нормы социального поведения подчинены принципам индивидуального инстинктивного поведения. Данное явление можно квали-

турализма в когнитивизме?» на LXVIII съезде Польского лингвистического общества во Вроцлаве (в сентябре 2010 года). Ср. также мнение английского историка и журналиста Тимоти Гартона Аша, который на вопрос журналиста еженедельника «Tygodnik Powszechny» (31 VII 2011) о существовании характерной для европейского континента единой системы ценностей ответил: «To nieprawda, że istnieje pewien zestaw miłych i zasnych wartości czy norm, które są nasze, europejskie, a gdzieś indziej — inny zestaw związany z nacjonalizmem, nietolerancją, ksenofobią itd., który byłby z definicji nieeuropejski. Pamięta pan z pewnością potężną debatę wokół Środkowej Europy w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy Francois Bondy powiedział, że Adolf Hitler jest w tym samym stopniu Europejczykiem co Milan Kundera».

⁴² Иную точку зрения высказывает Хофстеде (op. cit., 25): ценности стабильны, а технологические новшества не влияют на них — именно поэтому, по мнению Хофстеде, ценности молодого поколения существенно не различаются от ценностей старшего поколения.

фицировать как синдром мартышки: речь идет о противоречии между технологическим и антропологическим факторами, которое в XIX веке в аллегорической форме выразил выдающийся русский писатель Иван Андреевич Крылов⁴³. Как известно, в басне Крылова «Мартышка и очки» мартышка, раздобыв полдюжины очков, не может найти для них применения:

Вертит очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.

Дело кончается плачевно: мартышка выбрасывает очки, разбивая их о камень. В социальной, человеческой действительности эффект выглядит подобным образом: происходит реинтерпретация техники, ее приспособление к системе культуры новых носителей (т.е. нуворишей), которое обычно сопровождается переосмыслением некоторых аспектов технических ценностей. Ср. у Крылова:

К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит.

Синдром мартышки в последние десятилетия, т.е. в условиях усиления на нашей планете процессов глобализации, становится все заметнее. К сожалению, его примеры широко встречаются также в странах Восточной и Центральной Европы, в том числе в Польше и России. Так, австрийская славистка Р. Ратмайр (2013, 10) пишет о менеджерском дискурсе. По ее утверждению, на Западе дискурс и практика менеджмента представляют собой широко распространенное явление, тогда как в России нет традиции рыночной экономики и, хотя ключевые понятия *transparency* (прозрачность ведения бизнеса), *corporate social responsibility* (корпоративная ответственность), *corporate governance* (корпоративное управление) и другие употребляются в России, но, скорее, только формально, так как эти понятия «не соответствуют реальности деловой жизни России».

Я подробно остановлюсь на часто обсуждаемой проблеме технических средств передвижения. Афористическим стало высказывание Остапа Бендера, героя написанного в 1931 г. романа

⁴³ Иное содержание вкладывается в этот термин в публицистике, например, у Марка Блока, см.: <http://newsbabr.com/?IDE=108189>.

И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»: «Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения». С таким деловым, прагматическим подходом к технике у славянских народов, однако, приходится иметь дело довольно редко. Обычно происходит *диссиметризация* отношений между пользователем и артефактом, при этом можно различать 1) технологический и 2) антропологический детерминизм. Первое явление состоит в гипертрофированном отношении к технике, что нашло отражение в известной формуле М. МакЛюана: «Средство сообщения есть сообщение» (McLuhan 2004, 39). МакЛюан в связи с этим приводит пример одного африканца, который каждый вечер включал радиоприемник, чтобы слушать новости радио Би-Би-Си, хотя при этом ни слова не понимал по-английски. Подобный случай описал Николай Гоголь в «Мертвых душах»:

[Петрушка] имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, — он все читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит.

Гипертрофированное значение разного рода употребляемых в коммуникации артефактов мы находим и в других художественных текстах, например, авторства Анатоля Франса и Александра Гениса:

Чернильница, которую она разглядывала с насмешливым вниманием, как будто заранее читая в ней слова, готовые выйти оттуда на кончике моего пера... (А. Франс).

Но главное, что больше мыла и хлеба, родных и дневного света Нансену той зимой не хватало книг и, выучив наизусть ту единственную, что была с ними, он все равно открывал ее вновь и вновь: «Немногие годные для чтения отрывки в наших мореходных таблицах и календаре я перечитывал столько раз, что заучил наизусть почти слово в слово, начиная с перечисления членов норвежского королевского дома и кончая указаниями мер спасения погибающих на водах и способов оживления утопленников». Я перечитываю этот абзац каждый раз, когда накатывает ужас и мне кажется, что книги не нужны. Кому как (А. Генис).

В русской литературе с технологическим детерминизмом мы имеем дело, например, в произведениях Андрея Платонова. Так, в рассказе «Сокровенный человек» представлена апология техники: машины — это умные, исправно действующие артефакты, с которыми человеку трудно состязаться. Человек и положительно, и отрицательно оценивается

на фоне техники, как, например, помощник машиниста из упомянутого рассказа:

В будке лежал мертвый помощник. Его бросило головой на штырь, и в расшившийся череп просунулась медь — так он повис и умер, поливая кровью мазут на полу. Помощник стоял на коленях, разбросав синие беспомощные руки и с прищипленной к штырю головой. «И как он, дурак, нарвался на штырь? И как раз ведь в темноте, в самый материнский родничок хватило!» — обнаружил событие Пухов. Остановив бег на месте бесившегося паровоза, Пухов оглядел все его устройство и снова подумал о помощнике: «Жалко дурака: пар хорошо держал!»

В русской поэзии эпохи оттепели (и одновременно эпохи научно-технической революции), особенно в творчестве Андрея Вознесенского, наблюдается экспансия технических метафор: техника приобретает здесь особый статус — инструмента концептуализации разнообразных сфер человеческой жизни, в том числе и сферы эмоций. Ср. два примера из поэзии Вознесенского:

Значит, вечер. Вскипают приварок.
Они курят, как тени тихи.
И из псов, как из зажигалок,
Светят тихие языки
[«Тишины!»]

Ау, подснежник в сугробе грозном,
колдунья женского ремесла,
ты зажигалку системы «Ронсон»
к шнуру бикфордову поднесла...
[«По пояс снега...»]

Сильнее, как представляется, выступает (и у русских, и у поляков) другая тенденция — антропологический детерминизм, который можно выразить в постулате: «Машина — ничто, человек — всё». Один из ключевых текстов русской культуры, в котором реализуется эта идея, — стихотворение Иннокентия Анненского «Зимний поезд». Здесь выражается мотив несправедливого подавления человека зловещей машиной, мотив «полусуществования» в мире, в котором человек обречен на зависимость от технических монстров. Ср. характерные с этой точки зрения фрагменты стихотворения:

Я знаю — пышущий дракон,
Весь занесен пушистым снегом,
Сейчас порвет мятежным бегом
Завороженной дали сон.

А с ним, усталые рабы,
Обречены холодной яме,
Влачатся тяжкие гробы,
Скрипя и лязгая цепями. [...]

А снизу стук, а сбоку гул,
Да все бесцельней, безымянней...
И мерзок тем, кто не заснул,
Хаос полусуществований!

Антропологический детерминизм проявляется также в виде активных действий, а именно — в широко культивируемой и поляками, и русскими установке субъектов, которая заключается в пренебрежительном, высокомерном отношении к техническим средствам передвижения, а также к арбитражно (административно) установленным правилам поведения на дороге: они чаще всего трактуются как необязательные, вторичные, малозначимые по отношению к целям, которые ставит перед собой конкретный индивид в конкретных условиях. Эгоцентрическая установка личности оказывается более значимой по сравнению с необходимостью подчиниться (техническим или административным) предписаниям. Подобную установку — апологию личности — мы можем встретить и у Платонова, которому, как я уже обратил внимание, было свойственно идеализировать технику. В «Сокровенном человеке» читаем:

С Грязей снегоочистителю вручили приказ: вести за собой броневик и поезд наркома, пробивая траншею в заносах, вплоть до Лисок. Снегоочистителю дали двойную тягу: другой паровоз уступил поезд наркома — громадную спокойную машину Путиловского завода. Тяжелый боевой поезд наркома всегда шел на двух лучших паровозах. Но и два паровоза теперь обессилели от снега, потому что снег хуже песка. Поэтому не паровозы были в славе в ту мятежную и снежную зиму, а снегоочистители. И то, что белых громила артиллерия бронепоездов под Давыдовкой и Лискама, случилось потому, что бригады паровозов и снегоочистителей крушили сугробы, не спя неделями и питаясь сухой кашей.

Часто встречаемое пренебрежение техникой обусловлено двумя факторами. Во-первых, в этом находит отражение культурное отставание социальной группы, ее идеологическая и функциональная неподготовленность к новой технической среде, отсутствие необходимого культурного программирования, должного уровня социализации. В терминологии М. Фляйшера данный тип поведения можно квалифицировать как безрефлективный. Хотя Фляйшер не относит безрефлективность ни к какой конкретной биологической

или социальной сфере — считает ее функциональным феноменом, реализующимся в разных коммуникативных условиях (Fleischer 2011, 163), есть основания полагать, что большей предрасположенностью к усвоенным, неосозанным, импульсивным действиям и реакциям имеют представители низших классов, а также менее развитые с цивилизационной точки зрения народы. Когда мой немецкий коллега профессор Хельмут Яхнов несколько лет назад приехал на своем автомобиле из Бохума (из Западной Германии) в Ольштын, я поинтересовался его впечатлениями о путешествии по польским дорогам. Хельмут (человек исключительной деликатности и редкой толерантности) ответил: «Видно, что поляки с недавнего времени пользуются автомобилями...»

Во-вторых, преодоление техники и связанных с ней предписаний объясняется также сознательным или полусознательным стремлением индивида к самоутверждению, к демонстрации своей независимости, креативности, упрощенно (а то и примитивно) понимаемой свободы. Когда человека сравнивают с бездушной машиной, используется ссылка на отрицательную ценность — формализм, который противопоставляется положительной ценности — смекалке, творческому подходу к решению проблем. Второе качество часто считается характерной чертой восточноевропейской (или же славянской) культуры — по сравнению с западной (например, в юмористических рассказах Михаила Задорнова). В качестве примера можно привести известный в России анекдот:

Купили японцы наш самолет, собирают, а получается катер. Задолбались, вызвали инженера с завода-изготовителя. Он закрылся на пару дней и собрал самолет. Японцы в шоке! А инженер им говорит: — Вот здесь, в инструкции написано: «Все детали тщательно обработать напильником».

В Интернете можно найти описание аутентичного случая, когда феномен «доработать напильником» находит отражение в практике:

Поступила заявка купить для коммерческого отдела высокопроизводительный принтер с емким расходником, чтобы реже его заправлять. Для этой цели был выбран HP P2035, поддерживающий, судя по описанию на многих сайтах, картриджи CE505A и CE505X («А» — с обычным ресурсом, «X» — с увеличенным). Когда закончился тонер в пробном картридже, наш админ попытался вставить запасной CE505X и с удивлением обнаружил, что он не влезает, хотя на упаковке от картриджа была четко указана модель нашего принтера. Пошли на сайт производителя. Выяснилось, что картриджи увеличенного ресурса не предназначены для нашего принтера, зато прекрасно подходят к модели P2055d, следующей в линейке. Офигев от такого развода, более тщательно сравнили оба картриджа. Нашли два отличия: большую ём-

кость отсека для тонера и пару маленьких направляющих фиговинок на корпусе, которые и не давали вставить X-картридж до конца. Принтер покупался именно ради X-картриджей. Полные классово-ненавистные к мировому империализму, решили пилить. Крышка принтера все равно не закрылась бы из-за удлиненного отсека для тонера, но это нас не остановило. Спилили фиговинки и проверили, печатает ли принтер с открытой крышкой. Для этого пришлось преодолеть три степени защиты, заблокировав датчики, чтобы симитировать закрытую крышку. Наши предположения оправдались — пробная страница напечаталась. Чтобы не останавливаться на достигнутом, снова решили пилить, на этот раз выступы в крышке, которые не давали ей закрываться с таким картриджем. Получилось аккуратно и незаметно. Так из более дешевой модели была вышпилена новая модификация, позволяющая использовать экономичные картриджи. Между прочим, тысяч пять сэкономили.

Эгоцентрическая установка, которая проявляется в принципе: «Я делаю по-своему (потому что я знаю лучше)», может иметь, однако, и более серьезные, негативные и даже трагические последствия. Существует черта поведения (более характерная, например, для поляков, чем для наших южных соседей — чехов) — *спесь*. Напомню, что в академическом «Словаре русского языка» *спесь* определяется как «чрезмерное самомнение, стремление подчеркнуть свою важность и превосходство перед другими». В качестве примера приведу конкретную ситуацию из моего личного опыта (по характеру работы мне приходится довольно много передвигаться по территории Польши на автомобиле): во время ремонта участка дороги движение происходит в одностороннем порядке и регулируется временно установленным светофором. В момент, когда загорается красный свет, водители должны остановиться, чтобы стало возможным встречное движение. Однако, как показывают мои наблюдения, какое-то количество машин (пять-шесть, а то и более) обычно продолжает движение на красный свет. Водители таким образом демонстрируют сноровку, своеобразно понимаемый творческий подход к решению проблем. Кроме того здесь налицо пренебрежение к технике и недоверие к общественному институту, который с помощью технических средств ограничивает примитивно понимаемую свободу, ср. установку: «Светофор поставлен неправильно, световой интервал определен неточно». Очевиден эгоцентризм и нежелание подчиняться нормам, установленным извне.

Здесь имеет смысл остановиться на выражении *авось*, которое А. Д. Шмелев считает характерным элементом русской национальной ментальности и которое, по-моему, еще более характерно для ментальности поляков (в польском языке выступает аналог *авось* — выражение

a nuż, в том числе в шутливой форме: *a nuż widelec*)⁴⁴. Шмелев пишет, что *авось* означает «надежду на благоприятный для говорящего исход дела», «оправдание беспечности, когда речь идет о надежде не столько на то, что случится некоторое благоприятное событие, сколько на то, что удастся избежать какого-то крайне нежелательного последствия» (Шмелев 2005, 32). Поэтому чаще всего *авось* употребляется в конструкциях:

Авось, обойдется!
Авось, ничего.
Авось, пронесет.

В польском языке широко распространено подобное выражение:

A nuż się uda.

Пренебрежительное отношение к правилам дорожного движения стало постоянной темой польских средств массовой информации. Влиятельный католический еженедельник «Tygodnik Powszechny» посвятил ей специальный номер (2008/37). Открывая дискуссию, ксёндз Адам Бонецкий, главный редактор еженедельника, пишет:

Czy znaki ograniczenia szybkości mają walor moralny, czy tylko policyjny? Podejrzewam, że dla większości z nas ten drugi. Bo – panuje taka opinia – większość ograniczeń jest bez sensu. Niby uznajemy za uzasadnione te przy wyjeździe z bocznej drogi, ale ponieważ zakładamy, że z tych bocznych dróg nikt nagle nie wyjedzie – nie zwalniamy. A inne ograniczenia, np. te między Częstochową a Piotrkowem na E75 albo na drodze szybkiego ruchu po wyjeździe z Radomia w kierunku Jedlińska? Nie wiem. Może kiepska nawierzchnia? Może niewłaściwy kąt nachylenia na zakrętach? Czy ktoś ich ustawienie przemyślał, czy jest to dzieło jakiegoś imbecyla? Rozstrzygam, naciskając pedał gazu.

⁴⁴ С этой точки зрения характерен следующий фрагмент военного дневника Дениса Давыдова, который описывал польское восстание 1831 года: «U Polaków jeszcze przed tym okresem zaczęła się straszna anarchia, dowódca istniał tylko dla dowodzenia wojskami w czas wojenny; poza polem bitwy wojska nie uznawały władzy, odbierały ludności ostatnią koszulę, mówiąc, że to dla ojczyzny» («Mówią wieki»; 2011/XI). Подобная критическая точка зрения высказывается также в посвященной польскому восстанию фундаментальной монографии Н. Каспарека (Kasperek 2012, 433-434). О центробежном характере польского национального менталитета пишет Веслав Валендзяк: «Człowiek musi funkcjonować w jakimś porządku i kłopot zaczyna się wtedy, gdy ten porządek jest opresyjny, bo wytwarza się poczucie totalnej ambiwalencji – mamy potrzebę życia w jakiejś strukturze, ale jej też nienawidzimy» («Tygodnik Powszechny»; 20 III 2011). Ср. подобную точку зрения, высказываемую Ниной Витошек-Фитцпатрик: «Zaczęłam porównywać naszą polską anarchię z modelem norweskim i stwierdziłam, że norweski ewolucyjny sposób dochodzenia do swojego ma więcej sensu niż polski szaleńczy romantyzm» («Tygodnik Powszechny»; 31 VII 2011).

A jeśli przestrzegasz nakazane ograniczenia, od razu czujesz się od innych gorszy. Wleczesz się 70 na godzinę, obok śmigają te bmw i mercedesy, więc wpadasz w kompleks niższości i, co gorsza, w głowie rodzą się mściwe marzenia, że za chwilę spotkasz te bmw i mercedesy zatrzymane przez patrol. Nic z tego. Nie ma na tym świecie sprawiedliwości. Oni przejechali, ty – wystarczyło, że wyjątkowo, na jednym odcinku drogi nieco przyspieszyłeś – wpadasz.

Согласно статистическим данным, в 2010 году в Польше произошло 38 776 автомобильных катастроф, в которых погибло 3 902 человека, а количество раненых равнялось почти 49 000 человек.

В России претенциозный, агрессивный стиль поведения на дороге особенно характерен для так называемых «новых русских». СМИ то и дело сообщают о грубом нарушении правил дорожного движения звездами кино, поп-музыки, спорта: Юрием Антоновым, Сергеем Лазаревым, Алексеем Воробьевым и другими. В мае 2011 года в Интернете появилась видеозапись, на которой видно, как автомобиль известного режиссера и приближенного к Кремлю общественного деятеля Никиты Михалкова выезжает на встречную полосу движения. В марте 2011 года в Санкт-Петербурге погибла Марина Малафеева, жена вратаря ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева; женщина не справилась с управлением синего Bentley, потому что ехала со скоростью более 200 км в час. Машина сбила рекламный щит и врезалась в дерево. После катастрофы сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы обнаружили в крови Малафеевой этиловый спирт в концентрации 1,8 промилле.

Характерным для поляков и русских пренебрежительным отношением к технике безопасности на дороге, к правилам, которые определяют порядок движения, пользования средствами коммуникации, можно объяснить и причину трагедии польского президентского самолета в апреле 2010 года. Специалисты (см. аналитический обзор, опубликованный еженедельником «Tygodnik Powszechny» 17 апреля 2011), отмечают, что ошибки были допущены и польской, и русской стороной. Командир польского самолета делал попытку приземления при сильном тумане, т.е. в условиях видимости, которые были ниже критических. Командир был предупрежден о плохих метеорологических условиях на аэродроме «Северный» и не получил разрешения на приземление. Кроме того во время приземления в кабине пилотов находились посторонние лица, что запрещено соответствующей инструкцией. Представляя рапорт Межгосударственного авиационного комитета в январе 2011 года, его председатель Татьяна Анодина заявила: «У командира самолета президента Польши был

психологический конфликт мотивов. С одной стороны, командир понимал ситуацию с плохими метеоусловиями при посадке, с другой — сильную мотивацию посадки именно на аэродром назначения имело то, что в случае ухода на запасной аэродром он мог ожидать негативной реакции главного пассажира (т.е. президента Леха Качинского. — А. К.)» (<http://kp.ru/daily/25619/787344/>).

Русские эксперты умалчивают факт какой-либо вины в катастрофе русской стороны, но даже поверхностное прочтение опубликованной транскрипции записей открытого микрофона, зафиксировавшего переговоры русских диспетчеров с экипажем польского самолета, убеждает, что и в этом случае мы имеем дело с целым рядом нарушений: русский диспетчер неправильно информировал пилотов, что самолет находится на линии приземления, а команда выровнять полет и пойти на второй круг прозвучала слишком поздно. Согласно метеорологической сводке, видимость на аэродроме составляла 800 метров, хотя по оценке диспетчеров она была около 200 метров (ср. реплику руководителя группы диспетчеров военного аэродрома Николая Краснокутского: «Синоптики какие-то невменяемые»). Из переговоров руководителя полетов на аэродроме Павла Плюснина и полковника Краснокутского можно сделать вывод, что смоленские диспетчеры и польские пилоты не до конца понимали друг друга. Кроме того характер переговоров русских диспетчеров не оставляет впечатления, что их действия были хорошо продуманы и скоординированы. Ср. отрывок их транскрипции:

Красн.: Анатолий Иванович, ну что с запасными (аэродромами. — А.К.)? Давайте побыстрее, а то... [...] До Витебска удаление сколько?

РП: До Витебска хуйня, 120 километров. Анатолий Иванович, и куда ему выходить, надо согласовать.

Дисп. Ответил.

РП: И куда ему выходить, надо согласовать, точку выхода.

Дисп. Жду добро.

РП: Не проспай его, с курсом 40 идет, чтоб повернуть его вовремя. Где он (польский самолет. — А. К.), блядь, сейчас?

РП: Так, так, так, так, так, блядь, где-то ж должен быть.

РП: Ёб твою мать, все один к одному, блядь.

А: (нрзб.)

РП: Ответил.

А: (нрзб.)

РП: Где-то 25 километров, пока не наблюдаю.

А: Ты его не видишь, да?

РП: Да, пропал.

В транскрипции, правда, есть и неясный фрагмент, когда в 10:32 по московскому времени (т.е. за 11 минут до катастрофы) Плюснин замечает, что «на месте Москвы» не стал бы «гнать» польский Ту в Смоленск. Краснокутский в ответ на это говорит: «Это решение (нрзб.) международного номер один, он там сам (нрзб.)». Но как бы ни интерпретировать этот диалог, не вызывает сомнений то, что к катастрофе привел ряд роковых технических ошибок, а прежде всего — расчет на пресловутое «авось». В 10:24:50 Плюснин сообщает полякам, что «условий для приема нет», а в 10:25:01 экипаж Ту-154 благодарит за информацию, но сообщает, что будет пытаться приземлиться: «Если возможно, попробуем подход, но если не будет погоды (было ясно сказано, что нет погоды! — А. К.), тогда отойдем на второй круг». Другими словами: «Авось, пронесет!» Или как выразился польский социолог и историк идеи Ежи Шацкий: «В Польше ценятся прежде всего желания и чувства, в меньшей степени — результаты» («Tygodnik Powszechny»; 2 V 2010). В подобном духе Фляйшер пишет о безрефлексивном типе поведения: «Отсутствие действий и информационного обмена, который предусматривал бы результаты действий» (Fleischer 2011, 164).

Подобным, человеческим фактором объясняются и те убытки, которые в южных регионах Польши приносят наводнения. Дело не только в разрушительной силе, которую несет природная стихия, но и в массовом нарушении запретов, касающихся заселения мест, подверженных затоплению. Еще десять лет тому назад польский отдел международной организации WWF (World Wildlife Found) опубликовал атлас затопляемых территорий, однако до сегодняшнего дня он игнорируется и местными властями, и населением (подробнее об этом см.: «Tygodnik Powszechny»; 30 V 2010).

3. Ценности и культура

В соответствии с научным подходом, в основе которого лежит культурно-исторический релятивизм, ценности вырабатываются в определенной социо-культурной среде, что обуславливает, с одной стороны, идиосинкразию ценностей и их культурно-историческую маркированность, с другой стороны — аксиологический плюрализм, т. е. существование множества альтернативных систем ценностей, возникших и функционирующих в разных условиях социальной жизни человека (см. также: Mikułowski Pomorski 2007, 209).

В социологических теориях (начиная с работ М. Вебера) ценность представляет собой важнейший компонент социальной структуры: она не только лежит в основе социально значимых действий субъектов, но также является необходимым элементом функционирования социальных институтов: каждая социальная система опирается на систему ценностей, разделяемую по крайней мере большинством ее членов и определяющую их типы поведения и типы отношения в постоянно изменяющихся условиях существования.

Ценности нужны потому, что человека постоянно окружают новые предметы и явления, новые ситуации. Ценность представляет собой ориентир, который помогает человеку пройти участок пути, по которому он еще никогда не проходил.

Можно выбирать культурные ориентиры (хотя в разных культурах степень этого выбора варьируется). В качестве примера можно рассмотреть историю молодого венгра, который в начале прошлого столетия в Вене ухаживал за австрийкой по имени Роза. Приглашенный на обед, молодой человек не пришел с пустыми руками: он купил розы для девушки и коробку конфет для ее матери. Желая продемонстрировать остроумие и хорошее знание немецкого языка, молодой человек сопроводил вручение подарков каламбуром:

Die Rose für Rose, die Schachtel für Schachtel⁴⁵.

В этом случае мы имеем дело с определенным выбором ценности: молодой венгр предпочитает, языковую игру тому, что Анна Ахматова определила как «простая учтивость». Здесь стремление показаться оригинальным, демонстрация специфического, рафинированного когнитивного стиля⁴⁶ оказывается более важным по сравнению с ценностью социального характера — хорошими манерами. В русском языке на подобные ситуации указывает пословица:

Ради красного словца не пожалеет и отца.

⁴⁵ Высказывание имеет значение: 'Розы — для Розы, коробка для старой ведьмы'. Существительное *die Schachtel* в немецком языке, подобно как и существительное *pułko* (особенно в конструкции *stare pułko*) в польском языке, употребляется в переносном значении для пренебрежительного обозначения женщины.

⁴⁶ Можно сослаться на М. А. Холодную (2002, 78), которая, опираясь на американскую психологическую литературу, пишет об оппозиции двух когнитивных стилей: адаптивности и инновационности. В первом случае предпочтение отдается конвенциональным, устоявшимся типам поведения и типам принятия решений, а во втором случае изобретаются новые типы поведения или способы решения проблем.

Поскольку ценности культурно маркированы, существует возможность ценностной параметризации культур, а также их сопоставление в аксиологическом аспекте.

Используя четыре параметра Инкельса/Левинсона, Хофстеде проанализировал аксиологическую интерпретацию наиболее существенных социальных категорий. В качестве иллюстрации приведу только данные, касающиеся двух стран: Польши и России⁴⁷.

СТРАНА	ПОКАЗАТЕЛЬ	РАНГ
Показатели дистанции власти		
Польша	68	27-29
Россия	93	6
Показатели индивидуальности		
Польша	60	22-24
Россия	39	37-38
Показатели маскулинности		
Польша	64	14-16
Россия	36	63
Показатели степени неуверенности		
Польша	93	9-10
Россия	95	7

Если судить по этим данным, наибольшее культурное сходство между поляками и русскими наблюдается в сфере социальной неуверенности, т.е. в количестве жизненных ситуаций, которые переживаются членами сообщества как конфликтные, угрожающие, неприятные. Обратим внимание, что в данном аспекте Польша и Россия принадлежат к числу наиболее отсталых. Наилучшим показателем с этой точки зрения (среди 74 проанализированных стран и регионов) обладает Сингапур.

Наиболее сильное различие между поляками и русскими, по данным Хофстеде, наблюдается в сфере гендерных отношений. Несмотря на польскую традицию целования дамам ручек (вот наилучшее доказательство условности ритуалов!) поляки принадлежат к числу народов, у которых мужские ценности принципиально доминируют над женскими, тогда как русские, скорее, относятся к «женским странам» (при этом наиболее «мужскими» являются Словакия, Япония и Венгрия, а наиболее «женскими» — Швеция, Норвегия и Голландия).

⁴⁷ Все показатели определены для 74 стран и регионов.

Эти данные не покрываются, однако, с наблюдениями других авторов. Так, А. де Лазари и О. В. Рябов подчеркивают, что основное различие поляков и русских касается категории коллективизма/индивидуализма. В частности, отмечается русская «общинность» (ср. приведенное ранее мнение Павлова) и польский «гонор» как определенная форма индивидуализма (де Лазари/Рябов 2007, 8). При этом нельзя не заметить, что поляки, в отличие от русских, в большей степени ориентированы на свои национальные, исторические (а значит, коллективные) ценности, которые занимают значительное место и в системе образования, и в организации научных (гуманитарных) исследований (например, в приоритетном статусе исторической науки), и в селекции материалов в средствах массовой информации. Об этом, в частности, пишет санкт-петербургский историк Н. Соловьев:

[...] Понятие «исторической политики» («политической памяти») — центральное для всего дискурса об отношениях с восточными соседями. В этом смысле Польшей был сделан довольно однозначный выбор не в пользу реализма и прагматизма, а в пользу политики, основанной на исторических воспоминаниях, на свойствах польской идентичности и польской традиции (2009, 210).

Подобную мысль высказывает и публицист еженедельника «Polityka» Людвик Стомма в эссе «Историческая политика» (2006/38):

Pisał na przykład Zbigniew Żaluski, znany aktywista PZPR, dwukrotnie laureat Ministerstwa Obrony Narodowej PRL: „Rzecz jasna, że dziwna historia Polski — niezbędna z punktu widzenia interesów ludzkości — nadaje określone piętno postawom społecznym Polaków, nadaje psychice polskiej określony koloryt narodowy. To właśnie wielkość celów przyświecających nieodmiennie od wieku kilku pokoleń, w połączeniu z praktycznym hartem, zdobywanym w toku wielokrotnych zrywów patriotycznych i rewolucyjnych, kształciła szczególne postawy ludzkie, stanowiące istotę «kolorytu narodowego»: oddanie ideałom, wierność, ofiarność, męstwo, godność i dumę. Kształtowała wysoką cześć dla tak zwanych imponderabiliów, a nawet — zgódźmy się na to — stawianie ich wyżej ponad płaskie realia chwili”.⁴⁸

⁴⁸ При этом Н. Каспарек пишет о характерном для польского общественного мнения явлении — мифологизации истории («Gazeta Olsztyńska»; 16 IX 2008). Подобное мнение высказывание Веслав Валендзяк: «Nasza elita polityczna utknęła w symbolice i historycznych wyobrażeniach, bo one też pozwalają zasłonić rzeczywistość. Do niedawna wyobrażnię najważniejszych osób w państwie rozbudzało głównie Powstanie Warszawskie i poświęcone mu muzeum, a nie to, jak żyją Polacy. Wszyscy mamy z tym kłopot, bo tak jesteśmy wychowani. Dzieciom w szkole na wycieczkach do Warszawy z dumą pokazuje się pomnik Małego Powstańca, jakby to miał być wzór. A ja mam z tym

Для русской национальной ментальности, напротив, больше характерна устремленность в будущее. Д. В. Полежаев в связи с этим приводит слова С. Л. Франка:

Большинство русских людей имели привычку жить мечтами о будущем. Это настроение мечтательности и его отражение на нравственной воле, эта нравственная несерьезность, презрение и равнодушие к настоящему и внутренне лживая, неосновательная идеализация будущего — это духовное состояние и есть [...] последний корень той нравственной болезни, [...] которая загубила русскую жизнь (2011, 21).

* * *

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы описания категории ценности. Новизна предложенного подхода состоит в том, что ценность рассматривается с семиотической точки зрения, а именно — как особого рода знак, у которого имеются формальные, содержательные (семантические) и прагматические свойства. Анализ и сравнение разных систем ценностей (этнических, региональных, конфессиональных, профессиональных, классовых, половых и т.д.) показывает, что они различаются в каждом из этих аспектов. С этой точки зрения в статье сопоставительному анализу были подвергнуты ценностные категории, распространенные в польской и русской культурах.

kłopot i nie wiem, co powiedzieć, gdy oprowadzam po Warszawie partnerów biznesowych ze świata. Oni nie rozumieją, czym się różni wysyłanie kilkuletnich dzieci na śmierć od tego, co robią dziś islamscy fundamentaliści. Oczywiście można powiedzieć, że chodziło o inne wartości, ale praktyką ta sama. Albo jak przetłumaczyć Anglikowi pieśń powstania styczniowego: „poszli nasi w bój bez broni”? On tego nie zrozumie, bo wyda mu się to dość nielogiczne. W naszej hierarchii spraw i wartości w Polsce jest jakiej wielkie pomieszanie» («Tygodnik Powszechny»; 20 III 2011).



Стереотипы в структуре межкультурной коммуникации

Глухой, ничего не знавший о музыке, увидел пляшущих на свадьбе и решил, что они сошли с ума.

Александр Генис

1. Схемы действия, схемы интерпретации, паттерны

Хотя идея «социального конструктивизма» в теории массовой коммуникации распространилась в 80-е и 90-е годы прошлого столетия, особенно в немецкой социологии (см.: Gamson/Modigliani 1989; Lühman 1984; Fleischer 2005; 2006; 2008), о конструктивном характере психики писал уже Ж. Пиаже:

Объективное знание всегда подчинено определенным структурам действия. Эти структуры – результат конструкции: они не даны ни в объектах, поскольку зависят от действий, ни в субъекте, поскольку субъект должен научиться координировать свои действия (цит. по: Обухова 1981, 21).

Для объяснения функционирования интеллекта Пиаже использовал понятие схем действия (в современной лингвистике используется также термин *паттерны* (Дилтс 2001, 35)). Схемы действия возникают в результате обобщения практического опыта, т.е. многократного повторения участия субъекта в определенной ситуации, хотя содержательно независимы от контекста; например, как пишет Р. Дилтс, «есть люди, для которых привычным (независимо от ситуации. – А. К.) стал паттерн постоянного пренебрежения позитивной

стороной своего опыта» (ibidem). Будучи сенсомоторным эквивалентом понятия, схемы действия, как указывает Л. Ф. Обухова, позволяют «экономно, адекватно действовать с различными объектами одного и того же класса или с различными состояниями одного и того же объекта» (1981, 22).

Еще в 30-х годах Пиаже отметил, что любой поведенческий акт, даже новый для организма, не представляет собой абсолютную новизну. Он всегда основывается на предшествующих схемах действия. «Вначале был ответ!» — говорят в Женевской школе (там же, 23).

Как подчеркивают исследователи массовой коммуникации, схемы действия — понимаемые также как схемы презентации или схемы интерпретации — являются важнейшим фактором обработки медиальной информации (McQuail 2008, 494 ссл.). Так, согласно теории Д. Грабер, восприятие и понимание сообщений протекает в форме «подключения» новых данных к тематически упорядоченным схемам интерпретации. Если соответствующая схема не найдена, активизируется фонд ранее не интерпретированных данных, для которых подыскивается подходящая схема (Graber 1984).

Характерным примером такого речевого поведения может быть речь прокурора в романе Достоевского «Бесы». В ней ярко выступают элементы концептуализма — целенаправленной интерпретации фактов в свете категорий общего и даже глобального характера. Так, Ишполит Кириллович у Достоевского постоянно апеллирует к понятию России:

Ишполит Кириллович [...] был как бы в лихорадке, он вопиял за пролитую кровь, за кровь отца, убитого сыном «с низкой целью ограбления». «И что бы вы ни услышали от знаменитого своим талантом защитника подсудимого, — не удержался Ишполит Кириллович, — [...] все же вспомните, что в эту минуту вы в святилище нашего правосудия. Вспомните, что вы защитники правды нашей, защитники священной нашей России, ее основ, ее семьи, ее всего святого!

Как видим, прокурор апеллирует репрезентативной схеме <Россия>, на фоне которой интерпретирует конкретные, оцениваемые с юридической точки зрения события.

Исследователи массовой коммуникации подчеркивают, что общность схем интерпретации отправителя и получателя информации является важнейшим условием их эффективного взаимодействия, хотя в некоторых случаях наблюдается явление рефрейминга, т.е. реинтерпретации данных посредством актуализации альтернатив-

ной схемы: «С психологической точки зрения, произвести рефрейминг значит преобразовать смысл чего-либо, поместив это в новую рамку или контекст, отличный от исходного» (Дилтс 2001, 45). В условиях массовой коммуникации, когда передаваемая информация формируется с учетом определенных схем интерпретации, а в структуру сообщений вводятся соответствующие маркеры — когнитивные проводники типа «миропорождающих обстоятельств» (термин И. М. Богуславского) *На холмах Грузии...*, *У нас в России...*, *Когда-то, в давние времена...*, *На улицах Парижа...* и т.п., рефрейминг требует определенных интеллектуальных усилий от адресата, способности соотнести новые данные с собственной концептуальной системой, отличной от системы отправителя информации. В связи с этим уместно привести пример Г. Бэйтсона, который писал, что если вы бьете по мячу, то можно довольно точно заранее определить направление его полета, но если вы пинаете собаку, гораздо труднее предвидеть дальнейшее развитие событий, потому что собака обладает собственной «дополнительной энергией» (см.: Дилтс 2001, 143).

А. П. Павлов (2008) различает два типа схем поведения: идеальные, т.е. принятые в некотором сообществе за каноническую норму — «императивы правильного, должного поведения с точки зрения базисных ценностей и норм общества», и релевантные или практические (которые можно было бы также квалифицировать как узуальные или приватные), т.е. такие, которые реально культивируются в практической деятельности индивидов. Исследователь пишет, что в современной России представлены культурные ситуации, в которых «идеальные и практические паттерны не совпадают» (в качестве примера приводятся «неуставные отношения» в армейских подразделениях).

2. Стереотип в структуре схем действия/интерпретации

Одной из базовых категорий в структуре схем действия/интерпретации являются стереотипы понимаемые здесь как устойчивые, т.е. повторяющиеся в пределах определенной социальной группы или в пределах множества состояний определенного лица, представления о предметах, действиях, состояниях, свойствах, событиях и процессах, а также вызываемые ими когнитивные и/или моторные рефлекссы. Психологическая природа стереотипов двояка: с одной стороны, они — если воспользоваться терминами Пиаже (1969) — представляют собой явление аккомодации, поскольку в определенной степени

обусловлены содержанием воздействия среды на организм (на культурное сообщество). С другой стороны, стереотипы могут быть интерпретированы также с точки зрения процессов психической ассимиляции, т.е. целенаправленным воздействием на среду: это проявляется в том, что, во-первых, стереотипы не всегда соответствуют действительности, носят, скорее, субъективный, оценочный характер, как, например, стереотипное представление о Лодзи как о «некрасивом» городе, с неэстетичной архитектурой, или распространенное в Польше представление о Белостоке как о городе, в котором доминируют правые политические партии (Szkurlat 2007, 68). Во-вторых, в процессе интерпретации стереотипы — «picture in our head», по образному определению В. Липманна (Lippmann 1922, 70) — играют, по отношению к объектам и вообще — по отношению к внешнему миру, доминирующую роль: в какой-то степени они означают приоритет закодированных с сознанием человека представлений (или «ожиданий» и «убеждений», в терминологии нейролингвистического программирования, см.: Диттс 2001, 112) над ощущениями, которые возникают в конкретных коммуникативных ситуациях. Стереотипы, другими словами, помогают нам упорядочить модель мира, а также значительно облегчают нашу ориентацию в ситуативных контекстах, особенно в тех случаях, когда детальный анализ компонентов ситуации и ее внешних связей — как это обычно имеет дело в обыденной коммуникации — не входит в задачу коммуникативных партнеров. В связи с этим можно сослаться на метафору «кратчайшего пути», которая используется в теории культивации, объясняющей познавательное и социализирующее воздействие СМИ посредством актуализации стереотипов:

[...] Телезрители не задумываются о реальности происходящих на экране событий, но телевизионные образы используются всякий раз при когнитивной оценке социальных вопросов. Зрители, потребляющие большие объемы телевизионной информации, более уверенно отвечают на вопросы. Это говорит о том, что формируется некий когнитивный «кратчайший путь», позволяющий получить быстрый доступ к ответам. [...] Эффект культивации скорее укрепляет взгляды телезрителя, чем изменяет их (Брайант/Томпсон 2004, 128).

Литература о стереотипах огромна. Я сошлюсь только на избранные русские и польские публикации последних лет: Воркачев 2004; Шестаков 2003; де Лазари/Рябов 2007; Сергеева 2004; Красных 2006; Степанов 2007; Nowak/Tokarski 2007; de Lazari/Nadskakuła/Żakowska 2007; Bartmiński/Niebrzegowska-Bartmińska/Nycz 2004; Bartmiński/Tokarski 1998;

Bartmiński 1999; Żabicka 2002; Kita/Skudrzyk 2006 и др. Поэтому достаточно будет упомянуть системное представление генезиса, характеристик и функций стереотипов в работе: Szkurłat 2007. В следующих пунктах я выделю несколько аспектов данного явления, наиболее существенных с точки зрения межкультурной коммуникации.

3. Стереотипы как когнитивный фольклор

Стереотипы представляют собой, главным образом, категории обыденного поведения, когда детальный анализ происходящих событий не требуется (в отличие, например, от научных или юридических дискурсов) – эту идею ранее высказал Х. Патнэм (Putnam 1975, 249). Поэтому для стереотипов, как и вообще для обыденного знания, характерна необязательность верифицирования, а также схематичность, которую польский исследователь Я. Вархаля определяет как «принцип обобщения элементарного жизненного опыта» («zasada generalizacji prostych doświadczeń życiowych») (Warchala 2003, 35 ссл.), в котором можно видеть рудименты дооперациональных представлений, лежащих в основе мышления ребенка (см. далее). Вархаля, например, пишет, что основанные на традиции и (скорее, коммуникативном, чем познавательном) опыте поколений стереотипные утверждения типа:

Болезни появляются с накоплением грязи в организме

вполне естественны в обыденной коммуникации, хотя подобного рода «знания» недостаточны с точки зрения профессионального врача или фармацевта. Подобным «убеждениям» целиком посвящена научно-популярная монография Р. Мэтьюса (Matthews 2005), который пишет, что хотя некоторые предубеждения более или менее поддаются научной верификации, ни их возникновение, ни функционирование не опирается на фактическую, закономерную связь явлений и событий – имеет, скорее, аффективный или случайный характер, ср. некоторые примеры:

Правая стопа более подвержена щекотке, чем левая.

Чрезмерная мыслительная деятельность может привести к головной боли.

Обычно люди используют только около 10 % возможностей своего мозга.

Шпинат полезен для здоровья.

Количество людей, которые живут на Земле сейчас, больше количества людей, которые жили раньше.

Кряканье уток не сопровождается эхом.
Большинство животных — «правши».
Некоторые люди, когда смотрят на солнце, начинают чихать.
Отпечатки пальцев неповторимы.
Лампочка будет действовать дольше, если ее реже включать и выключать.

4. Стереотипы и прецедентные контексты

Если в основе стереотипов не лежат адекватные, верифицируемые знания о мире, во всяком случае — они не являются необходимыми и достаточными для возникновения и объяснения стереотипов (Павлов, кроме того, указывает на практическую «нецелесообразность» некоторых паттернов, например, таких, как дуэль или жертвоприношение), то можно утверждать, что природа стереотипов, главным образом, социальная. В теории социологии известна теория спирали молчания немецкой исследовательницы Э. Нёлле-Нойман, которая обычно используется для объяснения механизмов идеологического воздействия СМИ на адресатов. Нёлле-Нойман различала две категории и две функции общественного мнения: во-первых, это — функция манифестации точек зрения, которая в демократическом государстве необходима для все более оптимальной организации политической и административной системы; во-вторых, это — функция социального контроля, которая обычно реализуется имплицитно, с опорой на закодированные в памяти членов сообщества стереотипы, верований, предубеждений, мифов и т.д. (Noelle-Neumann 1992, 284 ссл.).

Спираль молчания означает, что члены сообщества, ссылаясь на достоверные с их точки зрения СМИ, чаще всего — телевидение, убеждены, что одни идеи заслуживают большего внимания и одобрения, чем другие. Человек склонен к тому, чтобы занять конформистскую позицию, т.е. разделять большинство убеждений, принятых в его социальном окружении — это гарантирует человеку позитивный общественный статус. Напротив, неприятие стереотипных убеждений грозит общественной изоляцией, «молчанием», которое становится тем более неизбежным, чем более сильную медиальную огласку получают избранные, канонические идеи, обычно — элементы официальной идеологии⁴⁹.

Главная идея теории спирали молчания состоит в том, что доминирующие убеждения в обществе не возникают благодаря их факти-

⁴⁹ Например, прежде всего влиянием телевидения объясняется победа социал-демократической партии на парламентских выборах в ФРГ в 1976 году.

ческой обоснованности – репрезентативности, или благодаря тому, что их сторонники составляют большинство. Главной причиной распространения идей считается их культивирование в СМИ. Эффект спирали молчания, как пишет М. Филипяк, состоит в том, что идеи, которые «раскручиваются» в СМИ, завоевывают все новых сторонников, тогда как носители альтернативных точек зрения все больше «погружаются» в молчание (Filipiak 2003, 81). Таким образом, альтернатива социального поведения, согласно Нёлле-Нойман, состоит в том, что человек, если он не хочет оказаться в изоляции, либо принимает точку зрения, представленную в массовой коммуникации, либо «замолкает»⁵⁰.

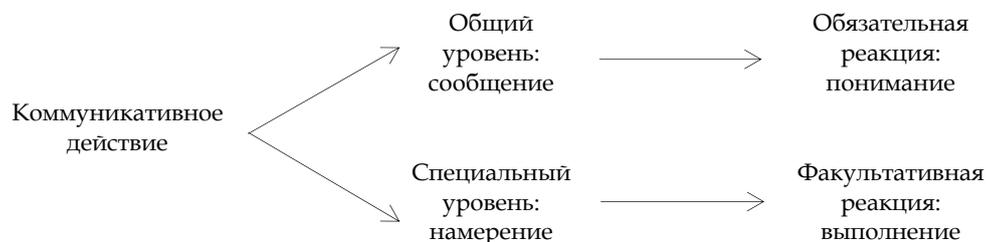
В связи с эффектом спирали молчания необходимо различать социальные статусы источников информации, в том числе информации интерпретирующего характера. Особый, доминирующий статус имеют современные СМИ, которые пользуются большим авторитетом, чем, например, школьная педагогика (в частности, педагогическая литература). Так, благодаря целенаправленному воздействию СМИ война в Персидском заливе 2003 года была воспринята большинством населения США и Западной Европы как необходимая мера в борьбе с международным терроризмом, в частности, с движением «Аль-Каида», а также как акция с целью поиска и уничтожения оружия массового поражения, хотя, как выяснилось позднее, главной целью вторжения было получение контроля над иракской нефтью.

5. Семантическая vs. прагматическая функция стереотипа

Для объяснения функционирования стереотипов в межкультурной коммуникации важно различать уровни понимания текстов. В литературе встречается значительное многообразие трактовок уровней понимания – см. обзор в работе: Киклевич 2007, 241 ссл. Отвлекаясь от деталей, можно выделить уровень восприятия семантической информации – многообразных форм отношений текста с миром, и уровень восприятия прагматической информации – многообразных форм отношения текста к социальной среде (как они понимаются в системной концепции немецким лингвистом Х. Штронером, см.:

⁵⁰ В связи с этим будет уместным привести высказывание Николая Лескова: «Не сами ли вы говорили, что, чтобы угодить на общий вкус, надо себя „безобразить“. Согласитесь, это очень большая жертва, для которой нужно своего рода геройство».

Strohner 1990, 132ссл.; ср: Видинеев 1989, 92). Подобным образом другой немецкий исследователь Р. Буркарт различает два уровня коммуникативной деятельности: общий и специальный. На общем уровне передается семантическая, другими словами – «идеационная», информация – о положениях вещей, тогда как на специальном уровне – информация о реализованном в акте речи намерении говорящего (Burkart 1995, 27).



Некоторые исследователи, сторонники прагматизма, следуя предложенному Л. Витгенштейном пониманию «значения как употребления», даже считают, что коммуникативный эффект подчиняет себе все содержание высказывания. Так, Р. Дилтс пишет: «Значением информации для адресата является реакция, вызываемая этой информацией у адресата, независимо от намерения, которое было у сообщавшего эту информацию» (Дилтс 2001, 85). Такой подход следует, однако оценить как радикально функциональный, поверхностный. Здесь налицо реализация морального реализма детского мышления, о котором писал Ж. Пиаже: он выражается в том, что «ребенок не учитывает в оценке поступка внутреннее намерение и судит о поступке только по внешнему эффекту, по материальному результату» (Обухова 1981, 27).

Следует, однако, признать, что в речевой коммуникации нередки ситуации, когда понимание на семантическом уровне оказывается менее значимым, чем понимание на прагматическом уровне, которое во многом сводится к распознаванию коммуникативного намерения источника информации. Такой характер имеют многие пословицы и поговорки, а также другие «ритуализмы», которым в естественных условиях речевой коммуникации нередко трудно приписать конкретный номинативный смысл, но которые легко интерпретируются с точки зрения реализации определенных социальных отношений между речевыми партнерами. Например, приводимая В. Далем русская пословица

Не быть курице петухом, не быть бабе мужиком

употребляется в ситуации, когда говорящий (возможно, и слушающий) осознает, что реализация некоторого действия не может закончиться успехом из-за ограничений в достижении целей. Относительно точная и полная экспликация семантических компонентов, из которых складывается номинативное содержание данной пословицы, требует от говорящего определенной лингвистической компетенции, определенного навыка, тогда как прагматическая функция высказывания более или менее очевидна — отрицательная оценка, хотя в целом прагматическое содержание данной пословицы сложнее:

Не быть курице петухом, не быть бабе мужиком

- а) X намерен осуществить S
- б) я считаю, что X не может осуществить S, потому что
- в) X не способен осуществить S
- г) я считаю, что существуют ограничения в достижении целей
- д) это нехорошо, если X намерен и одновременно не способен осуществить S
- е) я не советовал бы X-у предпринимать попытку осуществления S

Ср. другие пословицы, в случае которых нам легче представить ситуацию коммуникативного употребления, чем их идеологический смысл:

Пословица	Ситуация употребления	Речевой акт
<i>Пришла смерть на бабу, не указывай на деда</i>	X намерен уклониться от осуществления S; говорящий считает неоправданным то, что X намерен уклониться от осуществления S	отрицательная оценка, порицание + побуждение к действию
<i>Баба с возу – кобыле легче</i>	X намерен уклониться от осуществления S; говорящий считает, что участие или неучастие X-а не повлияет на осуществление S; говорящий сожалеет, что X уклоняется от осуществления S	выражение суждения + позволение + отрицательная оценка
<i>Скачет баба задом и передом, а дело идет своим чередом</i>	вопреки своему намерению X не способен повлиять на осуществление S; говорящий неодобрительно относится к тому, что X пытается повлиять на осуществление S	выражение суждения + отрицательная оценка + совет отказаться от участия в ситуации
<i>Деньги да живот, так и баба живет</i>	обстоятельства складываются удачно для X-а; говорящий считает, что X без оснований кичится своими успехами	суждение + отрицательная оценка + совет

Характерное свойство концептов, а особенно стереотипов и мифов — слабая выраженность их идеологического (т.е. сверхфразового) содержания, которое чаще всего лишь подразумевается, а иногда и вообще не имеет никаких реальных границ, как, например, в случае коанов — культивируемых в буддистской культуре дзэн коротких повествований, обычно не имеющих логической структуры, содержащих алогизмы и парадоксы, доступные лишь интуитивному пониманию (в какой-то степени европейским аналогом коана может служить христианская притча)⁵¹.

Преимущественно латентный характер культивирования мифологического смысла обуславливает его размытость, диффузность, о чем (применительно к концепту) писал, например, Барт: «Концепт [...] представляет собой нечто вроде туманности, более или менее расплывчатого сгустка представлений» (1989, 87). В системе культурной коммуникации, т.е. посредством реально функционирующих текстов, данными в восприятии объектами являются (если воспользоваться терминологией Барта) языковые смыслы, закодированные на уровне первичной знаковой системы. Эти смыслы представляют собой своего рода исходную понятийную область („source domain“), которая получает в коммуникативном процессе реальную формальную манифестацию — например, в форме языковых знаков и цепочек знаков. Что же касается сверхфразового смысла, то он представляет собой своего рода целевую понятийную область („target domain“), которая не может быть интерпретирована в непосредственном наблюдении — участник информационного обмена может получить доступ к ее содержанию либо на основании актуализации более широко фонда своих знаний о мире, либо благодаря интуиции. Это означает, что абстрактный смысл стереотипа/мифа выступает, скорее, как размытое множество семантических, не всегда отчетливых интерпретаций.

В связи с этим возникает вопрос об эпистемическом статусе стереотипов и мифов: можно ли приписывать им статус правдивых сообщений? Здесь можно сослаться на фундаментальное замечание Р. Декарта, которое приводит Д. Кемпер:

⁵¹ Исследователи считают, что благодаря использованию алогизмов и парадоксов учителя дзэн создавали комический эффект речевого воздействия, желая посмеяться, позабавиться над своими подопечными. Например, в одном коане говорится о том, как монах Вакуан, глядя на портрет бородатого Бодхидхармы, выражал недовольство, задавая такой нелепый вопрос: «Почему этот человек без бороды?» (см.: Майданов 2012).

Все вещи, понимаемые нами вполне ясно (*clairement*) и отчетливо (*distinctement*) — истинны. Однако некоторая трудность заключается в правильном различении того, что именно мы способны представлять себе вполне отчетливо (2009, 13).

Провозглашенное философией Нового времени требование интуитивной очевидности впечатлений не дает нам достаточных оснований для утверждения об истинности стереотипов, вследствие того, что, как было уже указано, стереотипы в своем большинстве латентны. Поэтому вместо логической интерпретации типа *Правда, что S* здесь следует использовать более широкую эпистемическую интерпретацию: *Мне известно/я думаю, что большинство считает, что S; поэтому я также склонен считать, что S*.

Разграничение понимания на семантическом и на прагматическом уровне необходимо потому, что здесь проявляется определенное разделение функций языкового кода и фонда фоновых знаний (включающего набор стереотипов), который в речевой деятельности взаимодействует с языковым кодом. Языковая компетенция, главным образом, необходима для передачи и интерпретации семантической информации — Г. Бэйтсон квалифицировал это как «описательный аспект коммуникации». Все дополнительные, невербальные коды, включая систему стереотипов, служат для реализации того, что Бэйтсон квалифицировал как «побудительный аспект коммуникации» (см. Вацлавик, Бивин, Джексон 2001, 14). Упомянутые американские авторы считают, что языковые категории слабо приспособлены к непосредственному выражению социальных отношений — для этого используются другие категории знаков (прежде всего так называемые аналоговые).

[...] Отношения лишь иногда определяются полностью осознанно. На самом деле, чем более спонтанны и «здоровы» отношения, тем более аспект отношений (в содержании речевой коммуникации. — А. К.) отходит на второй план. Напротив, «нездоровые» отношения характеризуются тем, что за природу отношений идет постоянная борьба, а содержательный аспект коммуникации становится все менее и менее важным (*op. cit.*, 15).

Стереотипы в речевой коммуникации выполняют, главным образом, социализирующую и коррелятивную функцию, т.е. представляют собой фон, на котором генерируется и интерпретируется прагматическая информация. Учет стереотипов в межкультурной коммуникации позволяет определить стратегию поведения таким образом, чтобы она в максимальной степени соответствовала задачам говоря-

щего, задачам адресата или задачам третьего лица. Так, в работе (Maas/ Arcuri 1999) описываются коммуникативные интеракции в паре «опекун (врач, медсестра, санитар) – пациент». Как показывают наблюдения, работники медицинских клиник склонны считать, что чрезвычайные обстоятельства, в которых оказались их клиенты (особенно некоторые группы пациентов, как, например, старики), обуславливают состояние их дискомфорта и даже тревоги. Это стереотипное убеждение существенным образом организует всю систему (в том числе и речевого) поведения персонала по отношению к больным. Исследователи открыли, что характер речевых действий медперсонала и волонтеров по отношению к больным и по отношению к себе значительно различается: обращаясь к пациентам, особенно – к людям старшего возраста, они употребляют большее количество вопросов и повторов, чем в разговорах с коллегами, дополнительно используют специфическую интонацию и «сюсюканье» – характерный элемент обращения к ребенку. Такой способ коммуникации, по (иногда бессознательному) убеждению медперсонала, выполняет определенную терапевтическую функцию, с учетом стереотипного представления о психическом состоянии пациентов – наиболее эффективен.

Содержание стереотипов обычно не эксплицируется и не обсуждается, оно редко становится предметом информационного обмена. Поэтому идентификация стереотипа в процессе интеракции (в том числе и межкультурной) осуществляется на основе опосредующих факторов, в первую очередь – обусловленных стереотипом (выводимых из стереотипа) коммуникативных практик. Так, герой рассказа Василия Шукшина «Живет такой парень» водитель-механик второго класса Пашка Колокольников, добиваясь взаимности сельской библиотечарши Насти, интуитивно выбирает схему действия, которая, с его точки зрения, т.е. с учетом усвоенных им стереотипов, сулит ему успех: сначала Пашка врет, что он – москвич, а когда на сцене появляется настоящий москвич – инженер Гена, Настин жених, пытается играть роль интеллектуала.

На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагональные галифе, бостонский пиджак – и появился такой в сельской библиотеке. [...]

– Здравствуйте! – солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и читальней.

Настя улыбнулась ему, как старому знакомому.

У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал «Огонек».

Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю — ноль внимания. Он сообразил, что парень с «Огоньком» и есть тот самый инженер, жених.

— Хочешь почитать что-нибудь? — спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки.

— Да, надо, знаете...

— Что хотите? — Настя тоже невольно перешла на «вы».

— «Капитал» Карл Маркса. Я там одну главу не дочитал...

Официальный (идеальный, в терминологии Павлова) стереотип «образованного человека» (например: «Образованный человек идеален во всех отношениях») в поведении Пашки контрастирует с более естественным для шофера-механика второго разряда, массовым («релевантным», согласно немецкому социологу А. Шюцу) негативным стереотипом интеллигента; ср. такие характеристики, как «рассеянный и непрактичный человек», «сутулый очкарик с впалой грудью», «книжный червь», «фанатик-буквоед» (см. Норман 2000, 5; Грудинкин 2001)). Пашка пытается совместить в себе несовместимое, но дело в другом: ни первое, ни второе убеждение в развернутой, вербализированной форме нигде в рассказе не появляется — стереотип представляет собой, скорее, размытый, «мерцающий» образ, интуитивное предпочтение одного направления развития событий другому. В определенной степени стереотип оказывается понятием того же ряда, что и символ: оба относятся к области архетипов, т.е. коллективных, бессознательных категорий познавательной деятельности человека, имеющих «общечеловеческое основание» и «не формирующихся на базе индивидуального опыта» (Грицанов 2003, 66).

Размытый, неявный характер большинства стереотипов нередко становится причиной их реинтерпретации, когда установки отправителя информации переосмысливаются коммуникативным партнером с учетом его собственных схем презентации. Так, Дилтс (2001, 85) приводит историю об осажденном иноземцами замке. Когда припасы съестного у обороняющихся подошли к концу, они решили продемонстрировать свое мужество: катапультировали остатки продуктов на головы осаждающих. Увидев пищу, пришельцы решили, что люди в замке, обладая изобилием продуктов, дразнят солдат. Осада была прекращена, а иноземцы отступили.

6. Стереотипы и эгоцентризм

Обращение к научному наследию Ж. Пиаже в начале статьи не случайно: выдающийся швейцарский психолог писал о постепенном

формировании схем поведения в сознании ребенка. В психологии известно, что в возрасте 7 лет ребенок еще не обладает способностями полноценного «формального» мышления — информация обрабатывается, главным образом, с помощью образов, т.е. на уровне дооперациональных представлений (Пиаже 1969; Winterhoff-Spurk 2007, 95). Как известно, для описания детской психологии Пиаже ввел понятие реализма, который заключается в том, что в большинстве случаев ребенок представляет предметы так, как воспринимает их в данный момент, не учитывая внутренних отношений между вещами. Другими словами, как пишет Л. Ф. Обухова, «дети до определенного возраста не умеют различать субъективный и внешний мир» (1981, 27), поэтому знаки воспринимаются ими как элементы называемых предметов. Наивный реализм непосредственно связан с эгоцентрической позицией ребенка: «до определенного возраста ребенок не может встать на другую, чужую точку зрения» (op. cit., 35). Напротив,

социализация — это процесс адаптации к социальной среде, состоящий в том, что ребенок, достигнув определенного уровня развития, становится способным к сотрудничеству с другими людьми благодаря разделению и координации своей точки зрения и точек зрения других людей (op. cit., 39).

Эгоцентризм ребенка заслуживает здесь внимания потому, что подобное явление наблюдается в межкультурной коммуникации. Во-первых, эгоцентризм в этом случае проявляется в абсолютизировании собственных убеждений и точек зрения и, напротив, в игнорировании партнера (хотя это не исключает также других межкультурных ситуаций, о которых речь пойдет далее). Здесь, как и в случае детской психики, участник речевой интеракции не хочет стать на чужую точку зрения, как, например, герой рассказа Шукшина «Срезал» Глеб Капустин — сельский житель, рабочий пилорамы, цель которого — в споре с приехавшим из города интеллигентом — состоит в одном: продемонстрировать превосходство деревенского образа жизни и деревенского образа мышления (типа знания) над городским.

Во-вторых, если у ребенка эгоцентризм имеет, преимущественно, дейктический характер, что проявляется в доминировании окказиональных точек зрения в интерпретации фактов, то в ситуациях межкультурной коммуникации взрослых реализуется феномен культуры и, т.е. экстраполяции имеющихся в распоряжении субъекта схем интерпретации на всю сферу его практического опыта, в том числе и конкретной ситуации, в которой он участвует. Стратегия по-

ведения заключается при этом в концептуализации действительности в соответствии с имеющимся арсеналом стереотипов.

Приобретенная в коммуникативной практике символическая, состоящая из «конструктов» (понимаемых в духе Н. Люмана) действительность подчиняет себе реальные факты. Это проявляется в двух аспектах: во-первых, в выборе определенного ракурса интерпретации предмета. Например, передаваемая в западных СМИ информация на тему Белоруссии преимущественно имеет политический характер, тогда как другие сферы (наука, медицина, культура, общество) не учитываются вовсе. Во-вторых, стереотипы формируют радикально маркированную аксиологическую установку. Например, среди поляков распространено пренебрежительное отношение к жителям Восточной Европы⁵². То же самое наблюдается у русских по отношению к украинцам и белорусам, о чем, например, свидетельствует опубликованный в московской газете «Известия» (18 VII 2006) текст о выставке известного скульптора Зураба Церетели в Витебске:

Ближайшие соратники отправились следом «Волгами» с надписью «Культурно-просветительская» на борту. Возглавляла кортеж милиция с мигалкой — в Витебске явно излишней. Время здесь остановилось в районе славных лохматых брежневских лет: машин мало, люди по улицам ходят скромные, спокойные, плохо одетые, а в универсаме, на витрине молочного отдела потеет кефир под зеленой жестяной крышечкой... [...] Даже мне стороннему наблюдателю, было неловко за низкокалорийное славянское гостеприимство. Клубника, березовый квас, травяная настойка и драники (картофельные оладьи) — вот диета, на которой мастеров резца и кисти, а также примкнувших к ним журналистов продержали с утра до вечера.

⁵² Так, интернет-портал Лента.Ру в материале «Польский суд признал сленговые прозвища русских неоскорбительными» (5 I 2011) сообщает: «Окружной суд южного польского города Кельце постановил, что местные сленговые слова, употребляемые для обозначения русских, не являются оскорбительными по национальному признаку. Об этом сообщает «Польское радио». Речь идет о польских словах *Ruska* и *Russek* (русский на литературном польском будет *Rosjanin*). Поводом для судебного процесса стала жалоба Любове Дзюбинской, русской по национальности, которая состоит в браке с поляком и с 1991 года живет в польской деревне Стапорково (Staporkowo). Она подала в суд на свою золовку Терезу (фамилия не называется), которая прилюдно назвала ее словом *Ruska*. Слушание в окружном суде Кельце стало вторым: ранее дело рассматривали суд города Коньске, который также оправдал Терезу. „Это как смертельный приговор для меня“, — прокомментировала истица решение суда. По словам Любове Дзюбинской, теперь односельчане будут обзывать ее еще чаще, и уже на законных основаниях. Она даже рассматривает возможность вернуться в Россию, так как считает, что семья ее мужа превратит ее жизнь в ад».

Если в детском реализме знаки выступают как элементы предметов (именно поэтому ребенок верит, что, воздействуя на знак, он воздействует также на предмет, что, впрочем, является общим принципом языковой магии), то в культивировании стереотипов, напротив, схемы интерпретации существуют как бы независимо от ситуаций действительности, во всяком случае ситуации рассматриваются как своего рода приложения к схемам: предметы, события, состояния, процессы верифицируются с точки зрения того, соответствуют ли они социальной или индивидуальной системе убеждений.

Отношение между знаком и предметом в условиях наивного реализма



Отношение между схемой интерпретации и ситуацией действительности в условиях культивации



В коммуникативном поведении, основанном на культурных и субкультурных стереотипах, можно различать два типа эгоцентризма: 1) экстенсивный, т.е. основывающийся на абсолютном культи-

вировании собственной точки зрения; 2) интенсивный, т.е. основывающийся на пользе, которую субъект извлекает для себя из культивирования точки зрения партнера.

В первом случае мы имеем дело со своего рода интеллектуальной пассивностью и консерватизмом субъекта, который устойчиво придерживается ранее сформировавшихся убеждений. Его социальная позиция (в конкретной коммуникативной ситуации) настолько сильна, что он не считает целесообразным вообще учитывать точку зрения партнера, прислушиваться к ней. Ср. характерную позицию «деда», героя рассказа Шукшина «Критики»:

- [дед] Мы вон, помню...
- [внук Петька] Опять «мы, мы». Сейчас же люди-то другие стали!
- [дед] Чего это они другие-то стали? Всегда люди одинаковые.

Так ведет себя и другой герой Шукшина — уже упомянутый деревенский «энциклопедист» Глеб Капустин. В диалоге с «кандидатом», представителем городской культуры, он как бы не замечает собеседника: Глебу безразлично, является ли тот филологом или философом, от одной темы (невесомости) он, не слушая кандидата, неожиданно переходит к другой (к «проблеме шаманизма в отдельных районах Севера»). Такая коммуникативная стратегия вообще характерна для определенной формы спора, когда изначально ставится задача «низвержения» противника.

В случае интенсивного эгоцентризма речевой субъект формально действует согласно схемам партнера, но, во-первых, это проявляется лишь на поверхностном уровне, т.е. в виде имитации определенных форм поведения, в том числе, и языковых формул. Так, Пашка Колокольников в упомянутом рассказе Шукшина лишь имитирует схему поведения городского жителя, «образованного человека»: с этой целью он направляется в библиотеку и заказывает «Капитал» («Я там одну главу не дочитал...»), хотя тут же признается, что никогда не читал Маркса (Пашка: «Люблю смешные журналы. Особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчас...»). В разговоре с незнакомой молодой женщиной Пашка начинает говорить «по-французски»:

- Некоторое время ехали молча. Женщина поглядывала по сторонам.
Пашка глянул на нее пару раз и спросил:
- По-французски не говорите?
 - Нет, а что?
 - Так, поболтали бы... — Пашка закурил.
 - А вы что, говорите по-французски?

- Манжерокинг!
- Что это?
- Значит, говорю.
- Женщина смотрела на него широко открытыми глазами.
- Как будет по-французски «женщина»?
- Пашка снисходительно улыбнулся.
- Это – смотря какая женщина. Есть – женщина, а есть – элементарная баба.
- Женщина засмеялась.
- Не знаете вы французский.
- Я?
- Да, вы.
- Вы думаете, что вы говорите?

Манерность поведения, его подражательный характер является важнейшим средством коммуникативной манипуляции, т.е. воздействия на партнера с целью получения каких-либо выгод, при этом отсутствует манифестация цели и средств ее достижения (особенно это очевидно в сцене «танцев», где Пашка играет образ городского «плейбоя»).

Кроме рассмотренных выше ситуаций доминирования существует также третий тип межкультурных интеракций, в основе которого лежит кооперация точек зрения: инициатор интеракции, а иногда и его коммуникативный партнер ищет такую конфигурацию точек зрения, которая была бы выгодна обоим коммуникантам. Одним из проявлений такой коммуникативной установки является определение причинно-следственных связей в диалоге, разного рода контактоустанавливающие (в понимании Р. Якобсона) и бехабитивные (в понимании Дж. Остина) апелляции (по крайней мере) одного из коммуникативных партнеров. Так в рассказе Шукшина «Критики» ведут себя городские жители – Петькина тетья и ее муж – по отношению к категоричному деду (деревенскому жителю):

[сцена у телевизора] Вот, значит, сидят все, смотрят. [...] Дед остановился за всеми, посмотрел минут пять на телевизорную мельтешню и заявил:

– Хреновина. Так не бывает. [...]

– Нет, это любопытно, – сказал городской вежливый мужчина. – Почему так не бывает, дедушка? [...]

Дед презрительно посмотрел на него:

– Вот так и не бывает. Ты вот смотришь и думаешь, что он правда плотник, а я, когда глянул, сразу вижу: никакой он не плотник. Он даже топор правильно держать не умеет. [...]

– Любопытно, – опять заговорил городской. – А почему вы решили, что он топор неправильно держит?

– Да потому, что я сам всю жизнь плотничал. «Почему решили?»

– Дедушка, – встряла в разговор Петькина тетья, – а разве в этом дело? [...]

Они были очень умные и все знали — Петькина тетя и ее муж. Они улыбались, когда разговаривали с дедом. Деда это обозлило.

— Тебе не важно, а мне важно, — отрезал он, — Тебя им надуть — пара пустяков, а меня не надуют.

Заключение

В данной статье рассмотрено понятие стереотипа — в аспекте взаимодействия участников межкультурной коммуникации. Стереотипы представляют собой фундаментальные категории схем поведения и схем интерпретации (презентации) опытных данных. В социальной коммуникации, особенно в интеракциях с участием представителей разных культур или субкультур, обычно проявляется моделирующая функция стереотипа, т.е. его способность программировать поведение субъекта, его семантическую интерпретацию передаваемой и получаемой информации.

Для объяснения ситуации возникновения и распространения стереотипов было введено понятие прецедентных коммуникативных контекстов, которое непосредственно связано с явлением «media relations», как оно описывается в теории спирали молчания.

Функционирование стереотипов, главным образом, затрагивает прагматическую сферу речевой коммуникации, т.е. касается интерпретации интенционального («побудительного», в интерпретации Г. Бэйтсона) аспекта коммуникативной деятельности.

Коммуникативный эгоцентризм в ситуациях межкультурного общения находит отражение, во-первых, в экстраполяции собственных схем интерпретации, во-вторых, в явлении культивирования паттернов коммуникативного партнера с целью манипуляции.



Черты «новояза» в современных СМИ

Чему удивляться? Знаешь, как по-испански «реклама»? — Ханин икнул. — «Пропаганда». Мы ведь с тобой идеологические работники, если ты еще не понял. Пропагандисты и агитаторы. Я, кстати, и раньше в идеологии работал. На уровне ЦК ВЛКСМ. Все друзья теперь банкиры, один я... Так я тебе скажу, что мне и перестраиваться не надо было. Раньше было: «Единица — ничто, коллектив — всё», а теперь: «Имидж — ничто, жажда — всё». Агитпроп бессмертен. Меняются только слова.

Виктор Пелевин, «Generation „П“»

1. Две модели массовой коммуникации

В теории массовой коммуникации различаются два типа СМИ: доминирующие и плюралистические (Goban-Klas 2005), в другой терминологии — рекомендательные («opinotwórcze») и интерпретирующие (Chyliński/Russ-Mohl 2007, 39). Подобным же образом Г. Г. Почепцов (2001) различает иерархическую и демократическую модели коммуникации. Модель доминирующих СМИ функционируют в условиях жесткого контроля всех сфер социальной жизни, поэтому пресса, радио, а особенно телевидение занимают подчиненное положение по отношению к общественным институтам, в первую очередь — политическим «элитам», заинтересованным в целенаправленной передаче идеологической информации и ее некритическом восприятии адресатами. Подчинение СМИ служит сохранению и уси-

лению структуры власти, созданию наиболее приемлемых условий для реализации целей доминирующих политических институтов — партий и связанных с ними политических организаций.

Другая, плюралистическая модель массовой коммуникации функционирует в условиях демократического общества. Она предполагает многообразие точек зрения, динамический характер общественных отношений, а главное — значительную (хотя колеблющуюся в зависимости от конкретной геополитической ситуации в той или иной стране) независимость СМИ от политических партий — впрочем, это не исключает других видов ангажированности в деятельность редакций газет, теле- и радиоканалов. Для данного типа массовой коммуникации характерно явление медиа рилейшенз (или его разновидность — пресс рилейшенз), а также выполняемая СМИ функция «четвертой власти». Как пишет В. Яблонский, медиа рилейшенз выполняют в обществе двойную функцию: с одной стороны, они являются стратегическим партнером для организаций, а с другой — посредником между организациями и обществом (т.е. потребителями производимых организациями товаров и услуг) (Jabłoński 2007, 28).

Необходимо отметить, что развитию и функционированию демократической модели СМИ в значительной степени способствуют новые коммуникативные технологии, в первую очередь — интернет. Именно благодаря интернету получатель информации имеет доступ к тому, что польский философ Т. Скальский, называет «семантическим аспектом сообщения» (Skalski 2002, 157), т.е. возможность верифицирования содержания текста. Определенная степень независимости интернета от политической цензуры позволяет передавать информацию, которая не могла бы появиться в других источниках. Например, благодаря интернетовскому portalу www.naviny.by (6 XI 2007) мы узнаем, что правительство Белоруссии фальсифицирует статистические данные об инфляции в стране: из каждой новой редакции чиновники вычеркивают те позиции, по которым цены выросли, и наоборот — добавляет те, по которым цены снизились. В результате подобной манипуляции общая картина динамики инфляции в Белоруссии представляется как положительная.

Вслед за Т. Гобаном-Клясом различительные черты двух моделей массовой коммуникации в обобщенном виде можно представить следующим образом.

Черты	Модель СМИ	
	доминирования	плюрализма
источник, движущая сила	господствующий класс	общественные группы, политические партии и т.п.
тип собственности	монополия собственности, унифицированный тип собственности	разнообразные формы собственности
продукция	стандартизированная, контролируемая	творческая, свободная, оригинальная
картина мира	однообразное, контролируемое «сверху»	многообразие точек зрения
публика	массовая, зависимая, пассивная	селективная, разнообразная, активная
эффекты	сильное влияние, сохранение существующего порядка	многообразные, а часто отсутствие планируемых эффектов

2. Новояз, или Король умер – да здравствует король!

Осуществившийся в 80-90-е годы прошлого века в странах Центральной Европы, а в Украине – в первой декаде нашего столетия переход от тоталитарной политической системы к демократическому управлению коснулся также СМИ – их организации, структуры, а также содержания и форм социального воздействия на адресатов. Эти изменения коснулись также языка журналистики, а именно – его демократизации. Общее направление процессов демократизации публичных дискурсов, как считает К. Ожуг, состоит в «полной компрометации языка коммунистической пропаганды и в отказе от него в публичной коммуникации» (Ožóg 2004, 43). Впрочем, процесс устранения «новояза» из языка журналистики обозначился в Польше уже в 80-е годы XX века.

Демократизации языка массовой коммуникации представляет собой сложный процесс, затрагивающий разные аспекты социальной жизни. Во-первых, происходит дифференциация двух стилистических систем: информационно-медийной и политической, хотя это не исключает их взаимодействия и влияния друг на друга. Наме-

тилась тенденция к ироническому интерпретированию политиков в СМИ (ср. телевизионную программу «Куклы», существовавшую на российском канале НТВ в 90-е годы прошлого столетия).

Во-вторых, демократизация означает стирание границ между функциональными стилями и, особенно, массовое проникновение в язык СМИ элементов разговорного стиля и даже просторечия, другими словами — то, что квалифицируется как колоквализация языка (определение немецкого слависта К. Гутшмидта). Впрочем, это явление характерно для каждого переходного периода в политической истории государства. Так, в 20-е годы прошлого века русский языковед Г. К. Данилов писал:

С утверждением пролетариата как господствующего класса резко изменилось само направление стилевых заданий. Если до революции старались говорить так, как писали, то теперь, наоборот, лучшим образцом письменной речи считается такая, которая приближается к устному разговорному языку (см.: Якубинский 2001, 147).

В-третьих, в массовой коммуникации обозначился рост интерактивных практик. В журналистике это означает особое внимание к диалогическим, репликативным жанрам, среди которых выделяется интервью. Наконец, в-четвертых, демократизация общества обусловила рост многоязычия — появление на медийном рынке изданий, представляющих национальные и социальные меньшинства. Благодаря этому расширилась сфера функционирования не только национальных языков, но также диалектов, региональных языков и разнообразных «неконвенциональных» социолектов, например, языка молодежной субкультуры hip-hop & rap.

Несмотря на значительные изменения, которые в течение последних двадцати лет произошли в Центральной и — в меньшей степени — в Восточной Европе, элементов новояза полностью искоренить из публичной жизни не удалось (и вряд ли это вообще возможно) — по-прежнему в сфере массовой коммуникации, в том числе и в журналистике, проявляется наследие тоталитарного мышления и тоталитарного стиля. Можно предложить два объяснения данного явления.

С одной стороны, новояз — это не только язык тоталитарного государства. Черты новояза — как социально значимого коммуникативного кода, в основе функционирования которого лежит манипуляция — в определенной степени неотделимы от политики, а также от других манипуляционных сфер публичной деятельности: рекламной, педагогической, религиозной и др. Г. Г. Почепцов в связи

с этим пишет, что два типа коммуникации: иерархическая и демократическая, — принадлежат не к разным типам государственного устройства, а «к разным социальным структурам: государству и обществу [...] Государство заинтересовано в единстве, общество — в разнообразии» (2001). Таким образом, иерархическая и демократическая модели коммуникации представляют собой, скорее, градуальные категории с «размытыми» границами, а каждая медийная ситуация предполагает определенную конфигурацию коммуникативных практик обоих типов.

С другой стороны, сохранению элементов новояза способствуют определенные рудименты тоталитаризма в политической и социальной структуре стран Центральной, а особенно Восточной Европы. Так, Гобан-Кляс пишет о характерном для таких стран, как Италия или европейские страны бывшего социалистического блока, модели диктаторской демократии, которая основана на деятельности партии-гегемона («партии власти») и предполагает сильного политического лидера (Goban-Klas 2007, 142). Чертами диктаторской демократии являются:

1. государственный контроль над СМИ;
2. высокая степень политической ангажированности СМИ;
3. высокая степень интеграции персонала редакций СМИ и политической элиты;
4. отсутствие четкого представления о журналистской этике, которая могла бы обеспечить признание и легитимность профессии журналиста.

В Польше, по мнению Гобана-Кляса, диктаторская демократия в сфере медийной политики находит отражение в стремлении политических партий подчинить Государственный совет по радио и телевидению, а также в существовании привилегий для избранных организаций, например — для католического, радикально консервативного и националистического «Радио Мария». Власти стремятся также к контролю над коммерческим сектором СМИ.

Новояз особенно возродился в Польше в период 2005-2007 гг., когда к власти пришла консервативно-националистическая партия «Право и справедливость» («Prawo i sprawiedliwość» / PiS). Известный польский филолог и публицист М. Гловинский (автор концепции новояза в польской социолингвистике) определил это явление как писоюз («pisomowa») (Głowiński 2006, 14). К наиболее важным характеристикам писоюза относятся:

1. экетирование, целью которого является оценка, а чаще всего — дискредитация событий, партий, организаций, политических противников и т.д.;
2. экспансия аксиологической семантики, преимущественно обвинительный, демаскирующий характер содержания публичных дискурсов, другими словами — «язык люстрации»;
3. подчеркивание политической солидарности;
4. инсинуационный характер публичных выступлений политиков, т.е. обвинения, не подтвержденные фактами;
5. десемантизация, в частности, реанимация идеологических коннотаций лексем, характерных для эпохи ПНР (например, экспансия негативного содержания лексемы *толерантность*).

В качестве характерных примеров можно привести существительные *układ* и *wykształciuch*. Первое переводится на русский язык как *система, расположение, композиция* и т.п. Однако в многочисленных публичных выступлениях лидера партии ПиС Ярослава Качинского и его партийных соратников данное слово приобрело сильную негативную коннотацию: оно означает группировку лиц — политиков и бизнесменов, имеющих коммунистическое прошлое и удерживавших власть до 2005 года; целью деятельности данной группировки, тесно связанной со специальными службами в Польше и за границей (в первую очередь в России), а также с преступными организациями, является, по мнению Качинского, блокирование процессов демократизации польского общества. Ср. фрагмент из газетной статьи, описывающей выступление Качинского в Сейме (источник: „Gazeta Wyborcza”):

Jarosław Kaczyński przemawiał bez kartki prawie 50 minut. Był to pełen pasji wykład o Polsce i układzie, który dławi ją od 17 lat. [...] Jego zdaniem [...] państwo jest spatio-logizowane i uwikłane w niedobre układy. Przystaje być instrumentem narodu.

A czym? — W najbardziej dochodowych dziedzinach gospodarki triumfuje układ związany z dawnymi albo obecnymi służbami specjalnymi. I to jest specyficzny rys rzeczywistości w ciągu 17 lat. Układ ten — według Kaczyńskiego — zwalczając jego poprzednią partię PC, „partię-matkę PiS”, wpływał nawet pośrednio na wyniki wyborów. Z układem — mówił — były w ten czy inny sposób związane wszystkie rządy III RP — z wyjątkiem gabinetu Jana Olszewskiego.

Prezes PiS wyjaśniał: — Dziś tak łatwo kłamać się nie da. Trzeba szukać innych metod. Dlatego, że my chcemy tę kurtynę zerwać do końca. A to oznacza nie tylko gigantyczną kompromitację układu i jego obrońców, ale także drogę do tego, by to państwo, polskie państwo, stało się państwem polskich obywateli („Gazeta Wyborcza”. 17 II 2006).

Существительное *wykształciuch* 'образованец' распространилось благодаря одному из лидеров Пис — Людвику Дорну, которому ошибочно приписывается создание этого слова. В действительности политик воспользовался существующим (надо отдать должное Дорну — известным ему!) польским эквивалентом русских слов *образованец* и *образованщина* — именно таким образом Р. Зимандом на польский язык была переведена известная статья А. Солженицына (1991)⁵³. Среди ряда дефиниций понятия «образованщина» в данной статье обращает на себя внимание следующая:

Недостатки, унаследованные (интеллигенцией. — А. К.) по сегодня. Нет сочувственного интереса к отечественной истории, чувства кровной связи с ней. Недостаток чувства исторической действительности. [...] Преувеличенное чувство своих прав. Претензия, поза, ханжество постоянной «принципиальности» — прямолинейных отвлеченных суждений. Духовное высокомерие. Религия самообожествления, интеллигенция видит в себе провидение для своей страны (Солженицын 1991).

Существительное *wykształciuchy* < *wykształcić* 'образовать, дать образование' в выступлениях Дорна и его соратников обозначает людей с высшим образованием, которые скептически относятся к проводимым Пис политическим реформам, равнодушных к национальным интересам страны, зависимых от «вражеской» пропаганды, например, сеемой «Газетой выборчей» или частным телевизионным каналом TVN. *Wykształciuchy* противопоставляются «интеллигенции», которая поддерживает Пис. На интернетовском портале «Muzeum IV RP» мы находим следующую дефиницию:

Minister Dorn opisał wykształciuchów jako «pewną wielkowiejską warstwę ludzi z wyższym wykształceniem zasklepioną w egoizmie społecznym, a jednocześnie w odruchu kulturowej repulsji, obrony przed wszystkim, co inne, demonstrującą wzmocnione przez podział polityczny postawy niechęci, lekceważenia kulturowej agresji wobec całej innej Polski» oraz «mocno ignorancką, egoistyczną, narcystyczną warstwę wykształconych, która nie ma wiele wspólnego z polską inteligencją». Jak powszechnie wiadomo, prawdziwą inteligencję stanowią w Polsce słuchacze Radia Maryja (<http://www.spieprzajdziadu.com/muzeum/index.php?title=Wykszta%C5%82ciuch>).

Радикальным же примером писоюза является предложенное вице-премьером в правительстве Качинского П. Гонсевским выражение *udo-*

⁵³ Ср. использование этого понятия Александром Генисом: «Мне говорят, что время „образованщины“ кончилось. Скептики полагают, что ее заменил „офисный планктон“ — с узкими интересами и широкими возможностями».

skonalenie wolności mediów 'развитие свободы СМИ', за которым в действительности скрывалось стремление ПиС ограничить деятельность СМИ, попытка возродить в стране идеологическую цензуру.

3. Пропаганда в газетном тексте

Черты новояза в современной польской публицистике проявляются, в частности, в освещении ряда ключевых проблем политической и социальной жизни. Одним из таких примеров является описание присутствия польской военной миссии в Афганистане и Ираке. Объектом исследования послужили 20 газетных текстов, опубликованных в польском еженедельнике «Angora» в отрезке с 2003 г. по 2007 г.⁵⁴ Анализ содержания газетного материала проводился с учетом семи параметров пропагандистских текстов:

1. идеологические эвфемизмы;
2. ритуализмы;
3. нерелевантность (нарушение третьего постулата коммуникации Г. П. Грайса);
4. идеологические оценки;
5. идеологические метафоры;
6. экспансия арбитральной (идеологически корректной) семантики;
7. собирательность (солидарность).

Кратко охарактеризую выделенные выше параметры. Идеологические эвфемизмы заключаются в том, что автор старается затушевать отрицательные стороны описываемых событий — чаще всего это касается военных действий и гибели людей. Присутствие польского военного контингента за границей неизменно определяется с помощью существительного *миссия*, которое в польской культуре характеризуется положительной коннотацией, что отчасти связано с понятием миссионерства. Иногда *миссия* определяется как *помощь в стабилизации ситуации в Ираке*. Ср. примеры из газетных текстов:

Polscy żołnierze pod komendą dowódcy słynnej amerykańskiej 82. Dywizji Powietrznodesantowej nie mogą liczyć na spokojną *m i s j e*.

Pluton do *m i s j i* w Afganistanie przygotowuje się od października.

Jeździ z polskimi żołnierzami na *m i s j e* stabilizacyjno-humanitarne do Iraku.

To jest oczywiście ciężka sprawa, ale to nie jest pierwsza sytuacja, z jaką mamy do czynienia [...] Polacy uczestniczą w różnych *m i s j a c h* zagranicznych.

⁵⁴ В эксцерпции и предварительном анализе языкового материала принимала участие моя семинаристка И. Здунек.

Trzeba pomóc w pochowaniu żołnierza, który zginął w bardzo ciężkiej i niebezpiecznej misji.

Zapadła decyzja – naszym zdaniem słuszna – by pomóc w porządkowaniu i stabilizowaniu sytuacji w Iraku.

Средством создания идеологических эвфемизмов являются также разного рода показатели неопределенности и обобщенности – таким образом авторы текстов избегают конкретизации содержания, устранения нежелательной, негативной информации:

Chcieliśmy być w NATO, czyż nie? Zobowiązaliśmy się do pewnych działań.

Żołnierze zawodowi ponoszą pewne konsekwencje, jeśli nie wyrażą chęci wyjazdu.

Jesteśmy po prostu częstkowymi dawcami bezpieczeństwa dla całościowego odbioru bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych.

Tym razem doszło do niedobrej rzeczy.

Nasi żołnierze na szczęście do tej pory unikali zamachów, które groziłyby jakimiś groźnymi skutkami.

Под ритуализмами понимаются стандартные – в рамках данного языкового сообщества – языковые формулы, так называемые клише, которые к тому же содержат идеологически маркированные стереотипы, устойчиво ассоциируются с официальным или даже казенным стилем коммуникации. Обычно содержание таких реплик банально, однако они выполняют важную функцию, поскольку апеллируют к сложившемуся в обществе идеологическому стандарту и таким образом склоняют адресата к принятию предлагаемой журналистом интерпретации событий, ср.:

Wojsko i cała służba żołnierska jest w ogóle przedsięwzięciem czasami niebezpiecznym.

Służba w wojsku, czy w policji należy do służb niebezpiecznych. Zawiera w sobie ryzyko.

Ten zawód jest narażony na niebezpieczeństwo.

Żołnierz jest po to, by strzelała na rozkaz, nie pyta, do kogo i po co.

To konsekwencje wybranego zawodu.

Нерелевантность – это, другими словами, нарушение тематического единства дискурса, отступление от доминирующей в данном отрезке коммуникативного взаимодействия темы. В принципе, здесь мы видим своего рода эвфемизм, ведь отклонение от темы позволяет избежать неприятного содержания. Нерелевантность является известным приемом эристики, о чем пишет, например, С. И. Поварнин:

К числу частых отступлений от спора относится подмена пункта разногласий в сложной спорной мысли, так называемое опровержение не по существу.

Софист не опровергает самой сущности сложной спорной мысли. Он берет

некоторые, неважные частности ее и опровергает их, а делает вид, что опровергает тезис (Поварнин 1996, 102).

Так, например, один из собеседников журналиста не согласен с точкой зрения, что присутствие польских солдат в Афганистане не обоснованно, но при этом обсуждается не сама проблема, а польские политики, которые сомневаются в целесообразности «миссии»: одним «критиканам» автор отказывает в компетентности, других обвиняет в пристрастности, третьих — в социалистических взглядах, ср.:

Pan Nowak-Jeziorański nie jest analitykiem militarnym, tylko politycznym. W dodatku jest człowiekiem dawnego pokolenia. Nie dostrzega zmian, które zachodzą we współczesnej sztuce prowadzenia wojny. [...] Jako wieloletni oficer Układu Warszawskiego może nie lubić Amerykanów lub po prostu, jako człowiek ma akurat takie zdanie. [...] Czy Pan Jacek Kuroń był kiedykolwiek analitykiem militarnym? Czy po prostu powiedział, co powiedział, bo socjalistycznemu politykowi tak wypadło.

Ср. также характерный с этой точки зрения диалог:

Dziennikarz: Czy amerykańska wojna z Irakiem była wojną sprawiedliwą?
Major: Z polskiego punktu widzenia, to jest zupełnie nieistotne.

Наиболее часто авторы газетных текстов используют идеологически маркированные оценки. Они носят радикальный, дихотомический характер, тем самым способствуют созданию идеологически окрашенных стереотипов. Примером экспансии идеологической оценки может быть газетная статья «Bratanek do raportu!», в которой рассказывается о племяннике майора Купчика — первого погибшего в Ираке польского военнослужащего. Брат погибшего общается журналисту, что его сын едет в Ирак, чтобы отомстить за смерть дяди. Описывается также эмоциональная реакция штаба, хотя журналист не приводит конкретных фактов и не называет фамилий.

Наблюдается общая регулярность: по отношению к «своим» (в том числе и к союзникам) в большинстве текстов применяются положительные оценки, тогда как представители противной стороны, преимущественно, оцениваются отрицательно, ср.:

Cały system ewakuacji i pomocy dobrze w tym przypadku zadziałał.
Udowodniłmy, że jesteśmy najlepszymi sojusznikami największej potęgi militarnej na świecie.
To była starannie zaplanowana akcja, przeprowadzona przez doświadczonych zawodowców.
Gdyby nie szybkie zwycięstwo Amerykanów w Iraku, nie mówilibyśmy teraz o pokoju między Izraelem a Palestyńczykami.

To elita amerykańskiej armii, świetnie wyszkoleni żołnierze z doświadczeniem „w polu”.

Prezydent Bush rozpoczął tę wojnę, bo wiedział, że reżim Saddama Husajna jest bestialski.

Źle się dzieje w Iraku.

Положительно оценивается также польско-американское сотрудничество в военной сфере:

Polacy nie powinni robić nic na własną rękę. Powinni być dobrym partnerem w koalicji i bardzo dobrze dowodzić swoimi żołnierzami.

Polska jest silnym i niezłomnym sojusznikiem USA i na całym świecie doceniamy jej wkład w stabilny i bezpieczny Irak. Jesteśmy gotowi udzielić jej wszelkiej pomocy.

Довольно часто в текстах употребляются идеологические метафоры, например, с целью представления высокой степени опасности польской миссии за границей, ср.:

Niech Irańczycy znajdą sobie drugiego Jaruzelskiego, który przeprowadzi cichy zamach stanu.

To najtrudniejszy region. [...] To afgański „kocioł”.

Amerykane mieli wiele podobnych przypadków. [...] Wszystkie zamieciono pod dywan.

Polskich żołnierzy bohaterów, którzy przelewają krew za wolność naszą i waszą.

Cały Afganistan to jedno wielkie pole minowe, nafaszerowane śmiercionośnymi pułapkami jak ciasto bakaliami.

Весьма эффективным средством пропаганды является эксплуатация арбитражного содержания, т.е. радикально категорическая модальность сообщений, открытая претензия на всезнание и исключительное право оценочных суждений. Ниже приводятся характерные примеры из проанализированного нами материала:

Są dowody, że znakomita większość Irańczyków chciałaby, by Iran stał się bardziej otwartym i wolnym krajem.

Większość terrorystów na świecie w ostatnich kilku latach to Arabowie.

Żadne inne społeczeństwo [...] nie traktuje kobiet tak źle [...] nawet sowiecki komunizm, najgorszych czasach, nie był tak zły, choć był bardzo zły.

(Dyplomata) to uczciwy człowiek, który został wysłany za granicę, by kłamać za swój kraj.

Jest przecież jasne, że, reżim Husajna był jednym z najgorszych na świecie i należało go obalić.

To pewne, że jeśli kiedyś poproszą USA o pomoc, Amerykanie postąpią w myśl zasady „jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”.

Powtarzam: ani ta wojna nie była o ropę, ani Polacy nie wspierają Amerykanów dla ropy. Jesteśmy po prostu cząstkowymi dawcami bezpieczeństwa dla całościowego odbioru bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych. I to jest główny powód naszego zaangażowania.

Skoro przyjęliśmy określony model bezpieczeństwa narodowego, teraz musimy być konsekwentni.

Polska nie wierzy w winę swoich chłopców.

Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że taki wypadek wynika z praw statystyki, wielkości operacji w Iraku i trudności warunków, w jakich się odbywa.

Важная черта всех пропагандистских текстов — коллективность участия в событии.⁵⁵ В социальной психологии, в частности, из работ по психоанализу, известно, что в толпе осознанность и контролируемость поведения, чувство личной выгоды и безопасности ослабевает либо вовсе исчезает. Массе свойственна радикальность и максимализм, здесь безотлагательность в осуществлении внушаемых идей сопровождается элиминированием понятия невозможного. Состояние индивида в толпе З. Фрейд считал аффективным и даже гипнотическим (Фрейд 1990, 14 сл.; см. также: Киклевич 2007, 373). Ср. примеры эксплуатирования семантики солидарности с помощью форм 1-го лица мн. числа:

N a s i żołnierze na szczęście do tej pory unikali zamachów.

N a s z y m obowiązkiem jest.

To jest n a s z cel (przeciwdziałanie wypadkom polskich żołnierzy w Iraku).

Общую картину распределения элементов пропагандистского стиля в исследуемой выборке представляет следующая диаграмма.



⁵⁵ Спекулятивные обобщения, неконтролируемая ориентация на семантику корпоративности вообще характерна для многих публичных дискурсов, например, рекламы. Ср. текст объявления: *Продаются четыре гусыни и гусак. Все несутся.*

В итоге можно констатировать, что «новояз» в определенной степени сохранился в современной массовой коммуникации: в выступлениях политиков, в предвыборных кампаниях, в рекламе и *public relations*. Журналистика в условиях демократического государства выработала новый стиль, прежде всего основанный на категории персуазивности. Однако с идеологической точки зрения деятельность польских СМИ осталась под сильным влиянием политических партий и так называемых *groups with common interests*, поэтому черты «новояза» присутствуют в текстах современной польской журналистики.



Сложное предложение в свете динамического синтаксиса

Если мы проникнем в сущность этой образности, то увидим, что она не нарушается кажущимися нерегулярностями. Потому что эти нерегулярности тоже отражают то, что они должны выразить; но только другим способом.

Людвиг Витгенштейн

1. Динамическая лингвистика

Во второй половине XX века, особенно начиная с 70-х годов, в синтаксической науке широкое распространение получило изучение явлений речевой деятельности, а именно — форм речевой реализации языковых (т.е. хранящихся в языковой памяти и именуемых инвариантами) моделей, схем, образцов. Реализационный аспект синтаксических моделей стал предметом нескольких, близких по своему содержанию лингвистических дисциплин: синтаксической дериватологии, синтаксиса речи (теории высказывания, см.: Дымарский 2013, 313 ссл.), динамической лингвистики. Следует упомянуть, что в русистике особый вклад в развитие дериватологического направления внесла пермская школа во главе с Л. Н. Мурзиным (1974; 1980; 1990; обзор теоретического наследия пермской лингвистической школы см. в работе: Алексеева/Мишланов/Салимовский 2010).

Одной из первых значительных публикаций в области синтаксиса речи была книга Ю. В. Ванникова (1979). Б. Ю. Норман, сторонник

функционального подхода к синтаксису, пишет, что в противопоставление традиционной грамматике, которая по своей природе статична и «содержит перечень языковых законов, правил и единиц», динамическая лингвистика занимается «процессом претворения» языковых моделей в речевые продукты, изучает «механизмы, им управляющие, и условия, ему сопутствующие» (1994, 15).

В русском языкознании накоплен значительный опыт исследования синтаксических процессов речевой деятельности — достаточно указать на работы Н. Ю. Шведовой, Г. Н. Акимовой, Ю. А. Левицкого, В. В. Химики, В. А. Мишланова и др.

Наиболее полный перечень моделей речевой деятельности на синтаксическом уровне мы находим у Нормана; данный исследователь выделил девять типов операций, в результате которых обобщенные синтаксические образцы преобразуются в конкретные высказывания: соблюдение, развертывание, расширение, свертывание, смещение, контаминацию, обособление, включение и сложение (1994, 175 ссл.). Выделяя среди «моделей речевой деятельности» смещение, Норман пишет, что при этом «какое-то слово занимает не свою позицию» (там же, 183). Данное явление реализуется двумя способами: во-первых, может меняться качество функционально-синтаксической позиции слова; во-вторых, смещение сопровождается компрессией синтаксической структуры, ср. (примеры Нормана):

Все чистят перышки тревожными клювами (Б. Окуджава), вместо: тревожно / в тревоге чистят перышки клювами.

Малооблачно и сухо ожидается в большинстве дней второй декады (пресса), вместо: Ожидается малооблачная и сухая погода.

Если в первом предложении синтаксема *тревожно* (*в тревоге*) меняет свою прилагольную позицию на присубстантивную, то во втором синтаксемы *малооблачная* и *сухая* — в результате сокращения синтаксемы *погода* — перемещаются из присубстантивной позиции в прилагольную, при этом меняя и свой грамматический статус (принадлежность к части речи). Общим для обоих этих процессов является то, что сам характер синтаксической зависимости, а именно — подчинительный статус занимаемой словоформой позиции, не изменяется.

В языковой практике можно, однако, встретить и такой, как кажется, не замеченный исследователями тип процессов речевой деятельности, который состоит в более радикальной деформации синтаксической структуры, а именно — в нарушении иерархии членов подчинительной конструкции, т.е. в своего рода

конверсии позиций главного и зависимого членов. В этом явлении, как представляется, наиболее полно отражается свойство речевой деятельности, которое Норман определил как аппроксимативность: говорящий склонен «округлять» языковые величины, т.е. следовать моделям и нормам языкового поведения с большей или меньшей степенью строгости, регулярности. Сознание говорящего оперирует «приблизительными единицами», «размытыми категориями», «нечеткими множествами элементов» (Норман 1994, 16).

2. Синтаксис зависимостей vs. пропозициональная структура

В основе синтаксической структуры лежит понятие зависимости. Как писал Л. Теньер, классик современной синтаксической науки, синтаксическая связь иерархична, т.е. предполагает направленность от подчиняющего элемента к подчиненному (1988, 54). Правда, исключением из этого правила является сочинительная связь, которая, как принято во многих лингвистических работах, относится к сфере расширения базовых синтаксических моделей, т.е. имеет «локальный» характер, определяя не структуру предложения в целом, а структуру отдельных его членов. В связи с этим В. Н. Перетрухин предложил понятие расширения как такого типа синтаксической связи, «при котором к данному элементу предложения добавляются, присочиняются другие элементы того же синтаксического статуса» (1979, 46).

Теньер писал о параллелизме структурного и семантического планов предложения: синтаксические связи элементов регулярным образом соотносятся с семантическими связями, «объекты структурного плана выражают объекты семантического плана» (1988, 54). В этом можно видеть воплощение мысли другого французского лингвиста — А. Сеше, который считал, что (формируемое на ранних стадиях онтогенеза языка) синтагматическое отношение «главный член — зависимый член» имеет интеллектуальный (имелось в виду — репрезентативный) характер (в отличие от отношения «субъект — предикат», которое, по мнению Сеше, выражает «волеизъявительную связь»), поскольку в нем находит отражение взаимосвязь предметов и явлений окружающего мира:

Две части высказывания предстают перед сознанием как коррелятивные элементы единого класса осмысления [...] непосредственно связанные логическим подчинением. [...] Нужно, чтобы ничто в ситуации, которая мотивирует высказывание, не отвлекало мышления от логического единства, включающего оба члена. А для этого нужно, чтобы различные по смыслу и выполняющие

каждый свою логическую роль, они вместе выполняли единую функцию в акте коммуникации. [...] Говорящий схватывает мысль в ее целостности с помощью интеллекта и устанавливает между ее частями подчинительную связь [...] (Сеше 2003, 32-33).

Благодаря иерархии членов подчинительных конструкций структура предложения обладает свойством, которое Г. А. Золотова определила как *изосемичность*. Данная категория представляет собой

характеристику синтаксических единиц по способу организации, обнаруживающему соответствие/несоответствие категориального значения подкласса слов категориальному значению отображаемых внеязыковых явлений (1988, 430).

Свойство *изосемичности/неизосемичности* применяется Золотовой к элементарным синтаксическим единицам, или синтаксемам, но оно оказывается полезным и при описании синтаксических структур. Так, дискретные синтаксические конструкции, которые наиболее адекватно — по принципу аналогии — отражают структурную организацию описываемых положений дел, следует признать *изосемичными* — в отличие от синтаксических конструкций, в которых референтная ситуация представляется в компрессированном или деформированном виде⁵⁶. Сравним предложения:

Любая (если не каждая) женщина мечтает о том, чтобы рядом с ней был сильный мужчина, на которого можно положиться (Александр Лебедев).

Любая женщина мечтает о сильном мужчине, на которого можно положиться.

Первое предложение можно квалифицировать как *изосемичное*, поскольку базовая семантическая (пропозициональная) структура $P(x, q)$ получает адекватное, структурное выражение: ядерный предикат выражается личной формой глагола, первый (предметный аргумент) — именной группой *любая женщина*, а второй (пропозициональный) аргумент — придаточным предложением. Во втором предложении *изосемичная* синтаксическая структура оказалась подвергнутой трансформации, а именно — сокращению, в результате которого пропозициональный аргумент представлен только именной группой *о сильном мужчине*. В результате синтаксической компрессии часть

⁵⁶ Ю. А. Левицкий пишет, что «все развитие языка можно представить как движение в сторону все большей детализации изображения действительности — развитие системы слов и способов соединения их предложением, спецификацию средств выражения значений и отношений»; см.: Левицкий 1995, 179.

смысла была как бы «вынесена» за пределы предложения, а значит — его интерпретация требует от слушающего включения дополнительных механизмов переработки информации, в частности — так называемой инференции (иными словами, речь идет о апперцептивной базе, т.е. фонде ситуативных, окказиональных или общих, культурных знаний речевых субъектов).

Изосемичность предложения, как видим, во многом напоминает другое его свойство, именуемое иконичностью. В соответствии с традицией, заложенной Л. Витгенштейном, предложение считается иконическим знаком (в отличие, например, от слова как от символического знака). Иконичность состоит в том, что структура знака (в большей или меньшей степени) повторяет структуру его денотата. Напомним, что Витгенштейн писал о предложении как «образе действительности», о «модели действительности, как мы ее себе мыслим» (2010, пункт 4,01).

Предложение есть образ действительности, потому что я знаю представленное им положение вещей, если я понимаю данное предложение. И я понимаю предложение без того, чтобы мне был объяснен его смысл (там же, пункт 4.021).

Знак, посредством которого мы выражаем мысль, я называю пропозициональным знаком (Satzzeichen). И предложение есть пропозициональный знак в своем проективном отношении к миру (там же, пункт 3.21).

Предложение показывает логическую форму действительности (там же, пункт 4.121).

С одной стороны, подход к предложению с точки зрения репрезентативности давал Витгенштейну основание для утверждения о том, что «границы моего языка означают границы моего мира». С другой стороны, иконичность предложения не понималась им как буквальное отражение фактов. В пункте 3.318 «Логико-философского трактата» мы читаем: «Я понимаю предложение — подобно Фреге и Расселу — как функцию выражений, содержащихся в нем». Хотя, согласно Витгенштейну, предложение содержит образ действительности («атомарного факта»), однако этот образ (или смысл) — не то же самое, что отражаемая действительность; об этом говорят следующие фрагменты из «Трактата»:

4.022. Предложение показывает свой смысл. Предложение показывает, как обстоит дело, если оно истинно. И оно говорит, что дело обстоит так.

4.023. Предложение должно определять действительность до такой степени, чтобы достаточно было сказать «Да» или «Нет», для приведения его в соответствие с действительностью. Для этого действительность должна полностью описываться им. Предложение есть описание атомарного факта. Как описание объекта описывает его по его внешним свойствам, так предложение описывает действительность по ее внутренним свойствам. Предложение конструирует мир с помощью логических строительных лесов, поэтому в предложении можно также видеть, как обстоит дело со всем логическим, когда это предложение истинно. Можно делать выводы из ложного предложения.

4.024. Понять предложение — значит знать, что имеет место, когда оно истинно. (Следовательно, можно его понимать, не зная, истинно оно или нет.) Предложение понято, если поняты его составные части.

Как видим, сам Витгенштейн не отождествлял смысла предложения и его истинностного значения, т.е. его референции, а значит, иконичность предложения относительна (не абсолютна). Эту мысль особенно подчеркивал Сеше — сторонник психологического подхода к категориям синтаксиса. Он, например, критиковал логоцентрическую точку зрения, согласно которой «субъект является по отношению к своему предикату совершенно тем же, чем главное слово является по отношению к своему дополнению» (2003, 41). Так, с логической точки зрения в выражениях (предложении и словосочетании):

Лошадь белая.
белая лошадь

имеется один и тот же тип синтаксической связи, а именно — зависимость прилагательного от существительного. Сеше, однако, считал такой взгляд заблуждением:

Трудно согласиться с тем, что связь, созданная актом коммуникации, зависит от качества, изначально внутренне присущего понятиям, взятым извне помимо участия говорящего субъекта. Гораздо естественнее было бы поменять слова местами и выводить логические свойства понятий из той роли, которую воля говорящего приписывает им в акте коммуникации. [...] В случае предложения с субъектом и предикатом над этим актом (осмысления и выражения действительности. — А. К.) доминируют практические потребности коммуникации (там же, 42-43).

В подобном же духе и Ю. А. Левицкий пишет (со ссылкой на В. В. Виноградова) об определенной степени автономности формально-грамматической структуры предложения — по отношению к его семантической («ролевой») структуре: «Падеж — [...] не столько семантическая категория, сколько форма имени, выражающая его отно-

шение к другим словам в речи» (1995, 67). Ранее упомянутый Норман также подчеркивает, что в процессах речевой деятельности «конструкции поверхностного синтаксиса стремятся в каком-то смысле обособиться, „оторваться“ от своей глубинной базы» (1994, 197).

Асимметрия семантической и формально-грамматической структуры проявляется на уровне словосочетания и на уровне предложения (простого и сложного). Например, ярким примером расхождения глубинных и поверхностных связей являются именные словосочетания с числительными — типа *пять девочек*: с формальной точки зрения главным компонентом в конструкции управления выступает числительное (определяющее форму род. падежа мн. числа существительного), с семантической же точки зрения все наоборот: числительное определяет существительное, дополняет его значение.

В простом предложении указанная выше асимметрия проявляется в том, что семантическая (пропозициональная) структура отражает референтную ситуацию, в которой, как писал С. Кароляк, отдельные партиципранты непосредственно связаны друг с другом (1968, 148). Это находит отражение в символическом представлении пропозициональной структуры предложения. Например, предложению

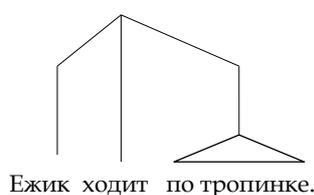
Ежик ходит по тропинке

соответствует пропозициональная формула $P(x, y)$, которая показывает, что аргументы x [*ежик*] и y [*по тропинке*] называют непосредственно взаимодействующие, контактирующие предметы действительности, а предикат P [*ходит*] называет отношение между ними⁵⁷. Данный тип синтаксической структуры можно показать графически (стрелка отражает иерархию аргументов, из которых первый называется активный предмет — на нем лежит ответственность за протекание ситуации):

⁵⁷ По такому, субстанциональному принципу строятся конструкции эллипсиса, например: *Баба с возу — кобыле легче!* Устранению из поверхностной структуры предложения при ситуативном эллипсисе подвергаются в первую очередь элементы, называющие отношения; напротив, названия предметов (ср. *баба, воз, кобыла*) экспонируются на первом плане. Ср. другой характерный пример экспансии предметных аргументов (при элиминировании глагольного предиката): *Бедность тут компенсировали лобызательностью, свободу заменяли дружбой, политику — самиздатом, границу — байдаркой, все остальное — водкой* (Александр Генис). Конструкции такого типа являются, кстати, устойчивыми (ср. понятие синтаксических фразеологизмов у М. В. Всеволодовой).



Формально-грамматическая структура предложения организована несколько иначе⁵⁸: синтаксическая связь устанавливается между глаголом и зависимыми от него существительными (именными группами), при этом в соответствии с теорией грамматики зависимостей подлежащее трактуется как зависимое от сказуемого (см.: Теньер 1988, 65 ссл.).



Следует сделать оговорку, что вербоцентрическая структура предложения нарушается в случае диатаксиста (или ассоциативной синтаксической связи), описанной в работе: Киклевич 2009, 296 ссл. Речь идет о конструкциях, в которых синтаксическая связь именных групп, занимающих позиции аргументов при одном и том же предикате, устанавливается без участия глагола:

Готовь сани летом, а телегу зимой.

В приведенном выше предложении имеется синтаксическая связь между существительными *сани* → *летом*, *телегу* → *зимой*. Реальность этой связи была доказана психолингвистически (Киклевич 2009, 305 ссл.). В диатаксистической связи находит отражение тенденция к симметризации предложения, т.е. к увеличению степени его иконичности — подобия между поверхностной и глубинной структурой предложения.

⁵⁸ Я обращал внимание на различие пропозициональной и формально-грамматической структур в одной из предыдущих публикаций: Kiklewicz 2001, 41.

В данной работе мое внимание будет сосредоточено на фактах более радикального нарушения гипотактического порядка, а именно — смещении синтаксической иерархии: главный член — зависимый член. В отдельных пунктах будут рассмотрены три типа таких явлений:

1. синтаксическая конверсия;
2. синтаксическое переразложение;
3. синтаксическое опрощение.

3. Синтаксическая конверсия

Согласно общепринятому пониманию, подчинительная связь (в простом или сложном предложении)

выражается в синтаксической неравноправности соотносительных элементов: отношения между ними необратимы, показатель отношений имеется только в одном из элементов, синтаксическим зависящем от другого (Розенталь/Теленкова 1976, 292).

В «Русской грамматике» «придаточным предложением называется та часть сложноподчиненного, которая содержит подчинительный союз или союзное местоименное слово» (Шведова 1980, 462). Синтаксическая зависимость в сложном предложении наиболее очевидна в тех случаях, когда придаточное предложение имплицировано семантикой глагольного сказуемого (по своей семантической функции — предиката второго порядка), как это наблюдается, например, в предложениях с глаголами ментальных и эмоциональных состояний:

Он думает, что я сплю.
Все знали, что у нее больное сердце.
Я боялась, что вы опоздаете.

Однако семантический и формально-грамматический планы предложения не всегда взаимно соотнесены. Это касается, например, подтипа предложений с ориентированной анафорической связью, а именно — таких, в которых относительное слово (местоимение) семантически связано с предикативным центром главного предложения (или же с главным предложением в целом):

На постоялом дворе Фома даже не стал есть, чем удивил Доктора (Сергей Осипов).
Братя, похоже, в одно время запустили большие усы, что сделало их совсем неразличимыми (Василий Аксенов).

От нее зависело слишком много, почему она и стала эпицентром столкновения международных противоречий (Владимир Дегоев).

В «Русской грамматике» высказывается точка зрения, что «местоимение (в приведенных примерах *чем, что, почему*. — А. К.) ориентировано на предикативный центр главного предложения и является средством его повторного воспроизведения в придаточном» (Шведова 1980, 527). Указывается также, что объем содержания относительного местоимения «равен объему содержания главного предложения».

Действительно, с формально-грамматической точки зрения часть предложения, включающая относительное местоимение, является зависимой, подчиненной. Такая трактовка находит подтверждение и с коммуникативной точки зрения, ведь вторая часть предложения, как было сказано выше, «воспроизводит» содержание первой, а значит, существует на ее фоне, занимая низшую ступень в иерархии. Но эту гармонию нарушает семантический подход к структуре предложения. Если мы проанализируем смысл приведенных выше предложений, то легко убедимся в том, что с семантической точки зрения именно вторая является главной, обуславливающей содержание и вообще сам факт существования первой части: например, информация о том, что Фома не стал есть на постоялом дворе, является причиной того, что доктор был удивлен. Если представить предикатно-аргументную структуру данного предложения, то окажется, что она базируется на предикате второго порядка *удивить*. Это предикат является двуместным: $P(p, y)$. В качестве первого аргумента предполагается некоторое событие (ставшее причиной удивления), а второй аргумент указывает на лицо. В наиболее дискретной, аналоговой, изосемичной (в терминологии Г. А. Золотовой — см. выше) форме эта пропозициональная структура реализуется в сложном изъяснительном предложении:

Доктора удивило то, что Фома не стал есть даже на постоялом дворе.

Таким образом, мы можем констатировать, что в предложениях рассматриваемого типа семантическая и формально-грамматическая структуры асимметричны. Неслучайно Мишланов (1996, 98) высказывает сомнения относительно того, что такие предложения, как

Он пришел к нам, чему мы очень обрадовались

относятся к разряду изъяснительных (см. также: Łojasiewicz 1992, 15 ссл.). Особенностью изъяснительных предложений, как известно, «является обязательная неполнота (структурная и смысловая) главной части, требующей поэтому восполнения своего содержания» (Валгина 2003, 306). Эта характеристика, однако, никак неуместна по отношению к предложениям приведенного выше типа, в которых главная часть семантически и структурно совершенно достаточна. Напротив — семантически неполной является вторая часть, включающая анафорическое местоимение.

Здесь мы имеем дело с результатом процесса речевой деятельности, который можно квалифицировать как синтаксическую конверсию. Этот процесс состоит в том, что семантически главное предложение, в основе которого лежит (обычно выраженный глаголом) предикат высшего порядка, имплицитно хотя бы один пропозициональный аргумент, в формально-грамматической структуре оказывается зависимым — именно в составе этой части сложного предложения находится относительное местоимение как показатель подчиненности.

Такую ситуацию мы наблюдаем в польском предложении:

Najlepsze dzieła sztuki deformują rzeczywistość, aby ukazać świat artysty, to co on widzi, a dokładniej, co chce, by widzieli inni (Harlan Coben; перевод: Z. A. Królicki).

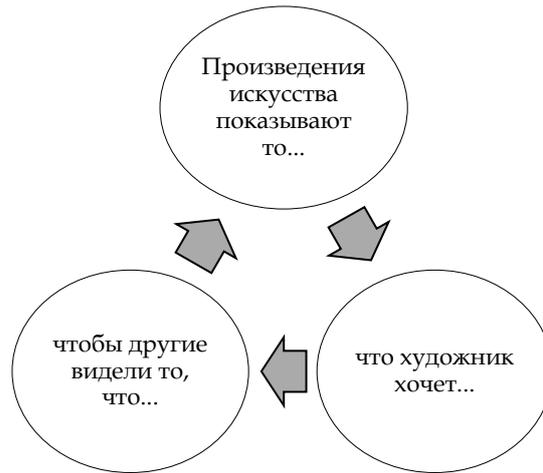
Выделим ту часть данного сложного предложения, которая оказалась подвергнутой процессу конверсии:

Dzieła sztuki ukazują to, co [artysta] chce, by widzieli inni [Произведения искусства показывают то, что художник хочет, чтобы видели другие].

Если мы «развернем» предложение, а именно — продолжим заложенную в нем мысль, то окажется, что предложение содержит тавтологию:

Dzieła sztuki ukazują to, co [artysta] chce, by widzieli inni to, co ukazują dzieła sztuki [Произведения искусства показывают то, что художник хочет, чтобы другие видели то, что показывают произведения искусства].

Семантический парадокс состоит в данном случае в том, что главное — по грамматической форме — предложение одновременно оказывается и зависимым — в семантическом плане, что показано схематически.



Указанная тавтология вытекает из того, что исходная структура предложения оказалась деформированной, а семантические связи членов — нарушенными.

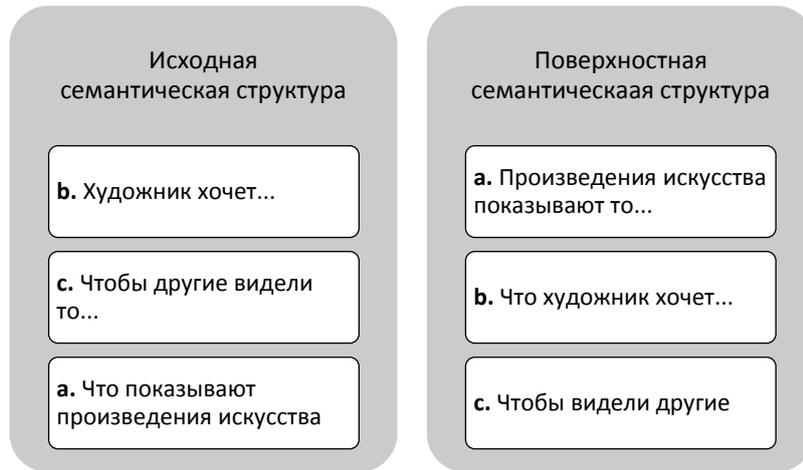
В рассматриваемом предложении можно выделить три части:

- a. Dzieła sztuki ukazują coś [Произведения искусства что-то показывают]
- b. Artysta chce czegoś [Художник хочет чего-то]
- c. (By) inni widzieli coś [Чтобы другие видели что-то]

Исходный порядок этих трех частей, однако, иной: как можно думать, говорящий имел в виду состояние или точку зрения зрения художника (*Художник хочет*) относительно эффекта, который он производит на адресатов (*Чтобы другие видели что-то*), при этом имеется в виду, что адресаты должны воспринимать аутентичные эстетические знаки (*То, что показывают произведения искусства*).

Artysta chce, żeby inni widzieli to, co ukazują dzieła sztuki [Художник хочет, чтобы другие видели то, что показывают произведения искусства].

Как видим, смысл, который в «поверхностном» предложении реализован в форме главной части (*Произведения искусства показывают...*), в замысле говорящего имеет кардинально иную позицию — относится ко второму уровню подчинения.



Нетрудно указать причину синтаксической конверсии: она вызвана коммуникативным фактором речевой деятельности. Говорящий учитывает не столько репрезентативный, логический аспект отражения ситуации в языковой конструкции, сколько иерархию передаваемой информации в релевантной системе коммуникативных координат, другими словами — ее ценностные характеристики. С этой точки зрения информация, заключенная в первом предложении (например, то, что Фома не стал есть на постоялом дворе), оказывается исходной, основной, а информация, заключенная в предложении с (семантически) ядерным предикатом — добавленной, вторичной. Так формируется текстовая иерархия: антецедент — консеквент, при этом антецедент выражается предложением, содержащим пропозициональный аргумент (т.е. семантически зависимый, имплицитированный элемент), а консеквент выражается предложением с главным, имплицитирующим предикатом. Эту асимметрию семантического, коммуникативного и формально-грамматического планов предложения можно показать схематически (в случае семантической структуры линии показывают направление семантической импликации).

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА



КОММУНИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА

Подобное положение наблюдается в предложениях с парентезой, во всяком случае тогда, когда вводное предложение содержит глагольный предикат со значением мыслительного или познавательного состояния/действия, речи, модальности и др. В таких случаях, как писал И. И. Мещанинов, «говорящее лицо выражает свое отношение ко всему основному тексту» (1945, 188). Хотя вводные предложения содержат дополнительное сообщение, их «инородность», как справедливо отмечает Н. С. Валгина, относительна, так как вводные предложения «в смысловом отношении [...] тесно и непосредственно связаны с содержанием высказывания» (2003, 247; следует отметить, что в русистике вводные предложения отличаются от вставных; последние имеют свободное отношение к ведущему предложению, «выражают добавочные сообщения и попутные замечания, восполняющие и разъясняющие предметный смысл предложения», см.: Галкина-Федорук 1957, 334).

Вводные предложения связаны с основным двояко: во-первых, распространен тип конструкций без каких-либо коннекторов, например:

В городе, особенно в средней его части, есть большое число зданий, говорилось в справе генштаба, где подземная часть зданий относится по кубатуре к внешней, наземной, как 3:2 (Андрей Платонов).

У Юры, оказалось, нет подходящих туфель (Василий Ливанов).

Команду отличает прекрасная физическая подготовка, которая, знаем, у «Спартак» дополняется изрядной долей импровизации («Советский спорт». 20 X 1985).

Тот, кто берется критиковать предложения, связанные с механизмом перехода к рынку, должен, мне думается, ответить себе на несколько прямых вопросов («Литературная газета». 28 III 1990).

У поэтов, я слышал, жизнь // Начинается после смерти (Феликс Кривин).

Во-вторых, вводные предложения могут включаться в состав основного с помощью коннекторов:

Ученье, к а к говорится, свет, а неученье — тьма (Антон Чехов).

В те времена играли «в накидку» или, к а к чаще говорили, «в расшибаловку» (Фазиль Искандер).

Ч т о очень важно, Вероника использовала свои гусеницы только в общественных интересах (Виктория Токарева).

Валгина пишет, что формальными средствами синтаксической связи при парентезе являются союзы и союзные слова (2003, 250), однако совершенно очевидно, что употребляемые в составе вводных предложений коннекторы (*что, чем, как, почему, зачем* и др.) представляют собой относительные (анафорические или катафорические) местоимения того же типа, что были ранее рассмотрены в предложениях с конверсией. Подтверждением этого является возможность замены вопросительных (по своей основной функции) местоимений (в позиции коннектора) указательным местоимением:

Ученье — т а к говорится, свет, а неученье — тьма.

В те времена играли «в накидку» или — т а к чаще говорили — «в расшибаловку».

Вероника — э т о очень важно — использовала свои гусеницы в общественных интересах.

Вводное предложение может быть связано с ведущим с помощью уступительных союзов *хоть, хотя, пусть, пускай* — это наблюдается, когда, как пишется в «Русской грамматике», «предметом уступительной квалификации» оказывается «тот или иной элемент главной части» (Шведова 1980, 587). Это означает, что один и тот же смысл может быть выражен как минимум в трех формах: в форме сложноподчиненного изъяснительного, в форме парентетического и в форме сложноподчиненного уступительного предложения:

Вообще господин Белуга не очень представлял, как надо действовать в борьбе с ураганом.

Вообще господин Белуга был готов на самые решительные действия в борьбе с ураганом (какие именно — он не очень представлял).

Вообще господин Белуга был готов на самые решительные действия в борьбе с ураганом, хоть и не очень представлял, какие именно (Александр Дорофеев).

Сходство парентезы и предложений с анафорической связью касается и их семантики. М. Гроховский пишет, что по крайней мере для определенного корпуса парентетических конструкций справедливо утверждение, что они, во-первых, являются семантически неполными, во-вторых, имплицитуют (в каком-то смысле подчиняют себе) основное предложение (Grochowski 1984, 249). Еще раньше (в 1977 году) об этом писал русский языковед И. Ф. Вардуль:

Для таких вводных, как *мне кажется* (имеется в виду предложение: *Мне кажется, он застенчив*), характерно то, что их факты-дезигнаты имеют в качестве одного из своих актантов факт-дезигнат, обозначенный несущим предложением (акция <кажется> требует двух актантов: <мне> и то, что «мне кажется», — <он застенчив>). Поэтому сочленения с таким вводным поддаются трансформации в сложное предложение, при котором несущее становится придаточным: *Мне кажется он застенчив* → *Мне кажется, что он застенчив*; *Ты, я слышал, заболел* → *Я слышал, что ты заболел* (1977, 277).

Расчленение предложения с вводной конструкцией не всегда представляется очевидным. На это указывал Вардуль, который ввел понятия глобальных предложений, т.е. обладающих «неопределенной структурой» (там же, 275). Такого рода образования особенно часто встречаются в разговорной речи. Проанализируем один из примеров:

- Уже два часа?
- А сколько ты думал?

Вторая реплика интересна (и парадоксальна) тем, что с семантической точки зрения она содержит две пропозициональные части, при этом их иерархия прямо противоположна иерархии коммуникативной: первый член (вопросительное местоимение *сколько*) представляет пропозициональный аргумент, а вторая часть (*ты думал*) — ядерную пропозицию. Дискретную, изосемичную форму данного сообщения можно передать так:

- Как думал ты, сколько теперь (на часах)?
- Что ты думал (по поводу того), сколько сейчас (на часах)?

Если проанализировать приведенные ниже вводные предложения, то нетрудно заметить, что они могут быть преобразованы в сложные изъяснительные (с подчинительным союзом *что*):

У поэтов, я слышал, жизнь начинается после смерти.
У поэтов, как я слышал, жизнь начинается после смерти.
Я слышал, что у поэтов жизнь начинается после смерти.

Что очень важно, она еще имела авторитет.
Она — это очень важно — еще имела авторитет.
Очень важно то, что она еще имела авторитет.

Подобные преобразования, впрочем, не всегда в одинаковой степени возможны и не всегда соответствуют языковой норме. Замена парентетического выражения на главное в составе сложного изъяснительного невозможно, например, в вопросительных предложениях, ср.:

С кем играли, ты говоришь?
*С кем играли, как ты говоришь?
*Ты говоришь, что с кем играли?

Кроме выделенных в данном пункте трех основных типов конструкций с предикатом высшего порядка имеется еще четвертый — особый, представляющий собой результат синтаксической контаминации. Конструкции этого типа будут рассмотрены в следующей части.

4. Синтаксическая контаминация

Контаминация в синтаксисе означает объединение, скрещивание двух синтаксических единиц — сочетаний слов или предложений. Один из классических примеров контаминации в русском языке — это сочетание *играет (большое) значение*, которое возникло в результате объединения сочетаний *играет (большую) роль* и *имеет (большое) значение*. На уровне предложения контаминация проявляется в том, что две самостоятельные синтаксические единицы интегрируются в одну, с общим предикативным ядром; при этом обычно такой интеграции сопутствует сокращение синтаксической структуры одного из членов. Такой характер имеет следующее предложение (заимствованное из интернета)

Куда уволен директор «Белтелекома»?

С одной стороны, здесь реализуется синтаксическая структура, базирующаяся на предикате *уволить (Кто-то уволил кого-то)*; с другой стороны, семантически связанным с ним (в структуре текста) является другое предложение: *Куда (т.е. на какую должность) направился ди-*

ректор / куда был направлен (после его увольнения)? В полном виде данная информация могла бы быть представлена так:

Куда, т.е. на какую должность был направлен директор «Белтелекома» после того, как он был уволен?

Говорящий, а именно — пишущий текст журналист, предпочитает, однако, редуцированную синтаксическую форму, что вполне естественно с учетом господствующего в речевой коммуникации принципа экономии.

Подобную ситуацию можно наблюдать в предложении:

Валентин Осипович [...] на целые дни исчезал к родным (Михаил Салтыков-Щедрин).

В этом случае возможны две интерпретации — здесь возникает трудность разграничения динамических процессов на уровне лексической семантики и на уровне синтаксической структуры. С одной стороны, здесь можно усматривать семантическую деривацию глагола *исчезал*, который окказионально употребляется в значении глагола *уходил* (*уезжал, отправлялся* и т.п.). С другой стороны, поскольку такая полисемия экзистенциального глагола кажется довольно неожиданной, предложение можно интерпретировать как результат скрещивания двух синтаксических структур:

Валентин Осипович на целые дни исчезал.
Валентин Осипович отправлялся (в эти дни) к родным.

Поскольку между двумя сообщениями имеется семантическая связь: одно является причиной и одновременно объяснением другого, — то две синтаксические структуры интегрируются в одну, при этом второе сообщение подвергается формальной редукции.

Сопровождающаяся синтаксической интеграцией компрессия может иметь весьма радикальный характер, отчего семантическая интерпретация предложения может быть связана с трудностями:

Президент Российского союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал информацию: «У него контракт, он действующий тренер сборной, а во время контракта никто его кандидатуру никуда рассматривать не может» (www.euro-football.ru).

В этом тексте вызывает недоумение (с нормативной точки зрения) выражение *рассматривать никуда*. В отрыве от контекста читателю

трудно понять, что имеется в виду. В действительности же (это можно установить благодаря контексту и, отчасти, благодаря знаниям о футбольном мире) данная конструкция возникла в результате модификации более развернутой синтаксической структуры:

Его кандидатуру никто никуда рассматривать не будет.

< Никто не будет рассматривать его кандидатуру, а именно — куда (на какую должность) он может направлен после отставки (с поста тренера сборной).

Б. Ю. Норман отмечает, что несмотря на ненормативный характер многих конструкций, возникших в результате контаминации (неслучайно это явление используется как средство языковой игры, см.: Санников 1999, 106), данное явление довольно часто встречается в речевой практике, так как «опирается на определенные психологические и лингвистические предпосылки» (Норман 1994, 187). Другими словами, находясь в противоречии с языковой нормой, контаминацию одновременно вполне соответствует правилам языковой системы.

Контаминация имеет под собой достаточно солидные основания: столкновение «близких в системе» структурных схем и взаимная подгонка лексических и грамматических единиц, участвующих в процессе речепорождения. И получается, что явление, которое под определенным углом зрения может быть квалифицировано как «ошибка», отклонение от синтаксической модели, при динамическом, речедейательностном подходе само становится моделируемым — как один из регулярных способов реализации структурной схемы (там же, 188).

Структурным основанием контаминации является то, что две синтаксические конструкции обладают тождественными элементами: лексическими и грамматическими значениями, типами синтаксических отношений. Рассмотрим один из примеров:

У него была другая семья, но в бараке он время от времени появлялся — с подарками, улыбочками, ласковыми речами и фантастическими рассказами, которые если мы поначалу слушали с разинутыми ртами, то что с ребенка взять! (Руслан Киреев).

В этом случае необходимо обратить внимание на соседство двух подчинительных союзов — *которые* и *если*. В принципе, само это соседство не означает ничего сверхъестественного, ср. предложения, в которых каждый из подчинительных союзов входит в состав своего придаточного:

В России есть ряд регионов, которые, если следовать духу и букве расчетов, не создают стоимость, а вообще уничтожают ее (Магомед Яндиев).

Практически все сорта наперстянки прекрасно завязывают полноценные семена, которые, если их специально не собирать, осыпаются порой в огромных количествах.

Сущее диктует законы необходимости, которые, если они противоречат высшему должному, — «неправедны» (Николай Захаров).

Но в предложении из прозы Киреева мы имеем дело с особым случаем, когда два стоящих рядом подчинительных союза относятся одновременно к одному придаточному. Это становится возможным именно благодаря контаминации, т.е. слияния в одно двух предложений:

а. Он время от времени появлялся в бараке — с фантастическими рассказами, которые мы поначалу слушали с разинутыми ртами.

б. Если мы поначалу и слушали его рассказы с разинутыми ртами, то что с ребенка взять.

В русском языке имеется особый тип контаминативных предложений, которые возникают в результате скрещивания двух типов конструкций: сложных предложений с придаточным изъяснительным и предложений с парентезой. Проанализируем несколько примеров.

Ведь мне о вас, а вам и обо мне // Они не знают сами, что толкуют (Леонид Мартынов).

Формально мы имеем здесь дело со сложноподчиненным предложением изъяснительного типа — на это указывает подчинительный союз *что* во второй части. Но что же мы имеем в первой части? Если проанализировать ее содержание и структуру, то перед нами предстанет конгломерат синтаксем, относящихся к разным синтаксическим моделям. Действительно, синтаксемы *мне, о вас, вам, обо мне* не зависят от глагольного предиката *знают* — скорее, находясь в составе главного предложения, они зависят от глагольного предиката придаточного предложения *толкуют*:

Они толкуют мне о вас, вам обо мне.

Здесь налицо смешение двух форм выражения одного и того же смысла:

Они сами не знают (того), что они толкуют мне о вас и вам обо мне.

Они толкуют (сами не знают — что) мне о вас и вам обо мне.

Говорящий (в данном случае известный поэт) как бы колеблется, какую из двух синтаксических форм выбрать, и реализует обе одновременно, в результате чего возникает интегрированная, синкретичная конструкция, в которой обе протоформы представлены в искаженном виде.

Рассмотрим следующий пример:

А за оставшиеся 450 тысяч рублей наши руководители считают, что можно прокормиться («Народная воля». 29 I 1997).

С точки зрения синтаксической нормы это предложение, как и предыдущее, неправильно: формально первая часть сложного предложения имеет статус главного компонента, но именная группа *за оставшиеся 450 тысяч рублей* ни формально-грамматически, ни семантически не имплицирована глагольным предикатом *считают* — между этими членами нет синтаксической связи. Именно отсутствие синтаксической связи с предикатом (формально) главного предложения не позволяет отнести данных конструкций к типу предложений с расщеплением. В случае расщепления из структуры пропозиционального аргумента выделяется элемент (предметный аргумент), который вводится в ядерную синтаксическую структуру, т.е. базирующуюся на глагольном предикате второго порядка, ср. некоторые примеры:

Нас беспокоит в нем то, что он слишком замкнутый.

Нам нравилось в нем то, что он пел все русские песни.

В нем нас тревожило то, что он выходил из дому слишком рано.

Синтаксемы *нас, нам, в нем* (а именно — их грамматические формы) непосредственно обусловлены семантикой глагольного сказуемого, т.е. можно говорить о синтаксической аккомодации: *беспокоит > нас, нравилось > нам, тревожило > в нем*. Однако в случае контаминатов рассматриваемого типа нельзя говорить о расщеплении пропозиционального аргумента, так как — подчеркиваю — между сказуемым главного предложения и именными группами, введенными из придаточного предложения, нет синтаксической аккомодации (о явлении расщепления в синтаксисе подробнее см.: Karolak 2002, 105).

Возвращаясь к предложению из газетного текста, следует указать, что синтаксическая связь здесь имеется между именной группой *за оставшиеся 450 тысяч рублей* и предикатом придаточного предложения:

Можно прокормиться за оставшиеся 450 тысяч рублей.

Можно предположить, что говорящий (в данном случае — пишущий газетный текст журналист) начинает предложение по парентетической модели, т.е. прогнозирует его в следующей форме:

А за оставшиеся 450 тысяч рублей, как считают наши руководители, можно прокормиться.

Но в какой-то момент говорящий осознает, что предикат *считать* является наиважнейшим элементом, определяющим структуру всего сложного предложения — и тогда речедеятельностная программа «подбрасывает» ему альтернативный вариант выражения того же смысла:

Наши руководители считают, что за оставшиеся 450 тысяч рублей можно прокормиться.

В результате происходит скрещивание этих альтернативных конструкций. Системное нарушение заключается здесь в том, что выражение *наши руководители считают* в предложении имеет одновременно статус главного и зависимого: как вводное предложение оно зависит от основного, но как находящееся в препозиции к подчинительному союзу, имплицитное придаточное изъяснительное, оно имеет статус главного компонента.

К тому же типу можно отнести и приведенные ниже предложения:

Я влюблен, мне все завидуют, у меня вся жизнь впереди, но у меня миллион проблем, за которые я толком не знаю, как взяться («Литературная газета». 15 X 1986).

Он спрашивал, как ему быть: жениться или «сохранить самостоятельность» при условии, что отношения с девушкой сами понимаете, какие («Литературная газета». 17 X 1984).

В первом из приведенных предложений можно усматривать контаминацию двух конструкций:

Я толком не знаю, как взяться за решение моих проблем.

Мне надо взяться (я толком не знаю — как) за решение моих проблем.

Согласно тому же принципу (вспомним о моделируемости процессов контаминации, о которой пишет Норман — см. выше) образуется второе предложение:

Сами понимаете, какие у меня отношения с девушкой.
Отношения с девушкой у меня — сами понимаете — плохие.

Контаминация наблюдается и в следующем предложении из разговорной речи:

Письма вскрываются, проверяются и не знаю, всегда ли отправляются дальше.

Если бы мы имели предложение в такой форме:

Письма вскрываются, проверяются, и я не знаю, всегда ли письма отправляются дальше

тогда сомнений в правильности синтаксической конструкции не возникло бы. Но в том аутентичном виде, в каком предложение зафиксировано в речи, оно характеризуется очевидным синкретизмом: существительное *письма* находится в координативной связи с глаголами *вскрываются, проверяются*, но лишено связи с глаголом *знаю*:

Письма я не знаю, всегда ли отправляются дальше.

Рассматриваемый контаминат образован в соответствии с моделью, которая реализуется во многих других случаях. Первую позицию в предложении занимает обычно подлежащее с семантической функцией аргумента зависимой пропозиции: *письма (Кто-то отправляет письма)*. Вторую позицию занимает вводное предложение вместе с присоединенным подчинительным союзом: *не знаю... ли*. Наконец, третью позицию занимает фраза, реализующая пропозициональный аргумент, а с коммуникативной точки зрения — основное, ведущее сообщение: *отправляются дальше*. Процесс синтаксической деривации можно представить так:

Я не знаю, всегда ли письма отправляются дальше.
> Письма, как я знаю, не всегда отправляются дальше.
> Письма я не знаю, всегда ли отправляются дальше

Как видим, первая часть предложения (синтаксема *письма*) берется из структуры предложения с парентезой, а вторая часть (*я не знаю, всегда ли отправляются дальше*) — из структуры сложноподчиненного изъянительного.

Синтаксические конструкции того типа, когда вводное предложение «захватывает» с собой подчинительный союз и возникает двой-

ственная (и даже двунаправленная) синтаксическая связь, как показывает собранный мной в течение тридцати лет фактический материал, не менее, чем в русском языке, а даже больше распространены в польском языке — об этом отчасти свидетельствуют приводимые ниже примеры:

Jak chciałaby Pani, aby został zapamiętany? („Wprost”. 2000/46).

A co by pan chciał, żeby wisiało? (разговорная речь).

To takie misz-masz mitologicznych symboli i ikon współczesnej Ameryki (do tego, nie wiedzieć po co, legion Polaków, od których sam nie wie, czego charakterystyce) („Angora”. 2003/4).

Notatki mam w kieszeni surduta, a surduta nie wiem gdzie jest (Marek Słyk).

Zaciekawia się milicjant, którego może pozwolicie, że będę nazywał w skrócie Milem (Marek Słyk).

Obertino kiwa mimowolnie głową, ale czegoś wydaje się, że nie rozumie (Marek Słyk).

Znaczenie mojej zupy wydaje się, że jest uniwersalne (Marek Słyk).

Jestem tu od nie wiem jak dawna (Tadeusz Breza).

Ta dziewczyna nudzi się tak przeraźliwie, jak nie wiedziałem, że by się ktokolwiek nudził (Stanisław Dygat).

Ja rewanżuję im się znów reprezentacją łątaną z najróżniejszych skrawków polskości, trochę takiej, jaka jest, trochę takiej, jaka chciałbym, żeby była (Stanisław Dygat).

Jest taki, jaki chciałam, żeby był (Bohdan Rutha).

Sklepy, kioski, ale siusianie nie wiem gdzie (Miron Białoszewski).

A. K. Wróblewskiego, mnie i nie pamiętam w tej chwili kogo jeszcze wysłał Rakowski [...] („Polityka”. 4 V 1991).

Co chcesz synu, żebym ci podarował na urodziny? (разговорная речь).

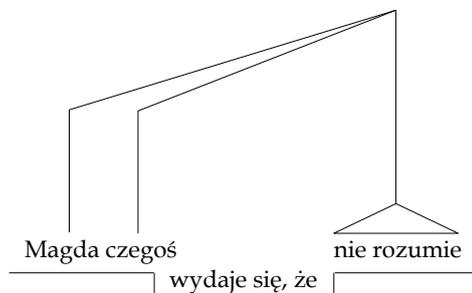
Wirtualny — potocznie używa się tego wyrazu w stosunku do czegoś, co zakłada my, że istnieje, choć w gruncie rzeczy to nie istnieje w sensie materialnym.

Język nas ogranicza: czasami trudno jest nam za pomocą znaków językowych wyrazić myśli, przekazać innym to, co chcielibyśmy, aby o nas wiedzieli.

Dziękuję za zaproszenie do Siedlec, które tak się stało, że Kocham (частная корреспонденция).

Скрещивание двух альтернативных форм выражения одного и того же смысла — это только объяснение процесса порождения контаминатов рассматриваемого типа. Что касается их синтаксической структуры, то она имеет полипредикативный характер, однако вряд ли здесь реализуется подчинительная связь. Несмотря на формальное присутствие подчинительного союза, мы имеем дело, скорее, с парентетической конструкцией: инициальная синтаксема (синтаксемы) семантически и грамматически связана (связаны) с предикатом второй части (формально — придаточного предложения), которую следует признать носителем основного содержания. Вводное предложение (в соответствии с действующим в языке правилом) располагается

в средней части конструкции, при этом в его состав входит подчинительный союз (который указывает на направление синтаксической связи — от парентетического предиката к предикату основного предложения).



Как видим, в структуре подобных контаминатов наблюдается довольно редкое языковое явление, когда главное предложение (*Wydaje się*) образует одно функциональное целое вместе с подчинительным союзом (*że*) как элементом придаточного предложения. Это явление можно квалифицировать как синтаксическое перераспределение, т.е. (подобно перераспределению в морфемной структуре слова, см.: Маслов 1987, 212) перераспределение синтаксических элементов между частями сложного предложения, сдвиг границы между ними.

Хотя синтаксическое перераспределение в конструкциях рассмотренного выше типа относится к сфере речи, т.е. представляет собой своего рода нарушение правила, заложенного в языковой системе, однако частично оно языковой системой и программируется. Имеется в виду то, что предикат парентетической части высказывания принадлежит к типу предикатов второго порядка, т.е. предполагает хотя бы одну позицию пропозиционального аргумента. Эта позиция в типичном случае вводится с помощью подчинительного союза, например:

кажется, что...
wydaje się, że...

Таким образом, подчинительный союз обусловлен содержанием глагольного предиката: с системно-языковой точки зрения предикат

и союз образуют целое, в конструкциях же синтаксического перерасположения (которые подробно будут проанализированы в следующем пункте) эта семантическое единство находит отражение и в формальной структуре высказывания.

5. Синтаксическое перерасположение

О явлении синтаксического перерасположения имеются лишь спорадические упоминания в лингвистических работах. Так, в «Русской грамматике» мы находим небольшой фрагмент (а именно — § 1992), в котором сообщается об образовании сложных словосочетаний «на основе перерасположения связей в предложении» (Шведова 1980, 139). Речь идет о словосочетаниях следующего типа:

полон уезд господ
полный двор птицы
полный дом народу
полна приемная посетителей
полный рот шоколада

По мнению авторов «Русской грамматики», такие сочетания

образованы по образцу сложного словосочетания *полная бутылка вина, полное лукошко грибов*. Однако, если эти последние грамматически разложимы на простое словосочетание и его определитель (*полное — лукошко грибов, полная — бутылка вина*), то сочетания типа *полный двор народу* на уровне подчинительных связей неразложимы, так как сочетаемость **двор птицы, *дом народу, *приемная посетителей* отсутствует; разложение же *полный двор — народу, полная квартира — гостей* правильно, но оно опирается на связи слов в предложении: *Полон двор птицы; Народу — полный дом; [У тебя] полон рот шоколада* (Шведова 1980, 139).

Перерасположение в синтаксисе некоторыми исследователями понимается как замена синтаксического способа выражения значений лексическим (см.: Козлова 2005), например:

иметь жительство > жить
иметь сношения > относиться
делать истребления > истреблять
делать пальбу > палить
делать применение > применять
положить взыскание > взыскать

И. М. Балова (2013) усматривает переразложение в конструкциях с вариантными синтаксическими связями, когда одно и то же слово может быть подчинено различным компонентам высказывания, В ее понимании переразложение — это такой вид синтаксической связи, при котором какое-либо слово некоторой речевой цепи формально может быть подчинено нескольким словам, но при этом ни тот, ни другой синтаксический вариант структуры предложения не меняет его смыслового содержания.

К области синтаксического переразложения не стоит относить конструкций, образованных в результате стяжения (или компрессии), о которых, в частности, пишет Норман (1994, 185). Дело в том, что стяжение приводит не столько к переразложению синтаксических связей, сколько к повышению одной из синтаксем в ранге, занятие ей позиции ближе к глагольному сказуемому. Например, в предложении

Да что вы ко мне все с Р о с с и е й пристае те! (Всеволод Иванов)

синтаксема с *Россией* синтаксически зависима от сказуемого *пристае те*, хотя в исходной форме этого предложения она занимает присубстантивную позицию, ср.:

Что вы ко мне пристае те с разговорами о Р о с с и и.

Мои наблюдения показывают, что переразложение может затрагивать и структуру сложноподчиненного предложения. В подтверждение этого рассмотрим несколько примеров. В стихотворении Новеллы Матвеевой «Шарманщик» есть такие строки:

Достойные друзья!
Не спорю с вами я;
Старик шарманщик пел
Не лучше соловья.
Но, тронув рукоять,
Поверьте, что порой
Он был самостоя-
тель-
нее,
чем король.

Обратим внимание на выделенную разрядкой синтаксему с базовой формой деепричастия. С формальной точки зрения она зависит от ядерного предиката, т.е. глагола в повелительной форме *поверьте*:



Но читатель понимает, что имеется в виду другой смысл: тронув рукоять, шарманщик был самостоятельнее, чем король. То есть с семантической точки зрения синтаксическая структура выглядит иначе:



В конечной версии вербализации смысла произошло переразложение синтаксических связей, причину которого трудно объяснить, разве что — особым «магнетизмом» ядерного предиката, который как бы притягивает к себе члены других предикативных структур.

Проанализируем другой, более сложный случай:

Но если этот тип повадится ходить ко мне в гости или вообще полезет ко мне с вопросами, я просто не знаю, что с ним сделаю («Литературная газета». 21 X 1987).

С формально-грамматической точки зрения условное придаточное предложение *если этот тип повадится...* зависит от главного *Я просто не знаю*. Но совершенно очевидно, что смысловые зависимости в предложении иные:

Если этот тип повадится ходить ко мне в гости, я сделаю (с ним, по отношению к нему) что-то очень плохое (хоть я еще не знаю — что).

Преобразование исходной синтаксической конструкции состоит в том, что придаточное условное отрывается от своего (семантически) главного и присоединяется к части сложного предложения, имеющей в исходном замысле предложения статус парентезы. Таким образом, границы между частям сложного предложения перераспределяются.

Рассмотрим польское предложение из публицистического текста:

Do urzędującego ministra docierają tylko te dokumenty, które wojsko chce, żeby dotarły („Tygodnik Powszechny”. 11 IX 2011) [К министру попадают только те документы, которые армия хочет, чтобы попадали].

Здесь мы имеем дело со сложным предложением, в котором можно выделить три части:

- a. Do urzędującego ministra docierają dokumenty...
- b. Wojsko chce...
- c. [Żeby dokumenty] dotarły...

Формально первое предложение является главным, второе зависимым от первого, а третье — зависимым от второго. Но с семантической точки зрения порядок частей иной, на что указывает структура предложения (b): фактически речь идет не о том, что *Wojsko chce dokumenty* ('армия хочет документы'), а о том, что *Wojsko chce, żeby do ministra docierały tylko niektóre, wybrane dokumenty* ('армия хочет, чтобы к министру попадали только некоторые, отобранные документы'). Более правильная синтаксическая форма имела бы вид:

Do urzędującego ministra docierają tylko te dokumenty, na których dotarciu zależy wojsku [К министру попадают только те документы, в получении которых — министром — заинтересована армия].

Значит, исходная синтаксическая структура отличается от поверхностной — той, которая нашла отражение в формальных синтаксических средствах. Эту исходную структуру можно представить так:

Ponieważ wojsko chce, żeby do ministra dotarły tylko wybrane dokumenty, do urzędującego ministra docierają tylko takie dokumenty [Поскольку армия заинтересована в том, чтобы к министру попадали только некоторые, отобранные документы, к министру попадают только такие документы].

В этом случае причинная связь между одним положением дел (позицией и действиями армии) и другим положением дел (функционированием министра) получает формальное выражение. Процесс синтаксической деривации состоит в том, что придаточное причинное (т.е. расчлененного типа) с союзом *ponieważ* 'поскольку' преобразуется в придаточное определительное (т.е. нерасчлененного типа) с союзом *które* 'которое'.

В повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» есть такое предложение:

Неужели же есть более спокойные места? Освещенные улицы, трамваи, троллейбусы, краны, из которых, повернешь вентиль, и потечет вода.

Здесь имеется вставное предложение *Повернешь вентиль*, которое можно представить как результат преобразования подчиненного (условного) предложения:

Из крана — повернешь вентиль — потечет вода.
< Из крана потечет вода, если повернешь вентиль.

Но ситуацию усложняет коннектор *и* в составе главного предложения: он указывает на то, что значение предложения в некотором отношении зависит от значения другого, главного:

Повернешь вентиль — и тогда из крана потечет вода.
Повернешь вентиль, вследствие чего из крана потечет вода.

Как видим, одна и та же синтаксическая (а именно — парентетическая) единица имеет двойственный статус: она одновременно является и зависимой, и главной частью сложного предложения.

В русском и польском языке выступает особый тип синтаксического переразложения, касающийся употребления в составе главного предложения соотносительного (опорного) местоимения. В «Русской грамматике» «позиционное разобщение» соотносительного слова *потому* и союза *что* рассматривается как операция преобразования составного союза *потому что* (Шведова 1980, 579), хотя в действительности все наоборот: составной союз возник в результате синтаксического переразложения, а именно — перемещения соотносительного слова (члена предложения в составе главной части) в состав придаточного (см. об образовании составных союзов в результате переразложения сложного предложения во французском языке: Жвиринска 1997, 30). В основе этого процесса лежит коммуникативный фактор — *дезактуализация*, т.е. уменьшение значимости информации, закодированной в соотносительном слове. Порядок синтаксической деривации, следовательно, таков:

Мне стало обидно потому, что мне нечем было крыть.
> Мне стало обидно, потому что мне нечем было крыть.

Синтаксическое переразложение может сопровождаться семантической деривацией, т.е. появлением у составного союза нового значения. Это явление мы наблюдаем на примере двух предложений:

Вам объяснят так, что вам понравится.
Вам объяснят, так что вам понравится.

Если в первом, синтаксически исходном варианте союз *что* связывает с главным предложением придаточное образа действия (с оттенком значения степени), то во втором составной союз *так что* относится к придаточному следствия.

Кроме коммуникативного и семантического факторов синтаксического переразложения, в результате которого возникают составные союзы, есть еще конструктивный фактор, т.е. специфический характер сочетаемости слов на поверхностном уровне. Как вытекает из моих наблюдений, в польском языке меньше такого рода конструктивных ограничений, а значит — больше свобода образования составных союзов. Например, в русском языке не представляется возможным преобразование местоимения *затем* и подчинительного союза *чтобы* в один составной союз **затем чтобы*, ср.:

Он приехал затем, чтобы повидать своих друзей.
*Он приехал, затем чтобы повидать своих друзей

В польском же языке, в отличие от русского, таких ограничений практически нет, поэтому в сложноподчиненных предложениях с придаточным цели употребляется и комплекс *po to... żeby / by*, и составной союз *po to żeby / by* (хотя специалисты отмечают, что симметричные конструкции — так они квалифицируются в польской лингвистике — типа *po to... by* употребляются чаще, чем составные союзы типа *po to żeby*, см.: Przybylsky 1988, 68). Одним из примеров этого явления может быть следующее предложение:

Szczerze wyraża swoje zamiary i uczucia, po to by słuchający dał wiarę temu, co po prostu powiedziane (из студенческой работы) [Он открыто выражает свои намерения и чувства — затем, чтобы слушающий поверил в том, что сказано].

Ср. другие примеры, которые подтверждают существование между польским и русским языками заметного различия в области функционирования составных союзов:

Zanieś tę książkę, tam skąd ją przyniosłeś – Отнеси книгу туда, откуда ты ее принес // *Отнеси книгу, туда откуда ты ее принес.

Trzeba zadzwonić niezwłocznie, teraz gdy oni są w domu – Надо срочно позвонить сейчас, когда они дома // *Надо срочно позвонить, сейчас когда они дома.

Pobiegli w koniec ogrodu, tam skąd dochodził krzyk – Они побежали в конец огорода – туда, откуда доносился крик // *Они побежали в конец огорода, туда откуда доносился крик.

Wszedł na salę, w chwili gdy czytano protokół z poprzedniego spotkania – Он вошел в зал в тот момент, когда читали протокол предыдущего заседания // *Он вошел в зал, в тот момент когда читали протокол предыдущего заседания.

Nowogród leży nad Narwią, w miejscu gdzie do Narwi wpada Pisa – Новгород лежит на берегу Нарвы, в (том) месте, где в Нарву впадает Писса // *Новгород лежит на берегу Нарвы, в (том) месте где в Нарву впадает Писса.

Szarpnął wędziskiem raptownie, w momencie gdy szaławik ledwie drgnął – Он резко потянул удилище в тот момент, когда поплавок слегка дернулся // *Он резко потянул удилище, в тот момент когда поплавок слегка дернулся.

Из этих наблюдений можно сделать вывод, что в польском языке более распространено явление, когда граница между главным и зависимым предложением передвигается на один элемент влево, т.е. главное предложение теряет синтаксему (в позиции дополнения или обстоятельства), которая включается в состав союза. Русский синтаксис, по сравнению с польским, имеет – в данном аспекте – более строгий, дискретный, «системоцентрический» характер, поэтому именные группы, включающие указательное местоимение, больше тяготеют к позиции приглагольного компонента (члена предложения) со значением места, времени, направления и т.д. В польском языке эти единицы свободнее образуют синтаксические комплексы с подчинительными союзами.

6. Синтаксическое опрощение

И. И. Мещанинов писал о вводных конструкциях: «Такие вставляемые в текст или сопровождающие его дополнительные выражения являются хотя и обособленным, но все же членом того же предложения» (1945, 186). Эта принадлежность к структуре основного предложения особенно отчетливо проявляется в тех случаях, когда в результате синтаксической деривации вводная конструкция приобретает статус члена предложения. В морфологии существует понятие опрощения, которое означает «слияние в одну морфему двух или нескольких морфем, входящих в состав слова» (Маслов 1987, 212). Подобное явление наблюдается и в синтаксисе: синтаксическое опроще-

ние состоит в том, что простые предложения в составе сложного сливаются в одно простое. В основе данного явления лежит общий принцип сокращения размера языковых знаков, связанный с ростом информации и ограниченной пропускной способностью канала коммуникации (см.: Шелякин 2002, 106 ссл.).

В качестве примера могут послужить цельные словосочетания *редко кто, редко когда, редко где*. Проанализируем предложение:

Он редко когда был чем-то недоволен.

С точки зрения системы языка базовый, исходный статус имеет форма сложноподчиненного предложения, что обусловлено семантикой предиката высшего порядка *редко/редкий*, который, выражая характеристику ситуации, события, положения дел с точки зрения повторяемости, имплицитно пропозициональную структуру $P(p)$, т.е. 'Некоторое событие является редким / происходит, бывает редко':

Это было/случалось редко, когда он был чем-то недоволен.

Редко случалось так, чтобы он был чем-то недоволен.

Редкими были случаи, когда он был чем-то недоволен.

Как мы уже наблюдали на примере конструкций синтаксической конверсии, здесь происходит замена ролей в иерархии «главный член — зависимый член», и на втором этапе деривации главная пропозиция (с предикатом *редко/редкий*) оказывается в позиции парентетического члена, (с коммуникативной точки зрения) дополняя информацию, выраженную пропозициональным аргументом:

Он иногда — хотя это было редко — был чем-то недоволен.

Третий шаг синтаксической деривации состоит в том, что в результате контаминации появляется синкретическая конструкция *редко когда*, объединяющая в себе элементы сложноподчиненного предложения и парентезы. В данном случае контаминация имеет специфический характер — прежде всего потому, что ядерный предикат *редко/редкий* не является глагольным предикатом, а отсутствие связочного глагола *было* (*случалось, происходило* и др.) в структуре контамината способствует формированию монопредикативного выражения на базе полипредикативного. Другими словами, *редко когда* выступает как один, зависимый от сказуемого член предложения, хотя в своей де-

ривационной истории оба компонента цельного словосочетания восходят к разным предикативным единицам.

Синтаксическое опрощение наблюдается и в следующем предложении:

На центральной улице города Заборска уже несколько лет, как введено и успешно действует левостороннее движение («Литературная газета». 20 VII 1983).

Никакими логическими соображениями нельзя объяснить присутствия здесь подчинительного союза *как*, ведь он без труда может быть устранен:

На центральной улице города Заборска уже несколько лет введено левостороннее движение.

Словосочетание *несколько лет, как* функционирует в качестве одного члена предложения (равнозначного, например, именной группе *с недавнего времени*). Очевидно, что в основе данного сочетания лежит сложноподчиненное предложение:

Прошло несколько лет с того времени, как на центральной улице города Заборска было введено левостороннее движение.

Цельное сочетание *несколько лет, как*, как видим, является результатом компрессии глагольного предиката главного предложения, преобразования сложного предложения в простое и синтаксического опрощения.

Формированию подобных цельных сочетаний слов способствует их высокая употребительность в речи, в результате которой многие из них получают статус языковых клише (которые понимаются вслед за С. Лещак — 2007, 38 ссл.):

А сам он неизвестно где (Борис Пастернак).

Из тебя еще неизвестно что будет (Андрей Платонов).

Он получает не знаю сколько (Александр Житинский).

Парк культуры и отдыха имени // Совершенно не помню кого (Александр Межиров).

Принадлежал он сами понимаете кому (Валерий Попов).

— Я вообще непонятно кто. — И нравится тебе быть непонятно кем? (Виктор Пелевин).

Мария стала думать о том, как облегчить невыносимое бремя этой жизни всем тем, кто Бог знает зачем корчится сейчас в черных клубах дыма (Виктор Пелевин).

Ей хотелось известно что, известно с кем (Валерия Нарбикова).

Женихи Пенелопы вели себя неприлично, не совсем, впрочем, понятно почему (Андрей Битов).

Но такое с вашей командой не помню когда случилось («Советский спорт». 21 VII 1984).

Так же моряки вынуждены поступать и с зерном, и с растительным маслом, и много еще с чем («Огонек». 1989/49).

Подобное явление распространено также в польском языке:

Gdybyś się nie wiem jak opierała, musisz, ptaszeczku, musisz! (Stefan Żeromski).

Ale stara powróciła do kart, zresztą Bóg wie gdzie bujając myślą (Tadeusz Breza).

W ten sposób ściągając na siebie, na mnie i Bóg wie na kogo jeszcze – klątwę i nieszczęście!" (Jerzy Krzysztoń).

Ogarnięcie zajęłoby Bóg wie ile czasu (Sebastian Lost).

Wyśmiewał go bezlitośnie mały Karolak, zwany diabli wiedzą czemu karmazynem (Marek Hąsko).

Do Wrocławia pojedzie właśnie Kosewski, właśnie w mróz, właśnie w ślizgawicę i czort wie jeszcze co (Marek Hąsko).

Radiowe prasówki nie wiadomo po co mają zwyczaj meldować nam przede wszystkim, co na pierwszych stronach gazet („Tygodnik Powszechny”. 5 VI 2011).

Таким образом, можно констатировать, что синтаксическое опрощение как бы венчает весь процесс деривации предложения, представляя собой наиболее радикальный тип синтаксической деконструкции, а именно — преобразование полипредикативной структуры в монопредикативную. В этом случае все рассмотренные выше процессы синтаксической деривации: конверсия, контаминация и переразложение, — действуют вкуче, а к ним добавляется и четвертый: стяжение компонентов разных предикативных единиц в один член предложения.

Заключение

Процессы речевой деятельности носят не только динамический и аппроксимационный характер, как указывалось во введении, но и синергический характер: в процессе производства речевых единиц одновременно включается несколько механизмов — с использованием разных программ и разных типов интеллектуального моделирования действительности. В этом процессе взаимодействуют разные системы языковых категорий: номинативные и предикативные, формально-грамматические и семантические, семантические и коммуникативно-прагматические. Эту мысль высказывает известный русский синтаксист Ю. А. Левицкий:

В языке современного человека сосуществуют и успешно взаимодействует несколько различных грамматик: первичная («примитивная» или «протограмматика»), коммуникативная, ролевая, и номинативная (формально-синтаксическая). В каждом типе грамматики отражено свое отношение слова, предложения и высказывания (1995, 180).⁵⁹

Отчасти системы кодирования информации в языковой/речевой деятельности взаимно согласованы, скоординированы, но только — отчасти, поэтому в речевой практике нередко возникает своеобразный «конфликт интересов», когда реализация языковой модели в соответствии с одной программой (например, семантической) противоречит ее реализации в соответствии с другой программой (например, прагматической). В силу такого «конфликта интересов» возникают структурные нарушения стандартных схем построения высказываний. Проведенные наблюдения над четырьмя такими процессами речевой деятельности в синтаксисе: конверсией, контаминацией, перераспределением и опрощением, — показали, что многие смещения в оппозиции главного и зависимого компонента сложного предложения обусловлены приоритетом коммуникативных целей высказывания над семантическими и формально-грамматическими (конструктивными). В этом, впрочем, нет ничего удивительного, ведь язык — я не боюсь показаться банальным — прежде всего является средством общения и только (с точки зрения речевого субъекта) во вторую очередь — системой знаков.

⁵⁹ М. Я. Дымарский пишет о преимуществах многоуровневого подхода к изучению высказывания. По его мнению «слишком маловероятно, чтобы синтаксическая система была представлена в языковой памяти человека в виде совокупности образцов высшей степени абстракции. Другое дело — совокупность образцов низших ступеней абстракции, тесно связанных с [...] группами лексики и с конкретными лексемами» (2013, 320). Процесс построения высказывания русский исследователь представляет — с учетом многоуровневого подхода — следующим образом: «[...] Параметры ситуации и коммуникативные намерения говорящего „вызывают“ из памяти определенный фрейм, который, в свою очередь, актуализирует в активной речевой зоне совершенно определенный участок ассоциативно-вербальной сети [...] с совершенно определенными лексическими единицами; [...] параллельно с этим действие тех же факторов актуализирует в активной речевой зоне и определенную коммуникативную перспективу будущего высказывания; а так как любая лексическая единица [...] существует в языковой памяти не изолированно, а в составе типичных для нее синтаксических конструкций, то вместе с лексической единицей в активную речевую зону „приходит“ и набор этих конструкций [...] (там же, 320 ссл.).



Связочные предложения и дубликация подлежащего

Милые дамы! РУКИ – ЭТО ВАШЕ ЛИЦО.
Приглашаем вас посетить маникюрный зал.

Объявление в парикмахерской

Введение

Предметом исследования являются связочные предложения, в которых позицию подлежащего или позицию в составе сказуемого занимает указательное местоимение *это*. Относительно этих предложений в русской и польской синтаксической науке господствует единая точка зрения (см. далее). Анализ языкового материала в свете функциональной лингвистики дает, однако, основание усомниться в правильности общепринятого толкования *это* как связочного компонента, т.е. элемента в группе сказуемого. Для обоснования альтернативной точки зрения необходимо краткое введение в теорию главных членов предложения – подлежащего и сказуемого (более подробно об этом см.: Киклевич 1999, 160 ссл.; 2008, 314 ссл.).

1. Понятие подлежащего

Категории подлежащего и сказуемого в истории грамматических учений трактовались по-разному. Так, подлежащее рассматривалось как логический, психологический или грамматический субъект (Шахматов 1941, 23). Согласно формальному направлению в лингви-

стике, подлежащее понимается как грамматический субъект предложения и фактически отождествляется с существительным в имен. падеже, а сказуемое отождествляется с личной формой глагола (Mańczak 1970, 199). Эту точку зрения разделяет, например, И. Б. Сиротинина, которая подчеркивает, что подлежащее не имеет прямого отношения к понятию логического или психологического субъекта. По ее определению, подлежащим является

компонент предикативного сочетания, являющийся единственным или дополнительным [...] носителем персональности и находящийся в координационной связи со вторым компонентом этого сочетания – сказуемым (Сиротинина 1980, 50).

Но, во-первых, за подлежащим не закреплено ни одно из значений грамматической категории лица (или, по Сиротининой, персональности) – значения этой категории передаются не только подлежащим, но также другими членами предложения, например, дополнением. Во-вторых, и координационная связь со сказуемым – недостаточный признак для определения подлежащего (он может иметь только эвристическую силу), тем более что сама координационная связь обычно определяется со ссылкой на подлежащее, т.е. как связь подлежащего и сказуемого.

Ю. С. Степанов также строит определение подлежащего на формальном, а именно – линейно-синтаксическом основании: «Подлежащее, или субъект, мы определим как первую по порядку именную группу (в частном случае – одно имя) в предложении с нейтральным порядком слов» (1981, 174). Опираясь на такую дефиницию подлежащего, Степанов предложил весьма оригинальную трактовку предложения

В саду – гости.

Русский ученый считал, что подлежащим здесь является словоформа *в саду*, синтаксема же *гости* занимает позицию событийного предиката-сказуемого. В таком подходе, однако, нельзя не усмотреть порочного круга: подлежащее определяется через нейтральный порядок слов, а нейтральный порядок слов означает инициальное положение подлежащего.

При выделении подлежащего и сказуемого в связочных предложениях с главными членами – координируемыми существительными, нередко возникают трудности. Одной из них является диффе-

ренциация грамматической и коммуникативной структуры предложения (подробнее об этом см.: Weiss 1978, 246 ссл.; Норман 1993в, 146 сл.). С одной стороны, в предложениях типа

Столица Эстонии – Таллинн.

грамматическое членение предложения совпадает с тема-рематическим. Видимо, такого рода языковые факты дали основание С. Кароляку для отождествления понятий логического субъекта и темы, логического предиката и ремы предложения (Karolak 2001, 89 ссл.).

С другой стороны, совершенно очевидно, что в случае грамматического и коммуникативного (тема-рематического) членения предложения мы имеем дело с разными категориями, на что указывает дистрибутивный критерий: подлежащее может относиться как к тематической, так и к рематической части предложения, ср.:

Мы узнали про приезд инспектора [подлежащее/тема].

Про приезд инспектора узнали и мы [подлежащее/рема].

Подлежащее и сказуемое представляют собой функциональные категории семантической (логической) структуры предложения, которая отражает структуру мысли. Такое понимание этих членов мы находим у В. З. Панфилова:

Если, суждение как пропозициональная функция отражает характер объективных связей того или иного явления, то суждение как субъектно-предикатная структура обусловлено направленностью самого познавательного процесса (1980, 9).

В логической (атрибутивной) структуре выделяется предмет мысли, определяемый словоформой в позиции подлежащего, и то, что мыслится о предмете, определяемое словоформой в позиции сказуемого. Так, в предложении *Столица Эстонии – Таллинн* подлежащим является именная группа *столица Эстонии*. С логико-семантической точки зрения это предложение может быть интерпретировано следующим образом: 'Предметом сообщения является столица Эстония [подлежащее]; сообщается, что она (город, являющийся столицей Эстонии) называется Таллинн [сказуемое]'.

С коммуникативной точки зрения предложение делится на ту часть, которая содержит исходную информацию, и часть, в которой сообщается нечто важное, новое для адресата. Поэтому интерпретация коммуникативной структуры предложения по содержанию от-

личается от интерпретации его логической структуры: 'Известно, что существует столица Эстонии [тема]; (в данной речевой обстановке) важно/существенно, что она называется Таллинн [рема]'.

Различие содержания категорий логико-семантической и коммуникативной структуры предложения не исключает их корреляции. Во-первых, как известно, при нейтральном порядке слов тематическую функцию выполняет один из аргументов — агенс, который к тому же наиболее часто является подлежащим (в предложениях типа *Иван спит*) (Wtóbel 2001, 321). Во-вторых, как пишет — ссылаясь на работы И. Беллерт и А. Богуславского — Г. Фонтанский, изменение актуального членения предложения связано с изменениями его семантической структуры:

Различия в словопорядке или логическом ударении — трактуемые как показатели лишь различного актуального членения одной и той же субъектно-предикатной структуры — на самом деле отражают различные структурно-семантические типы предложений (Фонтанский 2002, 174).

Так, с точки зрения Фонтанского, предложение

Брат работает

сообщает о действии лица, тогда как предложение

Работает брат

относится к типу предложений тождества и передает информацию об идентификации лица. Здесь первая, выраженная глаголом в личной форме синтаксема, «является эквивалентом референтного выражения (*этот*) человек, который работает / работающий человек» — таким образом, предложение (которое можно рассматривать как результат компрессии) в целом может получить трансформацию:

Работает брат > Тот, кто работает, является (моим) братом.

Как видим, различия актуального членения предложений коррелируют с различиями их пропозиционально-семантической («ролевой») и логико-семантической (субъектно-предикатной) структуры⁶⁰.

⁶⁰ В подобном же духе Г. Фонтанский (Fontański 1988, 59 ссл.) анализирует предложения с именными группами в тематической части (существительное в имен. падеже эмфатически выделено): *Zabił Jana jakiś blondyn* 'Яна убил какой-то блондин'; *Piotr ma / samochód* 'У Петра есть машина'. В обоих случаях реализуется один и тот же

В основе отношений между подлежащим и сказуемым лежит предикация — соотнесение предмета мысли с признаком, с тем, что мыслится. Именно поэтому логическое (атрибутивное) суждение как интерпретирующая категория не обладает номинативной функцией: оно не указывает на какое-либо положение дел в одном из возможных миров, а выступает лишь как форма выражения отношения говорящего к содержанию предложения (т.е. к положению дел). Именно поэтому изменение логической структуры предложения не влияет на его истинностное значение:

Рабочие выполняют операции на машине.
Операции выполняются на машине.
Машина выполняет операции.

В лингвистической литературе встречается мнение, что предикативность (как грамматическая категория, в основе которой лежит предикация как логическая категория) обладает семантическим, т.е. номинативным, содержанием, сущность которого состоит в отражении действительности. Такую точку зрения высказывает, например, И. Ф. Вардуль, который (за А. И. Смирницким) противопоставляет фактовые и назывные выражения:

The doctor arrived.
the doctor's arrival

По мнению Вардуля, в первом выражении (а именно — предложении) имеется предикативность, поскольку оно «содержит указание на время совершения действия и реальность его совершения», второе же выражение (а именно — словосочетания) не передает такой семантической информации (Вардуль 1977, 227). Данное (широко распространенное в русистике) понимание предикативности (и предикации) следует признать не совсем верным, потому что, во-первых, предложение не всегда содержит информацию о времени протекания действия, не говоря уже о том, что не всегда описывает ситуацию действия, ср.:

John is like his father.

синтаксический тип — предложения отождествления, ср. интерпретации: 'Тот, кто убил Яна, является блондином'; 'То, что есть у Петра / чем владеет Петр, это — машина'.

Во-вторых, словосочетания также могут передавать временную информацию — с помощью темпоральных модификаторов:

yesterday's arrival in Halifax
tomorrow's arrival in Spain

Различие между предложением и словосочетанием заключается прежде всего в том, что в предложении некоторое свойство приписывается некоторому предмету мысли/речи и его истинность или ложность зависят от установки говорящего. Именно поэтому в теории функционального синтаксиса принята точка зрения, что предикативность/предикация относится к области интерпретативной функции предложения (см.: Киклевич 2008, 314). Словосочетание передает информацию, имеющую в речи пресуппозитивный характер, истинность которой заложена перед речевым актом. Поэтому истинностное значение словосочетания остается неизменным в утвердительном и в отрицательном варианте одного и того же предложения:

I am waiting for your tomorrow's arrival in Warsaw.
I am not waiting for your tomorrow's arrival in Warsaw.

В обоих случаях, независимо от аффирмативного или негативного содержания предложения, истинность утверждения о *твоем завтрашнем прибытии в Варшаву* не подвергается сомнению⁶¹.

Одной из проблем современной синтаксической теории является отсутствие единой системы членения предложения на конструктивные единицы. Во многих лингвистических работах традиционная система членов предложения, в том числе понятия подлежащего и сказуемого, была отвергнута — вместо нее были предложены категории, отражающие отдельные аспекты плана содержания и плана выражения синтаксем. Например, Б. Ю. Норман считает, что традиционные члены предложения следует заменить функционально-синтаксическими позициями (Норман 1994, 155). При этом остается неясным содержание понятия «функция» синтаксем, ведь функция может быть логической, пропозициональной, коммуникативной, грамматической, лексической и т.д. Совершенно очевидно, что ролевая грамматика (т.е. описание предложения в терминах предикатно-

⁶¹ Надо отметить, что в системе языка, а именно — в системе лексической номинации, существуют также средства негации словосочетаний, ср. *non-arrival*.

аргументной структуры) не может заменить понятия предикативной связи (см.: Schmidt 1965, 243; Панфилов 1980, 9) — хотя бы потому, что подлежащее амбивалентно по отношению к системе так называемых глубинных падежей (Савченко/Иоффе 1985, 143; Чесноков 1984, 26 ссл.; Юрченко 1984, 19; Grepl/Karlík 1986, 236), на что указывают синтаксические трансформации. Так, в приводимом ниже примере каждый из четырех компонентов предикатно-аргументной структуры (агент, объект, инструмент и предикат) может быть реализован в позиции подлежащего:

Он передал информацию передатчиком.

Информация была передана им с помощью передатчика // была передана передатчиком.

Передатчик был использован для передачи информации.

Передача информации была осуществлена с помощью передатчика.

Ф. Палмер критикует понимание подлежащего как «предмета сообщения»; по его мнению, это — недостаточно строгое определение, применимое также к другим синтаксическим компонентам. Например, ученый считает, что в немецком предложении

Die Vögel haben alle Früchte gefressen

в качестве «предмета сообщения» может рассматриваться именная группа *alle Früchte* (а не формальное подлежащее *die Vögel*) (Palmer 1974, 68). Такая трактовка представляется спорной. Подлежащее как предмет сообщения выделяется в дихотомической структуре, как контрагент сказуемого, т.е. сообщаемого. Если, вслед за Палмером, рассматривать в приведенном предложении именную группу *alle Früchte* как предмет сообщения, тогда должен быть какой-то «остаток», который мы должны интерпретировать как сообщение. Что же остается? *Die Vögel haben gefressen...* Но «птицы съели» (таково значение этого «остатка») является суждением, в котором следовало бы выделить свой предмет сообщения (*die Vögel*) и сообщаемый признак (*haben gefressen*). Выражаемое дополнением понятие (*alle Früchte*) может стать предметом сообщения, но для этого требуется диатеза, т.е. изменение активной формы личного глагола на пассивную, ср.:

Alle Früchte wurden von den Vögeln gefressen.

2. Связочные предложения: проблема подлежащего

Теперь, определив базовые понятия подлежащего и сказуемого, можно перейти к анализу связочных предложений.

Первый спорный случай представляют связочные предложения, в которых указательное местоимение *это* занимает инициальную позицию, например:

Это – Англия.
Это – мой ребенок.
Это был прогноз погоды.

А. М. Пешковский обратил внимание на обязательный характер согласования связки со вторым членом – нарушение этого правила приводит к неправильности предложения:

*Это было прогноз погоды.

Данный факт, по мнению Пешковского, указывает на то, что с лингвистической точки зрения подлежащим в предложениях такого типа является существительное (второй член). При этом ученый подчеркивал, что данная трактовка расходится с логической и психологической интерпретацией связочных предложений:

Логически, понятно, всегда наоборот: *это* – как индивидуальное понятие, подлежащее, а второй именительный как родовое понятие – сказуемое. Психология (вместе с порядком слов) здесь всегда совпадает с логикой (психологически *это* – исходный пункт, т.е. подлежащее, а второй именительный – важнейший образ, т.е. сказуемое), и грамматика всегда противоречит и психологии и логике (2001, 242 сл.).

Предложенная Пешковским и распространенная в литературе трактовка, с моей точки зрения, является неверной. Во-первых, в речевом материале (особенно в текстах XIX века и в современной разговорной речи) можно встретить синтаксические конструкции, в которых связочный глагол (в форме ср. рода ед. числа) сочетается с указательным местоимением, а не с существительным (ж. или м. рода) – ср. несколько примеров, заимствованных из электронного корпуса русского языка (<http://ruscorpora.ru/search-spoken.html>):

[...] Хотя он в свои ясные минуты знал, что это было неправда, ему приятно было это слышать от де Боссе (Лев Толстой).

[...] Вместе с тем я был уверен, что все это было неправда, что они сговаривались о том, как обмануть меня (Лев Толстой).

Но он спросил, и это было ошибка, потому что, кто спрашивает, тот заставляет невольно думать, что он не совсем уверен в ответе... (Николай Ахшарумов).

Сделай так, чтобы это было неправда! (Ирина Ратушинская).

Это было неправда (название песни группы «Юта»)

Пытались делать и то / и другое. А... и это было очень сложная проблема (разговорная речь).

А здесь это было... свободный город / который вымирал и которого враг истреблял голодом / морозом / снарядами и бомбами (разговорная речь).

Я не знаю / кем он будет / я просто хочу / чтоб он жил долго / счастливо / и вот это / если это ему поможет ... в жизни / чтоб это было ему вот такой подарок на всю оставшуюся жизнь (разговорная речь).

А / может быть у Куракина были... Значит это было / вторник // Одинадцатая рота... (разговорная речь).

Может / это было как пиар-ход / может быть / как скандальная такая фишка (разговорная речь).

Во-вторых, требование согласования связочного глагола с существительным можно объяснить единством синтагматической группы <был прогноз погоды>, занимающей позицию сказуемого (а не подлежащего).

В-третьих, существительное может быть реализовано не только в форме имен. пад., но и в форме твор. падежа, что типично для присвязочной части именного сказуемого (при этом связочный глагол согласуется с указательным местоимением), ср.:

Это был толчок для движения вперед – Это было толчком для движения вперед.

Это было явное нарушение и противоречие – Это было явным нарушением и противоречием.

В-четвертых, позицию второго члена могут занимать слова категории состояния, которые легко преобразуются в глагольные сказуемые, а также в составные сказуемые со знаменательными связками, ср.:

Это (нам) интересно → Это нас интересует.

Это странно → Это кажется нам странным.

Это невозможно → Это не может быть / не может существовать / не может иметь места.

В-пятых, следует обратить внимание и на порядок слов: препозиция указательного местоимения *это* является типичной для подлежащего, особенно в ситуации, когда грамматические показатели предикативной связи отсутствуют или недостаточны. Изменение порядка

слов в предложениях со вторым членом — существительным, как правило, приводит к нарушению нормы:

*Англия (есть) это.

*Мой ребенок (есть) это.

*Прогноз погоды (есть/был) это.

Наконец, в-шестых, наблюдаемое во многих случаях отсутствие согласования между указательным местоимением *это* и глагольной связкой (*была, был, были*) объясняется тем, что местоимение в данной позиции выступает в особой — немаркированной форме. Эта немаркированность касается не только категории рода, но и категории числа, при этом грамматическая немаркированность *это* проявляется не только по отношению к глагольной связке, но и по отношению к другим кореферентным существительным или местоимениям в тексте, ср.:

Лидия Корнеевна любила читать по памяти стихи. Чаще всего это были стихи Ахматовой (Аркадий Мильчин).

Как видим, местоимение *это* (в форме ед. числа) не согласуется по числу ни с кореферентным существительным *стихи*, ни с глаголом *были*. Подобное явление часто наблюдается в вопросительном предложении, например:

А солдаты? Кто это такие — солдаты? (Евгений Гришковец).

Указательное местоимение *это*, как и вопросительное местоимение *кто*, выступает в грамматически немаркированной форме, в согласовании с указательным местоимением *такие* в форме мн. числа. Форма ср. рода ед. числа *это* (которая, как известно, регулярно используется для обозначения отвлеченных понятий) обеспечивает наиболее широкий охват референтов анафорического по своей семантике местоимения. Это свойство данного слова отражено в словарной дефиниции: «*Это* — употребляется для указания на действия, обстоятельства, события и т.д., о которых говорится в предшествующем или последующем предложениях» (Евгеньева 1984, 770).

Итак, можно сделать вывод, что в связочных предложениях с препозицией указательного местоимения *это* данная синтаксема занимает позицию и выполняет функцию подлежащего, а существительное (в имен. или твор. падеже) входит в состав сказуемого (именно так трактуются данные конструкции в польской лингвистической традиции, см.: Bartnicka/Sinielnikoff 1978, 253.).

3. Статус связочного слова

В русском языке выделяется также другой тип предложений с главными членами — координируемыми формами существительного, в которых указательное местоимение *это* употребляется, как следует из грамматических источников, в качестве связочного слова (см.: Шведова 1980, 284)⁶². В «Русской грамматике» оно рассматривается в ряду других связок: *есть, это есть, это и есть, и есть, вот, то же самое что, это то же самое что, не что иное как, не кто иной как* и др.

Трактовка местоимения как связочного слова представляется, однако, сомнительной. Трудно согласиться с тем, что *это* как именная словоформа функционально равнозначна словоформе глагола, ведь у данного местоимения нет грамматических показателей ни времени, ни модальности, ни лица, которые необходимы для выражения предикативности в позиции сказуемого. Можно, таким образом, предполагать, что с точки зрения системы языка в связочных предложениях с указательным местоимением *это* — независимо от позиции этого слова — реализуется одна и та же синтаксическая модель, в которой местоименная синтаксема выполняет функцию подлежащего. Другими словами, в приведенных ниже предложениях и подобных мы имеем дело с одним и тем же *это* в русском языке и одним и тем же *to* в польском языке — выражающим подлежащее как предмет мысли/сообщения. На это указывает возможность интерпретации этих предложений по одному и тому же принципу:

Это был прогноз погоды = 'Предметом моего сообщения является то, что только что было / прозвучало (= это); я сообщаю об этом, что прозвучал прогноз погоды'.

АИС Челябинской области — это масштабная система, включающая ряд функционально связанных подсистем = 'Предметом моего сообщения является АИС Челябинской области (= это); я сообщаю об этом, что АИС Челябинской области является масштабной системой'.

Była to osoba starsza = 'Предметом моего сообщения является человек, о котором только была речь (= to); я сообщаю об этом человеке, что он был пожилого возраста'.

Adam to Polak = 'Предметом моего сообщения является Адам (= to); я сообщаю об этом человеке, что он является поляком'.

Языковеды неоправданно дифференцируют то, что в системе языка фактически относится к одному и тому же типу функционирования

⁶² Подобным образом в польской грамматической традиции трактуются предложения без спрягаемой формы глагола, в которых позицию глагольного сказуемого занимает указательное местоимение *to*, например, в предложения типа: *Czas to pie-niądz; Wiedza to potęga*; см.: Bobran 1994, 22; Nagórko 1996, 187.

слова. На лингвистическую трактовку синтаксического статуса указательного местоимения как связки повлияли, как можно считать, два формальные обстоятельства: во-первых, характер линейной структуры предложений приведенного выше типа, в которых *это* находится в постпозиции по отношению к первому существительному; во-вторых, лексически незаполненная позиция связочного глагола. Впрочем, даже если эта позиция заполнена, как, например, в предложении (пример заимствован из «Русской грамматики»):

Приезжая — это и есть моя сестра.

грамматисты усматривают в таких конструкциях «связочное образование» *это и есть* (см. выше). Трудно понять мотивы этой точки зрения и порядок аргументации, потому что совершенно очевидно, что приведенное выше предложение может быть употреблено без формы первого существительного:

Это и есть моя сестра.

Поскольку это возможно, напрашивается вывод о том, что местоимение *это* и связочный глагол *есть* функционально самостоятельны (по отношению друг к другу): *это* выполняет функцию подлежащего, *есть* (вместе с именной группой *моя сестра*) — функцию сказуемого.



Каков же тогда статус существительного *приезжая* в предложении, приведенном на предыдущей странице (и подобных)? Наблюдения показывают, что предложения этого типа напоминают конструкции с именительным темой. О. А. Лаптева пишет о двух свойствах этих конструкций: во-первых, «высказывание расчленяется на две грамматически самостоятельно оформленные части»; во-вторых, «одна из его частей, являющаяся одним из информационных центров, оформляется в виде группы имен. падежа, в другой части

предидируется сообщения относительно денотата, названного этой группой» (Лаптева 1976, 140). Хотя Лаптева в своем иллюстративном материале не приводит примеров связочных предложений с местоимением *это*, однако синтаксический параллелизм здесь налицо. Нельзя не обратить внимания на факт, что в конструкциях с именительным темы позицию подлежащего довольно часто занимает местоимение:

Вот эта женщина пожилая, о н а у него в подчинении.
Тетя толстая, как о н а их колотила всех.
Моя соседка Анна Ивановна, о н а очень практическая женщина.

В приведенных примерах в позиции подлежащего находится личное местоимение, но это может быть и местоимение другого класса, тем более что в конструкциях именительного темы (как и в связочных предложениях) может выражаться информация о свойствах, качествах лиц, предметов, состояний и т.д. Например, последнее приведенное выше предложение можно без труда и, по-видимому, без потери смысла преобразовать в предложение с указательным местоимением:

Моя соседка Анна Ивановна — э т о очень практическая женщина.

4. Статус соотносительного/опорного слова

Особый случай реализации предложений этого типа представляют конструкции с указательным местоимением *то* в составе первого члена (именительного темы) — в функции соотносительного/опорного слова при придаточном предложении в позиции подлежащего. Эти конструкции интересны тем, что мы имеем дело с дублированием указательного местоимения, которое первый раз употребляется катафорически, а второй раз — анафорически:

Т о, что называлось Советским Союзом, э т о была та же самая Россия, только на другой идеологической платформе.
Т о, что делалось в Перми, э т о был европейский выбор территории.
Т о, что происходило с нами — э т о была защита после Первой мировой войны, которую Россия проиграла.
Т о, что раньше везде писалось, — э т о был миф.

Подобного рода предложения намного чаще встречаются в польском языке:

To, co rozróżnia troskę naturalną od etycznej, to wysiłek poświęcony na ich rozwój.
To, co zrobiła PO, to skandal i dziki kapitalizm.
To, co mamy, to nie jest wolny rynek.
Jednak to, co człowiek wypracuje, to jest jego, a nie wspólne.
To, co dostawali potrzebujący, to była już 148 woda po kisielu.
To, co mówił dzień wcześniej, to nie była prawda.
To, co ich łączy, to rzeka Big Blackfoot.
To, co dał nam świat, to odeszło z biegiem lat.
To, co robi z gramofonami, to istna magia.
Jednak to, co pomaga nam w wykreowaniu własnego wizerunku, to jest umiejętnie zastosowanie odpowiednich taktyk.
Czy to, co mi jest, to mogą być objawy depresji?
To, co w tym filmie jest, to jakaś patologia.
To, co w tym kraju jest, to Czad lub Kongo.

Повторение указательного местоимения (в польском языке — в одной и той же лексической форме *to*⁶³) со структурной точки зрения представляется необязательным, ведь одна из словоформ может быть пропущена (правда, при условии, что присутствует глагольная связка), ср.:

To, что раньше везде писалось, было мифом.
To, co robi z gramofonami, jest istna magia.

Необязательность дублирования указательного местоимения особенно очевидна в предложениях с составным сказуемым, именную часть которого реализует прилагательное или слово категории состояния:

To, что его авторитет в музыке был неоспорим, было понятно
vs. To, что его авторитет в музыке был неоспорим, это было понятно⁶⁴.

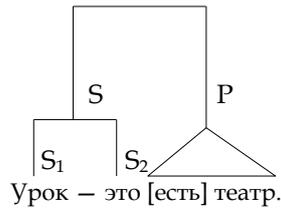
Тогда возникает вопрос: если дублирование указательного местоимения структурно необязательно, с чем связан факт такого дублирования в речи? Можно видеть здесь две причины: первой является стремление говорящего поместить в фокус внимания адресата

⁶³ В русском языке различаются указательные местоимения *то* и *это*: первое является катафорическим, а второе — анафорическим. В отличие от русского, в польском языке местоимение *to* употребляется и катафорически, и анафорически.

⁶⁴ Избежать повтора указательного местоимения удастся не всегда, особенно в ситуациях, когда сочетаемость слов имеет устойчивый характер. Таковы польские вопросительные предложения типа: *Co to jest to, co ja słyszę?* В этом случае элиминирование соотносительного местоимения, скорее всего, недопустимо: ??? *Co to jest, co ja słyszę?*

информацию, закодированную в позиции подлежащего. Лаптева, напомню, отмечает, что именительный темы, содержит «один из информационных центров» предложения. Как известно, в соответствии с естественным порядком линеаризации предложения рематическая информация передается во второй его части (Wróbel 2001, 321). В предложениях с главными членами — координируемыми формами существительного, порядок слов является грамматически значимым: вторая часть — в силу отсутствия морфологического выражения функций подлежащего и сказуемого — зарезервирована для сказуемого, поэтому использование порядка слов для эфатического выделения предмета речи представляется здесь невозможным⁶⁵. В этой ситуации в распоряжении говорящего имеется другое средство — дубликация подлежащего. Именно так следует рассматривать связочные предложения с мнимой связкой *это*, а фактически — с указательным местоимением в позиции удвоенного подлежащего.

⁶⁵ Здесь следует отметить, что именительный темы может занимать не только инициальную позицию, но и позицию на конце предложения. В функциональной грамматике С. Дика (Dik 1980) этим двум типам конструкций соответствуют понятия темы и коды, ср.: *Фильмы Фассбиндера* [тема], *они мне очень нравятся*; *Они немного кислые, эти мандарины* [кода]. Интересно, что конструкции с постпозицией именительного темы упоминаются и в «Русской грамматике»: *Она, должно быть, нарочно говорила по-французски, узнав, что это самое слабое его место — французский язык; Это несказанное чудо — лемешевский голос*. Авторы «Русской грамматики» интерпретируют, однако, эти предложения иначе, считая подлежащим именную группу в постпозиции, а сказуемым — сочетание указательного местоимения *это* с первой именной группой. Хотя на с. 287 мы находим комментарий: «При препозиции местоименного слова *это* ослабляется его связочный характер и отчетливее обнаруживается его указательная функция», — однако принципиально это сути дела не меняет: местоимению *это* приписывается (в качестве основной) функция связки в составе сказуемого. В действительности же местоимение выполняет функцию подлежащего (*Это есть его слабое место; Это есть чудо*), а именная группа в постпозиции представляет собой результат дубликации подлежащего с целью коммуникативного усиления его значения. В вопросительных предложениях типа польск. *Co to jest tłumaczenie maszynowe?* постпозиция именительного темы обусловлена, видимо, ее особым коммуникативным статусом.



Как известно, в предложениях с именительным темой информационным центром может быть не только подлежащее, но и другие члены предложения, например, дополнение (примеры Лаптевой):

Две копейки нет у вас?

Почта на автобусе надо ехать.

Заднее стекло не облакачивайтесь, пожалуйста, сзади там кто-то сидит.

Поэтому возможна дубликация не только подлежащего, но и других членов предложения. Например, в русском языке довольно широко распространены сложноподчиненные сравнительные предложения с дублированием соотносительного (опорного) слова в главной части. В составе главного предложения такое соотносительное слово занимает позицию обстоятельства, поэтому здесь можно говорить о дубликации обстоятельства:

Подобно тому, как здание строится из кирпичиков, так и человеческое тело состоит из клеток, которые соединяют в организме все ткани и системы.

Подобно тому, как мы не можем охватить математическую бесконечность, так мы не можем охватить и Бога.

Подобно тому, как дрессируют животных в цирке, так и вы имеете возможность для применения к себе мотивационных методов к верным действиям.

Подобно тому, как времена года сменяют друг друга, так и жизненный путь проходит той же дорогой.

В составе главного предложения повторяется синтаксический компонент в позиции обстоятельства: *подобному тому... так*. Хотя первый компонент употребляется катафорически, как соотносительное слово при придаточном сравнения, а второй — анафорически, однако оба выполняют одну и ту же функцию — обстоятельства способа, образа действия, протекания процесса, пребывания в состоянии. Со структурной точки зрения дубликация избыточна, поэтому один из повторяющихся компонентов может быть удален из состава главного предложения, ср.:

Как времена года сменяют друг друга, так и жизненный путь проходит той же дорогой.

Интересно, что и в русском, и в польском языке дублируемые компоненты (обстоятельства) могут быть выражены одной и той же местоименной лексемой, т.е. мы имеем дело с особым рода лексическим повтором:

У нас так, как платят, так и делают.

Ну так, как Nomad 555 сказал, так и подписали в видео.

Так, Толик, как не умел проигрывать, так и не научится.

Так же, как брюки-клевш, так и форма моркови при лишнем весе не идеальны.

Так, как вы работаете, так вам и платят.

А так, как были карающим мечом, так и остались.

Tak jak w kontakcie bezpośrednim zrozumienie języka zawodowego policjantów nie sprawia większych problemów, tak interpretacja słowa pisanego może być uciążliwa.

Tak jak rozwija się świat, nauka i technika, tak samo kształtuje się dzisiejsza młodzież.

Tak jak każdy język, tak i ten wprowadza między swoje szeregi coraz to nowe terminy.

Tak jak cała uczelnia, tak i określone wydziały posiadają swoją strukturę organizacyjną.

Вторая причина, которая обуславливает дубликацию членов предложения, — это грамматическая форма именной части составного сказуемого. Как известно, существительное в этой позиции употребляется в имен. или твор. падеже. Имен. падеж обычно обозначает постоянный, устойчивый признак, свойственный предмету в силу его особой, изначально наделенной предрасположенности, «хабитуальности», тогда как твор. падеж передает значение признака, ограниченного временными рамками (Валгина 2003, 101), ср.:

Потому что он был Учитель. Это он был инициатором и исполнителем строительства «набережной» у подножия Парнаса.

Он был учителем русского языка, фронтовиком.

Дубликация подлежащего, а именно — употребление анафорического указательного местоимения *это* — в русском языке, *to* — в польском языке, происходит именно в предложениях с составным именным сказуемым, именная часть которого выражена существительным в форме имен. падежа. Можно считать, что это — дистрибутивное условие, которое особенно важно для выражения значимости информации, закодированной в подлежащем. Дело в том, что грамматическая координация подлежащего и сказуемого (они

совпадают в форме имен. падежа), по-видимому, усиливает эмфазу подлежащего. Ср. предложения:

Руководитель — это прежде всего воспитатель.
Руководитель прежде всего является воспитателем.

С семантической точки зрения между данными предложениями нет различий, но все же первое из них — благодаря координации синтаксисом *руководитель* и *воспитатель* — более отчетливо выражает коммуникативную значимость обоих членов. Впрочем, не исключено, что выбор первой версии синтаксической структуры (хотя бы частично) обусловлен фактором языковой экономии⁶⁶.

Заключение

В данной статье были рассмотрены русские и польские связочные предложения, включающие указательное местоимение *это/to* — в анафорическом, катафорическом или дейктическом употреблении. Было показано, что независимо от позиции, которую занимает данная лексическая единица в предложении (а именно — позиции подлежащего или позиции связочного глагола), *это/to* выполняет функцию подлежащего, т.е. передает информацию о предмете сообщения. Предложения, построенные по модели *N — это (есть) N*, были отнесены к типу конструкций с именительным темой. В их структуре реализуется дубликация подлежащего, которая служит эмфатическому выделению информации о предмете сообщения. Дубликация синтаксисом наблюдается также в позициях других членов предложения, в частности, дополнения и обстоятельства.

Из рассмотренного в статье материала следует общий вывод о многомерной организации предложения, в котором взаимодействуют логические, семантические, коммуникативные, формально-грамматические, стилистические и др. факторы. Категории логической (атрибутивной) и коммуникативной (тема-рематической) структуры отчасти имеют свои средства выражения, но отчасти эти средства совпадают. В тех случаях, когда данные типы категоризации описываемой в предложении ситуации входят с собой в противоречие, говорящий

⁶⁶ Хотя Н. С. Валгина (2001, 101) отмечает, что «творительный предикативный является формой развивающейся, активной», однако во многих речевых ситуациях (особенно в разговорной речи) более краткие формы с именительным предикативным имеют преимущество, ср.: *Брат — инженер vs. Брат является инженером*.

оказывается перед выбором одного из типов профилирования денотата: или с логической, или психологической, или коммуникативной точки зрения. Это приводит к нетипичному употреблению грамматических и лексических форм, что и было показано на примере дубликации подлежащего.



Узуальная субстантивация прилагательного *круглый*

Забив гол, игра прекращается.

Введение

Как известно, язык функционирует и развивается по своим законам. Эти законы, правда, не имеют абсолютной силы — часто мы имеем дело с разного рода отступлениями от правил, исключениями, хотя на общую картину, в которой системность играет в языке ведущую роль, это существенно не влияет. Факт, что современный русский язык 90-х годов прошлого и начала нашего столетия развивается в соответствии с основными языковыми законами, подчеркивает Н. В. Юдина (2010, 22 ссл.). На фоне регулярности, господствующей в системе языка и в процессах его функционирования, особенно бросаются в глаза разного рода языковые аномалии, т.е. факты, которые в той или иной степени противоречат лингвистическим законам. Аномалии (к которым отчасти следует отнести и окказионализмы) обычно несут на себе отпечаток творческой инициативы носителей языка, для которых первостепенное значение имеет не следование правилам языковой системы, не «нормативная тождественность языковой формы» (Волошинов 1995, 266), а эффект языкового воздействия, «жизненный» аспект речевой деятельности или, другими словами, то, что упомянутый выше В. Н. Волошинов определял как «ориентированность языковой формы в контексте» (там же, 283).

В данной статье я рассмотрю именно такой — редкий случай функционирования слова, исключительный на фоне языковой си-

стемы и на фоне инновационных процессов современного русского языка. Речь пойдет о специфическом употреблении прилагательного *круглый* в письменных текстах футбольных репортажей, бытующих в интернете. Эти тексты предоставляются потребителям в системе *online* и, позднее, архивируются в информационных блоках спортивных порталов. Вначале приведу несколько примеров (здесь и в дальнейшем оригинальная орфография и пунктуация сохранена):

Убойный момент был у Жиркова, но Яскелайнен мяч отбил. К р у г л ы й полетел четко на ногу Погребняку.

Хуан Мата со штрафного поразил штангу, к р у г л ы й отлетел к Босингве.

Потом Владимир Быстров в одно касание переправил на Сергея Семака и тот с разворота, тоже забил пяткой, к р у г л ы й коснулся стойки и влетел в ворота.

Роналду сумел зацепиться за мяч на правом фланге и сделал навес в центр, откуда к р у г л ы й отлетел к Нани.

Как легко убедиться, мы имеем дело с субстантивацией прилагательного, которое выступает в значении существительного *мяч*, при этом имеется в виду конкретный — футбольный мяч (в репортажах других спортивных игр данное употребление прилагательного *круглый* не встречается). Казалось бы, в факте субстантивации нет ничего нового. Это явление рассматривается лингвистами как

один из видов морфолого-синтаксического именного словообразования, при котором субстантивы (существительные, образовавшиеся в процессе субстантивации) не имеют какого-либо специального словообразовательного аффикса (Москальская 1979, 339).

Из других частей речи прилагательные наиболее часто «переходят» в существительные, типы такого рода деривации хорошо описаны в литературе (см. далее). Однако случай прилагательного *круглый* — особый. Во-первых, следует отметить, что субстантивация не отмечается исследователями среди активных процессов в русском языке последнего времени. Так, Е. А. Земская пишет о коллоквиализации, интернационализации, росте аналитизма и черт агглютинативности в структуре производного слова, о росте личностного начала и экспрессивности (2006, 10 ссл.). О. П. Ермакова (2006, 23 ссл.) упоминает такие процессы, как перераспределение у некоторых лексико-семантических групп активности прямых и переносных значений, о расширении значений, о развитии у разных групп лексики частичной энантосемии, об образовании новых семантических оппозиций, об универсализации модных оценок и об активизации некоторых

типов метафор, отражающих оценку современного состояния общества. Н. В. Юдина (2010, 104 ссл.) перечисляет активные процессы в русском словообразовании, но также ничего не пишет о новых явлениях субстантивации прилагательных. На фоне этой научной информации семантическая, синтаксическая и, как позднее убедимся, морфологическая деривация лексемы *круглый* представляется чем-то особенным — в силу этого она требует специальной лингвистической интерпретации.

Во-вторых, вторичное употребление субстантивата *круглый* имеет специфический характер и в кругу явлений субстантивации. Это прежде всего касается семантического и морфологического аспектов данного деривационного процесса. В отдельных частях предлагаемой статьи я рассмотрю эти аспекты с учетом действующих в языке принципов лексической деривации.

1. Семантический аспект деривации

В академическом «Словаре русского языка» (Евгеньева 1983, 136) отмечаются четыре значения прилагательного *круглый*: 1) имеющий форму круга или шара (*круглое колесо; круглый мяч*); 2) полный, совершенный (*круглый отличник*); 3) считаемый, вычисленный без дробных, мелких единиц счета (*круглые цифры*); 4) о мере времени: весь, целый (*круглый год*). Ни в этом словаре, ни в более поздних субстантивированное употребление лексемы *круглый* в значении существительного *мяч* не упоминается — это значит, что мы имеем дело с семантическим неологизмом (так называемым неосемантизмом).

При таком употреблении прилагательного можно констатировать метонимию: название физического свойства материального предмета применяется к самому предмету. На данный тип семантической деривации указывают авторы «Русской грамматики»: в качестве одного из видов субстантивации прилагательных и причастий отмечаются названия лиц по характерному признаку, ср. субстантивированные прилагательные *больной, взрослый, слепой, хромой, горбатый* и др. (Шведова 1982, 239). Подобного рода дериваты выступают как в системе языка, так и — намного чаще — в узуальной речевой практике, т.е. в качестве окказионализмов. Так, например, прилагательное *лысый* довольно часто употребляется в значении 'человек с лысиной' (примеры заимствованы из «Национального корпуса русского языка»):

А то мы без этого лысого не знали, что мы — самые крутые!
— Пожалуйста, Дмитрий Олегович, — кивнул он лысому. Тот по-лекторски откашлялся.

Лысы й уселся в удобное кресло, с улыбкой осмотрел хозяина.

Обратим, однако, внимание на то, что возникшие на базе прилагательных и причастий мужского рода субстантиваты обозначают живые существа.⁶⁷ Что же касается появляющихся в результате субстантивации метонимических названий неживых предметов, то в «Русской грамматике» отмечаются (Шведова 1982, 239 ссл.):

1. среди существительных ж. рода: а) названия помещений: *моечная, сварочная, учительская, приемная* и др.; б) названия официальных документов: *накладная, сопроводительная, похоронная* и др.; в) названия части от целого (в дробях): *пятая, сотая, тысячная* и др.;
2. среди существительных ср. рода: а) названия обобщенных явлений: *новое, старое, прекрасное* и др.; б) названия видов одежды: *штатское, зимнее, летнее* и др.; в) названия блюд, кушаний, лекарств: *съестное, сладкое, спиртное, слабительное* и др.;
3. среди существительных мн. числа: названия единиц классификации растительного и животного мира: *цитрусовые, хоботные, тресковые, ракообразные* и др.

Рассматриваемый нами случай — субстантивация прилагательного *круглый* — не соответствует ни одному из вышеперечисленных типов, поскольку во вторичном употреблении (т.е. как существительное мужского рода) *круглый* обозначает неодушевленный материальный предмет — спортивный снаряд.

В «Русской грамматике» отмечается еще один тип субстантивации прилагательных — эллиптическая субстантивация, которая состоит в том, что субстантиват синонимичен словосочетанию с мотивирующим прилагательным (*ibidem*, 241). Речь идет об образованиях типа *скорый, почтовый, пассажирский*, которые в компрессированном виде реализуют сочетания: *скорый поезд, почтовый поезд, пассажирский поезд*.⁶⁸ Но и этот тип семантической деривации вряд ли

⁶⁷ Это отмечают авторы «Русской грамматики», а также другие специалисты: Тараненко 1989, 60; Макарова 2003; Шапорева 2010.

⁶⁸ А. А. Тараненко (1989, 60), хотя пишет об «избирательной, антропоцентрически ориентированной [...] связи между признаком и его носителем» при субстантивации прилагательного, вместе с тем приводит окказиональные примеры такого рода обозначения неживых понятий: *встречный < встречный план, зеленый < зеленый свет*

соответствует нашему случаю, хотя формально мы также имеем здесь дело с синтаксической компрессией:

скорый поезд > скорый
круглый мяч > круглый

Дело в том, что в первом случае прилагательное определяет различительный, существенный в типологии, в номенклатуре признак предмета. Это, в частности, проявляется в оппозиции лексических знаков: *скорый* – *почтовый* – *пассажирский* – *товарный* – *фирменный* (поезд) и т.д. Что касается прилагательного *круглый*, то оно не противопоставляет один вид мяча другому – каждый спортивный мяч (может быть, за исключением мячей, которыми играют в регби) является круглым. Поскольку семантический признак [предмет круглой формы] закодирован в лексическом значении существительного *мяч*, то в словосочетании *круглый мяч* можно усматривать тавтологию⁶⁹. Поэтому сомнительно, что в основе вторичного употребления прилагательного *круглый* лежит компрессия словосочетания *круглый мяч*, а это значит, что и о процессе эллиптической субстантивации здесь не приходится говорить.

Как видим, субстантиват *круглый*, эта «белая ворона» в лексике современного русского литературного языка, почти не имеет аналогов в других семантических процессах. Но это касается, повторяю, литературного языка. Иное дело – воровской жаргон, в котором встречаются субстантиваты м. рода (см.: Елистратов 2012):

кожаный 'мужской половой орган'
белый 'один рубль'
большой 'мужской половой орган'
сладкий 'булка' [бильярдный сленг]⁷⁰

светофора, светло-серый < светло-серый автомобиль. Фактором субстантивации в этом случае украинский ученый считает эллипсис, а не метонимию.

⁶⁹ Семантическая тавтология в сочетании *круглый мяч* проявляется в том, что эти два слова почти не встречаются в непосредственном соседстве. В «Национальном корпусе русского языка» мной обнаружен только один пример такой сочетаемости: *Представьте себе положение футболистов, обнаруживающих, что к концу игры (увы, это случается нередко) их круглый мяч обратился в дыню и стал при этом граммов на сто тяжелее*. В этом случае словосочетание *круглый мяч* семантически обоснованно: автор противопоставляет обычный мяч круглой формы деформированному мячу, в форме дыни.

⁷⁰ См.: <http://billiardlab.ru/bilyardnyj-slovar>. Подобным образом в современном немецком языке, а именно – в журналистских текстах, в последнее время в значении

Другой пример субстантивата мужского рода – прилагательное *мобильный*, которое в значении ‘мобильный телефон’ активно употребляется в современной разговорной речи, а также в интернете (см.: Фысина 2007, 8). Ср. фрагмент одной из витрин интернета.

Как позвонить на мобильный бесплатно?
Можно через интернет позвонить на мобильный бесплатно?
Как звонить с мобильного по новым кодам?

Обратим, однако, внимание на то, что в случае субстантивата *мобильный* мы имеем дело с диакритической функцией слова, с помощью которого выделяется подкласс предметов: *мобильный телефон* противопоставляется *стационарному*. Что же касается прилагательного *круглый*, то, как я уже указал выше, оно не служит для выделения какого-либо подкласса мячей.

Пример субстантивированного прилагательного – со значением неодушевленности – мы встречаем в стихотворении Корнея Чуковского «Мойдодыр»:

Я хочу напиток чаю,
К самовару подбегаю,
Но пузатый от меня
Убежал, как от огня.

Но и этот случай отличается от субстантивата *круглый*: во-первых, здесь *пузатый* находится в непосредственной близости от существительного (в предложно-падежной форме) *к самовару*, что склоняет к мысли об эллиптической субстантивации. Во-вторых, неодушевленность *пузатого самовара* здесь относительна: самовар наделяется чертами личности, персонифицируется – неслучайно ведь он *убежал*. Значит, и эта ситуация не имеет прямого отношения к массовому употреблению субстантивата *круглый*.

2. Грамматический аспект деривации

Об эллиптической субстантивации прилагательного *круглый* нельзя говорить и в силу особых грамматических свойств его вторичного

‘мяч’ стало употребляться субстантивированное прилагательное *rund* ‘круглый’, ср. газетный заголовок: *Das Runde muss ins Eckige* ‘Круглый должен быть в квадрате (т.е. мяч должен попасть в створ ворот)’.

употребления. В случае субстантивированного употребления прилагательного *скорый* (вместо *скорый поезд*) или прилагательного *мобильный* (вместо *мобильный телефон*) сохраняются грамматические свойства существительного в мотивирующей конструкции. Другими словами, морфологическая парадигма субстантиватов *скорый* и *мобильный* структурирована так же, как парадигма опорного существительного (*поезд, телефон*). Напомним, что и *поезд*, и *телефон* относятся к неодушевленным существительным, поэтому их форма вин. падежа совпадает с формой имен. падежа, ср.:

По ошибке я сел на *скорый поезд*.

По ошибке я сел на *скорый*.

Билетов на *скорый поезд* уже не было — я купил на пассажирский *поезд*.

Билетов на *скорый поезд* уже не было — я купил на пассажирский.

Билетов на *скорый* уже не было — я купил на пассажирский.

Можно было бы ожидать, что таким же образом употребляется и прилагательное *круглый* — в значении неодушевленного существительного *мяч*. Вопреки этому мы сталкиваемся с вопиющим нарушением грамматической нормы: субстантиват *круглый* употребляется в вин. падеже в форме род. падежа. Рассмотрим следующие примеры:

После длинной передачи из глубины поля Юра Мовсисян неожиданно выиграл борьбу за мяч у чужой штрафной и мог перекинуть игровой снаряд через вышедшего из ворот Акинфеева, но при этом послал *круглого* над перекладиной.

Срна сделал высокий длинный пас на Тейшейру и тот вторым касанием послал *круглого* в сетку.

Вешает Аршавин со штрафного мяч на дальний к нему угол вратарской, неудачно играет на выходе Михайлов, который лишь слегка задевает *круглого* кулаком.

Пробил сходу Данни, но успел-таки кончиками пальцев задеть *круглого* Михайлов и перевел его на угловой.

Матри получил мяч после дальнего удара Пепе, но Алессандро послал *круглого* над штангой.

Уолтерс вновь послал *круглого* в сторону ворот кипера из Армении. На этот раз не в руки, а на трибуны.

Тем не менее, тот же Дернис под занавес тайма подарил мяч Чейку Мбенге и защитник красивым обводящим ударом послал *круглого* в дальний угол.

На 22 - й минуте хозяева вышли вперед. Дмитрий Башлай смог дотянуться до мяча и отдать пас на Карнозу, который метров с девятнадцати сильно и точно послал *круглого* в нижний угол ворот.

Защитник Амкара Никола Мияйлович в матче с Томью продемонстрировал артистические способности, сделав вид, что мяч попал ему в лицо, после того, как он отбил *круглого* рукой.

На 77-й минуте последний пробил с угла штрафной и Ханданович, отличной проводивший встречу, ни с того ни с сего отбил круглого прямо перед собой, а там уже Макси Лопес дежурил — 1:1, и хозяева поплыли.

После длинной передачи из глубины поля Юра Мовсисян неожиданно выиграл борьбу за мяч у чужой штрафной и мог перекинуть игровой снаряд через вышедшего из ворот Акинфеева, но при этом послал круглого над перекладиной.

Нападающий Ники обокрал Толика, прошел по правому флангу, отдал мяч в центр, оставшись один вблизи штрафной, получил круглого обратно, пробил в ближний от себя угол, но случайно оказавшийся там Кавун отбил мяч на угловой.

Он одним касанием переадресовал круглого Жи Донг-Вону.

Назаренко ударом из-за штрафной положил круглого аккуратненько под ближнюю штангу.

Фактически в конструкциях подобного рода мы имеем дело с грамматической ошибкой: в соответствии с нормой современного русского языка субстантивированное прилагательное должно повторять грамматические показатели существительного, в данном случае — значение неодушевленности существительного *мяч*. Другими словами, от субстантивата *круглый* вправе ожидать, что его форма вин. падежа будет совпадать с формой имен. падежа:

послал круглый [мяч] над перекладиной
послал круглый [мяч] в сетку
задевает круглый [мяч] кулаком
отбил круглый [мяч] рукой
получил круглый [мяч] обратно
переадресовал круглый [мяч] Жи Донг-Вону
положил круглый [мяч] аккуратненько под ближнюю штангу

Явное противоречие с грамматической системой русского языка не препятствует, однако, массовому употреблению выражений *послал круглого, отбил круглого, получил круглого* и подобных — в интернете можно найти несколько десятков подобных конструкций. Хотя сфера употребления данного явления ограничена текстами определенного жанра — футбольными репортажами on-line, следует признать, что в определенной степени рассматриваемое явление типично.

В некоторых случаях автор текста помещает субстантивированное прилагательное в кавычки, тем самым посылая читателю знак, что слово не употребляется в своей общепринятой функции, что его употребление несет на себе элементы вторичности, специфичности. Ср. несколько примеров:

Бразильцу оставалось лишь подставить голову под этот мяч, что он и сделал, переправив «к р у г л о г о» в ворота!

Павел Мамаев сумел выбить мяч из-под ног Владимира Быстрова, отправив «к р у г л о г о» на угловой.

Слишком разогнался бразилец, в результате чего упустил «к р у г л о г о» за лицевую.

Как объяснить такую нестандартную форму вин. падежа? Можно было бы предположить, что причина кроется в языковом заимствовании, источником которого является один из соседствующих, флективных языков. К этой версии склоняет факт, что употребление неодушевленных существительных в форме вин. падежа, которая совпадает с формой род. падежа, имеет довольно широкое распространение в современном польском языке, ср. примеры⁷¹:

palic papierosa 'курить сигарету / папиросу'
kupić Forda 'купить «Форд»'
zjeść banana 'съесть банан'
usmażyć szaszłyka 'сжарить шашлык'

Если в польском языке данное явление (совпадение формы вин. падежа ед. числа неодушевленных существительных с формой род. падежа) существует относительно длительное время и носит массовый характер, то русскому литературному языку оно, в принципе, чуждо. В литературе отмечается, что форму род. падежа в вин. падеже имеют неодушевленные (по значению) существительные, которые являются этимологически одушевленными. Об этого рода случаях М. А. Шеля-

⁷¹ В литературе отмечается, что класс неодушевленных существительных польского языка, у которых форма вин. падежа ед. числа совпадает с формой род. падежа, не является строго определенным. Чаще всего к нему относятся названия танцев (*rozpoczęto krakowiaka*), названия игр (*grać w golfa*), названия шахматных фигур и карт (*poddano waleta*), названия фабричных изделий (*kupić opła*), названия фруктов, грибов, кушаний (*zjeść arbuza*), названия денежных банкнотов (*zapłacić dolara*) (см. Jadacka 2006, 23). Упомянутая здесь Х. Ядацкая, однако, пишет, что не все существительные этих классов строго подчиняются правилу, согласно которому форма вин. падежа равняется форме род. падежа — имеются параллельные формы: *zjeść naleśnika // naleśnik* 'съесть блинчик'; *kupić bakłażana // bakłażan* 'купить баклажан'; *pokroić prawdziwka // prawdziwek* 'разрезать белый гриб'. Ядацкая отмечает, что имеется стилистическое различие форм двух типов: формы, совпадающие с род. падежом, чаще являются разговорными (*ibidem*, 24). При этом исследовательница пишет, что формы первого типа охватывают все более широкий лексический запас, поэтому их стилистическая маркированность постепенно исчезает — они начинают восприниматься как правильные, их употребление становится нормой в других функциональных стилях языка.

кин пишет так: «При употреблении „одушевленных“ существительных по отношению к реально неодушевленным предметам сохраняется их грамматическая неодушевленность» (2001, 30), например:

читать «Рудина»
сделать коня
покрыть короля

Одушевленность существительного со временем может быть утеряна, как, например, в названии карточной фигуры *валет*, которое происходит от фр. *valet* 'слуга, лакей'. Она, однако, проявляется в употреблениях типа *покрыть вале́та*. Подобное употребление существительного *туз* (в конструкциях типа *покрыть тузы*) объясняется аналогией.

В русских диалектах можно встретить субстантиват *целковый* 'один рубль' в форме вин. падежа *целкового*, например, в устойчивых словосочетаниях *заплатить целкового*, *стоит целкового*; ср. также пословицу: *Слово толковое стоит целкового*. И все-таки в литературном языке данный субстантиват употребляется в вин. падеже в форме, которая совпадает с формой имен. падежа, ср.:

Третьевось хозяин забыл на прилавке *целковы́й* (Александр Островский).
Сейчас отпускает жене на расходы *целковы́й* (Глеб Успенский).

Формальная одушевленность существительных в вин. падеже встречается также в немногочисленных фразеологизмах, сфера функционирования которых ограничена: либо это — разговорная речь, либо это — жаргон, ср.:

дать стрекача
дать маху
дать пинка
Желтого в угол! (Антон Чехов).

Может быть, конструкции типа *послал круглого* являются результатом влияния польского языка? Для такого объяснения, по-моему, нет оснований: прямые, а тем более грамматические заимствования из современного польского языка в русском языке практически не известны. Кроме того можно предполагать, что большинство спортивных журналистов с польским языком вообще не имеет прямого контакта. Значит, причина кроется в чем-то другом.

3. Тайный язык

Возможно, феномен «круглого» объясняется законом аналогии: форма вин. падежа образуется по аналогии с одушевленными субстантивами *встретил лысого, повидал больного*. Но, во-первых, это — слишком широкое объяснение: нужен какой-то стимул, какой-то мотив, какое-то движущее начало для такой аналогии. Во-вторых, возникает вопрос: почему процессом аналогии охвачено только одно слово и почему так высока частотность его употребления в текстах одного жанра? Ведь, например, в случае субстантивата *мобильный* «одушевление» денотата не наступает — форма вин. падежа равняется форме имен. падежа, ср.: *потерять мобильный, позвонить на мобильный*.

Загадка рассматриваемого феномена, как мне кажется, кроется в коммуникативной среде его бытования. Субстантиват *круглый* употребляется, как я уже указывал, в интернете, в текстах футбольных репортажей on-line, которые — несмотря на свою письменную форму — имитируют устную спонтанную речь. Для примера приведу два фрагмента подобных репортажей:

Первый голевой момент случился у ворот горняков. Тайсон отдал на Сосу и тот чего есть мочи вlepил круглого в перекладину. В конце первого тайма Соса отдал пас на Тайсона, тот переправил предмет раздора на ближнюю штангу и там словно призрак, появившись из-за спины Ракицкого Вильягра головой вогнал круглого в девятку, сняв паутинку. Во втором тайме Шавьер навесил с углового и голова Торсильери по красивой траектории отправила круглого в ворота. После этого чемпион проснулся. Мхитарян после скидки Адриано вколотил мячик в нижний угол ворот. Горняки еще потеряли уйму моментов. Удар Косты вытянул Дишленкович, после чего хозяева раз за разом пытались сломать перекладину гостей и бездарно тратили стопроцентные моменты, которых хватило бы на несколько игр вперед. А результат, как говорится, на табло.

Полтавская битва. В Полтаве произошла настоящая футбольная битва, целое полтавское сражение, только без участия шведов. Уже на шестой минуте Монахов прекрасным ударом забил гол в свои ворота. Причем это был не рикошет или банальный вынос а именно акцентированный удар, эффектно полтавчане вышли вперед. Спустя пять минут Калиниченко пяточкой переадресовал круглого на Любичича и тот используя Курилова для корректировки траектории полета мяча пробил Долганского. Еще пара минут и Аделейе пытается сломать перекладину Ворсклы. Во второй половине встречи игра пошла на встречных курсах а отличились гости. Назаренко ударом из-за штрафной положил круглого аккуратненько под ближнюю штангу. Хозяева сравняли счет лишь за минуту до конца встречи.

К элементам разговорного стиля можно здесь отнести деминутивные образования *паутинку, аккуратненько, мячик, пяточкой* и др., а также разговорную лексику и фразеологию: *что есть мочи влезил, вколотил, пробил Долганского, потеряли уйму моментов* и др. Употребление выражений *влезил круглого в перекладину* (в первом тексте) и *положил круглого под ближнюю штангу* (во втором тексте) идеально вписываются в этот стилистический контекст. Форма род. падежа несет в этом случае дополнительную, а именно — экспрессивную нагрузку.

Нельзя не отметить и другую, социальную функцию данного языкового образования: оно выступает как своего рода социальный индикатор, являясь не только элементом своеобразного журналистского жаргона, но и показателем определенной социальной группы. С помощью словечка *круглый* спортивный обозреватель как бы посылает «своим» знак групповой солидарности. В коммуникативной установке автора текста доминирует элемент приватности, «домашности», фамильярности, а в какой-то степени и тайности, закрытости для чужих.

Этим последним свойством рассматриваемого дискурса и объясняется характер языковой (а к тому же массовой, тиражируемой!) ошибки, с которой мы имеем дело. В обычном речевом поведении языковые ошибки так или иначе обусловлены системой языка, неконтролируемой экспансией отдельных языковых правил. Как указывает С. Н. Цейтлин,

значительная часть детских ошибок (их можно назвать системными) представляет собой нарушение языковой нормы вследствие слишком прямолинейного следования системе (1982, 7; сказанное касается и ошибок взрослых — А. К.).

Но в нашем случае мы имеем дело с намеренным нарушением языковой системы, с целевой идиосинক্রазией, которая направлена на создание специфического прагматического эффекта — групповой солидарности отправителя и получателя сообщения. Польский исследователь С. Грабяс (Grabias 2003, 155) пишет, что тайность в той или иной степени характерна для всех социолектов, но особенно — для уголовного жаргона. Такого рода жаргон, во всяком случае его элементы реализуются в спортивных репортажах on-line.

В этом нет ничего удивительного, ведь футбольные болельщики образуют довольно многочисленные, преимущественно замкнутые и агрессивные по отношению к окружению социальные группы, использующие специальный фанатский сленг (см.: <http://cska->

moskva.ru/menu_02/cska_049.html). Правда, субстантиват *круглый* в лексическом запасе футбольных фанатов не отмечается, но общая идиосинкратическая установка спортивного журналиста на общение со «своим» остается фактом. Употребление неодушевленного субстантивата *круглый* по образцу склонения одушевленных существительных является как бы способом введения в заблуждение «чужого»: формально, с точки зрения языковой системы в выражении *отбить круглого* речь идет о живом существе, но неформально, с точки зрения того, «кто понимает», оно относится к футбольному мячу. Конечно, это — не совсем тот же случай, что жаргонизмы *карусель* 'церковь', *Катерина* 'сто рублей' и другие, обладающие высокой степенью условности номинации (а отсюда — тайности), но элементы гипокритического употребления языка имеются и в случае субстантивата *круглый*.

Если мы имеем дело с имитацией уголовного жаргона, то будет естественным предположить, что и само средство создания тайности имеет жаргонный источник. Как мне представляется, таким источником является так называемый одесский сленг — социолект, который в значительной степени сформировался на польско-украинском языковом субстрате. На это указывает большое количество имеющихся в нем полонизмов — лексических, грамматических, синтаксических. Например, по образцу польской конструкции *tesknić za czymś* 'скучать по чему-либо' в одесском сленге бытуют конструкции *Публика скучает за театром; Продавцы скучают за покупателем; Жены скучают за мужьями*. Это явление обыгрывается в следующем анекдоте:

- Месье не скучает за театром?
- Зачем же я должен скучать за театром? Я скучаю дома.

Под влиянием польского языка (ср. конструкцию: *Gdzie idziesz?*) в одесском сленге местоимение *где* употребляется для обозначения направления (в русском литературном языке эту функцию выполняет местоимение *куда*). Ср. анекдот:

- Мойша, и где ты идешь?
- Делать укол.
- В поликлинику?
- Не, в задницу! (Леонид Утесов, «Спасибо, сердце»).

Явление, о котором я писал в предыдущей части статьи, а именно — совпадение формы вин. падежа некоторых неодушевленных существительных м. рода с окончанием *-а* с формой род. падежа, в целом характерно для польско-украинского субстрата одесского сленга. Например, в белорусском фольклоре и в разговорной речи можно встретить форму вин. падежа *рубля* вместо формы *рубель*, форму вин. падежа *кажуха* 'тулуп, дубленка' вместо формы *кажух*, форму вин. падежа *баравіка* 'боровик, белый гриб' вместо формы *баравік*, ср.:

Рыбак уначы доўга не згаджаўся, але калі той даў яму р у б л я серабром, перавёз яго на востраў.

А можа кажух, паніч, надзенеш? — А добра, бо штось халаднавата. Даў яму к а ж у х а апрануць і едуць далей.

Кастусь знайшоў у час абходу лесу б а р а в і к а .

М. А. Жовтобрюх и Б. М. Кулик (1959, 198), авторы «Курса современного украинского литературного языка», пишут, что существуют альтернативные формы вин. падежа, совпадающие с имен. и род. падежами, например:

заправити трактор / трактора
пустити двигун / двигуна
витагати плуг / плуга
одержати лист / листа
скласти акт / акта

Поэтому есть основания считать, что именно к этому источнику — одесскому сленгу, с его многочисленными польскими и украинскими вкраплениями, восходит субстантиват *круглий* в языке футбольных репортажей. С одной стороны, в данном случае можно говорить о своеобразном к а л ь к и р о в а н и и . Как известно, кальками считаются слова или выражения, «созданные из исконных языковых элементов, но по образцу иноязычных слов и выражений» (Добродомов 1979, 108). Кальки воспроизводят «строение иноязычного образца» (там же), поэтому в своем большинстве они имеют синтагматический характер. Субстантиват *круглий* (в частности, его грамматическое функционирование) можно трактовать как случай особого — парадигматического калькирования, т.е. воспроизведения фрагмента грамматической системы (а именно — морфологической парадигмы неодушевленных существительных м. рода) языка-источника — польско-украинского субстрата одесского сленга.

С другой стороны, имеются основания для утверждения о том, что здесь мы имеем дело с лексическим заимствованием: первоначально субстантиват *круглый* был зафиксирован на украинских спортивных сайтах, он активно употребляется в текстах спортивных репортажей на украинском языке:

Володимир Гуменюк скористався невпевненими діями воротаря і відпасував на Ярослава Обруб'яка, котрий і послав круглого у ворота.

Рафаель класним обвідним ударом послав круглого в дальній кут воріт.
П'ятов схопив круглого лише з другої спроби.

Кстати, украинское происхождение имеет и другое расхожее словечко в фене русских спортивных (а именно — пишущих о футболе) журналистов: *обрезаться* в значении 'ошибиться':

Аккуратно, с фланга на фланг перекатывают мяч футболисты «Кана», пытаюсь не *обрезаться* и не получить ещё пару мячей.

На своей половине поля контролируют мяч футболисты ЦСКА. *Обрезался* Кирилл Набабкин, но атака «Спартака» из Нальчика не прошла.

Не боятся футболисты фолить, сейчас Бергара *обрезался* и сразу же сфолил, не дал сопернику убежать.

Еременко неудачно *обрезался* на чужой половине поля.

Опять *обрезался* Камаль. Отдавал мяч назад центральным защитникам.

Как видим, к *борщу*, *гопаку*, «*Майдану*» и другим известным лексическим заимствованиям из украинского языка в последнее время добавляются новые единицы, хотя бы косвенно восходящие к системе украинского языка. Этому способствует коммуникация в интернете, в частности, факт, что многие русские спортивные журналисты читают на украинских сайтах отчеты об играх сборной Украины, киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и других команд. Экстралингвистическим фактором этого процесса являются спортивные успехи украинских футболистов, а также интерес к ним со стороны российских СМИ.

Заключение

А. Н. Гвоздев (1973, 223) писал о разной степени регулярности процессов субстантивации прилагательных. Он, в частности, выделял такой их тип, который реализуется «индивидуально, только в определенном речевом целом — беседе, письме, рассказе и т.д.», а значит, имеет узкое, окказиональное употребление. С таким явлением мы

имеем дело в случае субстантивата *круглый*: его функционирование в письменных текстах футбольных репортажей в интернете связано с определенной коммуникативной нагрузкой. В замене существительного *мяч* субстантиватом *круглый* трудно усматривать семантические мотивы, например, явление инопии — вынужденной метонимии, употребление которой основано на отсутствии названия какой-либо реалии. Об инопии здесь не может быть речи потому, что в лексической системе русского языка имеется существительное *мяч*, которое относится к его основному словарному запасу и полностью удовлетворяет потребность номинации соответствующего предмета.

Объяснение феномена *круглого* имеет коммуникативно-стилистическую природу. Исследователи отмечают (см.: Фысина 2007, 13), что субстантиваты в газетных текстах, а также в разговорной речи часто содержат авторско-эмоциональную оценку. Журналист, автор текста, сознательно или полусознательно идет на нарушение грамматической формы слова с целью получить особый эффект: экспрессию, фасцинацию, «остранение» (по В. Б. Шкловскому). При этом создается атмосфера непринужденного, свободного общения с читателем. Такая игровая установка пишущего вполне соответствует живой интонации дискурса спортивного репортажа.

В рассмотренном в данной работе явлении можно видеть и социолингвистический аспект: журналист обращается к читателю, которого отчасти трактует как представителя замкнутой и одновременно близкой ему социальной группы. Другими словами — «свой» общается со «своими». Фанатские группы, как известно, культивируют собственную идеологию, пользуются своеобразным сленгом, и журналист использует этот факт групповой солидарности. Больше того — он косвенно апеллирует к уголовному жаргону, тем самым усиливая экспрессивность сообщения.

Я уже указал, что конструкции типа *отбил круглого* в текстах футбольных репортажей on-line являются массовыми, а значит, мы имеем дело со своего рода «языковым заражением», которое, как мне кажется, имеет социальную основу — опирается на контакт с активно действующими группами футбольных фанатов. Подобно приправе, которая не имеет никакого энергетического эффекта (например, существенно не влияет на калорийность блюда, но изменяет его вкусовые качества), текст футбольного репортажа «заправляется» субстантиватом *круглый* — специфическим социолектальным маркером, т.е. опознавательным знаком групповой принадлежности. Расчет автора состоит в том, что текст от этого станет «вкуснее».



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Киклевич, А. (2007), Метонимия vs. компрессия в функциональной системе современного русского языка, [в:] *Slavia Orientalis*. LVI/2, 249-264.
- Киклевич, А. (2009), Визуализация как способ кодирования лингвистической информации, [в:] Руденко, Е. (ред.); *Славянские языки: аспекты исследования*. Минск, 105-110.
- Киклевич, А. (2009), Двенадцать функций языка, [в:] *Мир русского слова*. 3, 5-13.
- Киклевич, А. (2009), Слово и образ. О роли визуализации в теоретической лингвистике, [в:] Ибрагимова, В. Л. (ред.), *Система языка: синхрония и диахрония*. Уфа, 87-95.
- Киклевич, А. (2009), Стереотипы в структуре межкультурной коммуникации, [в:] Шайдулов, В. Н./Киклевич, А. К. (ред.), *Стереотипы и национальные системы ценностей в межкультурной коммуникации*. Санкт-Петербург – Олштын, 100-116.
- Киклевич, А. (2009), Черты «новояза» в содержании текстов польских СМИ (на материале газетных текстов, посвященных польской военной миссии в Афганистане и Ираке), [в:] Птицын, А. Н. (ред.), *Российско-польский исторический альманах IV*. Ставрополь – Волгоград – Москва, 135-148.
- Киклевич, А. (2009), Язык новых русских: семантика и прагматика имен собственных, [в:] Ищук, Д. Г. (ред.), *Язык и общество: проблемы, поиски, решения*. Санкт-Петербург, 73-80.
- Киклевич, А. (2010), Концепт! Концепт... Концепт? К критике современной лингвистической концептологии, [в:] Киклевич, А./Камалова, А. (ред.), *Концепты культуры в языке и тексте: теория и анализ [Современная русистика: направления и идеи, II]*. Olsztyn, 175-219.
- Киклевич, А. (2011), Роль стереотипов в межкультурной коммуникации, [в:] *Przegląd Wschodnioeuropejski*. 2, 259-286.
- Киклевич, А. (2012), О социально-культурном факторе функциональной семантики: проблемы речевой номинации, [в:] *Slavia Orientalis*. LXI/3, 339-361.
- Киклевич, А. (2012), Парадигмы языкознания как типы профилирования знаков, [в:] Шумска, Д. (ред.), *Язык и метод I*. Kraków, 119-134.
- Киклевич, А. (2013), «Среди миров», или деконструкция символизма, К когнитивно-семантическому анализу стихотворения Иннокентия Анненского, [в:] Камалова,

- А. (ред.), Когнитивная поэтика: проблемы, опыт исследования [Современная русистика: направления и идеи, III]. Olsztyn, 73-94.
- Киклевич, А. (2013), К проблеме культурной обусловленности научных парадигм: структурализм в славянских лингвистических традициях XX века (польской, русской и чешской), [в:] Kiklewicz, A./Ważnik, S. (red.), Паланістыка – Полонистика – Polonistyka 2012. Мінск, 231-253.
- Киклевич, А. (2013), Об одном лексико-грамматическом прецеденте. Субстантивация прилагательного *круглый*, [в:] Przegląd Rusycystyczny. 1, 100-115.
- Киклевич, А. (2013), Приклучения круглого, или «Чтобы никто не догадался», [в:] Русская речь. 2, 78-84.
- Киклевич, А. (2013), Про вплив сучасної української мови на російську: субстантивация прикметника *круглый* у текстах футбольних репортажів он-лайн, [в:] Movoznavstvo. 1, 9-19.
- Киклевич, А. (2013), Социальные ценности в системе современной культуры, [в:] Przegląd Wschodnioeuropejski. IV, 273-294.
- Киклевич, А. (2013), Концептуальные метафоры, лексические параметры и прототипические эффекты, [в:] Камалова, А. А. (ред.), Слово как феномен культуры. Olsztyn, 115-150 [Современная русистика: направления и идеи, VI].
- Киклевич, А. (2013), Синтаксические процессы в структуре сложного предложения, [в:] Slavia Orientalis. III/IV [в печати].
- Киклевич, А. [в печати], Связочные предложения и дубликация подлежащего, [в:] Fontański, H. (red.), Gramatyka a tekst. IV [в печати].
- Киклевич, А. [в печати], Частота употребления как фактор изменения языковых единиц. Размышления о теории Витольда Маньчака, [в:] Kiklewicz, A./Ważnik, S. (red.), Паланістыка – Полонистика – Polonistyka 2013. Мінск [в печати].



Библиография

- АБАЕВ, В. И. (1965), Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке, [в:] Вопросы языкознания. 3, 24-44.
- АБУ ХАЙЯН АТ-ТАУХИДИ (1988), Диалоги. (Из «Книги услады и развлечения»), [в:] Восток – Запад. Исследования. Переводы. Публикации. Москва, 40-85.
- АЛЕКСЕЕВА, Л. М. /МИШЛАНОВ, В. А./САЛИМОВСКИЙ, В. А. (2010), Динамическая лингвистика Л. Н. Мурзина в современном эпистемическом контексте (по итогам международной научной конференции, посвященной 80-летию профессора Л. Н. Мурзина), [в:] Вестник Пермского университета. 4, 211-218.
- АНДРЕЕВ, Н. Д. (1967), Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языкознании. Москва.
- АПРЕСЯН, Ю. Д. (1969), Идеи и методы современной структурной лингвистики. Москва.
- (1974), Лексическая семантика. Синонимические средства языка. Москва.
- АРНХЕЙМ, Р. (1974), Искусство и визуальное восприятие. Москва.
- АРУТЮНОВА, Н. Д. (1990), Метафора и дискурс, [в:] Арутюнова, Н. Д. (ред.), Теория метафоры. Москва, 5-32.
- АРХИПОВ, И. К. (1997), Лексический прототип, лексема и отношение языка и речи, [в:] К юбилею ученого. Сборник научных трудов, посвященный юбилею Е. С. Кубряковой. Москва, 23-28.
- (2008), Язык и языковая личность. Санкт-Петербург.
- (2011), О «переносе информации» в прямом и метонимическом смысле, [в:] Przegląd Wschodnioeuropejski. II, 453-464.
- БАЛОВА, И. М. (2013), Современный русский язык, [в:] http://balova.my1.ru/publ/sovremennyj_russkij_jazyk/kratkij_konspekt_lectij/4-1-0-8.
- БАРАНОВ, А. Н. (1998), Когнитивное моделирование значения: внутренняя форма как объяснительный фактор, [в:] Русистика сегодня. 3-4, 92-100.
- БАРАНОВ, А. Н./ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Д. О. (1997), Постулаты когнитивной семантики, [в:] Известия АН. Серия литературы и языка. 56/1, 11-19.
- БАРТ, Р. (1983), Нулевая степень письма, [в:] Степанов, Ю. С. (ред.), Семиотика. Москва, 306-349.
- (1989), Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва.
- БАСИН, Я. Е. (2012), Семантическая философия искусства. Москва.

- Беликов, В. И. (2009), Стереотипы в понимании литературной нормы, [в:] Стереотипы в языке, коммуникации и культуре. Москва, 339-359.
- Белл, Р. Т. (1980), Социоллингвистика. Цели, методы, проблемы. Москва.
- Бельчиков, Ю. А. (1988), О культурном коннотативном компоненте лексики, [в:] Серебрянников, Б. А. (ред.), Язык: система и функционирование: сборник научных трудов. Москва, 30-35.
- Берг, Л. С. (1977), Труды по теории эволюции. Москва.
- Благова, Г. Ф. (1999), Время и пространство: народные способы выражения в тюрских языках, [в:] Rocznik Slawistyczny. ЛП/2, 79-92.
- Блумфилд, Л. (1968), Язык. Москва.
- Бондарко, А. В. (1984), Грамматическая форма и контекст (о понятиях «частное значение», «функция грамматической формы» и «категориальная ситуация»), [в:] Русский язык. Функционирование грамматических категорий. Текст и контекст. Москва, 13-31.
- Брайант, Дж./Томпсон, С. (2004), Основы воздействия СМИ. Москва / Санкт-Петербург / Киев.
- Брунер, Дж. (1977), Психология познания. Москва.
- Вайль, П. (2007), Стихи про меня. Москва.
- Валгина, Н. С. (2003), Современный русский язык. Синтаксис. Москва.
- Ванников, Ю. В. (1979), Синтаксис речи и синтаксические особенности русской речи. Москва.
- Вардуть, И. Ф. (1977), Основы описательной лингвистики. Москва.
- Вахтин, Н. Б./Головко, Е. В. (2004), Социоллингвистика и социология языка. Санкт-Петербург.
- Вацлавик, П./Бивин, Д./Джексон, Д. (2001), Аксиомы теории коммуникации, [в:] Казаринова, Н. В./Погольша, В. М. (ред.), Межличностное общение. Санкт-Петербург etc., 12-25.
- Вежицкая, А. (1983), Из книги «Семантические примитивы», [в:] Степанов, Ю. С. (ред.), Семиотика. Москва, 225-252.
- Верещагин, Е. М. /Костомаров, В. Г. (1980), Лингвострановедческая теория слова. Москва.
- Видинеев, Н. В. (1989), Природа интеллектуальных возможностей человека. Москва.
- Витгенштейн, Л. (2010), Логико-философский трактат. Москва.
- Волошинов, В. Н. (1995), Философия и социология гуманитарных наук. Санкт-Петербург.
- Воркачев, С. Г. (2004), Счастье как лингвокультурный концепт. Москва.
- Вундт, В. (1912), Проблемы психологии народов. Москва. [Источник: <http://svetorusje.ru/knizhtitza/Vundt-PsixNarodov.htm>].
- Выготский, Л. С. (1982), Собрание сочинений. 2. Проблемы общей психологии. Москва.
- (1984), Собрание сочинений. Т. 6. Научное наследство. Москва.
- Гак, В. Г. (1976), К диалектике семантических отношений в языке, [в:] Ярцева, В. Н. (ред.), Принципы и методы семантических исследований. Москва, 73-91.
- (1977), Сравнительная типология французского и русского языков. Москва.
- (1998), Языковые преобразования. Москва.
- Галкина-Федорук, Е. М. (ред.) (1957), Современный русский язык. Синтаксис. Москва.
- Гаспаров, Б. (1996), Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. Москва.

- (1998), Тартуская школа 1960-х годов как семиотический феномен, [в:] Неклюдов, С. Ю. (ред.), Московско-тартуская семиотическая школа. История, воспоминания, размышления. Москва 57-69.
- (2002), В поисках «другого» (французская и восточноевропейская семиотика на рубеже 1970-х годов), [в:] <http://teneta.rinet.ru/rus>.
- ГВОЗДЕВ, А. Н. (1973), Современный русский литературный язык. Ч. 1. Фонетика и морфология. Москва.
- ГЕНИС, А. (2002), Культурология. Раз! Москва.
- ГИНЗБУРГ, Е. Л. (1985), Конструкции полисемии в русском языке. Таксономия и методика. Москва.
- ГЛУХОВ, В. П. (2005), Основы психолингвистики. Москва.
- ГРАЙС, Г. П. Логика и речевое общение, [в:] Падучева, Е. В. (ред.), Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. Москва, 217-237.
- ГРИЦАНОВ, А. А. (ред.) (2003), Новейший философский словарь. Минск.
- ГРУДИНКИН, А. (2001), Ущербен ли образованный человек? [в:] http://www.znanie-sila.ru/online/is-sue_1268.html
- ДЕЙК, Т. А. ван (1989), Язык. Познание. Коммуникация. Москва.
- (2000), Язык и идеология: к вопросу о построении теории взаимодействия, [в:] Ухванова, И. Ф. (ред.), Методология исследований политического дискурса. Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (II). Минск, 50-63.
- ДЕМЬЯНКОВ, В. З. (1994), Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода, [в:] Вопросы языкознания. 4, 17-33. Цит. по: http://www.infolex.ru/Cogni.html#_Toc32468339.
- (1996), Прототипический подход, [в:] Кубрякова, Е. С. (ред.), Краткий словарь когнитивных терминов. Москва, 140-145.
- ДЖЕМС, У. (1981), Мышление, [в:] Гиппенрейтер, Ю. Б./Петухов, В. В. (ред.), Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. Москва, 11-20.
- ДИЛТС, Р. (2001), Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП. Санкт-Петербург / Москва / Харьков / Минск.
- ДОБРДОМОВ, И. Г. (1979), Калька, [в:] Филин, Ф. П. (ред.), Русский язык. Энциклопедия. Москва, 108.
- ДОРОШЕВСКИЙ, В. (1973), Элементы лексикологии и семиотики. Москва.
- ДЫМАРСКИЙ, М. Я. (2013), От моделей предложения – к моделированию высказывания, [в:] Славянское языкознание. XV Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. Москва, 308-330.
- ДЭВИДСОН, Д. (1990), Что означают метафоры, [в:] Арутюнова, Н. Д./Журинская, М. А. (ред.), Теория метафоры. Москва, 173-193
- ЕВГЕНЬЕВА, А. П. (ред.) (1981-1984), Словарь русского языка. 1-4. Москва.
- ЕЛИСТРАТОВ, В. С. (2012), Словарь русского арго (материалы 1980-1990 гг.), [в:] <http://www.gramota.ru>
- ЕРМАКОВА, О. П. (2006), Семантические процессы в русском языке на рубеже веков. В: Acta Neophilologica. VIII, 23-32.
- ЕРМОЛЕНКО, С. С. (1995), Язык тоталитаризма и тоталитаризм языка, [в:] Яворска, Г. М. (ред.), Мова тоталітарного суспільства. Київ, 7-15.
- ЖВИРИНСКА, В. (1997), Некоторые вопросы образования подчинительного составного союза, его функции в сложноподчиненном предложении и преподавание французского языка на нефилологических факультетах, [в:] Gudavičius, A. (red.), Svetimosios kalbos: teorija ir praktika. Vilnius.

- ЖОВТОБРЮХ, М. А./КУЛИК, Б. М. (1959), Курс сучасної української літературної мови. 1. Київ.
- ЖОЛКОВСКИЙ, А. К. (2006), Мемуарные виньетки и другие non-fiction, [в:] Киклевич, А. К. (ред.), Лингвисты шутят. Москва, 99-119.
- ЗАЛИЗНЯК, А. А. (2000), Заметки о метафоре, [в:] Слово в тексте и в словаре. Сборник статей к 70-летию академика Ю. Д. Апресяна. Москва, 82-90.
- ЗВЕГИНЦЕВ, В. А. (ред.) (1968), История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Т. 2. Москва.
- (1976), Предложение и его отношение к языку и речи. Москва.
- (1981), Зарубежная лингвистическая семантика последних десятилетий, [в:] В. А. Звегинцев (ред.), Новое в зарубежной лингвистике. X. Лингвистическая семантика. Москва, 5-32.
- (1982), Язык и знание, [в:] Вопросы языкознания. 1, 71-81.
- ЗВЕРЕВ, А. М. (1987), Модернизм, [в:] Кожевников, В. М./Николаев, П. А. (ред.), Литературный энциклопедический словарь. Москва, 226-227.
- ЗЕЛЬДОВИЧ, Г. (1998), Русские временные квантификаторы. Вена.
- ЗЕМСКАЯ, Е. А. (2006), Активные процессы в русском словообразовании нашего времени. [в:] Acta Neophilologica. VIII, 9-21.
- ЗЕМСКАЯ, Е. А./КИТАЙГОРОДСКАЯ, М. В./ШИРЯЕВ, Е. Н. (1981), Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. Москва.
- ЗОЛОТОВА, Г. А. (1988), Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. Москва.
- ИВАШИНА, Н. В./ПЛОТНИКОВ, Б. А. (1985), Чешский язык. Минск.
- КАЛАШНИКОВ, В. А./СМИРНОВ, Ю. Б. (1987), Тенденция, [в:] Кожевников, В. М./Николаев, П. А. (ред.), Литературный энциклопедический словарь. Москва, 437.
- КАМАЛОВА, А. А. (1998), Семантические типы предикатов состояния в системном и функциональном аспектах. Архангельск.
- КАРАУЛОВ, Ю. Н. (1976), Общая и русская идеография. Москва.
- КАРАУЛОВ, Ю. Н. (1987), Русский язык и языковая личность. Москва.
- КАРПОВ, В. А. (1992), Язык как система. Минск.
- КАРПОВА, С. Н./КОЛОБОВА, И. Н. (1978), Особенности ориентации на слово у детей. Москва.
- КЕМПЕР, Д. (2009), Гёте и проблема индивидуальности в эпохе культуры модерна. Москва.
- КИКЛЕВИЧ, А. К. (1992), Художественный текст и теория возможных миров, [в:] Борохов, Б. Л./Седов, К. Ф. (ред.), Художественный текст: онтология и интерпретация. Саратов, 39-47.
- (1993), Язык — личность — диалог (некоторые экстраполяции социоцентрической концепции М. М. Бахтина), [в:] Диалог — Карнавал — Хронотоп. 1-2, 9-20.
- (1999), Лекции по функциональной лингвистике. Минск.
- (2006а), Текстовая картина мира (на материале польской рекламы бытовой техники), [в:] Kiklewicz, A./Ważnik, S. (ред.), Паланістыка — Полоністыка — Polonistyka 2006. Мінск, 259-293.
- (2006б), Языковая картина мира vs. текстовая картина мира (на материале польской рекламы бытовой техники), [в:] Пипер, П./Стернин, И. А. (ред.), Коммуникативное поведение. 22. Коммуникативное поведение славянских народов. Русские, сербы, украинцы, поляки, словаки. Воронеж, 146-165.
- (2007), Притяжение языка. Том 1. Семантика, лингвистика текста, коммуникативная лингвистика. Olsztyn.

- (2008), Притяжение языка. 2. Функциональная лингвистика. Olsztyn.
- (2009), Притяжение языка. Т. 3. Грамматические категории, синтаксис. Olsztyn.
- (2011), Роль стереотипов в межкультурной коммуникации, [в:] *Przegląd Wschodnioeuropejski*. 2, 259-286.
- (2012), О социально-культурном факторе функциональной семантики: проблемы речевой номинации, [в:] *Slavia Orientalis*. LXI/3, 339-361.
- (2012), Парадигмы языкознания как типы профилирования знаков, [в:] Шумска, Д. (ред.), *Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века*. Kraków, 119-134.
- КІКЛЕВІЧ, А. (1996), Аб формах сістэматыкі ў мовазнаўстве, [в:] *Веснік Беларускага ўніверсітэта*. IV/2, с. 50-54.
- КІКЛЕВІЧ, А. К./ПАЦЕХІНА, А. А. (2000), Беларуская літаратурная норма: дынаміка і інавацыі (на матэрыяле сучаснага беларускага друку), [в:] *Slavia Orientalis*. XLIX/1, 93-105.
- КЛИНГ, О. (2010), Влияние символизма на постсимволистскую поэзию в России 1910-х годов. Проблемы поэтики. Москва.
- КОБОЗЕВА, И. М. (2012), К формальной репрезентации метафор в рамках когнитивного подхода. В: <http://www.dialog-21.ru/materials/archive.asp?id=7339&y=2002&vol=6077> [доступ 18 ноября 2012].
- КОЖЕВНИКОВ, В. М./НИКОЛАЕВА, П. А. (ред.) (1987), *Литературный энциклопедический словарь*. Москва.
- КОЗЛОВА, А. А. (2005), Устойчивые глагольно-именные сочетания прозы А. С. Пушкина как этап формирования устойчивых сочетаний русского литературного языка. Воронеж.
- КОНДРАТОВ, А. М. (1978), *Звуки и знаки*. Москва.
- КОНДРАШОВ, Н. (ред.) (1967), *Пражский лингвистический кружок*. Москва.
- КОРМИЛИЦЫНА, М. А./ СИРОТИНИНА, О. Б. (2007), Саратовская лингвистическая школа «Изучение функционирования русского языка», [в:] *Известия Саратовского университета*. Новая серия. Филология, журналистика. VII/1, 57-67.
- КОРНЕЕВА, А. И. (1978), *Проблемы познания микромира*. Москва.
- КОСЕСКА-ГОШЕВА, В./ГАРГОВ, Г. (1990), Българско-полска съпоставителна граматика. 2. Семантичната категория определеност/неопределеност. София.
- КОТИН, М. Л. (2009), Генеалогия дискурса и проблемы языковых изменений, [в:] *Przegląd Rusycystyczny*. 2, 54-62.
- КОУЛ, М./СКРИБНЕР, С. (1977), *Мышление и культура*. Психологический очерк. Москва.
- КОШЕЛЕВ, А. Д. (1996), Референциальный подход к анализу языковых значений, [в:] *Московский лингвистический альманах*. 1, 82-194.
- КРАСНЫХ, В. В. (2003), «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? Москва.
- (ред.) (2006), *Русские и «русскость»*. Лингво-культурологические этюды. Москва.
- КРЕТОВ, А. А. (2007), О праве на экстраполяцию, [в:] *Проблемы лингвистической прогностики*. 4. Воронеж, 13-22.
- КРИСТИ, Н. (1985), *Пределы наказания*. Москва.
- КУБРЯКОВА, Е. С. (1986), *Типы языковых значений. Семантика производного слова*. Москва.
- КУН Т. (1977), *Структура научных революций*. Москва.
- КУРИЛОВИЧ, Е. (1962), *Очерки по лингвистике*. Москва.
- КУСТОВА, Г. И. (2004), *Типы производных значений и механизмы языкового расширения*. Москва.

- ЛАБАЩУК, М. С. (2003), Когнитивный потенциал речевых средств художественного изображения, [в:] Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Linguistica Rossica. 1, 101-124.
- ЛАЗАРИ, А. де /РЯБОВ, О. В.(2007), Русские и поляки глазами друг друга. Сатирическая графика. Иваново.
- ЛАЙОНЗ, Дж. (1978), Введение в теоретическую лингвистику. Москва.
- ЛАКОФФ, Дж. (1981), Лингвистические гештальты, [в:] В. А. Звегинцев (ред.), Новое в зарубежной лингвистике. X. Лингвистическая семантика, Москва, 350-368.
- ЛАПТЕВА, О. А. (1976), Русский разговорный синтаксис. Москва
- ЛЕВИЦКИЙ, Ю. А. (1995), От высказывания – к предложению, от предложения – к высказыванию. Пермь.
- ЛЕОН-ДЮФУРА, К. (ред.) (1974), Словарь библейского богословия. Брюссель.
- ЛЕЩАК, О. (1996), Языковая деятельность. Тернополь.
- (2004), Методология функционального прагматизма и структурно-функциональная лингвистика. Попытка демифологизации взглядов Ф. де Соссюра, [в:] Kiklewicz, A. (red.), *Paradymaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu*, Słupsk 2004, 51-62.
- ЛЕЩАК, С. (2007), Языковое клише. Прагматика, семантика и структура аналитических номинативных неидиоматических знаков в современном русском языке. Kielce.
- ЛОСЕВ, А. Ф. (1976), Проблема символа и реалистическое искусство. Москва.
- (1979), Эллинистическая римская эстетика. I-II вв. н.э. Москва.
- (1982), Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию. Москва.
- ЛОТМАН, Ю. М. (1973), Замечания о структуре повествовательного текста, [в:] Труды по знаковым системам. 6. Тарту, 382-386.
- (1983), Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Ленинград.
- (2012), Беседы о русской культуре, [в:] <http://moy-bereg.ru/lotman-kultura/lotman-kultura.-lotman-yu.-besedyi-o-russkoy-kulture.-chast-tretya.-dekabrist-v-povsednevnoy-zhizni-1-3.html>
- ЛЫЧ, Л. (1993), Рэформа беларускага правапісу 1933 года: ідэалагічны аспект. Мінск.
- МАЙДАНОВ, А. С. (2011), Коаны чань-буддизма как парадоксы, [в:] <http://ec-dejavu.ru/c-2/Coan.html>.
- МАКАРОВА, Е. А. (2003), Субстантивированное прилагательное в лексической структуре речи персонажа (на материале романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»), [в:] Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 3, 95-105.
- МАККОЛИ, Дж. (1981), О месте семантики в грамматике языка, [в:] Звегинцев, В. А. (ред.), Новое в зарубежной лингвистике. X. Лингвистическая семантика. Москва, 235-301.
- МАРТЫНОВ, В. В. (1966), Кибернетика. Семиотика. Лингвистика. Минск.
- (1977), Универсальный семантический код. Грамматика. Словарь. Тексты. Минск.
- (1985), Функциональная грамматика и категории языка, [в:] Ярцева, В. Н. (ред.), Проблемы функциональной грамматики. Москва, 155-161.
- (1995), Принципы объективной семантической классификации, [в:] Мартынов, В. В. (ред.), Реализационный аспект функционирования языка. Минск, 83-91.
- МАСЛОВ, Ю. С. (1987), Введение в языкознание. Москва.
- МАСЛОВА, В. А. (2005), Когнитивная лингвистика. Минск.
- МАТУСЕВИЧ, М. И. (1976), Современный русский язык. Фонетика. Москва.
- МЕЛЬНИЧУК А. С., 1992, Методологические поиски в современных подходах к исследованию языка, [в:] Мельничук, А. С. (ред.), Методологические основы новых направлений в мировом языкознании. Киев, 3-15.

- МЕЧКОВСКАЯ, Н. Б. (2001), *Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. Учебное пособие.* Москва.
- МЕЩАНИНОВ, И. И. (1945), *Члены предложения и части речи.* Москва.
- МИХЕЕВ, М. Ю. (2000), *Жизни мышья беготня или тоска тщетности?* [в:] *Вопросы языкознания.* 2, 47-70.
- МИШЛАНОВ, В. М. (1996), *Семантика и структура сложного предложения в свете динамического синтаксиса.* Пермь.
- МОЖЕЙКО, М. А. (2001), *Любовь,* [в:] Грицанов, А. А./Можейко, М. А. (ред.), *Постмодернизм. Энциклопедия.* Минск, 433-434.
- МОКИЕНКО В. М., 2007, *Языковая картина мира в зеркале фразеологии,* [в:] Chlebda, W. (red.), *Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków.* Opole, 49-66.
- (1999), *Образы русской речи.* Санкт-Петербург.
- МОЛЬ, А. (2007), *Социодинамика культуры.* Москва.
- МОРОЗОВ, Н. А. (2013), *Лингвистические спектры: средство для отличения плагиатов от истинных произведений того или иного известного автора. Стилеметрический этюд,* [в:] <http://www.textology.ru/library/book.aspx?bookId=>
- МОСКАЛЬСКАЯ, О. И. (1979), *Субстантивация,* [в:] Филин, Ф. П. (ред.), *Русский язык. Энциклопедия.* Москва, 339-340.
- МУРЗИН, Л. Н. (1974), *Синтаксическая деривация: анализ производных предложений русского языка.* Пермь.
- (1980), *Логическая и психологическая трактовка синтаксических процессов (русского языкознание конца XVIII – начала XIX века).* Пермь.
- (1982), *О деривационных механизмах текстообразования,* [в:] Мурзин, Л. Н. (ред.), *Теоретические аспекты деривации.* Пермь, 20-28.
- (1990), *Лингвистическое моделирование и деривация в речевой деятельности,* [в:] Мурзин, Л. Н. (ред.), *Деривация в речевой деятельности.* Пермь, 4-10.
- МЯЧКОЎСКАЯ, Н. Б. (2012), *Беларускае мовазнаўства – значна шырэйшае за беларусіцьку, і заўтра поле яго дзейнасці пашырыцца яшчэ больш,* [в:] <http://mab.org.by/materyjaly/intervju/nina-miackouskaja-bielaruskaje-movaznaustva-znacna-syrejsaje-za-bielarusistyku-i> [доступ 14 III 2012].
- НОВОСЕЛОВ, М. М. (1977), *Тождество,* [в:] *Советская энциклопедия.* Москва, 31.
- (1978), *Категория тождества и ее модели,* [в:] Новоселов, М. М. (ред.), *Кибернетика и диалектика.* Москва, 183-211.
- НОРМАН, Б. Ю. (1978), *Синтаксис речевой деятельности.* Минск.
- (1988), *К социо- и психолингвистической интерпретации некоторых стереотипных реплик в стандартных ситуациях,* [в:] *Русский язык.* VIII, 87-92.
- (1993а), *Апология поверхностного синтаксиса,* [в:] *Russistik.* 2, 6-14.
- (1993б), *Между лексикой и синтаксисом (к семантике относительных прилагательных),* [в:] «Сборник от научните трудове, посветен на седемдесетгодишнината на професор Мирослав Янакиев. София, 98-109.
- (1993в), *О конструкциях с эмфазой именного сказуемого: фрагмент русско-болгарского сопоставительного синтаксиса,* [в:] *Сьпоставително езикознание.* XVIII/2-4.
- (1994), *Грамматика говорящего.* Санкт-Петербург.
- (1995), *Тенденции в развитии качественных наречий в белорусском и других славянских языках,* [в:] *Beiträge zur Slawistik.* 2. Aktuelle Entwicklungsprobleme slawischer Sprachen. Greifswald, 108-121.
- (1996), *Скорости оставляют позади катера? О логике естественного языка,* [в:] *Русская речь.* 6, 24-28.

- (1998), Понимание текста и его синтаксическая «предыстория», [в:] *Russian Linguistics*. 22/1, 1-12.
- (2000), Лингвистика и юмор, [в:] Киклевич, А. К. (ред.), *Лингвисты шутят. München*, 5-12.
- ОБУХОВА, Л. Ф. (1981), Концепция Жана Пиаже: за и против. Москва.
- ПАВЛОВ, А. П. (2008), Природа коммуникативного порядка, [в:] <http://vitos-mf.narod.ru/libruary/sociology1.htm>
- ПАДУЧЕВА, Е. В. (1985), Высказывание и его соотношенность с действительностью. Референциальные аспекты семантики местоимений. Москва.
- (2004), Динамические модели в семантике лексики. Москва.
- ПАНФИЛОВ, В. З. (1980), Типы модальных значений и их роль в конструировании предложения, [в:] *Otázky slovanské syntaxe*. IV, 9-12.
- ПЕРЕТРУХИН, В. Н. (1979), Расширение, распространение и осложнение в простом предложении, [в:] *Филологические науки*. 4, 46-50.
- ПЕРЦОВ, Н. В. (1996), О некоторых проблемах семантики и компьютерной лингвистики, [в:] *Московский лингвистический альманах*. 1, 99-66.
- (1998а), К проблеме инварианта грамматического значения. 1. Глагольное время в русском языке, [в:] *Вопросы языкознания*. 1, 3-26.
- (1998), К проблеме инварианта грамматического значения. 2. Императив в русском языке, [в:] *Вопросы языкознания*. 2, 88-101.
- (1999), Заметки об инварианте, [в:] *Типология и теория языка. От описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика*. Москва, 412-421.
- (2000), О неоднозначности в поэтическом языке, [в:] *Вопросы языкознания*. 3, 55-82.
- ПЕТРОВСКИЙ, А. В./ЯРОШЕВСКИЙ, М. Г. (ред.) (1985), *Краткий психологический словарь*. Москва.
- ПЕШКОВСКИЙ, А. М. (2001), *Русский синтаксис в научном освещении*. Москва.
- ПИАЖЕ, Ж. (1974), *Речь и мышление ребенка*. Москва.
- ПИМЕНОВА, М. В. (2010), О культурных стереотипах (представления о мудреце в русской и английской лингвокультурах), [в:] Киклевич, А./Камалова, А. (ред.), *Концепты культуры в языке и тексте: теория и анализ*. Olsztyn, 101-113.
- ПЛОТНИКОВ, Б. А. (1984), *Основы семасиологии*. Минск.
- (1989), *О форме и содержании в языке*. Минск.
- ПОВАРНИН, С. И. (1996), *Спор. О теории и практике спора*. Ленинград.
- ПОРШНЕВ, Б. Ф. (1974), *О начале человеческой истории*. Москва.
- ПОТЕБНЯ, А. А. (1958), *Из записок по русской грамматике*. Москва.
- (1976), *Эстетика и поэтика*. Москва.
- ПОТЕХИНА, Е. А. (2006), Языковые реформы в Украине и Беларуси: два сценария национального возрождения, [в:] *Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, kultura*. 91-92.
- (2009), Грамматическая вариативность в славянских языках: морфонологический аспект. На материале восточнославянских языков в сопоставлении с польским и другими славянскими языками. Olsztyn.
- ПОЧЕПЦОВ, Г. Г. (2001), *Теория коммуникации*. Москва.
- ПРОКОПЧУК, К. (2009), Фигура – фон: параллели между визуальным восприятием и восприятием текстовой информации, [в:] *Przegląd Rusycystyczny*. 2, 2009.
- ПРОПП, В. Я. (1983), Структурное и историческое изучение волшебной сказки, [в:] Степанов, Ю. С. (ред.), *Семиотика*. Москва, 566-584.
- ПУАНКАРЕ, А. (1990), *О науке*. Москва.

- РАТНИКОВА, И. Э. (2003), *Имя собственное: от культурной семантики к языковой*, Минск.
- РЕЙТБЛАТ, А. И. (2009), *От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы*. Москва.
- РЕФОРМАТСКИЙ, А. А. (1987), *Лингвистика и поэтика*. Москва.
- РИКЁР, П. (1990), *Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение*, [в:] Арутюнова, Н. Д. (ред.), *Теория метафоры*. Москва, 416-434.
- РИЧАРДС, А. А. (1990), *Философия риторики*, [в:] Арутюнова, Н. Д./Журиная, М. А. (ред.), *Теория метафоры*. Москва, 44-67.
- РОДНЯНСКАЯ, Т. Б./Долгополов, Л. К. (1987), *Символизм*, [в:] Кожевников, В. М./Николаев, П. А. (ред.), *Литературный энциклопедический словарь*. Москва, 379-380.
- РОЗЕНТАЛЬ, Д. Э./Теленкова, М. А. (1976), *Словарь-справочник лингвистических терминов*. Москва.
- РОММЕТВЕЙТ, Р. (1972), *Слова, значения и сообщения*. Москва.
- РУДЕНКО, Д. И. (1993), *Лингвофилософские парадигмы: границы языка и границы культуры*, [в:] Степанов, Ю. С. (ред.), *Философия языка: в границах и вне границ*. Харьков, 101-173.
- РУДЯКОВ, А. Н. (2004), *Язык, или почему люди говорят. Опыт функционального определения естественного языка*. Киев.
- САВЧЕНКО, А. И./Иоффе, В. В. (1985), *Общее языкознание*. Ростов-на-Дону.
- САННИКОВ, В. З. (1999), *Русский язык в зеркале языковой игры*. Москва.
- САХАРНЫЙ, Л. В. (1983), *К тайнам мысли и слова*. Москва.
- СЕПИР, Э. (1993), *Избранные труды по языкознанию и культурологии*. Москва.
- СЕРГЕЕВА, А. В. (2004), *Русские. Стереотипы поведения, традиции, ментальность*. Москва.
- СЕРИО, П. (1993), *В поисках четвертой парадигмы*, [в:] Степанов, Ю. С. (ред.), *Философия языка: в границах и вне границ*. Харьков, 37-52.
- СЕРЛЬ, Дж. (1986), *Косвенные речевые акты*, [в:] Городецкий, Б. Ю. (ред.), *Новое в зарубежной лингвистике. XVII. Теория речевых актов*. Москва, 195-222.
- (1990), *Метафора*, [в:] Арутюнова, Н. Д./Журиная, М. А. (ред.), *Теория метафоры*. Москва, 307-341.
- СЕШЕ, А. (2003), *Очерк логической структуры предложения*. Москва.
- СИРОГИНИНА, О. Б. (1980), *Лекции по синтаксису русского языка*. Москва.
- СОЛЖЕНИЦЫН, А. (1991), *Образованщина*, [в:] *Новый мир*. 5, 28-46.
- СОЛОВЬЕВ, Н. (2009), *Этнические стереотипы и их влияние на современные российско-польские отношения*, [в:] Шайдуров, В./Киклевич, А. (ред.), *Стереотипы и национальные системы ценностей в межкультурной коммуникации*. Санкт-Петербург, 207-212.
- СОССЮР, Ф. де (1977), *Труды по языкознанию*. Москва.
- СРЕЗНЕВСКИЙ, И. И. (1986), *Русское слово. Избранные труды*. Москва.
- СТЕПАНОВ, Ю. С. (1981), *Имена. Предикаты. Предложения*. Москва.
- (1985), *В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства*. Москва.
- (1997), *Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования*. Москва.
- (2007), *Концепты. Тонкая пленка цивилизации*. Москва.
- СТЕПАНОВ, Ю. С./Проскурин, С. Г. (2003), *Концепт «действие» в контексте мировой культуры*, [в:] Арутюнова, Н. Д. (ред.), *Логический анализ языка. Избранное 1988-1995*. Москва, 403-413.

- Супрун, А. Е. (1993), О прагматической парадигме русского личного имени собственного, [в:] *Russistik*, 2, 43-53.
- Супрун, А. Е. (ред.) (1975), *Методы изучения лексики*. Минск.
- (ред.) (1983), *Общее языкознание*. Минск.
- (ред.) (1995), *Общее языкознание. Структура языка. Типология языков и лингвистика универсалий*. Минск.
- СУРКОВА, Е. С. (2008), *Структура знания о языке в Кирилло-Мефодиевской филологической школе IX-X веков*. Минск.
- СУСОВ, И. П. (1987), *Лингвистика между двумя берегами*, [в:] *Языковое общение: единицы и регулятивы*. Калинин, 9-14.
- (2011), *Деятельность, сознание, дискурс и языковая систем*, [в:] <http://homerges.tversu.ru/~ips/ips1988a.html> [доступ 5 августа 2011 года].
- ТАРАНЕНКО, А. А. (1989), *Языковая семантика в ее динамических аспектах (основные семантические процессы)*. Киев.
- ТАРСКИЙ, А. (1948), *Введение в логику и методологию дедуктивных наук*. Москва.
- ТАТАРИНОВ, В. А. (1988), *Лексико-семантическое варьирование терминологических единиц и проблемы терминографии*. Москва.
- (1996), *Теория терминоведения. Т. 1. Теория термина: история и современное состояние*. Москва.
- (2006), *Общее терминоведение. Энциклопедический словарь*. Москва.
- ТЕНЬЕР, Л. (1988), *Основы структурного синтаксиса*. Москва.
- ТЕР-МИНАСОВА, С. Г. (2008), *Война и мир языков и культур*. Москва.
- ТЫНЯНОВ, Ю. Н. (2004), *Теория поэтического языка*. Москва.
- УСПЕНСКИЙ, В. А. (1979), О вещных коннотациях абстрактных существительных, [в:] *Семиотика и информатика*. Вып. 11. Москва, 142-148. Цит. по: Успенский, В. А. (1997), О вещных коннотациях абстрактных существительных, [в:] *Семиотика и информатика*. Вып. 35. *Opera selecta*. Москва, 146-152.
- УСПЕНСКИЙ, Л. (1971), *Слово о словах*. Ленинград.
- УХВАНОВА-ШМЫГОВА, И. Ф. (ред.) (1998), *Методология исследований политического дискурса. 1. Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов*. Минск.
- ФАКТОРОВИЧ, А. Л./Руденко, Д. И. (1993), *Философия языка: к рефлексии над границами (в качестве введения)*, [в:] Степанов, Ю. С. (ред.), *Философия языка: в границах и вне границ*. Харьков, 3-12.
- ФАРИНО, Е. (1973), *Некоторые вопросы теории поэтического языка (Язык как моделирующая система. Поэтический язык Цветаевой)*, [в:] Mayenowa, M. R. (red.), *Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów*. Warszawa.
- ФЕДОРОВ, А. В. (1988), *Творчество Иннокентия Анненского в свете наших дней*, [в:] Анненский, И., *Избранные произведения*. Ленинград, 3-29.
- ФЕСЕНКО, Э. Я. (2008), *Теория литературы*. Москва.
- ФИЛЛМОР, Ч. (1988), *Фреймы и семантика понимания*, [в:] Петров, В. В./Герасимов, В. И. (ред.), *Новое в зарубежной лингвистике*, Вып. 234. *Когнитивные аспекты языка*. Москва, 52-92.
- ФОНТАНСКИЙ, Г. (2002), *Об элементарной модели предложения в связи с его актуальным членением*, [в:] *Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста*, Москва, 173-177.

- (2002), Об элементарной модели предложения в связи с его актуальным членением, [в:] Н. К. Ониненко (ред.), Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста. Москва.
- ФРЕЙД, З. (1990), Психология масс и анализ человеческого «я», [в:] Искусство кино. XI, 11-24.
- ФРЭЗЕР, Дж. (1986), Золотая ветвь. Москва.
- ФЫСИНА, У. Н. (2007), Субстантиваты в русском языке (стилистический и семантический аспекты). Москва.
- ХОЛОДНАЯ, М. А. (2002), Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. Москва.
- ЦЕЙТЛИН, С. Н. (1982), Речевые ошибки и их предупреждение. Москва.
- ЧАРНЯК, Ю. (1983), Умозаключения и знания, [в:] Звегинцев, В. А. (ред.), Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 12. Прикладная лингвистика. Москва, 272-317.
- ЧЕСНОКОВ, П. В. (1984), Два аспекта в синонимии предложений, [в:] Предложение как многоаспектная единица языка. Москва, 25-38.
- ЧЕСТЕРТОН, Г. К. (1984), Писатель в газете. Москва.
- ЧЕШКО, Л. А. (1969), О синонимах и словаре синонимов русского языка, [в:] Александрова, З. Е., Словарь синонимов русского языка. Москва, 3-14.
- ЧУДИНОВ, А. П. (2007), Политическая лингвистика. Москва.
- ШАПОРЕВА, О. А. (2010), Субстантиваты со значением лица в церковнославянских текстах, [в:] Вестник ПСТГУ. III: Филология. Вып. 2 (20), 42-59.
- ШАТИН, Ю. (2008), Три типа семиотики письма, [в:] Степанов, Ю. С./Фещенко, В. В. (ред.), Творчество вне традиционных классификаций гуманитарных наук. Москва – Калуга, 75-81.
- ШАТУНОВСКИЙ, И. Б. (1998), Эпистемические глаголы: коммуникативная перспектива, презумпции, прагматика, [в:] Арутюнова, Н. Д. (ред.), Логический анализ языка. Знание и мнение. Москва, 18-32.
- ШАХМАТОВ, А. А. (1941), Синтаксис русского языка. Ленинград.
- ШВЕДОВА, Н. Ю. (ред.) (1970), Грамматика современного русского литературного языка. Москва.
- (ред.) (1980), Русская грамматика. 2. Синтаксис. Москва.
- (ред.) (1982), Русская грамматика. I. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология. Москва.
- ШЕЛЯКИН, М. А. (2001), Функциональная грамматика русского языка. Москва.
- (2002), Язык и человек. Тарту.
- ШЕСТАК, Л. А. (2003), Русская языковая личность: коды образной вербализации тезауруса. Волгоград.
- ШМЕЛЕВ, А. Д. (2002), Русская языковая картина мира. Материалы к словарю. Москва.
- (2005), Лексический состав русского языка как отражение „русской души“, [в:] Зализняк, Анна А./Левонтина, И. Б./Шмелев, А. Д. (ред.), Ключевые идеи русской языковой картины мира. Москва 2005, 25-38.
- ШМЕЛЕВ, Д. Н. (1964), Очерки по семасиологии русского языка. Москва.
- (1973), Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). Москва.
- (1973), Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). Москва.
- (1977), Современный русский язык. Лексика. Москва.
- ЭПШТЕЙН, М. Н. (1991), Идеология и язык (построение модели и осмысление дискурса), [в:] Вопросы языкознания. 6, 19-33.
- ЮДИНА, Н. В. (2010), Русский язык в XXI веке: кризис? эволюция? прогресс? Москва.

- ЮРЧЕНКО, В. С. (1984), О взаимосвязи аспектов предложения, [в:] Предложение как многоаспектная единица языка. Москва, 14-25.
- ЯКОБСОН, Р. (1975), Лингвистика и поэтика, [в:] Е. Я. Басин/М. Я. Поляков (ред.), Структурализм: «за» и «против». Москва, 193-230.
- (1978), О лингвистических аспектах перевода, [в:] Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. Москва, 16-24). Цит. по: <http://www.philology.ru/linguistics1/jakobson-78.htm>.
- (1985), Избранные работы. Москва.
- ЯКУБИНСКИЙ Л. П. (2001), Против «даниловщины», [в:] Базылев, В. Н./Нерознак, В. П. (ред.), Сумерки лингвистики. Из истории отечественного языкознания. Москва, 134-155.
- АВЕРКРОМБИЕ, D. (1967), *Elements of General Phonetics*. Edinburgh.
- АГРЫЛЕ, M. (1969), *Social Interaction*. London.
- АВДИЕВ, А. (2004), *Gramatyka interakcji werbalnej*. Kraków.
- АВДИЕВ, А./НАБРАЈСКА, G. (2004), *Komunikatywizm – paradygmat lingwistyki XXI wieku*, [в:] Kiklewicz, A. (red.), *Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu*. Słupsk, 105-124.
- ВАЦКОВСКА, А. (2008), *Vectors of meaning: A contrastive study of on and at*, [в:] Puppel, S./Bogusławska-Tafelska, M. (ed.), *New Pathways in Linguistics 2008*. Olsztyn, 63-92.
- БАՃКА, А. R. (2009), *Klasyczna definicja prawdy w epistemologicznych poglądach Desire Merciera*, [в:] *Roczniki Filozoficzne*. LVII/2, 5-23.
- БАНКОВСКИ, А. (2011), *Komentarz do „50-lecia” Mańczaka*, [в:] *Biuletyn PTJ*. LXVII, 313-316.
- БАРГИЕЛСКА, В. (2007), *Aspekty socjolingwistyczne komunikacji językowej przedstawicieli środowiska miejskiego i wiejskiego (na przykładzie rosyjskich tekstów prozy wiejskiej)*. [Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Aleksandra Kiklewicza]. Olsztyn.
- БАРТМИНСКИ, J. (1998), *Zmiany stereotypu Niemca w Polsce. Profile i ich historyczno-kulturowe uwarunkowania*, [в:] Bartmiński, J./Tokarski, R. (red.). *Profilowanie w języku i w tekście*. Lublin, 225-236.
- (1999), *Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata*, [в:] Bartmiński, J. (red.), *Językowy obraz świata*. Lublin, 103-120.
- (red.) (1999), *Językowy obraz świata*. Lublin.
- (2001), *O językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku*, [в:] Dubisz, S./Gajda, S. (red.), *Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju*. Warszawa, 27-53.
- БАРТМИНСКИ, J./НІЕБРЗЕГОВСКА, S. (1998), *Profile a podmiotowa interpretacja świata*, [в:] Bartmiński, J./Tokarski, R. (red.), *Profilowanie w języku i w tekście*. Lublin, 211-224.
- БАРТМИНСКИ, J./НІЕБРЗЕГОВСКА-БАРТМИНСКА, S./NYCZ, R. (red.) (2004), *Punkt widzenia w języku i w kulturze*. Lublin.
- БАРТМИНСКИ, J./ТОКАРСКИ, R. (red.) (1998), *Profilowanie w języku i w tekście*. Lublin.
- БАРТНИЦКА, В./СІНІЕЛНІКОФФ, R. (1978), *Słownik podstawowy języka polskiego dla cudzoziemców*. Warszawa.
- БЕДНАРЕК, S./ЈАСТРЗЕБСКИ, J. (1996), *Encyklopedyczny przewodnik po świecie idei*. Wrocław.
- БЕЛІЧОВА, H. (1984), *Ke vstahu tzv. povrchovéh a hloubkovéh větných významů*, [в:] *Československá rusistika*, XXIX/4, s. 148-157.
- БЛАК, M. (1979), *More About Metaphor*, [в:] Ortony, A. (ed.). *Metaphor and Thought*. Cambridge, 19-43.

- BOBRAN, M. (1994), *Składnia polska i rosyjska zdania pojedynczego z orzeczeniem imiennym*. Rzeszów.
- BOBROWSKI, I. (1998), *Zaproszenie do językoznawstwa*. Kraków.
- BOBRYK, J. (2009), „Trzecia kultura” i „renesans” myślenia naukowego, [w:] *Zagadnienia Naukoznawstwa*. 1 (179), 43-56.
- BOGUSŁAWSKI, A. (2009), *Myśli o gwiazdce i regule*. Warszawa.
- (2011), Częstość użycia wyrazów a ich dywersyfikacja, [w:] *Biuletyn PTJ*. LXVII, 299-311.
- BORYŚ, W. (2006), *Słownik etymologiczny języka polskiego*. Warszawa.
- BOURDIEU, P. (1974), *Zur Soziologie der symbolischen Formen*. Frankfurt am Main.
- BRALCZYK, J. (1986), *O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych*. Kraków.
- BROSIOUS, H.-B./KOSCHEL, F. (2005), *Methoden der empirischen Kommunikationsforschung. Eine Einführung*. Wiesbaden.
- BURKART, R. (1995), *Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder. Umriss einer interdisziplinären Sozialwissenschaft*. Wien – Köln – Weimar.
- BUTTLE, D. (1968), *Polski dowcip językowy*. Warszawa.
- CARR, P. (2006), *Philosophy of language*, [w:] *Encyclopedia of Language and Linguistics*. Burlington.
- CHLEBDA, W. (1991; 2003), *Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy*. Opole; Łask.
- CHOROMAŃSKA, M. (2000), *Żywe metafory w języku dzisiejszej prasy*, [w:] *Poradnik Językowy*. 2, 49-61.
- CHYLINSKI, M./RUSS-MOHL, S. (2007), *Dziennikarstwo*. Warszawa.
- CORRIGAN, R. (ed.) (1989), *Linguistic categorization*. Amsterdam.
- COSERIU, E. (2004), *Der Physisi-Thesei-Streit. Sechs Beiträge zur Geschichte der Sprachphilosophie*. Tübingen.
- CYSEWSKI, K. (1994), *Romantyczne nowatorstwo i tradycja. O „Balladach i romansach” Mickiewicza*. Słupsk.
- DANIELEWICZOWA, M. (2002), *Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych*. Warszawa.
- DEBOVEANU, E./SOJOCARU, D. (2000), *Культурная память фразеологии*, [w:] *Prace Filologiczne*. XLV, 101-112.
- DĘBOWSKI, J. (2008), *W kwestii przezroczystości znaku. Preliminaria semiotyczne, formalnologiczne i teoriopoznawcze*. W: Kiklewicz, A./Dębowski, J. (red.), *Język poza granicami języka I. Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku*. Olsztyn, 139-156.
- (2010), *Prawda i warunki jej możliwości*. Olsztyn.
- DIK, S. C. (1980), *Studies in Functional Grammar*. London etc.
- DIRVEN, R. (2001), *The Metaphoric in Recent Cognitive Approaches to English Phrasal Verbs*, [w:] www.metaphorik.de.1.
- DOBROVOL'SKIJ, D. (1995), *Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik. Studien zum Thesaurus deutscher Idiome*. Tübingen.
- (1997), *Idiome im mentalen Lexikon. Ziele und Methoden der kognitivbasierten Phraseologieforschung*. Trier.
- DÖPPKE, W. (1985), *Kasus, Sachverhalte und Quantoren. Beitrag zur formalen Semantik*. Tübingen.
- DZIEMIDOK, B. (2011), *O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj*. Gdańsk.
- FAIRCLOUGH N./DUSZAK A. (2008), *Wstęp. Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych*, [w:] *Duszak, A./Fairclough, N. (red.)*,

- Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków, 7-29.
- FARYNO, J. (1999), *Gwiazda*, [w:] Lazari, A. de (red.), *Idee w Rosji. Leksykon polsko-rosyjsko-angielski*. T. 2. Łódź, 154-158.
- FILIPIAK, M. (2003), *Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania*. Lublin.
- FLEISCHER, M. (1997), *Das System der russischen Kollektivsymbolik (eine empirische Untersuchung)*. München.
- (2003a), *Wirklichkeitskonstruktion*. Dresden.
- (2003b), *Polska symbolika kolektywna*. Wrocław.
- (2004), *Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury*. Wrocław.
- (2005), *Obserwator trzeciego stopnia. O rozsądnym konstruktywizmie*. Wrocław.
- (2006), *Allgemeine Kommunikationstheorie*. Oberhausen.
- (2007), *Zarys ogólnej teorii komunikacji*, [w:] Habrajska, G. (red.), *Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienia ogólne*. Łask, 29-72.
- (2008), *Język, znaki, kognicja*, [w:] Kiklewicz, A./Dębowski, J. (red.), *Język poza granicami języka. Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku*. Olsztyn, 77-100.
- (2011), *Komunikacja bezrefleksyjna*, [w:] Kiklewicz, A. (red.), *Język poza granicami języka II. Semantyka i pragmatyka: spór o pierwszeństwo*, Olsztyn 2011, 161-175.
- FONTAŃSKI, H. (1998), *Referencja a założenia opisu składniowego: tradycyjne części zdania i opis predykatowo-argumentowy*, [w:] *Prace Językoznawcze*. 14, 59-71.
- FWLER, R. (1991), *Language in the News. Discourse and Ideology in the Press*, London – New York.
- FOWLER, R./HODGE, B./KRESS, G. et al (1979), *Language and control*. London.
- GAMSON, W. I./MODIGLIANI, A. (1989), *Media discourse and public opinion on nuclear power: a constructivist approach*, [w:] *American Journal of Sociology*. 95, 1-37.
- GEERAERTS, D. (1999), *Beer and Semantics*, [w:] Stadler, L. de/Eyrich, Ch. (eds.), *Issues in Cognitive Linguistics: 1993 Proceedings of the International Cognitive Linguistics Conference*. New York, 35-56.
- GŁOWIŃSKI, M. (1991), *Nowomowa po polsku*. Warszawa.
- (2006), *Pisomowa, czyli o wolnoamerykance językowej*, [w:] *Polityka*. 50, 14-16.
- GOBAN-KLAS T. (2005; 1. wyd. 1999), *Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu*. Warszawa.
- (2007), *Poskramianie dziennikarzy. Instrumentarium demokracji dyktatorskiej*, [w:] Szpunar, M. (red.), *Media a polityka*. Rzeszów.
- GRABER, D. (1984), *Processing the News*. New York.
- GRABIAS, S. (2003), *Język w zachowaniach społecznych*. Lublin.
- GREPL, M./KARLÍK, P. (1986), *Skladba spisovné češtiny*. Praha.
- GROCHOWSKI, M. (1984), *Składnia wyrażań polipredykatywnych*, [w:] Topolińska, Z. (red.), *Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia*. Warszawa, 213-300.
- GRODZIŃSKI, E. (1985), *Językoznawcy i logicy o synonimach i synonimii*. Wrocław.
- GUT, A. (2009), *O relacji między myślą a językiem. Studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem*. Lublin.
- HALL, E. (1959), *The Silent Language*. Garden City. New York.
- HANDKE, R. (2008), *Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury*. Warszawa.
- HANSEN, B. (2006), *Экономные как немцы. Национальные стереотипы и их отражение в коннотациях этнонимов в русском и других языках*, [w:] «Acta Neophilologica» VIII, 163-173.

- HARRIS, R. (1987), *Reading Saussure: A Critical Commentary of the Cours de linguistique générale*. London.
- HARTSHORNE, J. K./ULLMAN, M. T. (2006), Why girls say 'holded' more than boys, [B:] *Development Science*. IX/1, 21-32.
- HEINZ, A. (1978), *Dzieje językoznawstwa w zarysie*. Warszawa.
- HLAVSA, Z. (1975), *Denotace objektu a její prostředky v současné češtině*. Praha.
- HOFMAN-PIANKA, A. (2000), *Socjolingwistyczne aspekty współczesnego języka bośniackiego*. Kraków.
- HOFSTEDE, G./HOFSTEDE, G. J. (2007), *Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu*. Warszawa.
- HYMES, D. (1996), *Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality. Toward an Understanding of Voice*. London.
- (2003), *Models of the Interpretation Language and Social Life*, [B:] Bratt Paulston, C./Tucker, G. R. (eds.), *Sociolinguistics. The Essential Readings*. Oxford, 31-47.
- INDURKHYA, B. (1992), *Metaphor and Cognition*. Dordrecht.
- JABŁOŃSKI, W. (2007), *Kreowanie informacji*. Warszawa.
- JADACKA, H. (2006), *Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia*. Warszawa.
- JÄKEL, O. (1994), *Wirtschaftswachstum oder Wir steigen das Bruttosozialprodukt: Quantitäts-Metaphern aus der Ökonomie-Domäne*, [B:] Bungarten, T. (Hrsg.), *Unternehmenskommunikation. Linguistische Analysen und Beschreibungen*. Tostedt, 84-101.
- (1997), *Metaphern in abstrakten Diskurs-Domänen: Eine kognitiv-linguistische Untersuchung anhand der Bereiche Geistestätigkeit, Wirtschaft und Wissenschaft*. Frankfurt a.M. / Berlin / Bern et. al.
- (2002), *Hypotheses Revisited: The Cognitive Theory of Metaphor (Applied to Religious Texts)*, [B:] In: <http://www.metaphorik.de>.
- JANION, M. (1975), *Gorączka romantyczna*. Warszawa.
- (1996), *Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?* Warszawa.
- JOHNSON, M. (1987), *The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason*. Chicago.
- KARDELA, H. (1999), *Ogdena i Richardsa trójkąt uzupełniony, czyli co bada gramatyka kognitywna*, [B:] Bart-miński, J. (red.), *Językowy obraz świata*. Lublin, 15-38.
- KAROLAK, S. (1968), *Interpolacja, interpretacja i analiza semantyczna*, [B:] *Biuletyn PTJ*. XXVI, 139-152.
- (2001), *Od semantyki do gramatyki*. Warszawa.
- (2002), *Podstawowe struktury składniowe języka polskiego*. Warszawa.
- KASPAREK, N. (2012), *Dni przełomu powstania listopadowego. Bitwa pod Ostrołęką (26 maja 1831)*. Ostrołęka.
- KASPERSKI, E. (2004), *Paradygmat. Preliminaria teoretyczne*, [B:] Kiklewicz, A. (red.), *Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu*. Słupsk, 9-22.
- KETTEMANN, B./Penz, H. (2000), *Revisiting Alwin Fill and the Ecolinguistic Project*, [B:] Kettemann, B./Penz, H. (eds.), *ECONstructing Language, Nature and Society: The Ecolinguistic Project Revisited*. Tübingen, 9-16.
- KIKLEWICZ, A. (2001), *Znaczenie w języku i tekście (w poszukiwaniu inwariantów semantycznych)*, [B:] Nagy, L. K. (red.), *Lenguelek és maguarok Európában. Nyelv, irodalom, kultúra – parhuzamok és kapcsolatok. Tanulmányok D. Molnár István professzor tisztejére*. Debrecen, 40-55.
- (2002), *Język polski obojga narodów? Wpływ języka polskiego na język białoruskich mediów*, [B:] Chłopicki, W. (red.), *Język trzeciego tysiąclecia. T. 2. Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka*. Kraków, 321-329.

- (2004a), Nominacja czy reprezentacja? (O niektórych dyskusyjnych zagadnieniach współczesnej semantyki kognitywnej), [B:] Aleksejenko, M./Kuczyńska, M. (red.), Słowo. Tekst. Czas. VII. Nowe środki nominacji językowej w nowej Europie. Szczecin, 389-396.
 - (2004b), Paradoxy społecznego charakteru języka, [B:] Wojtak M. / Rzeszutko M. (red.), W kręgu wiernej mowy. Lublin, 69-79.
 - (2004b), Podstawy składni funkcjonalnej. Olsztyn.
 - (2005a), Semantyka i metaforyczna konceptualizacja strachu w języku polskim, rosyjskim i niemieckim, [B:] Slavia Orientalis. LIV/2, 283-308.
 - (2005b), Zur suggestiven Funktion des Textes, [B:] Acta Neophilologica. VII, 131-146.
 - (2006a), Die Versprachlichung des Konzeptes „Angst“ – Konzeptualisierung ist doch mental, nicht sprachlich, oder? [B:] Kotin, M. L. et al. (Hrsg.), Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach. Synchronie – Diachronie – Sprachkontakt – Glottodidaktik. Frankfurt am Main etc., 183-189.
 - (2006b), Język. Komunikacja. Wiedza. Mińsk.
 - (2006b), O językowej konceptualizacji strachu, [B:] Sikorski D. K./Sucharski T. (red.), Przestrzenie lęku. Lęk w kulturze i sztuce XIX-XX wieku. Słupsk, 223-235.
 - (2007a), Aspekty teorii względności lingwistycznej. Olsztyn.
 - (2007b), Dominanta semantyczna jako czynnik rozumienia wypowiedzi i tekstu, [B:] Język Polski. LXXXVII/1, 3-15.
 - (2007b), Metafory pojęciowe jako baza nominacji idiomatycznej (na przykładzie polskich konstrukcji werbo-nominalnych), [B:] Biuletyn PTJ. LXIII, 197-216.
 - (2007c), Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej. Łask.
 - (2009), Funkcjonalno-komunikacyjne aspekty teorii metafory, [B:] Poradnik Językowy. 3, 53-67.
 - (2010a), Kategorie lingwistyki międzykulturowej w ujęciu systemowym. W: Biuletyn PTJ. LXVI, 73-96.
 - (2010b), Tęcza nad potokiem. Kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systematycznym. Łask.
 - (2011a), Reguły konwersacji H. P. Grice'a: pragmatyka czy semantyka? W: Linguistica Copernicana. 2 (6), 25-38.
 - (2011b), Semantyka bez pragmatyki, [B:] Kiklewicz, A. (red.), Język poza granicami języka 2, Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Tom 1: aspekty lingwistyczno-semiotyczne, Olsztyn 2011, 25-70.
 - (2012a), Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesności. Warszawa.
 - (2012b), Znaczenie w języku – znaczenie w umyśle. Krytyczna analiza współczesnych teorii semantyki lingwistycznej. Olsztyn.
- KIKLEWICZ A./KORYTKOWSKA M. (red.), 2010, Podstawowe struktury zdaniowe języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej.
- KIKLEWICZ, A./WILCZEWSKI, M. (2011), Współczesna lingwistyka kulturowa: zagadnienia dyskusyjne (na marginesie monografii Jerzego Bartmińskiego Aspects of Cognitive Ethnolinguistics), [B:] Biuletyn PTJ. LXVII, 139-164.
- KITA, M./SKUDRZYK, A. (2006), Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Katowice.
- KLEIBER, G. (1993), Prototypensemantik. Tübingen.
- KOCZERHAN, M. P. (2009), Podstawy językoznawstwa konfrontatywnego. Kępa.
- KORZYK, K., Język i gramatyka w perspektywie „komunikatywizmu”, [B:] Awdiejew, A. (red.), Gramatyka komunikacyjna. Warszawa / Kraków, 9-32.

- KÖVECSES, Z. (2002), Language, emotion, mind, [в:] Lewandowska-Tomaszczyk, B./Turewicz, K. (eds.), *Cognitive Linguistics Today*. Frankfurt am Main / Berlin / Bern et al., 125-138.
- KOWALSKI, P. (2007), *Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie*. Warszawa.
- KRESS, G./HODGE, B. (1979), *Language and ideology*. London.
- KUNO, S. (1987), *Functional syntax. Anaphora, Discourse and Empathy*. Chicago / London.
- KUZIĄK, M. (2004), Czy istnieje paradygmat doświadczania literatury? [в:] Kiklewicz, A. (red.), *Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu*. Słupsk, 377-390.
- LACHUR, C. (2004), *Zarys językoznawstwa ogólnego*. Opole.
- LAKOFF, G. (1984), *Classifiers as a reflection of mind: a cognitive model approach to prototype theory*. Berkley.
- (1987), *Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind*. Chicago / London.
- LAKOFF, G./JOHNSON, M. (1980), *Metaphors We Live By*. Chicago / London.
- LANGACKER, R. W. (2000), *Grammar and Conceptualization*. New York.
- (2002), *Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar*. New York.
- LAVER, J./HUTCHESON, S. (red.) (1996), *Communication in Face to Face Interaction*. Harmondsworth.
- LAZARI, A. de/NADSKAKUŁA, O./ŻAKOWSKA, M. (eds.) (2007), *Zaprogramowanie kulturowe narodów Europy*. Łódź.
- LEEZENBERG, M. (2001), *Contexts of Metaphor*. Amsterdam / London / New York etc.
- LESZCZAK, O. (2009), *Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia*. T. II. Doświadczenia potoczne a językowy obraz świata. Kielce.
- LESZCZAK, S. (2007), *Языковое клише. Прагматика, семантика и структура аналитических номинативных неидиоматических единиц в современном русском языке*. Kielce.
- LIEBERMANN, P. (1993), *Uniquely human. The evolution of speech, thought, and selfless behavior*. Cambridge.
- LIPPMANN, W. (1922), *Public Opinion*. New York.
- ŁOJASIEWCZ, A. (1992), *Własności składniowe polskich spójników*. Warszawa.
- LÜHMANN, N. (1984), *Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt.
- MAAS, A./ARCURI, L. (1999), Język a stereotypizacja, [в:] Macrae, C. N./Stangor, Ch./Hewstone, M. (eds.), *Stereotypy i uprzedzenia*. Gdańsk, 161-188.
- MAĆKIEWICZ, J. (2006), *Metafora jako narzędzie rozumienia i porozumienia*, [в:] Chłopicki W. (red.), *Komunikatywizm i kognitywizm – dwa bieguny współczesnego językoznawstwa*. Kraków, 69-76.
- MAGNUSZEWSKI, J. (1995), *Słowiańszczyzna zachodnia i południowa. Studia i szkice literackie*. Warszawa.
- MAŃCZAK, W. (1965; 2-e изд. 1975; 3-e изд. 1983), *Polska fonetyka i morfologia historyczna*. Warszawa.
- (1970), *Z zagadnień językoznawstwa ogólnego*. Wrocław etc.
- (1977), *Słowiańska fonetyka historyczna a frekwencja*. Kraków.
- (1996), *Problemy językoznawstwa ogólnego*. Wrocław etc.
- (2001), *Le développement phonétique irrégulier du a la fréquence*, [в:] Travaux Neuchâtelois de Linguistique. XXXIV-XXXV, 15-25.
- (2009a), *50-lecie nieregularnego rozwoju spowodowanego frekwencją*, [в:] *Biuletyn PTJ*. LXV, 237-246.

- (2009b), Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją a słownik pod redakcją Doroszewskiego, [w:] Wawrzyńczyk, J. (red.), *Czterdzieści lat minęło... Nad „Słownikiem Doroszewskiego”*. Warszawa, 51-55.
- (2012), Czy koniec zmywy milczenia wokół teorii nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją? *W: Academic Journal of Modern Philology*. I, 75-83.
- MAŃCZYK, A. (1982), *Wspólnota językowa i jej obraz świata. Krytyczne uwagi do teorii językowej Leo Weisgerbera*. Zielona Góra.
- MARSHALL, G. (2004), *Słownik socjologii i nauk społecznych*. Warszawa.
- MARTIN, W. (1997), *A Frame-based Approach to Polysemy*, [w:] Cuyckens, H./Zawada, B. (red.), *Polysemy in Cognitive Linguistics*. Amsterdam/Philadelphia, 100-120.
- MATTHEWS, R. (2005), *Pytania z sufitu wzięte i zagadki codzienności*. Gliwice.
- MAYENOWA, R. M. (red.) (1966), *Praska Szkoła Strukturalna w latach 1926-1948. Wybór materiałów*. Warszawa.
- MCLUHAN, M. (2004), *Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka*. Warszawa.
- MEIBAUER, J. (2001), *Pragmatik. Eine Einführung*. Tübingen.
- MEY, J. L. (1985), *Whose language. A study in linguistics pragmatics*. Amsterdam.
- MIKUŁOWSKI Pomorski, J. (2007), *Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym*. Kraków.
- MILLER, G. A. (1979), *Images and Models, Similes and Metaphors*, [w:] Ortony, A. (red.), *Metaphor and Thought*. Cambridge, 202-248.
- MILLER, G. (2004), *Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka*. Poznań.
- MOOIJ, J. J. A. (1978), Ładunek, nośnik a referencja, [w:] *Przegląd Humanistyczny*. 6, 89-102.
- NAGÓRKO, A. (1996), *Zarys gramatyki polskiej*. Warszawa.
- NITSCH, K. (1960), *Ze wspomnień językoznawcy*. Kraków.
- NOELLE-NEUMANN, E. (1992), *Manifeste und latente Funktion Öffentlicher Meinung*, [w:] *Publizistik*. 37, 283-297.
- NORMAN, B./ JACHNOW, H. (1999), *Идеологический компонент и его место в значении слова*, [w:] *Zeitschrift für slavische Philologie*. 58, 43-58.
- NUYTS, J. (1997), *Intentionalität und Sprachfunktionen*, [w:] Preyer, G./Ulkan, M./Ulfig, A. (Hrsg.), *Intention – Bedeutung – Kommunikation. Kognitive und handlungstheoretische Grundlagen der Sprachtheorie*. Opladen, 51-71.
- OGDEN, C. K./RICHARDS, I. A. (1969), *The Meaning of Meaning. A Study of The Influence of Language upon Thought and of The Science of Symbolism*. London.
- OLECHNICKI, K./ZALĘCKI, P. (1987), *Słownik socjologiczny*. Toruń.
- ORAIĆ-TOLIĆ, D. (1995), *Das Zitat in Literatur und Kunst*. Wien / Köln / Weimar.
- OŻÓG, K. (2004), *Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych*. Rzeszów.
- (2006), *Współczesna polszczyzna a postmodernizm*, [w:] Knysz-Tomaszewska, D./Porayski-Pomsta, J./Wrocławski, K. (red.), *Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz Polonicom*. Warszawa, 291-301.
- PALMER, F. (1974), *Grammatik und Grammatiktheorie. Einführung in die moderne Linguistik*. München.
- PENROSE, R. (2006), *Droga do rzeczywistości. Wyczerpując przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem*. Warszawa.
- PIELENZ, M. (1995), *Argumentation und Metapher*. Tübingen.
- PISAREK, W. (1999), *Polskie słowa sztandarowe na tle porównawczym*, [w:] Banyś, W./Bednarczuk, L./Karolak, S. (red.), *Studia lingwistyczne ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu*. Katowice, 63-69.

- PISARKOWA, K. (1994), *Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień*. Kraków.
- (2000), *Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego. T. 1. Więzy wspólnego języka*. Kraków.
- PLUNKETT, K. / BANDELOW, S. (2006), Stochastic approaches to understanding dissociations in inflectional morphology, [B:] *Brain and Language*. 98, 194-209.
- PLUNKETT, K./JUOLA, P. (1999), Y Connectionis Model of English Past Tense and Plural Morphology, [B:] *Cognitive Science*. 23, 463-490.
- POLAŃSKI, K. (red.), (1980-1993), *Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. I-VII*. Kraków.
- PRZYBYLSCY, E. i F. (1988), *Gdzie postawić przecinek?* Warszawa.
- PUTNAM, H. (1975), *Mind, Language and Reality*. Philosophical Papers. Vol. 2. Cambridge.
- (1981), *Reason, truth and history*. Cambridge.
- REWERS, E. (1996), *Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury*. Poznań.
- RICE, S. (1996), Prepositional Prototypes, [B:] Piitz, M./Dirven, R. (eds.), *The Construal of Space in Language and Thought*. 135-165.
- RICHARDS, I. A. (1950), *The Philosophy of Rhetoric*. Oxford.
- ROKOSZOWA, J. (1997), *Obraz świata we współczesnych teoriach językoznawczych*. W: *Biuletyn PTJ*. LIII, 9-14.
- ROSS, D. (1993), *Metaphor, Meaning and Cognition*. New York – San Francisco – Bern et al.
- ROZWADOWSKI, J. (1903), *Semazjologia, czyli nauka o rozwoju znaczeń wyrazów. Jej stan obecny, zasady i zadania*, [B:] *Eos*, 17-111.
- RUTKOWSKI, M. (2007), *Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii*. Olsztyn.
- RZEPCZYŃSKI, S. (1999), *Zalotnik czy kochanek. Glosa do interpretacji sonetu Mickiewicza „Dzieńdobry”*, [B:] Podlaska D./Linkner T. (red.), *Szkice Literackie i Językoznawcze*. Słupsk, 111-115.
- SAUSSURE, F. de (2004), *Szkice z językoznawstwa ogólnego*. Warszawa.
- SCHAEFFER, B. (2001), *Linguistic Functions and Language Intervention. II. Special Topics*, [B:] *The Journal of Special Education*. IV, 401-411.
- SCHMID, H.-J. (1998), *Zum kognitiven Kern der Prototypentheorie*, [B:] Ungerer, F. (Hrsg.), *Kognitive Lexikologie und Syntax*. Rostock, 9-28.
- SCHMIDT, W. (1965), *Grundlagen der deutschen Grammatik. Eine Einführung in die funktionale Sprachlehre*. Berlin.
- SEARLE, J. (1979), *Metaphor*, [B:] Ortony, A. (ed.), *Metaphor and Thought*. London / New York / Melbourne, 92-123.
- (1987), *Czynności mowy*. Warszawa.
- SICK, B. (2005), *Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache*. Köln.
- SIGLOCH, P. (1994), *Anwendung der Prototypensemantik für die kontrastive Lexikologie (am Beispiel russischer und deutscher Geräuschverben)*. Hamburg.
- SKALSKI, T. (2002), *Sprawcza funkcja języka. Z zagadnień naturalizacji umysłu i języka*. Łódź.
- SKARGA, B. (1975), *Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. 2*. Warszawa.
- SKOWRON, S. (2006), *Wizerunek oraz system identyfikacji firmy*, [B:] Szymoniuk, B. (red.), *Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody*. Warszawa, 2006, 39-62.
- SNOW, C. P. (1992), *The two cultures: and a second look: an expanded version of The two cultures and the scientific resolution*. Cambridge / New York.
- SPAGIŃSKA-PRUSZAK, A. (2005), *Sytuacja językowa w byłej Jugosławii*. Łask.

- SPIVEY-KNOWLTON, M. J./TRUESWELL, J. C./TANENHAUS, M. K. (1993), Context effects in syntactic ambiguity resolution: Discourse and semantic influences in parsing reduced relative clauses, [B:] *Canadian Journal of Experimental Psychology*. 47, 276-300.
- STALMASZCZYK, P. (1998), Pojęcie predykacji składniowej w gramatyce generatywnej, [B:] *Biuletyn PTJ*. LIV, 33-44.
- STECIĄG, M. (2011), Ekologia językoznawcza, czyli krytyczny nurt w ekolingwistyce. W: *Biuletyn PTJ*. LXVII, 195-210.
- STEINER, G. (2000), *Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu*. Kraków.
- STOCKWELL, P. (2002), *Poetyka kognitywna. Wprowadzenie*. Kraków.
- STROHNER, H. (1990), *Textverstehen. Kognitive und kommunikative Grundlagen der Sprachverarbeitung*. Opladen.
- SZKURŁAT, E. (2007), Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska, [B:] *Madurowicz, M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej*. Warszawa, 63-72.
- SZTENCEL, M. (2011), From words to concepts, [B:] *Kwartalnik Neofilologiczny*. LVIII/3, 375-394.
- SZUMSKA, D. (1999), Niebezpieczne związki, czyli meandry adiektywizacji, [B:] *Кіклевіч, А. (ред.), Паланістыка – Полоністыка – Polonistyka 1999*. Мінск, 4-28.
- (2007), Dekada dekadencji? Frustracje lingwisty(ki) XXI wieku, [B:] *Polonica*. XXVIII, 5-11.
- SZYMONIUK, B. (red.) (2006), *Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody*. Warszawa.
- ТАБАКОВСКА, Е. (1995), *Граматыка і абразаванне. Вprowadzenie do języкоznawstwa kognitywnego*. Kraków.
- (2000), *Языкоznawstwo kognitywne – nowe czy dawne horyzonty badań nad językiem?* [B:] *Szpiła, G. (red.), Język a komunikacja 1. Język trzeciego tysiąclecia*. Kraków, 56-68.
- (2001), *Языкоznawstwo kognitywne a poetyka przekładu*. Kraków.
- TATARKIEWICZ, W. (1958), *Historia filozofii*. T. 3. *Filozofia XX w. i współczesna*. Warszawa.
- TAYLOR, J. R. (1989), *Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory*. Oxford.
- (2007), *Gramatyka kognitywna*. Kraków.
- TEŠITĚLOVÁ, M. (1992), *Quantitative Linguistics*. Praha.
- TOKARSKI, R. (1995), *Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie*. Lublin.
- TOKARSKI, R./NOWAK, P. (red.) (2007), *Kreowanie światów w języku mediów*. Lublin.
- TOPOLIŃSKA, Z. (red.), 1984, *Gramatyka współczesnego języka polskiego*. Składnia. Warszawa.
- URBAŃCZYK, S. (1993), *Dwieście lat językoznawstwa polskiego (1751–1950)*. Kraków.
- VOYER, D. (2003), Word frequency and laterality effects in lexical decision: Right hemisphere mechanism, [B:] *Brain and Language*. 87, 421-431.
- WALICKI, A. (1970), *Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego*. Warszawa.
- WALKER, W. (2001), *Przygoda z komunikacją*. Gdańsk.
- WARCHAŁA, J. (2003), *Kategoria potoczności w języku*. Katowice.
- WASILEWSKI, J. (2006), *Retoryka dominacji*. Warszawa.
- WEISGERBER, L. (1964), *Zur Grundlegung der ganzheitlichen Sprachforschung. Aufsätze 1925-1933*. Düsseldorf.
- (1971), *Die geistige Seite der Sprache und ihre Erforschung*. Düsseldorf.
- WEISS, D. (1978), *Identitätsaussagen im Russischen: ein Versuch ihrer Abgrenzung gegenüber anderen Satztypen*, [B:] *Slavistische Linguistik 1977. Referate des III. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens*, München, 244-259.

- WESTLEY, D./MACLEAN, M. (1957), A Conceptual Model for Communication Research, [B:] Journalism Quarterly. 34, 31-48.
- WIERZBICKA, A. (1999), Język, umysł, kultura. Warszawa.
- (2002), Co mówi Jezus? Objąsanie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych. Warszawa.
- WILLIAMS, A. (1993), Prototype Marker or Reflexive Marker: Russian *-sja* and categorical change, [B:] Stadler, L. de /Eyrich, Ch. (eds.), Issues in Cognitive Linguistics. New York, 277-293.
- WINTERHOFF-SPURK, P. (2007), Psychologia mediów. Kraków.
- WITTGENSTEIN L. (1969), Schriften 1. Tractatus logico-philosophicus. Tagebücher 1914-1916. Philosophische Untersuchungen. Frankfurt am Main.
- WOLEŃSKI, J. (2007). Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm. Warszawa.
- WRÓBEL, H. (2001), Gramatyka języka polskiego. Kraków.
- ŻABICKA, A. (2002), Pojęcie jaźni: konceptualizacja i wyrażanie a język. Kraków.
- ZIEMBIŃSKI, Z. (1987), Logika praktyczna. Warszawa.
- ZIEMIŃSKA, R. (2009), Spór relatywizmu z absolutyzmem na temat pojęcia prawdy. W: Roczniki Filozoficzne. LVII/1, 299-314.
- ZIMMER, D. E. (2005), Sprache in Zeiten ihrer Unverbesserlichkeit. Hamburg.
- ŻMIGRODZKI, P. (1995), Zdania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy. Katowice.
- ŻYŁKO, B. (2009), Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska. Gdańsk.



Предметный указатель

А

активные процессы в современном русском языке • 373 сл.
алгоритмическая модель языка • 96
альтернативные концепты • 143
амбивалентность (метафорической номинации) • 182
аналитически ложный номинат • 240
аналогия • 382
антропологический детерминизм • 272
апшерцептивная база • 207
аппроксимативность • 319
асимметрический дуализм знака • 164
аспект сравнения (при метафорической номинации) • 166
ассертивность • 262
ассимиляция • 287
астрологическая коннотация • 108

Б

безрефлексивность • 273
бесконечная семантическая валентность знака (А. Ф. Лосева) • 157
билатеральная модель знака • 23

В

вербоцентризм • 146
визуальная модель (в лингвистике) • 52 ssl.

внутренняя форма (знака) • 209; 244
возможные миры • 237
вторичная номинация • 211

Г

генеративная лингвистика • 51
генеративная семантика • 203 сл.
гипербола • 241
гипергенерализация • 210
гиперконструкция текста • 26
гипокритическое употребление языка • 384
гипостазирование • 13
глобальное предложение (по И. Ф. Вардулю) • 332
грамматическая ошибка • 379

Д

деконструкция знака • 103; 116
делимитация (парадигм философии языка) • 18
демократизация (сферы массовой коммуникации) • 306
деонимизация • 252 ssl.
диакритическая функция слова • 377
диакритический принцип (в номинации) • 222
диасемия • 212
диатаксис • 324
диктаторская демократия • 308

динамическая лингвистика • 317
дистрибутивный критерий • 196
дубликация подлежащего • 353 ссл.
«дух народа» (в теории В. фон Гум-
больдта) • 210

З

значение vs. употребление знака • 118
зоонимическая метафора • 178

И

избыточность (см. редунданция) • 26
изосемичность • 320
идеологическая метафора • 314
идиолект • 211
идиологема • 214
идиоматика • 119
идиоэтнический характер номинации
• 131
иконичность • 321
именительный темы • 364 ссл.
именная метафора • 170
имя собственное • 253
индексальная функция (языка) • 64 сл.
инсайт • 52; 98
интегративное описание языка • 137
сл.
интеракционизм • 208
интервал отождествления • 166
интерлингвистическая функция
(языка) • 75 сл.
инференция • 178 ссл.
исключенная альтернатива (в номи-
нации) • 245
историзм • 243

К

калькирование • 385
категоризация • 17; 171
когнитивная лингвистика • 20; 56 сл.;
78; 100 ссл.; 126; 135; 154 ссл.; 248
когнитивная функция (языка) • 72 сл.
когнитивный критерий (разграниче-
ния значений) • 198
когнитивный стиль • 51 ссл.

коллективное сознание (как фактор
делimitации концептов) • 140
коммуникативный маньеризм • 258
компиляция (в культурной лингви-
стике) • 138
конвенциональность (концепта) • 140
сл.
коннотация • 213
консенсуальная концепция правды •
240
константы русской культуры (в тео-
рии Ю. С. Степанова) • 139 ссл.
конститутивная функция (языка) • 74
сл.
конструктивная интерпретация • 106
конструктивный принцип (Ю. Н. Ты-
нянов) • 40
контaminaция • 333
контекст • 24
контекстуализация • 206
концепт • 137 ссл.
концепт без имени • 146
концептуализм • 285
креативная функция (языка) • 73 сл.
критическая лингвистика • 203
культивация • 298
культурная апелляция (в содержании
языковых единиц) • 147

Л

ландмарк • 54; 248
лексикализация • 148
лексический фальсификат • 240 ссл.
лексический фантом • 240 ссл.
лексический фон • 213
линия Аристотеля (в теории семанти-
ки) • 228 ссл.
логическая семантика • 229
ложная номинация • 240

М

магическая функция (языка) • 64
манипуляция • 235; 250; 307
массовая коммуникация • 304 ссл.
метафора • 154 ссл.; 232 сл.
метафора «кратчайшего пути» • 287

метафорическое предложение • 192
метонимия • 185 ссл.; 374 ссл.
миропорождающий оператор • 125
модальная и интенциональная семантика • 123
моделирующая система (первичная, вторичная) • 100
моделирующая функция метафоры • 156
модернизм • 102
мозаичный характер культуры (по А. Молю) • 2010

Н

неопределеннозначность (по В. В. Мартынову) • 103; 205
неосемантизация • 252 ссл.
новояз • 304
номинативная функция (языка) • 62 сл.
номинация по умолчанию • 220

О

обстановочный контекст • 213
одесский сленг • 384
ономасиологическая парадигма • 29
онтологическая сцена • 125
осциллирующий смысл • 104
операционная семантика • 121
открытая семантика • 121
открытие (в языкознании) • 31
оценка • 313

П

парадигма (лингво-философская) • 13 ссл.; 34 ссл.
параметризация культуры • 281 ссл.
парафрения • 52
парнализм • 39
пермская лингвистическая школа • 317
подлежащее • 353 ссл.
познавательная функция метафоры • 159

полнезависимость (когнитивный стиль) • 52
полисемия • 184 ссл.
политическая метафора • 211
польское языкознание (структурализм) • 42
понятийная категория • 125
понятийная предикация (по П. Стальмацкику) • 249
постмодернизм в литературе и культуре • 116 сл.
постмодернизм в языкознании • 30 ссл.
постструктурная парадигма • 30
постулат инвариантности (когнитивной метафоры) • 167
постулат фокусирования (когнитивной метафоры) • 167
поэтика • 103 ссл.
правда (веритативная / эпистемическая модальность) • 227 ссл.
прагматика на базе семантики • 202 сл.
прагматическая релевантность / маркированность (концепта) • 142; 151
прагматическая функция (языка) • 68 сл.
предикат высокого порядка • 105; 172
предикативная метафора • 169
предложения с анафорически ориентированной связью • 325
прецедентный феномен • 102
принцип ближайшего отношения (в номинации) • 217 ссл.
принцип компенсации • 83; 89
принцип культурного релятивизма (в постмодернизме) • 19
принцип оптимальности • 25; 27
принцип ответственности • 204
принцип эгоцентризма • 218
принцип эмпатии (в номинации) • 221
прогностика (лингвистическая) • 15
проецирование (в когнитивной семантике) • 155 сл.
произвольный символ • 104
прототип (см. семантический прототип) • 101 ссл.; 176 ссл.
прототипический эффект • 180 ссл.

психолингвистика третьего поколения • 208
психологическая релевантность (когнитивной метафоры) • 162; 170 сл.

Р

рационализм (в языкознании) • 15 ссл.
регулярная полисемия • 170; 186
редунданция • 26
реинтерпретация • 297
релятивные существительные • 219
реформа правописания • 37
ритуализм • 312
романтизм • 44
русская школа социологии языка • 205
русское языкознание (структурализм) • 39

С

связочное предложение • 353 ссл.
связочное слово • 363
семантика на базе прагматики • 202 сл.
семантическая деривация • 374
семантическая доминанта • 103; 153
семантическая транскрипция • 191
семантический инвариант • 128
семантический прототип (см. прототип) • 101 ссл.; 176 ссл.
семантический синтаксис • 29
семантический треугольник • 24; 233 сл.
семантический эссенциализм • 47
семантическое поле • 215
семиологическая парадигма • 28
семиотическая лингвистика • 14 ссл.
символ • 103
синдром мартышки • 270
синергизм • 24
синергическая модель знака • 24; 205
синтагматическая семантика • 126 ссл.
синтаксическая аналогия • 195
синтаксическая компрессия • 184 ссл.; 242
синтаксическая конверсия • 325
синтаксическая позиция • 83 сл.

синтаксическое опрощение • 348 ссл.
синтаксическое переразложение • 341 ссл.
система ценностей • 267
ситуативность (номинации) • 205
скрытая модальность • 98
смещение (в синтаксической структуре) • 318
советизм • 243
сокращение (фразы) • 194
соотносительное / опорное слово (в сложноподчиненном предложении) • 365
социативная функция (языка) • 67 сл.
социологический подход (к изучению концептов) • 141
спесь • 275
спираль молчания • 289
стереотип • 290 ссл.
стилистическая функция (языка) • 69 сл.
стиль «гламур» • 255
структура лексикона • 216
структурная парадигма (структурализм в языкознании) • 29; 35 ссл.; 102
структурная семантика • 121
субстантивация (прилагательных) • 378 ссл.
субституция • 198
суппозиция • 236 ссл.
сфера действия концепта • 144
схема поведения • 286
схематичность (языковой номинации) • 205; 207

Т

тайный язык • 382
текст культуры • 244; 264
текстовая картина мира • 151
теория В. Маньчака • 78 ссл.
теория интерактивной метафоры (А. Ричардса) • 122
теория концептуальной метафоры • 154 ссл.
теория культивации • 287
теория референции • 29
теория элементарных семантических признаков (А. Вежбицкой) • 129 ссл.

техническая метафора • 272
технический детерминизм • 267
типы фонетических изменений • 80
траектор • 54; 248
транспарантный символ • 104

У

универалистская парадигма • 32 ссл.
универсальный семантический код
(УСК) В. В. Мартынова • 130
уровень категоризации • 174; 253 сл.

Ф

фактивные / нефактивные предикаты • 231
фамилиолект • 97
фанатский сленг • 383
философия языка • 13 ссл.
философский эмпиризм (в лингвистических исследованиях) • 202; 208
фокус интереса / внимания • 181; 366
формализм • 16; 39
формальная парадигма • 28
фразеология • 158; 241
фреквенция (частотность) как фактор изменения языковых единиц • 78 ссл.
функционализм • 16
функциональная амбивалентность • 148
функциональная семантика • 206
функциональный прагматизм • 201; 205
функциональный синтаксис • 204 сл.
функция языка • 61 ссл.

Ц

ценность • 261

Ч

частотность как фактор изменения языковых единиц • 78 ссл.; 97
чешское языкознание (структурализм) • 37 ссл.

Ш

шкала прецедентности • 181

Э

эвфемизм • 311
экзотизм • 243
эколингвистика • 236
экономия языковых средств • 89; 94
экспрессивная функция (языка) • 65 сл.
эллиптическая субстантивация • 375 сл.
эмпиризм (в языкознании) • 15 ссл.
эмпирически ложный номинат • 241
эмфаза • 367
эргономическая модель языка • 96
эргономический аспект (языковой деятельности) • 263
эротическая коннотация (лексемы *звезда*) • 108
этнография речи • 206
этнолингвистика • 209
этологическая функция (языка) • 71 сл.

Я

языковая аномалия • 372 ссл.
языковая ошибка • 239; 383
языковая политика • 36
языковой стереотип • 150